

НОВОБЫИ
МИИР

НОВОБЫИ МИИР

11



1972

1972

Н О В Ы Й М И Р

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Год издания XLVIII

№ 11

Ноябрь, 1972 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
И. БОДЮЛ — Чувство семьи единой	3
СТИХИ — Джуманияз Джаббаров — Костер дружбы; Тураб Тула — Горсть земли. Перевел с узбекского Александр Наумов	12
ВИТАЛИЙ СЕМИН — Женя и Валентина, роман	15
ВИТАУТАС БУБНИС — Жажущая земля, роман. Окончание. Перевел с литовского Виргилиус Чепайтис	70
АНТАНАС ВЕНЦЛОВА — Что значу я?.., стихи. Перевел с литовского Л. Миль	132
ЕВДОКИЯ МУХИНА — Восемь сантиметров. Из воспоминаний радистки-разведчицы	135
ИЗ ТУДОРА АРГЕЗИ — Твои листья, Колючий кустарник, Две души, Для грядущего, стихи. Перевел с румынского Михаил Синельников	166
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ГАИБ КАЛАНДАРОВ, АНАТОЛИЙ ПОКРОВСКИЙ — С Памира далеко видно	168
ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ	
А. И. МИКОЯН — В Нижнем Новгороде. Продолжение	177
ПУБЛИЦИСТИКА	
Х. Н. МОМДЖЯН — Философия ренегатства	209
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
В. ВОЙНОВ — Перевернутый флаг	234

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Е. ГРОМОВ — Дialeктика единства	238
СЕРГЕЙ АНТОНОВ — От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах). Статья вторая	253
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Василий Шукшин. На одном дыхании.— Л. Финк. Беды и радости эксперимента.	271
<i>Политика и наука</i>	
Ю. Саушкин. Панорама страны.— П. Черкасов. За мир и безопасность в Европе — А. Калинин. Два тома синонимов.	278
КОРОТКО О КНИГАХ — Василий Росляков. — С. Смоляницкий. Торопись с ответом. Повести и рассказы. ♦ М. Кранс. — Проблемы социальной психологии и пропаганда	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

И. БОДЮЛ,

первый секретарь ЦК КП Молдавии

★

ЧУВСТВО СЕМЬИ ЕДИНОЙ

Наша отчизна — великая многонациональная социалистическая семья народов. На ее земле, раскинувшей свои просторы от Балтийского моря до Тихого океана, живут сто тридцать наций и народностей, связанных братством, которое умножает их силы в борьбе за осуществление самых дерзновенных помыслов и планов. Всемирная история еще никогда не видела во взаимоотношениях десятков наций и народностей столь нерушимого единства интересов и целей, воли и действий, такого духовного родства, доверия и взаимной заботы, какие постоянно проявляются в братском союзе народов Страны Советов.

В судьбе любого советского народа, большого и малого, имеющего прошлое в тысячи лет или меньше, краткий исторический срок пятидесятилетия СССР стал временем гигантских свершений в общественном, экономическом и культурном развитии. К октябрю 1917 года народы России пришли с чрезвычайно разным уровнем хозяйственной и культурной жизни, а сегодняшняя действительность любой республики может представлять в мире весь комплекс радикальных преобразований, осуществленных в великой и могучей социалистической державе.

Молдавия с ее щедрой землей и трудолюбивым народом до Советской власти была бедным экономически и культурно отсталым краем, и лишь социализм принес ее народу подлинное счастье. Навсегда канули в прошлое нищета, голод, хозяйственная убогость. При этом следует иметь в виду, что заднепровские районы Молдавии с 1918 года вплоть до 1940 года находились под игом королевской Румынии. Экономика оккупированных районов в результате изоляции ее от социалистической экономики СССР пришла в крайний упадок. Ко времени освобождения Бессарабии в 1940 году из общего количества промышленных, транспортных и торговых предприятий лишь неполных 5 процентов имели численность работающих свыше 5 человек. В целом эти отрасли занимали только 3 процента в производстве материальных благ. Что же касается сельского хозяйства, то оно давало в три раза меньше продукции, чем теперь. Экономическое положение Бессарабии настолько было плачевным, что даже сами оккупанты вынуждены были признавать это.

Победа социализма и братская помощь всех народов Советского Союза позволили быстро ликвидировать экономическую и культурную отсталость края, обеспечить все условия для того, чтобы республика по уровню хозяйственного и духовного развития догнала наиболее развитые районы страны. Сегодня в Советской Мол-

давии — сотни крупных современных предприятий, оснащенных новейшим оборудованием, действующих на базе потока и автоматики.

За послевоенные годы темпы роста экономики и культуры нашей республики были значительно выше, чем в среднем по стране. Уже в самом этом факте предпочтительных условий экономического развития в прошлом отсталой окраины царской России проявляется в действии национальная политика КПСС, единство общих и национальных интересов народов, населяющих нашу страну.

Следует подчеркнуть, что в создание новых и в развитие традиционных для республики отраслей народного хозяйства вложен большой труд не только трудящихся Молдавии, но и многих промышленных коллективов Российской Федерации, Украины, Белоруссии, республик Прибалтики, проектных и научно-исследовательских организаций Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов страны. Братские республики посылали в Молдавию своих высококвалифицированных специалистов, с их помощью в республике налаживались новые производства, осуществлялась подготовка специалистов всех отраслей хозяйства из местного населения.

Наряду с доминирующими в хозяйстве республики отраслями, производящими товары народного потребления, опережающими темпами развивается тяжелая промышленность: энергетика, машиностроение и приборостроение, промышленность строительных материалов. Об успехах экономического развития Молдавии убедительно говорят разнообразные по мощности электродвигатели, литейные машины, вычислительная техника, электробытовые приборы, технический уровень которых не уступает лучшим отечественным и мировым образцам. Ныне валовая продукция промышленности, строительства и транспорта в общем объеме общественного продукта народного хозяйства республики превышает 65 процентов.

Советский социалистический строй открыл широкий простор для быстрого подъема производительных сил деревни. Высокоразвитый индустриальный характер нашей страны создает для сельского хозяйства любой республики практически неограниченные возможности роста. Наряду с обычными, многоотраслевыми хозяйствами в Молдавии сложились и успешно развиваются крупные специализированные аграрно-промышленные предприятия, комплексы и объединения, а также межколхозные хозяйства индустриального типа. В результате возросла эффективность земледелия и животноводства, растет производительность труда и объем валовой продукции.

Развитие индустриальных комплексов на селе, аграрно-промышленных объединений, межколхозных предприятий создает ту реальную экономическую, социальную и культурную основу, которая уже сегодня позволяет качественно перестроить всю жизнь села. В деревне сейчас живет не только крестьянин-колхозник, но и значительная часть рабочего класса и трудовой интеллигенции — специалистов многих отраслей промышленности, строительства, сельского хозяйства, народного образования и культуры. Около 50 процентов предприятий промышленности республики размещено в сельской местности. Сложившееся тесное сотрудничество между перерабатывающими предприятиями и колхозами, совхозами не только благотворно влияет на рост производства сельскохозяйственной и промышленной продукции, но и способствует приобщению сельского населения к промышленной организации труда, устраняет сезонность в использовании трудовых резервов, активизирует процесс социально-культурных преобразований на селе.

Практика показала, что социально-культурное развитие села значительно убыстряется в тех случаях, когда на решение этой задачи

направлены объединенные усилия рабочих, колхозников, технической интеллигенции, партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, действующих в укрупненном аграрно-промышленном комплексе, на основе новейших достижений науки, техники, новой системы управления. Сельские населенные пункты, в которых расположены аграрно-промышленные объединения и комплексы, по планировке и застройке, удовлетворению культурно-бытовых запросов трудящихся находятся на уровне поселков городского типа, четко выражена их тенденция роста до превращения в небольшие города.

На процесс социальных преобразований в жизни села огромное влияние оказывает рабочий класс. Известно, что классики марксизма-ленинизма в сложных перипетиях социальной борьбы прошлого века открыли всемирно-историческую миссию рабочего класса как создателя социалистического общества. Вся последующая история убедительно показала до конца последовательную преданность рабочего класса идеалам социализма и коммунизма.

Под руководством партии он на всех этапах борьбы за революционное преобразование жизни вносил в массы трудящихся дух классовой, интернациональной солидарности, сплачивая их на общей политической платформе Советской власти и борьбы за социализм. Рабочий класс явился главным выразителем тенденций к объединению советских народов в единый союз равноправных народов, ведущей силой укрепления братства и сотрудничества СССР.

Рабочий класс первым показал крестьянину поэзию коллективного, творческого, высокопроизводительного труда. Движение новаторов, изобретателей, рационализаторов, ударников и коллективов коммунистического труда, возникшее в рабочих коллективах, свидетельствует не только о степени экономической эффективности тех или иных производственных начинаний, но и о степени роста, утверждения творческих сил человеческой личности.

За годы Советской власти неузнаваемо изменились роль и место в нашем обществе крестьянина. Его мироощущение сегодня определяется коллективным трудом, индустриализацией сельскохозяйственного производства, знанием техники и агрономической науки, ростом образованности, общей и бытовой культуры, высоким уровнем политической зрелости и активности.

Уместно будет сказать, что некоторые представители творческой интеллигенции — выходцы из крестьян, не разобравшись в этих сложных общественных явлениях, идеализируют крестьянский труд прошлого, противопоставляют его новым формам взаимоотношения человека с землей, больше того, готовы оплакивать нынешнюю «оторванность» крестьянина от земли, обусловленную прогрессирующей индустриализацией сельскохозяйственного труда. Современный крестьянин вряд ли согласится с подобными сожалениями. Разве может он думать о своем прошлом, не вспоминая весь тот «идиотизм деревенской жизни», такие явления, как безземелье, голод, нищета, против которых решительно поднимали голос протеста лучшие умы прошлого и которые сейчас начисто выпадают из поля зрения некоторых художников, питающих пристрастие к идиллическим картинкам крестьянской жизни «на собственной земле».

Об истинном отношении молдавского крестьянина наших дней к этой «идиллии» свидетельствует то глубокое удовлетворение, с которым он относится к каждому факту замены тяжелого ручного труда земледельца механизированным. Не удивительно, что сейчас механизаторские кадры на селе, составляя немногим более 10 процентов работников, занятых в сельском хозяйстве, выполняют около 70 процентов всего объема сельскохозяйственных работ.

Огромная роль в подъеме экономической и культурной жизни республики принадлежит русскому народу. Исторические связи Молдавии и России уходят в далекое прошлое. Земля Молдавии и сегодня бережно хранит память о подвигах русских солдат, сражавшихся под водительством Петра I, Суворова, Румянцева, Багратиона и Кутузова. В 1812 году совместная борьба молдавского и русского народов увенчалась успехом, турецкое иго было сброшено и по воле народа Бессарабия была присоединена к России.

Вхождение Бессарабии в состав России отвечало жизненным интересам и чаяниям молдавского народа, содействовало как росту производительных сил края, так и подъему культуры. Уже вскоре после освобождения в Кишиневе открывается одна из первых в России так называемых ланкастерских школ, а также городская библиотека. В это же время начались и первые театральные представления. Благоприятное влияние русская демократическая культура оказала на творчество классиков молдавской литературы А. Доница, К. Стамати, А. Хаждэу, К. Негруци, на развитие прогрессивной мысли.

Зарождение революционного самосознания и подъем освободительной борьбы трудящихся Молдавии были связаны с общероссийским революционным движением. Важное значение для развития политической борьбы трудящихся и достижения единства революционных сил Бессарабии в борьбе против помещиков и капиталистов имела деятельность ленинской газеты «Искра», первая подпольная типография которой на территории России была создана в Кишиневе в 1901 году.

Создание социал-демократической организации, воспитание рабочих, крестьян края в духе классовой солидарности, высокого понимания своих целей и пролетарского интернационализма оказали решающее влияние на преодоление мелкобуржуазных, националистических предрассудков, обеспечили необходимые условия для победы социалистической революции в Молдавии.

«...От Москвы идет свет, протягивая длинные лучи и доброе имя под солнцем», — писал молдавский летописец Досифей еще в XVII веке. Это — историческое свидетельство чувства любви и благодарности русскому народу, давнего стремления молдаван к объединению с Россией. Великий Октябрь, В. И. Ленин, Коммунистическая партия помогли молдавскому народу осуществить веками взлелеянную мечту о братстве с русским народом, поднять к зениту великий принцип дружбы народов Советской страны — неиссякаемый источник силы и процветания всех советских республик. Советская власть ликвидировала все препятствия на путях единения народов страны. Впервые после многих лет борьбы и страданий молдавский народ обрел свою государственность и стал строить в едином братском союзе со всеми народами Страны Советов новое, социалистическое общество. Сегодня узы нашей дружбы освящаются не отдельными именами выдающихся личностей, а всей взаимопроникающей системой социальной, экономической и культурной жизни нашего общества.

Развитие Молдавии в составе Союза ССР — один из ярких примеров подлинного ленинского решения национального вопроса. Опыт осуществленных в нашей республике, как и в других братских республиках, экономических и социальных преобразований показывает, что объективной закономерностью социализма в области национальных отношений является расцвет и сближение наций. Оба эти процесса взаимосвязаны и взаимообусловлены. Их экономическая основа — социалистический способ производства, социалистические общественные отношения, а политическая предпосылка — советская

национальная государственность народов, социалистическая демократия. По мере создания материально-технической базы коммунизма все интенсивней становится обмен материальными и духовными богатствами между нациями, усиливается их сближение. «Это сближение,— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев на XXIV съезде партии,— происходит в условиях внимательного учета национальных особенностей, развития социалистических национальных культур. Постоянный учет как общих интересов всего нашего Союза, так и интересов каждой из образующих его республик — такова суть политики партии в этом вопросе».

Подобно тому как в годы борьбы за свержение господства буржуазии, а затем строительства социализма сближение и единение пролетариев, трудящихся масс было объективной необходимостью, в эпоху построения коммунизма, когда происходит быстрый процесс интернационализации общественной жизни, ведущей тенденцией становится сближение наций, достижение их полного единства, стирание различий между нациями и в конечном итоге их слияние.

Каждый народ благодаря вхождению в единую семью народов СССР составляет вместе с ними в процессе социалистического строительства новую общность — советский народ, представляющий собой гармоническое сочетание общего и особенного, национального и интернационального. Трудящиеся Молдавии гордятся своей принадлежностью к многонациональному советскому народу, демонстрирующему человечеству великие преимущества социализма и оказывающему огромное влияние на мировой прогресс человечества.

Равной среди равных Молдавская ССР в расцвете сил встречает исторический юбилей создания Союза ССР. Социалистическая действительность впервые в истории молдавского народа дала возможность превратить культуру в духовное богатство народных масс, вбирающее в себя все подлинно прогрессивное, накопленное поколениями прошлого, и современные достижения культуры всего советского народа.

Молдавия богата традициями народного творчества. Издавна здесь славились своим искусством музыканты, резчики по камню и дереву. Произведения народных умельцев наполнены красками земли родного края. А что до умения танцевать, то недаром говорят: «Где танцуют молдаване, земля гнется под ногами». Каждый народ всегда щедро проявлял свою душу художника.

Социализм обеспечил бурный технический прогресс, направленный на освобождение человека от тяжелого бремени ручного труда, предоставил ему необходимое время и условия для духовного роста, раскрыл его таланты и привел в действие его неиссякаемые творческие силы.

Сегодня в нашей республике работает двухтысячный отряд писателей, художников, композиторов, деятелей театра, кино, архитекторов и журналистов. В бедной крестьянской семье выросла Мария Биешу — ныне народная артистка СССР, депутат Верховного Совета СССР. Как и ее деды, она готовила себя к труду на земле. Однако новые жизненные обстоятельства открыли в ней незаурядный талант. Это не была удивительная встреча со сказочным принцем. Она встретилась с такими же, как она, парнями и девушками на смотре художественной самодеятельности. И они решили — Мария должна учиться петь.

Так великий безымянный творец культуры — народ в новых условиях социалистической действительности проявляет подлинную заинтересованность хозяина в развитии культуры, в открытии талантов из своей среды, и в этом одно из проявлений его духовного творчества.

В нашей стране широко известны проникнутые высоким пафосом гражданственности поэтические произведения Ем. Букова и И. Чебана, графика Л. Григорашенко и И. Богдеско, скульптура К. Кобизевой и Л. Дубиновского, музыка Э. Лазарева и В. Загорского, филмы молодых мастеров киностудии «Молдова-фильм». Большую популярность снискали также многие художественные коллективы республики, а молдавский государственный ансамбль народного танца «Жок» и оркестр народной музыки «Флуераш» неоднократно с честью представляли советское искусство за рубежом. Их успех — одно из ярких подтверждений того, что плодотворное развитие литературы и искусства происходит во всех наших республиках, на десятках языков народов СССР, в ярком многообразии национальных форм.

Неуклонный процесс расцвета молдавской национальной культуры стал возможным благодаря постоянным связям, взаимодействию и взаимообогащению всех культур социалистических наций. Какое бы из направлений развития культуры мы ни взяли, в нем четко проявляются следы духовного взаимообогащения всех народов СССР, влияния культуры русского народа. Более пятнадцати лет назад 20 юношей и девушек из городов и сел Молдавии отправились в Москву учиться искусству театра. После окончания Театрального училища имени Б. Щукина они составили основную часть труппы театра «Лучафэрул», который и сегодня достойно несет традиции своих учителей, выдающихся мастеров сцены Театра имени Евгения Вахтангова. С благодарностью в республике называют имена А. А. Орочко, И. М. Толчанова, Ц. Л. Мансуровой, Б. Е. Захавы, А. И. Ремизовой, Д. А. Андреевой. Это они зажгли «Лучафэрул» — «Утреннюю звезду», так в переводе звучит поэтическое название молодого кишиневского театра.

Многие выдающиеся деятели русской советской культуры помогали Молдавии в становлении молодого социалистического искусства. Среди них хочется прежде всего назвать имена выдающихся русских композиторов Д. Шостаковича, Т. Хренникова, А. Свешникова. С глубокой признательностью обращаемся мы и к русским писателям-переводчикам, открывшим всесоюзному читателю мир молдавской литературы.

Культурное взаимодействие советских народов за последнее время обогатилось новыми плодотворными формами. Наряду с традиционными гастролями отдельных исполнителей и художественных коллективов, взаимными литературными переводами, выставками изобразительного искусства, обменными программами радио и телевидения в практику культурной жизни республик прочно вошли Дни культуры, Дни поэзии, Дни музыки, фестивали искусства, кинофестивали. Только за последние несколько лет в Молдавии с большими творческими отчетами побывали деятели культуры Эстонии, Азербайджана, Латвии, Армении, РСФСР, музыканты Белоруссии, писатели Литвы, художники и кинематографисты многих других республик. В свою очередь, литература и искусство Молдавской ССР держали творческий отчет перед трудящимися Москвы, Латвии, Эстонии и Азербайджана.

Грандиозным праздником культуры явились Дни литературы и искусства РСФСР, прошедшие в Молдавии в начале июня нынешнего года. Делегация Российской Федерации представляла блестящее созвездие выдающихся мастеров литературы и искусства. Около двух миллионов трудящихся республики собрали в эти дни концерты, выставки, премьеры кинофильмов, братские встречи с посланцами России. Такого праздника культуры республика еще не знала. Дни

литературы и искусства РСФСР вылились в яркую демонстрацию братской любви трудящихся Молдавии к русскому народу, нерушимой дружбы всех советских народов, их морально-политического единства, торжества ленинской национальной политики КПСС.

Взаимосвязь, взаимовлияние культур советских народов создают благодатную почву для всестороннего развития социалистической культуры молдавского народа и убедительно демонстрируют постоянный процесс всемерного развития и сближения советских социалистических наций. Этот необратимый процесс имеет основу в объективных факторах жизни народа. Наша республика многонациональна, в ней живут и трудятся молдаване, русские, украинцы, гагаузы, евреи, болгары и представители многих других национальностей, принимающих равноправное участие во всех областях политической, экономической и культурной жизни. Творческие союзы и учреждения искусства Молдавии объединяют в своих рядах представителей многих национальностей страны.

Многонациональный опыт советской культуры, взятый во всех аспектах и формах взаимодействия национальных культур, формирует у советских людей общее идейно-эстетическое восприятие, делает понятной и близкой для них культуру каждого народа страны. Сегодня духовный облик советского человека формируется под влиянием всей многонациональной советской культуры, а национальный советский художник не может творить, не имея в виду этого обстоятельства. Он создает свои произведения, зная лучшие достижения многонациональной творческой жизни страны и с полным пониманием того, что и его творчество адресуется читателю, слушателю и другим советским республикам.

Поэтому когда мы говорим о культуре советского народа, речь идет не о механическом сложении национальных культур советских народов, а об их диалектическом единстве и многообразии. Нам дорог неповторимый облик каждой национальной культуры, вместе с тем совершенно очевидно, что он не может быть статичным, застывшим. Развитие — это сближение, это достижение все более полного единства, которое потребует от нас преодоления многих отживших и отживающих представлений о самобытности и специфичности духовного творчества наций и бережного сохранения наиболее характерных черт национальной культуры в новом качестве.

Природа художественной культуры чужда всякой нивелировки, но только социализм, поставивший культуру на службу народам, сохраняет ее высокую гуманистическую сущность, дает гарантии против стандартизации духовного производства и потребления.

Весь опыт социалистического строительства в нашей стране, в нашей республике убедительно говорит о том, что культурная революция, являясь частью социалистической революции, после завоевания политической власти пролетариатом проникает во все сферы социалистического и коммунистического строительства, выступает как необходимое условие преобразования общества на новых основах. Как и в большинстве районов страны, решающим звеном культурной революции в Молдавии стало народное образование. Эта проблема, как и все другие задачи экономического, социального и культурного строительства в нашей республике, решалась в два этапа: до и после воссоединения Бессарабии с матерью Родиной — СССР. В левобережных районах республики (в Молдавской АССР) неграмотность была ликвидирована к исходу 30-х годов. В правобережных районах (в Бессарабии), где в годы боярско-румынской оккупации неграмотность среди взрослых составляла более 60 процентов, сразу же после освобождения была создана разветвленная сеть

кружков и школ, клубов, библиотек, театров, значительно расширена подготовка педагогических кадров.

В настоящее время в школах, училищах, техникумах и институтах учится треть населения республики. В 8 вузах и в 68 научно-исследовательских учреждениях Академии наук Молдавской ССР и других ведомств работают около 6 тысяч ученых. Работы ученых республики в области биологии, химии, теоретической и прикладной математики, физики, исследования общественных явлений органически входят в общую проблематику советской науки. В республике с населением 3,7 миллиона человек действует 1897 библиотек и 1775 клубных учреждений, 8 театров, 22 музея. Ежегодно на прилавки сотен книжных магазинов в городах и селах поступает свыше 22 миллионов экземпляров книг. Арсенал местной периодической печати составляют 80 журналов и 120 газет.

В. И. Ленин писал в свое время, что после революции «потянулись к знанию те слои трудящихся, которым эти знания были недоступны и не нужны». А революция сделала знания не только доступными, но и нужными всей массе трудящихся, потому что трудящийся человек оказался вовлеченным в бурный процесс социально-экономического созидания, оказался перед необходимостью сознательно, целенаправленно строить новый мир, делать историю. В этом существо того грандиозного процесса, который мы называем ленинской культурной революцией.

Культурная революция обеспечивает не только доступность для народа тех или иных ценностей (что само по себе, разумеется, очень важно), но создает все условия для приобщения масс к сознательному, целенаправленному, социально значимому творчеству. Этого можно достигнуть не с помощью одного театра или одной школы, но с помощью всей совокупности условий социальной жизни, требующих от каждого человека производственной, общественной, политической активности и, следовательно, постоянного духовного роста. Это значит, что привлечение масс к творчеству в области социально-экономических отношений есть главная сфера и культурных преобразований.

Одним из важнейших путей социального творчества широких народных масс, их культурного роста является участие трудящихся в управлении делами страны, производства и в общественно-политической жизни. В Верховном Совете Молдавской ССР, избранном в 1971 году, из 316 депутатов — 163 рабочих и колхозников, 115 женщин, 105 беспартийных. А среди депутатов местных Советов — более 20 тысяч рабочих и крестьян. В деятельности государственных органов, различных комиссий и других общественных организаций, созданных Советами в республике, участвуют около 300 тысяч активистов.

Творческая инициатива трудящихся находит свое яркое выражение в социалистическом соревновании коллективов предприятий промышленности, транспорта,строек, колхозов и совхозов, в котором участвуют 800 тысяч рабочих и служащих, механизаторов и специалистов сельского хозяйства. Более 170 тысяч передовиков соревнования удостоены звания ударника коммунистического труда. Научно-технические общества, общество рационализаторов и изобретателей объединяют 112 тысяч человек.

XXIV съезд КПСС обосновал как одну из важнейших задач, которая должна быть решена в условиях развитого социалистического общества, задачу формирования нового человека, его коммунистического мировоззрения и морали, преодоления пережитков прошлого в сознании и поведении людей. Решение этой исторической задачи тес-

нейшим образом связано с деятельностью партии, государства, общест­венности, направленной к тому, чтобы задачи в области разви­тия экономики, социальных отношений конкретно преломлялись в производственной и общественной жизни людей. И чем шире и глуб­же этот процесс, тем полнее и успешнее развивается культура в целом. Научить каждого человека овладеть духовными ценностями для того, чтобы максимально использовать полученное в социально важ­ной области жизни,— это в конечном итоге главное в решении всех задач культурного строительства.

Важнейшим результатом раскрепощения духовных сил народа— основы социалистической культурной революции — является возра­стающая роль партийного руководства культурным строительством. «Только передовая часть рабочего класса, только его авангард в со­стоянии вести свою страну»,— учил В. И. Ленин.

Коммунистическая партия Советского Союза является той вели­кой силой, которая в борьбе за социализм сплотила все классы и со­циальные слои, все нации и народности нашей страны в единый со­ветский народ, смогла обеспечить осуществление культурной рево­люции во всех областях жизни нашего общества и направить ее на главную цель — воспитание советского человека, сознательного твор­ца истории.



ДЖУМАНИЯЗ ДЖАББАРОВ

★

Костер дружбы

С узбекского

Не знаю полнее уюта,
чем ночью

в горах,

у костра.

Киргизская белая юрта —
оснеженных пиков сестра.
Сердечного дружества ради
с пятнадцати разных сторон
несхожие обликом братья
собрались за общим костром.
Тут слово искристо —

и веско,

взвивается пламенем мысль...
Киргизская наша невестка
нам всем

наливает кумыс.

И песни поют на славу —
мотив так и просится сам!
И ласково вторит джейлау
веселым людским голосам.
И эхо с невидимых склонов
протяжно и долго звучит:
слова «Вечеров подмосковных»
в тьяншаньской громадной ночи...
Задор точно в воздухе взвешен:
побольше вдохни —

и взлетишь!

То

Балтики терпкую свежесть
эстонец привез и латыш.
А ветер

заденет неожиданно
листвы обвисяющий стяг —
и киевских улиц каштаны
за нашей спиной шелестят.
А речка все спорит надрывно:
«Ты наш ли?

Ты наш ли?»

«Я ваш!»

И в яростной песне Нарына
нам слышится пенистый Вахш.

А утром
 по-царски заря нам
 окрасит бездонную даль —
 то буйные краски Сарьяна
 пришлет нам Армения
 в дар!
 Да, каждый привез в этот лагерь
 родимого края дары.
 Сплетается смех балалайки
 с гортанным рассказом домбры.
 И слово,
 и отсвет,
 и запах
 в душе пробуждают восторг,
 и в этом сливаются запад,
 и север,
 и юг,
 и восток.
 Обрушатся, может быть, горы,
 река поворотится вспять,
 но дружбе,
 свободной и гордой,
 вовеки
 над миром сиять!

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

ТУРАБ ТУЛА

★

Горсть земли

Ю. Збанацкому, который привез
 к подножью памятника Навои горсть
 земли с могилы Шевченко.

Бархат ночи простерт
 над проспектом.
 Шум упал,
 и сломался,
 и смолк.
 И тогда в этом сквере воспетом
 тихий голос услышать я смог.
 И увидел усталую гостью,
 что сюда из-за гор привезли,—
 наклонился
 над малою горстью
 приднепровской
 далекой земли.
 Я склонился над ней —
 и старался
 все слова уловить в тишине,
 что посланница внуков Тараса
 этой ночью поведаст мне.

Я не смел упустить ни вот столько,
пока длился и длился рассказ
давней боли,

любви

и восторга,
давних нитей, связующих нас...
И недвижимо полночь лежала,
и затихла деревьев семья,
и простерлась у ног Алишера
украинского брата
земля!

И цвела тишина, и, казалось,
было слышно в бессонной тиши:
в звездном сумраке соприкасались
две великих

народных души!

И, казалось, я вижу, как двое
через версты и через века
делят дружески между собою
жар недавнего черновика...
Двое юношей? Двое старцев?
Я не мог разглядеть в темноте.
Но ведь рок разрешил им остаться
вечно юными
в вечном труде!
...К Алишеру наведавшись в гости,
этой музыке дружбы внемли,
наклоняясь над малою горстью
приднепровской
далекой земли.

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.



ВИТАЛИЙ СЕМИН

★

ЖЕНЯ И ВАЛЕНТИНА

Роман

Глава первая

1

В воскресенье 22 июня 1941 года рано утром Валентина собралась к своим на окраину.

Еще до того, как выйти замуж, Валентина ушла от родителей в заводское общежитие.

Родилась она 7 ноября и в детстве всегда считала, что и красные флаги и иллюминация в городе ради нее. Потом, когда она подросла и отделила общий праздник от своего, все равно радовалась флагам больше, чем другие. В школе она была отличницей, и на ноябрьские праздники в школьной стенгазете ее поздравляли особо. На заводе она стала ударницей, и в заводской многотиражке ее поздравляли с праздником и с днем рождения. Теперь она уже никому не рассказывала, как знаменательно совпадает ее маленький праздник с революционным — стеснялась, — но все равно кто-то об этом узнавал и в компании или на собрании, поздравляя всех с праздником, ее поздравляли особо. И все оборачивались к ней, аплодировали, хоть на собрания не ходи. Но не ходить на собрания она не могла. Она и на сверхурочные оставалась охотно, и на воскресники выходила и осуждала тех, кто уклонялся.

Она и замуж вышла за парня, который жил с полной нагрузкой — рабочей, общественной, спортивной.

И раздражалась она, выйдя замуж, потому что ее самостоятельность как-то обесценивалась. Муж никогда ничего не пытался ей запретить или навязать. Пожалуй, это она пыталась ему что-то запрещать. Она бросила спорт и хотела, чтобы и он тоже бросил. Она хотела, чтобы он ходил вместе с ней в институт, но в институт он не поступал. «Ты был бы счастлив превратить меня в свою домработницу!» — говорила она ему. Или: «Твоя мать тебя испортила. Она всех вас испортила. А вы на базар никогда не ходили, не знаете, сколько вашей зарплаты на один базар». Женя соглашался. Но Валентине этого было мало. Он просил ее: «Валя, слей на руки, я умоюсь». «Набирай воды в рот и умывайся», — холодно отвечала Валентина.

На заводе она работала швейной, потом учетчицей, обедала в цеховой столовой, отдыхала в обеденный перерыв в цеховом красном уголке. Дышала воздухом, синим от металлической пыли, от газов расплавленного металла, сидела на металлическом табурете, в

столовую поднималась по железным, приваренным к металлической балке ступеням, держалась за металлические перила. Больше всего в цеху было железа и песка — формовочной массы. Здание цеха было высоким, с мощным вентиляционным устройством, но никакие вентиляторы не могли полностью откачать из воздуха пыль. Она поднималась вверх, и весь потолок был плотно закрыт и покрашен пылью.

От пыли и газа в этом цеху, где было много огня, стоял постоянный полумрак. Обычный полумрак литейного цеха, одинаковый днем и ночью. И звуки здесь были привычные для литейного цеха: шипение как будто где-то перехваченного шланга со сжатым воздухом, удары формовочных станков и грохот и звон огромных металлических барабанов, внутри которых падали, перекачивались металлические детали. Звуки были такой же плотности и густоты, как и пыль.

Цех был новый, огромный, оборудованный по последнему слову тогдашней техники. Над головами людей, под крышей, по конвейеру текла к станкам формовочная земля, формовщик только открывал заслонку — и земля падала в опоку. Формовщик расправлял ее руками и лопаткой, включал станок, и тот, свистнув сжатым воздухом, сотрясая фундамент, сотрясая пол, на котором стоял формовщик, уплотнял землю в опоке, трамбовал ее.

Готовые формы ставили на конвейер, и они проходили под ковшем с жидким металлом, который сюда подвозил подъемный кран. Потом конвейер сбрасывал залитые формы на металлическую решетку, которую трясло так же, как формовочные станки, и земля из форм выбивалась, выкрашивалась, уходила вниз, под решетку, а металлические детали, еще малиновые от огня, еще не как сталь, не звонко, а глухо звучащие, крючьями отбрасывались в сторону.

Формовщики и литейщики работали быстро, зарабатывали хорошо, получали молоко и спецовку, но до тех пор, пока был принят закон, разрешавший начальнику удерживать на предприятии рабочих, литейщики и увольнялись чаще других.

Когда Валентина проходила мимо конвейера, ее всегда тянуло остановиться посмотреть, как бегают формовщики, как соединяют половинки форм и несут их вдвоем на конвейер, как наклоняются друг к другу и что-то кричат на ухо, как орудует длинной затычкой литейщик у ковша с расплавленным металлом. И она останавливалась и смотрела. Но ей и заслониться от этого хотелось тоже, как бывает, когда смотришь на сильный огонь.

Самой Валентине, после того как она преодолела первый страх и вошла в шишельный цех, отделенный от всего литейного низкой металлической перегородкой, после того как свылась с горящим дымным воздухом, с земляной, масляной своей работой, литейный даже нравился. Работа была простая, бригада шишельниц почти не менялась, а кроме того, цех на заводе был «самым». Самым вредным, самым горячим. Все, кто работал здесь, были на передовых позициях. Об этом говорили на собраниях, писали в заводской многотиражке. И вообще было в этом огромном, грохочущем вспышками пламени, темном, тяжелом здании что-то такое, к чему Валентина смогла привыкнуть. А привыкала она надолго.

Она, конечно, и боялась работать в литейном и даже планировала когда-то уйти из него, но это были мысли неопределенные. Они и не могли быть определенными, пока она жила в общежитии, питалась в заводской столовой, ходила в вечернюю школу. Ее хвалили в цеховой стенгазете, ее фотография висела на Доске почета в красном уголке. Выходя из цеха после смены, она чувствовала полное удов-

летворение — наработалась. Потом она шла в общежитие: ела по-мужски, не готовя, не поджаривая, причесывалась по-мужски просто и шла в школу. В воскресенье ходила в спортзал или — летом — на водную станцию.

Когда она познакомилась со своим Женей и сказала ему, что родители ее живут в этом же городе, он удивился. И так и не понял, почему она живет в общежитии, а не у своих. Когда Женя чего-нибудь не понимал в новой машине, он становился серьезным, лез в справочники и постепенно разбирался. Когда он сталкивался с чем-то непонятным и непривычным в жизни, когда он не понимал чьих-то поступков, он морщил нос, посмеивался и не возражал. Он был очень терпеливым человеком. Валентина ни разу не слышала, чтобы он кого-нибудь резко осудил или выбранил, и это ее сильно раздражало. Непонятное Женя просто быстро забывал. Мало ли в жизни странного — не трогайте людей, они сами разберутся.

Вначале в общежитии Валентине почти все нравилось. Нравилась мужская свобода от приготовления пищи, от слишком частого мытья полов, бесконечной стирки, от родительского надзора. Нравилось вместе со всеми утром выходить на работу. В тот ранний час, когда девчонки идут еще самой лучшей своей бодрой походкой, когда они еще не устали, еще стройны и высоки, когда волосы еще хорошо завиты и губная помада не съедена, а от ребят удушливо пахнет вчерашними папиросами, утренним табачным перегаром. Нравилась умывалка с ее очередями, в которых встречаешь знакомых (вода сама течет из крана: мой посуду, стирай, а дома еще надо носить из колонки).. Нравилась вечерняя школа с ее странной, нешкольной, ночной жизнью. Всегда при электрическом свете, в чужих классах, со взрослыми соседями за чужими партами. Днем здесь настоящей, дневная школа, учителя сидят в настоящей учительской, а вечером приходят вечерники, их встречает равнодушная, усталая дежурная нянечка, учительская в какой-то кладовке, половина классов заперта, не освещена, ученики курят на переменах.

И все-таки это школа. Училась она хорошо, времени не замечала.

Но, видимо, в ней всегда было живо чувство, что и литейный цех и общежитие — все это не навсегда. Это как вечерняя школа — когда-нибудь ее окончишь. И когда они с Женей увидели друг друга, когда она однажды даже против своей воли подумала: «Господи, за что же мне такое счастье!» — она вдруг увидела, что в этом огромном здании много затемненных переходов, тупиков, поворотов, спусков, подъемов, где можно долго оставаться незамеченной, где можно вдвоем посидеть на теплой, обросшей затвердевшей пылью трубе какой-нибудь цеховой магистрали, на куче желтого песка и вообще уединиться и отделиться от начальства и подруг. А когда Женя привел ее к себе, она легко и радостно рассталась с общежитием, а забеременев, из шисьельниц перешла в учетчицы, а из учетчиц в лаборантки и старалась пореже спускаться из лаборатории в сам цех, пореже дышать загазованным воздухом.

Общежитие она покидала даже с облегчением. Все-таки надоело за несколько лет одеваться и раздеваться при всех, спать, когда другие не спят, зажигать свет, когда другие заснули. Но и в семье у Жени она никак не могла по-настоящему прижиться. Боялась сделаться домработницей. Боялась, что здесь ее запутают старорежимной вежливостью и добротой, заставят бросить работу, институт, отказаться от общественных нагрузок. Самым старорежимным человеком в семье Валентина считала Женину мать Антонину Николаевну. Уклончивая доброта Антонины Николаевны, ее способность молчаливо делаться незаметной, любыми способами сохранять в семье

мир казались Валентине той самой опасной в наше время интеллигентской бесхребетностью, против которой всех предупреждали газеты.

Правда, Антонину Николаевну лишь с большой натяжкой можно было назвать интеллигенткой. Отец Антонины Николаевны, Женин дед, как и отец Валентины, был железнодорожником. Но отец Валентины был ремонтным рабочим, а Женин дед водил пассажирские поезда. В девятьсот четвертом и в девятьсот пятом годах он участвовал в революции, и об этом довольно охотно рассказывали в семье, участвовал он и в революции семнадцатого года, и об этом тоже рассказывали, но глуше и не до конца. Говорили, что он водил бронепоезд, был против царя, Керенского и белых, но в двадцатом или в двадцатых годах он то ли погиб, то ли скоропостижно умер.

Но, конечно, все это было давно и никакого влияния на жизнь семьи не оказывало. И когда Валентина осуждала Антонину Николаевну, не о Женином деде она думала, а о том, куда может привести женщину бесхарактерность и безликость. Нельзя же забывать — сама Валентина помнила об этом каждую минуту! — что мир отравлен не только классово-эксплуатацией, но и вековой тиранией мужчин. Кто такая Антонина Николаевна? Домработница без трудовой книжки, без права увольнения. Домработница для всех своих родственников и для нее, Валентины, тоже. Квалификации никакой — когда-то работала в конторе, но что знала, давно забыла, а нового ничего не приобрела. Газет не читает, о том, что происходит в мире, имеет самое смутное представление. Что услышит за столом, то и ее. Правда, она могла бы составить книгу кухонных рецептов, знает, как приготовить десятки, а может быть, сотни блюд, сами названия которых давно звучат по-старинному, и она ухитряется их готовить, хотя то этого, то того постоянно не хватает. И стол она в праздники накрывает и на двадцать и на двадцать пять человек. Сколько гостей ни придет, стол всегда прекрасно накрыт. (Это обилие праздничной еды, которую никто не мог съесть, всегда изумляло Валентину. «А пусть пропадает, — сказала ей Антонина Николаевна. — Это не для того, чтобы съели, а для радушия».) И готовит Антонина Николаевна вовсе не то, что сама любит — за столом она почти не ест, — а то, что любят другие. Печеного теста она, например, избегает и водки никогда не пьет, но пироги и водка у нее бывают разные. И это тоже сердило Валентину. Если ей приходилось готовить, она делала только то, что ей самой хотелось съесть.

И вообще только на собрании и на работе все было ясно — за это Валентина и любила собрания и работу. Дома было все запутанно. И ты любишь, и тебя любят — и вдруг вражда! То ли к тебе стали хуже относиться, то ли ты всех видишь навзвозь. В такие минуты Валентина кому угодно могла сказать самые страшные слова. Жене: «Говоришь, мать любишь! (Женя никому этого не говорил.) Любишь, чтобы спокойнее жилы вытягивать. Вы же ее эксплуатируете. Лучше бы поменьше любили». Антонине Николаевне: «А вы, мама, добрая, добрая, а все замечаете!» Это Антонина Николаевна остановила Женю, велела снять рубашку и пришила болтавшуюся пуговицу. В такие минуты Валентина думала: «Надо уйти, надо жить самостоятельно. От своих ушла, и отсюда надо уйти». Но Женя, посмеиваясь, уходил на тренировку, Антонина Николаевна брала на себя домашнюю Валентинину работу, и Валентина думала: «Ну и черт с вами, ничего вам не сделается!» И от этой смелой, совсем не женской мысли ей становилось весело, она уходила в институт, спокойно сидела в аудитории, спокойно возвращалась домой, рассказывала Жене, как устала на лекциях, и уже совсем по-мужски не спрашивала, что ел

перед сном пятилетний Вовка и хорошо ли его умыла на ночь Антонина Николаевна.

Потом Валентина опять стирала на Вовку и мужа, вздрагивала от какой-то нелепой и радостной мысли: «Случись что-нибудь с Женей, хоть под поезд!» — радовалась своей семье, но и мысль о том, что надо все-таки уйти вместе с мужем от его родителей, освободиться от тины мелкобуржуазных родственных отношений, где сама любовь неравноправна: кто-то любит в свое удовольствие, а кто-то себя забывая, — зажить здоровой жизнью без этого разделения на работу, общественную жизнь и жизнь домашнюю, все укоренялась в ней и укоренялась. Она еще не знала, как это будет на самом деле, но считала, что вначале им с Женей надо отделиться, получить новую квартиру или построить себе дом. Получить квартиру на заводе было очень трудно, вот она и решила съездить в это воскресенье на окраину к своим, посмотреть, как идет строительство дома у мужа старшей сестры Ольги, и прикинуть, стоит ли им с Женей братья за такое.

2

Рано утром Валентина подняла Вовку, напаялила на него не гнущиеся от новизны сандалии, сказала Жене:

— Я к нашим. Сто лет там не была.

— Хорошо, — сказал Женя.

Он не заметил демонстрации, которую устраивала ему Валентина. Если бы он немного удивился: «Воскресенье, а ты уходишь!» — или изумился: «Почему без меня?» — Валентина сказала бы: «Тебе неприятно? А мне, думаешь, приятно, когда ты уходишь из дому на свои тренировки?» Валентина хотела стычки, даже скандала, но Женя не рассердился и не удивился, и это было для нее самым худшим. На Валентину часто находило такое — она переставала верить Жене. Не может человек в двадцать восемь лет быть таким простодушным! Даже не спросить жену, чего это ей в воскресенье вздумалось уходить из дому без мужа! И вообще все они, и муж и его родители, слишком спокойно живут. А если разобраться объективно, то и Женя и Антонина Николаевна совсем не такие, какими на первый взгляд кажутся. Есть же у Жени в характере что-то темное, даже жестокое. Откуда у него это увлечение боксом?

И Валентина в который уже раз (с этого и началась ее демонстрация) вспомнила, как она в прошлое воскресенье пришла к мужу на тренировку. Они собирались в кино, и он должен был подождать ее у подъезда Дома физкультуры, но Валентина пришла раньше, чем закончилась тренировка, и знакомый парень уговорил ее пройти в зал, где занимались боксеры. В Доме физкультуры резко пахло спортивным залом, то есть потом, ногами, потеющими в резиновых тапочках, баней, и этот запах почему-то напугал Валентину. По дороге парень представлял ее каким-то ребятам. Узнав, чья это жена, они говорили многозначительно: «А-а!»

В боксерском зале, когда прошло первое смущение, Валентине стало страшновато. «Как в зуболечебнице, — подумала она, увидев около помоста, обтянутого канатами, две высокие жестяные плевательницы. Такие плевательницы ставят рядом с зубокабинетным креслом. И как в кабинете зубного врача, жестяные края плевательниц были измазаны кровью, в крови были и куски ваты, приставшие к краям. Сходство с зуболечебницей дополнялось еще и несколькими жестяными же, похожими на перевернутые плевательницы абажурами, которые висели низко над помостом. Помост был ярко осве-

щен, так что весь зал, в котором человек десять, лоснящихся от пота, колотили кулаками по круглым, тугим мешкам, прыгали через скакалки, казался погруженным в полумрак. И этот полумрак, и этот яркий, отраженный жестяными абажурами свет — все показалось Валентине неестественным, больничным. Она не сразу узнала Женю, который стоял на помосте против высокого, широкоплечего парня и слушал, что говорил мужчина в синих трикотажных брюках и в рубашке с длинными рукавами.

— Сейчас Женя будет работать,— сказал Валентине парень, который привел ее в зал.— Тренер дает им наставления.

Валентина и сама догадалась, что Женя и тот, широкоплечий, высокий — почти на голову выше Жени,— будут драться. И высокий, конечно же, измолотит Женю своими устрашающе огромными кожаными кулаками. И правда, когда тренер отошел, высокий двинулся вперед и махнул длинной рукой, а Женя сделал шаг в сторону и быстро наклонился.

Тренер сказал:

— Осторожно, Женя, боковыми не работай. Перед тобой новичок.

И потом тренер все время повторял, словно упрашивал и успокаивал:

— Только прямыми, Женя. Перед тобой новичок.

Валентина постепенно вслушалась в то, что говорит тренер, увидела, как неуверенно машет своими длинными тяжелыми ручищами Женин противник, какое у него смущенное, будто виноватое лицо и как с каждой минутой оно становится все более и более виноватым, и пожалела его. И когда высокий все-таки дотянулся, достал Женю по голове и Женя, до этого не очень сильно нападавший, вдруг встрепенулся, Валентина испугалась — сейчас он больно ударит своего тяжелого и неуклюжего противника. Но Женя только встрепенулся, а бить сильно не стал. Когда в зале ударили по железке и тренер махнул рукой, Женя дружески похлопал своего могучего противника по плечу. Он сделал это без всякого перехода, совершенно спокойно, будто они и не дрались вовсе. А высокому явно требовался такой переход: Женя у него что-то спрашивал, а он смущенно и оглушенно молчал, не слышал и будто даже не знал, в какую из четырех сторон сойти с помоста.

Когда после тренировки Женя и его недавний партнер, которого звали Петя, уже одетые вышли из раздевалки, Валентина поразились — насколько крупнее мужа казался этот большой, хорошо развитый, мускулистый парень. Он был в военной форме с лейтенантскими кубиками в петлицах, и военная форма особенно подходила к его широкому, мужественным плечам. Женя в своей белой шелковой рубашечке с короткими рукавами выглядел щуплым рядом с ним. То есть выглядел бы, если бы Валентина не видела их только что вместе на помосте, огороженном канатами.

Весь вечер Валентина тихо гордилась мужем. Она гордилась им, когда они стояли в очереди за билетами в кино, когда Женя вежливо разговаривал с группой подвыпивших ребят, пытавшихся смять очередь. Они послушали его, хотя он как будто бы и не повышал голоса. И вообще в толпе у окошечка кассира рядом с другими мужчинами Женя ни разу не пытался схамить, повысить голос, показать, что все эти мужчины, несмотря на их рост, ширину грудных клеток, слабаки по сравнению с ним. А Валентине даже хотелось, чтобы показал.

А после картины, в которой была война, была любовь, в которой герой уходил от плохой женщины к хорошей, Валентина сказала:

— Такая гадость этот твой бокс. Грязные, потные, носы друг другу разбиваете. Узаконенное хулиганство. Потом от вас воняет. Чтобы ты туда больше не ходил.

Женя промолчал. У него была такая манера — не отвечать, если он считал, что Валентина говорит абсолютно несерьезные вещи.

И вот теперь Валентина протестовала.

Она протестовала уже несколько дней. Если Женя у нее что-нибудь спрашивал, она не сразу отвечала. Ждала, пока Женя повторит свой вопрос. Если Женя брал ее за руку, она тотчас освобождалась, морщилась, говорила холодно: «Пусти». Она не скандалила, не кричала — хотела быть такой же спокойной и выдержанной, как Женя. Такой же мягкой и воспитанной, как его мать Антонина Николаевна. А Женя ничего не замечал, копался в своих справочниках и только иногда хмурился, поглядывая на Валентину. Так прошло два дня, а на третий Валентина забыла, из-за чего началась ссора, и обижалась на Женю уже не потому, что он не ответил ей, когда она запретила ему ходить на тренировки, а потому, что он целых два дня не замечал, что она оскорблена, страдает и не хочет с ним разговаривать. «Это не от спокойствия, не от наивности, — думала она о Жене, — это от равнодушия. Он равнодушный, черствый человек, любящий только самого себя, свои мускулы, свою технику, свои справочники. Он никого и ничего рядом с собой не замечает, оттого он и уравновешенный и спокойный такой». И Валентина припоминала Жене все, что, по ее мнению, характеризовало его дурно, как черствого, себялюбивого человека. Она вспоминала, как спокоен бывает Женя, когда заболевает Вовка. Она места себе не находит, ночами не спит, только задремлет и тут же с испугом вскакивает, как будто ей надо рано на работу и она боится опоздать. А Женя спит спокойно. Она намается с Вовкой, разбудит Женю, чтобы он ее сменил, он встанет, покачает Вовку, поносит его на руках, а потом опять ляжет и сразу заснет. Или упадет Вовка во дворе, Валентина и Антонина Николаевна наладятся бежать на его крик, а Женя их удерживает: «Сам переплачет».

Болезненный Вовка был величайшим счастьем и страданием Валентины. А ведь ничего такого Валентина раньше о себе самой и не думала. Когда вышла замуж, долго не хотела ребенка. Женю она сразу предупредила: «Не надо нам никого третьего. Нам и вдвоем неплохо. Надо работать и учиться». Беременность переносила тяжело, а родила — на год или на два для нее никого, кроме Вовки, не существовало. Потом, конечно, все понемногу опять восстановилось, расставилось по местам: и Женя, и работа, и учеба, — но что-то так уже и не могло измениться. И Женя будто подальше отошел и работа. Но, видно, не впрок Вовке пошла Валентина любовь, болел он часто и то недокармливали его, то перекармливали. И однажды Валентина, отчаявшись, решила отдать его в ясли — пусть будет как все! Она навсегда запомнила первый день, когда пришла забирать его. Увидев ее, Вовка бросился бежать, но не к ней, а от нее. Она от стены оторвать его не могла — так он плакал. Воспитательница ей сказала: «Большинство привыкает. Многие идут охотно — здесь им лучше, чем дома. А есть и такие, домашние дети. Ваш ребенок домашний».

Еще несколько раз она носила Вовку в ясли. Она уговаривала себя: «Все дети ходят в ясли!» Ругалась с Женой, с Антониной Николаевной: «Вовка ничем не лучше других. Привыкнет. Он дома всем голову пробил». Потом Вовка заболел, и она еще по инерции решила, что это несерьезно, что-то вроде кризиса. Перетемпературит, и вместе с температурой уйдет страх перед яслями. Но Вовка температу-

рил день, два, а на третий его забрали в больницу. Вместе с Вовкой в больницу легла и Валентина. Пускали туда не всех мам, а только тех, чьим детям не больше четырех лет. В больнице было тесно, в боксах по две кровати, мамам вообще негде прилечь. Целый месяц Вовка то выздоравливал, то умирал, а Валентина спала только тогда, когда приходил после работы Женя и сидел над Вовкой часа три (Антонину Николаевну, которая появлялась под больничными окнами с домашними борщами, бульонами, салатами в кастрюльках, Валентина как бы и не замечала). Сколько ужасов за это время натерпелась Валентина: по три раза в сутки обмирала вместе с Вовкой, когда в бокс входила санитарка с горячими простынями и тазом с еще парующей горчицей. Женя уходил из бокса, говорил, что одним криком Вовка разорвет себе грудь, что от этих простынь-горчичников мучительства и вреда больше, чем пользы. А Валентина не отвечала. Ей некогда было отвечать. Она брала Вовку на руки, и носила, и тянула: «А-а!» Она только и могла тянуть свое «а-а»... Она никому не отвечала, ей никого и ни о чем не хотелось спрашивать, она плохо видела Женю и почему-то плохо думала о нем. «Вот выйду из больницы, разведусь с ним и буду жить с Вовкой. Никого нам не надо». Но и эта мысль не задерживала ее. Потом уже, когда она вышла из больницы, Валентина рассказывала, как завидовала соседке-маме, здоровенной девахе, которая просила ее: «Ты все равно не спишь, посмотри за моей девочкой». А девочка вяло лежала на спинке, того и гляди синеть начнет. Валентина будила деваху, та вскакивала, хватала кислородную подушку, откачивала кое-как дочку и опять ложилась спать.

К концу месяца Валентина опухла вся, отсырела. Ноги у нее отекали, но и это ей было все равно. Вышла из больницы и сама себя почувствовала другой: что было важно — теперь не важно. Даже на Женю смотрела — отталкивала. Как будто второй раз Вовку родила, и никто ее понять не может: ни мать, ни свекровь. С другими детьми стала жестокой. Ну, не жестокой, но равнодушной. Давала конфету Вовке и забывала дать конфету мальчику, с которым он в это время играл. Или говорила Вовкиному другу: «Сережа, ты поиграй во дворе, Вова будет обедать».

Женя однажды сказал: «Испортишь пацана». Но Валентина только враждебно подумала о нем: «Здоровый, и ничего ему не делается». Оттого, что Женя всегда был здоров, от него, ей казалось, исходила опасность для Вовки. Женя все стремился одеть его полегче, дать задание потруднее, игрушку посложнее. Она знала, что Женя думает о Вовке как о будущем взрослом человеке, что он не чувствует его так, как чувствует Вовку она. Она иногда за обедом подвигала Жене тарелку с остатками Вовкиной каши: «Доешь». Вовка ел плохо, перемешивал, перековыривал еду, кашу заливал вареньем, засыпал сахаром, пускал слюни. Женя отодвигал Вовкину тарелку. А Валентина допивала и доедала после Вовки. Она и не то могла бы сделать. Как-то она видела, как собака прибирает за своими щенками, вот и она могла бы, как собака. Она как-то спросила Вовку, играя с ним: «Ты какой?» И Вовка ответил ей своим детским словечком: «Тельцевый». Вот он и был для нее тельцевым, маленьким продолжением ее тела, куда более дорогим ей, чем ее собственное тело.

Однако время пришло, и Вовку отдали в детский садик. Она сама отвела его туда. Он скандалил, и она кричала на него, тянула за руку — опаздывала на работу.

Уже целый год Вовка ходил в садик, но так и не привык, так и остался домашним ребенком.

А Женя чего-то не понимал. Он замечал, что Вовка после болезни стал трусоват, слезлив, что его закармливают и занячивают. Женя считал, что его сын должен быть лучше его самого, Жени. Это совпадало бы с общими законами развития и прогресса. Но ему казалось, что Вовка не лучше, чем он, Женя, был в его возрасте. И это Женю угнетало. Ему иногда приходило в голову, что именно таких пацанов, как Вовка, он в детстве не любил, дразнил, а иногда и поколачивал. Вот таких толстых, розовых и трусоватых.

Как-то он заговорил об этом с Валентиной. Валентина ответила: «Отцовской заботы мальчик не чувствует, отцовского примера ему не хватает». И стала на Женю нападать: «Я знаю, если бы сын, не дай бог, вырос бы плохим человеком, ты бы отказался от него». Женя удивился: «Каким плохим человеком?» Валентина продолжала настырно: «Ну, скажем, бандитом или фашистом». Женя удивлялся. Он не понимал Валентиной потребности вот так раздражать себя, доводить все до какой-то ужасной крайности. Но Валентину нельзя было остановить: «Ты бы отказался и был бы спокоен. Ну, немного поволновался бы, а потом успокоился». Женя пожимал плечами. Он видел, что вызывает раздражение Валентины, но не понимал причины этого раздражения.

3

Рассердившись на Женю за то, что он так легко отпустил ее, Валентина вышла из дому в самом дурном расположении духа. Ехать ей надо было до рынка, а там пересаживаться: на окраину, где жили Валентины родители, в гору, поднимался моторный вагон: подъем был крутой, прицепку трамвай не вытягивал. Это был девятый номер. «Девятка» никогда не ходила пустой или даже полупустой. Отойдя от рынка, трамвай еще в городе делал три остановки, но на этих остановках уже почти никто не садился — это было невозможно. Все шли к рынку, на конечную. И пахло в «девятке» не так, как в других городских трамваях: мешковиной, рогожей, старорежимными, длинными, до самых пят, сношенными старушечьими юбками и, главное, рынком — теснотой, молоком, потеками на мясных прилавках. В девятом номере продукты возили не только с рынка, но и на рынок. И место женщине с ребенком здесь редко уступали.

На остановке Валентину перехватила Нина-маленькая из бригады шпательниц литейного цеха. В руках у нее была кошелка с картошкой, бутылка рыночного молока.

— Валя,— сказала она,— я вижу, ты спешишь, но я тебя хочу задержать. Пропусти этот трамвай, следующим поедешь. Мне надо тебе рассказать. Саша уже две недели не приходит...

Нина-маленькая была добрейшее существо. Она жила со взрослеющей дочкой, а Саша был один из тех мужчин, которые приходили к Нине-маленькой по вечерам.

— Он женат? — спросила Валентина.

— Нет! — сказала Нина-маленькая.— Был! Но года четыре как разошлись.

— Так зайди к нему.

— Он адреса не оставил. Я тебе скажу, он и не Саша вовсе, а Фотий. Он из старообрядческой семьи. Валя, ты же меня знаешь, я ведь не стерва. Мне ничего от него не надо. Ему скоро пятьдесят, он весь больной, а я за ним, как за ребеночком, хожу. Ну, скажи, почему другие бабы рвут с мужиков деньги, подарки требуют — стервы стервами, а их ценят. А вдруг он болен, лежит, за ним ухаживать надо? Знаешь, я как-то спросила человека, который с ним ра-

ботаает: «Скажи, а что люди о Саше говорят, какой он на работе?» Валя, мне же интересно, какой он с людьми. И знаешь, что мне этот человек ответил? «Не хотелось бы вас огорчать, но с кем вы о Саше ни заговорите, большинство вам скажут, что он сволочь». Валя, а подозрительный какой! Сам исчезнет, а потом придет через десять дней — где был, что делал, я у него не спрашиваю, — а он начинает меня рассматривать: «Покажи синяки!» И примеривается: «Вот так тебя брали и вот так».

— А ты бы ему сказала: «А теперь давай твои синяки проверим».

Нина-маленькая недоверчиво улыбнулась:

— Валя, я серьезно. Он придет, а я же не смогу молчать, ничего не говорить, будто ничего не было. Что же мне делать?

По-настоящему эту Нину-маленькую надо было бы поставить перед собранием в цеху и дать ей, чтобы не портила дочь, не показывала ей дурного примера. Но Нину никуда не надо было вытаскивать. Все о ней и так знали. Знали, что она своего Сашу никогда Сашкой не назовет, не скажет «мой» или «этот», а всегда со значением: «Саша просил меня не афишировать его...»

— Ты скажи ему: «Нельзя со мной так обращаться. Я же волнуюсь, может, ты заболел, может, что-то случилось, а я не знаю, как тебя разыскать».

— Да, да, — сказала Нина-маленькая. Ее обрадовала эта уступчивая претензия.

В трамвае Валентина решительно раздвинула пассажиров и подтолкнула Вовку к дядьке, который только что сел на скамейку у первого окна.

— Садись, — сказала она Вовке, как будто место было пустым.

Дядька был в праздничном пиджаке, и, как от всех праздничных пиджаков в этом трамвае, от него, несмотря на раннее утро, уже пахло вином. В трамвае ехала какая-то артель, и дядька, судя по осанности, был в ней бригадиром. Он нехотя встал, и какой-то его напарник тотчас уступил ему место, а Валентина сказала:

— Инвалидов много развелось. Утро, а ноги не держат.

Она не боялась заводить скандалы — в этом же окраинном трамвае училась отгавкиваться. Она и Женю однажды пыталась в этом трамвае защитить. Какая-то девчонка наступила ему в толкучке каблуком на ногу, Женя юмористически охнул, а Валентина тотчас сказала девчонке:

— Не на скачках, нечего ногами перебирать.

Девчонка была тоже с окраины, она ответила, и они с Валентиной сцепились, а Женя удивился и смутился. Но Женя, считала Валентина, вообще многого не понимал.

Трамвай шел по путепроводу. Внизу тускло лоснились солнцем черный паровозный шлак, черные шпалы и ослепительно белые полоски рельсов между ними. Это был особый станционный шлак и особые станционные шпалы, густо политые мазутом, нефтью и керосином. Валентина смотрела вниз, не крикнет ли маневровый или транзитный паровоз, чтобы вовремя зажать Вовке уши.

Преодолев подъем, трамвай пошел быстро, на ходу его мотало, словно расстояние между рельсами было слишком широким для его колес.

Теперь на остановках только выходили. Почтительно пропустив бригадира, вышла празднующая воскресенье артель. Только в этот момент обнаружилось, что с артельцами ехали женщины. Они пошли за мужчинами в своих платьях с круглым вырезом на груди, с рукава-

ми на резинках — фонариком («рукав по́вен, по́вен»), в платочках в синий горошек, или, как тогда говорили, в копеечку. Мужчины помогали им спрыгнуть — рельсы лежали здесь не как в городе, не на уровне мостовой, а как на железной дороге: насыпь, а на ней шпалы. И весь путь уже казался не трамвайным, а железнодорожным, и все вокруг было таким, каким его видишь не из трамвайного, а из железнодорожного вагона: бесфасадные — не перед кем красоваться — складские помещения, длинная заводская стена, посреди неогороженного пустыря арка никому не нужных ворот (стадион), беленые дома из самана с синими ставнями.

Валентина вышла на «кольце» — конечной остановке. Здесь началась степь и было слышно, как гудят провода. И солнце здесь было сухое, степное, с сухим жаром, вызывающее сердцебиение одним прикосновением к коже. Мощеная дорога сменялась грунтовой, приусадебные сады — огромными ромашками огородных подсолнухов. Над подсолнухами воздух завивался прозрачными струйками — сухая степь что-то непрерывно испаряла. Было странно после трамвайной толчеи, после грохота попасть в эту тишину и оглянуться на город.

Валентина за руку перевела Вовку через трамвайные рельсы и отпустила. Вовка обрадовался солнцу, степи, гудению столбов, тому, что можно выбегать на середину улицы и не бояться лошадей и автомобилей.

Проѐзжая, немощеная часть улицы, которой они шли, была как бы продолжением степи в городе. Подходы к домам были вымощены строительными отходами: битым кирпичом, кусками песчаника, щебнем, — улицу же хозяева домов были не в силах замостить, она так и осталась земляной, перепаханной хозяйками, закапывавшими в нее кухонный мусор, разбитой тележными и автомобильными колеями. Картофельные очистки, хлебные корки быстро перегнивали в земле, но битое стекло, консервные банки, жужелицу земля быстро переработать не могла. И все же это была земля, и пахло от нее дорожной пылью, сухостью, коровами и жильем. Улице этой было лет десять, и в основном все здесь отстроились. Во многих дворах времянки уже сломаны, в других оставлены под летние кухни. Кое-где по-деревенски держали коз и коров.

Да и сама деревня была рядом. Улица упиралась в пустырь, за пустырем огороды, за огородами — хутор Приреченский. В хуторе, большинство жителей которого работало в городе на заводах, на станции, все же сельская власть — сельсовет, колхоз. И дальше вдоль железной дороги был еще один хутор, потом еще, а еще дальше — цементный завод, вокруг которого и дома, и деревья, и дорога, и сама земля — все было засыпано белой пылью.

Хутора были казачьими, с домами, выкрашенными в любимый казачий мундирный синий цвет, и хотя улицы там были поуже, чем на городской окраине, и хаты поуже, и приусадебные участки меньше и победней, на городской окраине считалось, что хуторские и богаче и прижимистей — снега среди зимы не выпросишь и вообще не тем воздухом дышат.

Улица все больше пахла окраиной, деревней, землей, воскресным спокойствием. Издали Валентина увидела родительский дом, а рядом — недостроенный, высокий, который старшая сестра Ольга строила вместе с третьим своим мужем Гришей.

Еще три года назад, когда Ольга во второй разошлась и в третий раз вышла замуж, отец и мать решили, что надо ей помочь создать семью на прочной основе, и дали денег на строительство нового дома.

Как водится, пригласили родственников, знакомых и соседей на саман, сделали две тысячи саманных кирпичей, начали возводить стены и тут в первый раз поссорились с зятем — Гриша хотел строить дом выше и пошире, чем строили такие дома до него. У кого-то он увидел кирпичный, с верандой, не с печным, а с паровым отоплением и себе задумал такой. Ольга стала на сторону мужа, и стены возвели так, как хотел этого Гриша, а коробку из стен накрыли от дождей крышей. Женя тогда сказал Грише и Ольге: «Простенки поставите, потолок сделаете, полы настелите — зовите меня. За мной электропроводка». Но Женю все не звали и не звали: у Гриши вдруг начала рушиться стена. Рушилась стена глухая, выходящая во двор. Вначале она набухла, выпятилась так, что все швы между саманными кирпичами стали видны, ее подперли бревнами, но она все равно упала. У Гриши побывали все специалисты с улицы. Вроде все было сделано правильно: хорошо заведены углы, кладку делали по отвесу, потолочными балками сверху закрепили, крышей придавили, а стена все-таки рухнула. Стену поставили еще раз — купили несколько сот саманных кирпичей, на окраине было много семей, промышлявших саманом, — тщательно уложили и даже обмазали. Стена немного постояла, а потом опять стала дуться: на швах из саманных кирпичей выстрекнулись соломинки, как будто выросла щетина. И вся улица заговорила о доме, об Ольге и о Грише. О том, что это недаром, что бог шельму метит. Что оба они хороши — и Ольга и Гриша. Что Гриша казак, а казаки никогда по-настоящему не работали, только охотились и рыбу ловили. Что не такого зятя надо брать в работающую семью. И кое-что тут было правдой, потому что Гриша был из казаков и действительно любил охоту и рыбную ловлю, а работу не любил — переходил с одного завода на другой, осел в какой-то артели и все отирался по больницам и себе-сам, добивался пенсии: когда-то он тяжело болел и, хотя давно выздоровел, все напирал на то, что у него была тяжелая болезнь. После того как стена упала во второй раз, он запил, пропил деньги, накопленные на доски для полов и на кирпич, которым для крепости и красоты — чтоб не мазать Ольге каждый год хату! — собирался обложить дом. И еще много раз пропивал зарплату и ругался из-за этого с Ольгой, с ее матерью и отцом. Но мать уговорила отца, и он дал Грише денег на кирпич. И вот теперь вместо выпавшей саманной стены сделали кирпичную на цементном растворе.

Вовка тоже узнал дом бабки и деда и побежал вперед, но Валентина его удержала: она боялась, что Вовку встретят совсем не так радостно, как он к этому привык дома. Валентина давно начала отдаляться от своих. И вначале это отдаление было, как освобождение, легким и радостным. Она даже не отдалялась, а именно освобождалась: еще когда жила дома, все реже работала у себя на огороде, реже ходила с ведрами за водой — не женское это дело, пусть Ольгин муж или брат Виктор носят, — реже помогала матери мазать хату. А потом совсем ушла из дому в общежитие и лишь иногда по воскресеньям вырывалась гостьей к себе на окраину. А зимой и осенью, в грязь, и совсем не приходила — обуви у нее такой уже не было. Она отвыкла от своих и видела, что от нее отвыкают тоже, и было это ей почти все равно до тех пор, пока не родился Вовка. А тут она стала ревновать и раздражаться: дети родились и у Ольги и у двоюродной Юльки, а ей хотелось для Вовки как можно больше любви в этом мире. А когда Вовка болел, окраинные почти не приходили навещать Валентину в больницу.

Ольга первой вышла встречать Валентину.

— Вот неожиданность! — сказала она. — Все собрались дома. — И сообщила: — Перед тобой самый несчастный человек на свете.

Ольга была в старой домашней юбке, испачканной цементом, и юбка эта не застегивалась на две верхних кнопки, не сходилась.

— Толстею,— сказала Ольга,— становлюсь рыхлой.

Она равнодушно выставляла напоказ свои расстегнутые кнопки. Когда-то, девчонкой, Валентина завидовала старшей Ольге, считала ее смелой, а жизнь ее интересной. А сейчас осуждающе подумала, что выставленные напоказ расстегнутые кнопки — все, что осталось от Ольгиной смелости. И что способностей Ольги хватило только на то, чтобы закончить зубоврачебный техникум.

— ...он говорит — «не хозяйка». А я люблю жить. Люблю есть, покормить ребенка,— объясняла Ольга, и Валентина никак не могла понять, что появилось нового и странного в ее манере разговаривать.— Вот болела всю неделю.

— Что у тебя болело?

— Все. Почки, печень, желудок. Расстроился весь организм.

Она так произнесла «организм», что Валентина сразу же ее перебила:

— Я думаю, чего это ты так разговариваешь? А это ты кокетничаешь. По привычке, что ли?

— Правда? — ничуть не обиделась Ольга и засмеялась.— Наверно, по привычке. Я с мужиками больше люблю разговаривать, чем с женщинами.

Глаза ее с вялым благодушием скользнули по Вовке, который крикнул:

— Здравствуйте, тетя Оля!

Ольга сказала:

— А Танечка уехала на море с детским садиком. В лагерь.

— Как же ты ее отпустила? — сказала Валентина с раздражением.— В первый же раз!

Они вошли во двор, и мать, возившаяся возле печки, вместо приветствия крикнула Валентине:

— Она ее на два срока отпустила! Чтобы не мешала им с Гришкой гулять. За две недели ни одного письма девочке не написала. Вчера открытку от воспитательницы получили: девочка тоскует, ждет от матери письма. Я уже всем говорю, что не ее это дочка, а моя. Я ей открытку показываю, а она за голову хватается: «Мама, забыла». Это родную дочь забыла!

— Ольга же болела,— сказала Валентина.

Ольга сказала все тем же тоном:

— Валя, ты меня, конечно, осудишь. Но как хочешь — забыла! Я уж сама за голову хватаюсь — что же я за мать! Но вот прислушаюсь к себе, а ничего у меня внутри к Тане нет. Ты ж знаешь, как у меня с ее отцом получилось — может, поэтому.

Валентина со страхом посмотрела на Вовку — понял ли он что-нибудь. Но голубые Вовкины глаза были бездумно радостны. Он увидел деревянное корыто с замесом цемента, густую массу, в которую была воткнута штыковая лопата.

— Вова,— сказала Валентина,— иди на улицу поиграй. Я тебе разрешаю.

Надежда Пахомовна сказала, проводив внука глазами:

— Ко всем бегает, деньги занимает. У меня уже столько раз бра-ла. «Мама, вся зарплата у меня вышла, чем я его буду кормить?» Я говорю ей: «Овощи сейчас пошли, свари ему постный борщ. И дешево и вкусно». А она мне: «Мама, свари. Я не умею».

И Надежда Пахомовна показала рукой на Ольгу — полюбуйся на нее!

Валентина слушала мать с нарастающим раздражением. Она всегда слушала то, что говорит мать, с досадой и раздражением. Эти многословные обличения ничего не стоят, и тот, кто принял бы их всерьез, оказался бы в дураках (а Валентина часто принимала их всерьез). Мать давно все Ольге простила, а Ольга матери. Они всю жизнь скандалят и прощают друг другу и никогда из этого отвратительного круга не вырвутся. Чтобы вырваться, надо не прощать. Ни другим, ни себе Валентина никогда не прощала и вырвалась. Валентина до сих пор помнила, как мать дразнила ее в детстве, читала ей глупые стишки: «Стонет сизый голубочек, стонет он и день и ночь, миленький его дружок улетел навеки прочь...» Или пела: «Умер бедняга в больнице военной, долго от раны страдал...» От чего Валентина заливалась слезами. Этого «голубочка» и «беднягу в больнице военной» Валентина вспоминала матери каждый раз, когда раздражалась на нее. Она всегда все разом припоминала матери, когда на нее злилась, и не могла не припоминать, и не хотела не припоминать. Вот и сейчас она вспоминала матери и этого «беднягу», и то, как мать, посетив ее в больнице, передала ей слова Вовкиной прабабки Вассы: «Умрет он. Пусть Валентина не убивается» — и многое другое.

А Надежда Пахомовна сказала:

— Деточки! Ольга с Гришкой дом себе строят, а мы с отцом деньги на это строительство зарабатываем. Я ж и так на фабрике работаю не как другие. Прихожу — лифчик расстегиваю, чтобы не мешал, волосы перевязываю и на обед не всегда прерываюсь. Вчера мужик кричит мне с улицы в окно — а мы в полуподвальном: «Позовите Веру». Мне Веру позвать — только крикнуть в цех. А я отмахиваюсь.

Мать в двадцатых годах была комсомолкой и потом всегда была активисткой, общественницей и у себя на фабрике и в квартальном комитете.

Ольга засмеялась:

— Мать за справедливость воюет, а бабы говорят, что ее жадность губит. Заработает двести — мало! Еще пятьдесят! А там тарифная сетка — как выше, так и режут.

А Надежда Пахомовна сказала, показывая на Ольгу:

— Я ей заняла тридцать рублей на путевку для Тани. Говорю: «Можешь не отдавать. Для внучки путевка». Гришка у меня уже раз пять занимал. Сорок на цемент, еще сорок на магарыч, сто рублей на доски. Заняла. Сказала отцу: «Скорее уйдут». А Ольге говорю: «Сто рублей, что на полы, можете пока не отдавать. Мне на похороны будут. А сорок отдайте: отцу надо брюки купить». «Хорошо, мама». А вчера мнется: «Мама, и сорока рублей сейчас нет». Хорошо, отец безотказный, все во дворе делает да еще Гришке дом строит. Гришка же только подает да поддерживает!

Ольга обиделась:

— Мать поможет, а потом все жилы вытянет, благодарности требует.

Надежда Пахомовна внимательно посмотрела на Валентину, как та приняла Ольгины слова. И продолжала:

— Я уже Гришке сказала: «Простенки возведешь, пусть дом не стоит пустой. Одну комнату отделайте, печку поставьте и живите или жильцов пустите, а в другой доски сложите. За зиму они и высохнут. А вы не переберетесь — мы с отцом в ваш дом переедем. Так больше жить нельзя».

— Что же Гришка? — спросила Валентина.

— Говорит: «Не успею». Говорит: «Вы нас еще потерпите, а я потом вам все деньги отдам». Я ему сказала: «Знаю, как вы отдаете. Просите вы, как иуды, а отдаете, как черти».

И Надежда Пахомовна пошла к летней печке, на которой что-то варилось в кастрюле.

— Я вот думаю,— сказала она оттуда,— почему мужики больше любят бесхозьяственных. Ольга ж наша ничего не умеет, только о мужиках говорит, о любви, которой ей все не хватает. Уж сколько абортос сделала, а никак не охладится. Как выпьет немного, так уже и Гришку ругает — не такой, как ей надо. Меня обвиняет: «Теща в семейную жизнь вмешивается». А я ей говорю: «Взяла человека в дом, должна за него ответственность нести. Хороший, плохой — четвертого мужа у тебя не будет. По закону не положено. Всех мужей исчерпала. Нечего про него гадости говорить».

Ольга всплеснула руками:

— Мать уже всей улице рассказала, какая она хорошая теща!

По глазам Надежды Пахомовны было видно, что никакого значения словам Ольги она не придавала. Она сказала:

— Ты не учишься у Юльки, у тебя все равно так не получится. Юлька отчаянная. Недавно прибегает, два коровьих сердца в руках, положила их на грудь: «Вот так пронесла на проходной!» В магазине колбасного завода работает. С мужем скандалит. Степан, конечно, пьет, но он же все и делает: и забор поставил, и собачью будку, и сарай.

С двоюродной Юлькой Валентина училась в одном классе, их вместе принимали в комсомол.

— Это преступление—то, что она сделала,—сказала Валентина.— Я пойду к ней.

— Сходи,—согласилась Надежда Пахомовна.— Она и сегодня концерт закатывает. Триста рублей у нее пропало. Из кассы взаимной помощи! Она уже весь дом перерыла, бабку с дедом к соседям загнала. Ищет! А там не то что триста рублей — солдата со шпагой спрятать можно. Бабкин порядок!

Вход на Юлькину половину хаты был с улицы. Юлька встретила Валентину во дворе, загнала собаку в будку и, ни секунды не сомневаясь, что Валентине уже все известно, стала причитать:

— Валя! Это же не три рубля! Это же триста рублей! Я вчера сама в цеху посчитала, вальтом их сложила, пришла домой, со Степаном подралась, а сегодня кинулась — нет денег! Я бабке говорю: «Ты не вставай, не ходи. Ты лежи, вспоминай, может, ты с мусором вымела?» А бабка уже все забывать стала. Зимой закроет заслонку наглухо, а печка горит. Варенье варила, вместо сахара высыпала манную крупу. Обиделась! Под трамвай ходила кидаться. Нахальство! Я за ней босиком по улице бежала. Ну у кого ж мне спрашивать, не у дитя же! Я и так дите вопросами замучила. Крошечки у меня во рту с утра не было! Твоя мать к нам пришла, послушала, как мы с бабкой разговариваем. Говорит: «Черт меня сюда к вам занес. В этот гроб! Здесь у вас не домом, а гробом пахнет!»

На Юльке было старое черное платье, надетое прямо на голое тело. Валентина это сразу заметила. Юлька была на местный, окраинный вкус красивая. У нее были коричневые глаза, завитые волосы. Похоже было, что в утренней суматохе она не только не позавтракала, но и не умылась, но губы все-таки мазнула. Краска уже стерлась и осталась только в трещинах, как после рабочего дня. А в хате попадало переселением. Вещи, которые десять лет неподвижно стояли на своих местах, сдвинуты, шкаф перерыл, заслонка и короб в печи открыты. Юлька была в отчаянии, но это было отчаяние женщины, которая подралась с мужем и не боится бегать по улице в платье, надетом на голое тело. Валентина не хотела и не могла ей сочувствовать.

— Дмитриевна умерла,— вскинулась Юлька,— а то бы она мне погадала, где деньги: сама я потеряла или бабка в печи сожгла вместе с мусором. Пойду к Климовне, может, она мне скажет.

С тех пор как Валентина пришла к своим, раздражение ее все росло. Ее возмущал этот беспорядок поступков и слов. Казалось, что ее родственники нарочно запутывают себя, чтобы не видеть главного в жизни. Чтобы не видеть выхода из всей этой путаницы раздражений, ущемленных самолюбий и обид. Раньше, когда она жила дома, она меньше все это замечала или сама, что ли, была такой. Вот и Гришка придет и будет хвастаться своей артелью: «Ты не смотри, что у нас труба пониже, дым пожиже, зато спокойно. Зато левой работы вот так! А что ты на своем заводе зарабатываешь?» Он всегда привязываясь к ней. Трезвым дразнил: «Что же ты мужа своего в партию не примешь, коммунистка?» Пьяным пытался ухаживать прямо при Ольге, хватал за руки, старался обнять. Гришка был грамотным, читал газеты и книги, носил очки, сложен он был прочно. Плечи были просто широченными, а кожа на руках и лице дубленой от постоянного загара на рыбалке и на охоте. Валентина его стыдила: «Инвалид! К врачам ходишь, от работы уклоняешься! Ольгу жалко, а то написала бы куда надо...» «Напиши, напиши»,— говорил Гришка, и глаза его под очками становились ненавидящими. В ненависти становился бесстрашным и говорил такие вещи, от которых Валентина бледнела. Она не Гришки пугалась, а чего-то гораздо большего,— криком своим Гришка обязывал ее сделать то, чего она сделать не могла. Обязана была и не могла. Она, конечно, отвечала ему. «Говорить для меня,— как-то сказала Валентина, когда ее просили выступить на собрании,— великий страх и труд». Но на самом деле она умела говорить жестко и точно. Ее никогда не сдерживал страх перед словом жестоким или даже оскорбительным, если она считала, что его нужно сказать. Гришке она говорила с презрением: «Тебя нельзя оскорбить, я знаю. Ты захребетник. Убери руки, ты для меня не мужик». Но все-таки она бледнела, когда Гришка кричал, потому что она была обязана не отвечать ему, а сделать что-то совсем другое, чего она сделать не могла.

Валентина вернулась от Юльки к матери и увидела Гришку. Гришка сказал насмешливо:

— Бог работника послал. Теща, вы дайте ей переодеться, пусть Ольге поможет, а там мы что-нибудь придумаем.

Надежда Пахомовна повела Валентину в пристройку переодеваться в рабочее, кинула ей старую юбку, запачканные глиной босоножки и сказала, оценивающе поглядев на дочку:

— Ты уже, наверно, отвыкла. А у нас воскресенье не воскресенье, а все работа. В тесноте, суете да в великой семье. Так и бегаем от порожка к порожку.

Валентина не очень-то любила свою мать, но и Надежда Пахомовна настолькоотношенно относилась к своей самой правильной и удачливой дочке.

4

Строительство было рядом. Дом, в котором должны были поселиться Ольга и Гриша, и впрямь стоял на высоком фундаменте. Ступенек к крыльцу еще не сделали, и все поднимались по наклонно положенным доскам. Странен пустой дом изнутри. Фасад Гришка отделал сразу, чтобы смотреть было приятно и чтобы участковый беспорядком не попрекал. А войдешь с улицы — пахнет землей, духовой, сушилкой. Окна плотно закрыты, под ногами земля, над землею проложены доски, между стенами и потолочным настилом — просветы, их еще надо конопатить. Дверей внутри дома нет, возведены еще

не все простенки, поэтому можно разом осмотреть все будущие комнаты, прикинуть, где будет зал, где спальня, где детская комната. Рамы тоже еще неплотно вошли в стены. Между стеной и рамой сквозят отверстия. Они именно сквозят — яркие, солнечные, сквозные. Свет сквозь них проходит совсем не так, как сквозь мутные, еще не мытые стекла. И такое ощущение, что душа дома еще где-то снаружи, а внутри еще душа земли. Три года стоит пустой эта накрытая крышей саманная коробка, и тишина, и пустота, и запах земли в ней за это время накопились.

— Мне уже ходу назад нет,— сказал Гришка.— Такой большой дом надо или двумя печками обогреть, или паровым отоплением. Надо доставать трубы, радиаторы. Только бы война не помешала. Как вам, партийцам, говорят: будет война или не будет?

— Газеты читай,— сказала Валентина.

— Газеты надо и в строчку читать и между строк,— сказал Гришка.— А вот говорят, старые люди по библии войну нагадывают.

— Слышала,— сказала Валентина.— Железные птицы будут летать, брат на брата...

— Ничего смешного,— сказал Гришка.— Брат на брата уже вставал, и железные птицы летали.

— Ты-то инвалид, тебе бояться нечего,— сказала Валентина.

— С Финляндией у нас была маленькая война,— сказал Гришка,— а школу под госпиталь забрали.

Гришка вошел в свой дом и сразу стал как-то значительнее. Так он отодвигал и потом ставил на место секцию забора — калитки еще не было,— так поправлял доски, по которым Валентина и Ольга должны были пройти. Это был настоящий дом, с крышей, стенами, и Гришка все в этом доме знал: и сколько саману пошло, сколько цемента, сколько килограммов гвоздей и сколько жженого кирпича. Конечно, ему помогали: родственники и соседи делали саман, мастера клали стены, плотник крыл крышу,— но все они уходили, а он оставался.

Валентина слушала его и думала, что никогда Женя не согласится строить себе такой дом. Женя как-то обмолвился, что скоро всю окраину снесут, а на ее месте поставят большие дома. И Валентина думала точно так же, хотя ей это чем-то и было обидно. Каждый раз, когда она приезжала к родителям, она ждала, что окраина немного сократилась. Валентина хорошо помнила то время, когда за их улицей начиналась степь. Раньше в районе был только один магазин. Он так и назывался — «магазин» (рядом керосиновая лавка, объявление: «В ведра и другую открытую посуду керосин не отпускается»; пожилой керосинщик, который отпускал керосин, сидел на низкой скамейке, колени его накрывал фартук из старой клеенки). Потом построили еще один — «белый». Теперь открыли третий — «новый». Простым глазом было видно, как все новые и новые одноэтажные дома покрывали недавние степные бугры и балки, сливались, охватывая город гигантским кольцом.

— Домовладельцем становишься,— сказала Валентина Гришке.

— Хозяином,— ответила за Гришку Ольга. У нее еще было столько душевной свободы, чтобы иронически отнестись к этому слову. А может, ирония была только душевной роскошью — дом-то был уже почти готов.

Поработать им пришлось совсем немного. Носили с Ольгой землю в ведрах и подавали ее Гришке, который стоял на приставной лестнице и передавал ведро Валентинину отцу. Отец принимал ведро, втягивал его на чердак и рассыпал землю по чердаку. Отец так и поздоровался с Валентиной сверху, из чердачного окна, где он

сидел и курил, ожидая, пока Гришка договорится с женщинами. Он медленно улыбнулся Валентине, спросил:

— Сама или с мужем?

— С Вовкой,— ответила Валентина и тоже улыбнулась отцу.

Он не стал спускаться к ней, чтобы поздороваться, а она не сделала попытки к нему подняться и даже не позвала Вовку, чтобы он показался деду. Когда все закончат работу, а отец сверх этого закончит что-то свое, он спустится, посмотрит на Вовку и, может быть, погладит его по голове. Как-то так всегда получалось, что кто бы и когда бы ни приходил к родителям Валентины, у отца всегда руки были запачканы землей, краской, ржавчиной — вообще работой, и он не мог сразу подать их гостю. И потому здороваться подходил последним или вообще не подходил и только издали дружелюбно улыбался, если гости были свои, близкие люди и с ними не нужно было быть особенно церемонным.

Валентина любила отца девочкой и еще больше любила сейчас. Отец был не очень грамотным, но она считала его умным потому, что он был спокойен, добр и никогда не говорил вздорных вещей, которые так часто говорились в этом доме, полном крикливых женщин. Но она и жалела его тоже потому, что, сколько она его помнила, она помнила его таким, как сейчас, на чердаке или на крыше, где он поправлял черепицу, стучал топором или молотком, или на дне глубокой ямы, из которой он лопатой выбрасывал землю — копал погреб. За двадцать с лишним лет в жизни Валентины и всей семьи происходили большие и маленькие изменения: из землянки они перебрались в новую хату, к хате сделали пристройку, мать то работала на фабрике, то на несколько лет бросала работу, Валентина ездила в пионерские лагеря, ушла из дому, вышла замуж, родила Вовку, и только у отца, казалось, за это время ничего не изменилось: как и раньше, утром он уходил на работу, вечером приходил с работы, обедал и опять принимался за какую-то работу по дому: что-то строгал, прилаживал, укреплял, копал, носил воду. Он и производство свое за это время ни разу не сменил, и в отпуск уходил очень редко — все ему подходило так, что выгоднее взять компенсацию: штaketник для забора как раз надо подкупить или дочкам материалу на платье,— и зарплата у него как будто бы за все эти годы почти не менялась, и пахло от него всегда одинаково — паровозами, ремонтной паровозной ямой, шлаком, маслом, тем густым, сумрачным воздухом, который и при сквозняке всегда стоит в паровозном депо; и рабочая спецовка его всегда лоснилась так, что на сгибах, в складках, казалось, натекает масло. Мать ругалась: постирать один раз спецовку отца — воды нужно столько нагреть, сколько требуется на большую стирку для всей семьи. И долгие годы от всего этого отцовского постоянства и спокойствия (и в голод, при карточной системе, и после нее) и Валентине всегда все было ясно и спокойно. И на анкетный вопрос о социальном происхождении родителей она всегда с гордостью, спокойствием и чувством превосходства над другими писала об отце — «рабочий». На улице у них многие были рабочими, но об отце она всегда с особой гордостью думала: рабочий. И смелым она отца считала с детства, с тех пор, как она с матерью впервые пришла к нему в депо, в котором, несмотря на высокие окна, от копоти, от шлака, от натеков масла совсем было бы темно, если бы не электрический свет и не ножевой какой-то, опасный блеск рельсов, кромки накатанных паровозных колес, шатунов и поршней. Она увидела отца под паровозом и испугалась, а он не протянул к ней испачканных рук, а, как всегда, медленно улыбнулся. А рядом свистнул паровоз, и этот звук ударил ей не только в уши, но и как будто

бы и в нос и в глаза — она услышала сильный рев, увидела над трубкой свистка белое облачко, потом на месте облачка появилось голубоватое свечение, какая-то пустота, от которой нельзя было отвести взгляда — так она переливалась и напряженно дрожала, а вокруг уже ничего не было слышно: ни свиста, ни рева, ни голоса матери, которая продолжала что-то говорить отцу, но так и замерла с открытым ртом. И на всех лицах была глухота и ожидание, и только отец все так же спокойно улыбался ей. В конце концов это непереносимое безмолвие кончилось, голубоватое свечение над трубкой паровозного свистка погасло, и все задвигались, заговорили, отец вылез из-под паровоза, бросил на рельсы молоток с длинной ручкой, и молоток в этом воздухе, который еще дрожал от недавнего рева, тихо звякнул о рельс. Мать что-то говорила отцу, а Валентина все ждала, что она ему скажет, чтобы он больше не ложился под колеса. Но мать этого так и не сказала, и когда они уходили, отец опять полез под паровоз.

С тех пор Валентина не могла слышать без страха о каком бы то ни было несчастном случае на железной дороге. О том, что где-то ударило сцепщика буфером или паровоз сошел с рельсов: боялась за отца.

С матерью и Валентина и Ольга часто ругались, над матерью шутили. С отцом никто не ругался никогда. И когда однажды Гришка назвал отца батей, слово это показалось Валентине грубым и непочтительным. Но потом и Ольга стала снисходительно называть за спиной отца батей, и Валентина вдруг почувствовала, что она тоже испытывает к отцу покровительственное чувство. Валентина знала, что ее отпустят из дому в общежитие, но ей показалось, что отец уж слишком легко отпустил ее. Смирился с тем, что она уходит. Тогда она и подумала, что отец так же смиряется с тем, что дома остается Ольга, у которой все не ладится семейная жизнь, с тем, что мать ссорится с его родителями, и со многим другим, из чего состоит его жизнь.

И теперь никто не позволял себе шуток над отцом в его присутствии, но без него уже рассказывали о нем забавные истории. Например, о том, как отец просидел последний отпуск дома. Конечно, копался в саду, на Гришкином строительстве, сменил несколько секций в заборе, но и просто так сидел и лежал много. Иногда спал днем. А к концу отпуска кинулся — у него складка на животе. Он даже испугался, а разглядели — это он просто поправился. В жизни у него не было так, чтобы можно было зашпунуть на животе!

подавать землю кончили часам к одиннадцати — первым решил кончать работу сам Гришка. Отец остался еще на чердаке, а Ольга и Валентина отправились к матери. По дороге встретились с Юлькой.

— Мать готовит на стол, — сказала Юлька. — Рада все-таки, что ты приехала. Я ей помогала, пока не увидела, что вы идете. Я ж с ней месяц была в ссоре, а теперь помирилась. Знаешь, как? Она стала мазать свою половину хаты, а я вышла на улицу — и свою. Она только полчаса вытерпела, а потом стала меня учить: «Не так мажешь». — И Юлька засмеялась.

— Деньги ты, что ли, нашла? — удивилась Ольга. — Или Климовна нагадала?

— Климовна — старая транда! — сказала Юлька. — Она и гадать не умеет. Дмитриевна — вот гадала. А эта только карты раскидает, а сказать ничего не может. А из-за денег не в петлю же лезть! Вот Дмитриевну хоронили, я смотрела, как ее в могилу опускали: перед этим все такая ерунда! Умру и смеяться буду. А мать твоя по-

дошла к могиле и сказала: «Вот тебе, Дмитриевна, и все. Никто к тебе больше не придет».

И Юлька, словно забыв, о чем шла речь, или не придав разговору никакого значения, стала рассказывать, как умерла жизнелюбивая старуха Дмитриевна, которая пережила и сына, и дочь, и двух жильцов, которых пускала в хату. И хвастала: «Меня Таня укладывала, Вера укладывала и Федя укладывал. А где они теперь?»

...Стол стоял в тени старой жерделы. Земля вокруг была вытоптана, как возле печи. На столе и под столом — помокревшие от удара жерделы. Мать только что смахнула их со стола, подмела, а они опять падали. И все время падают. Пройдет полминуты — и наверху, в листьях, что-то созревает, потом прошуршит и глухо ударит об землю или стол. Жерделы мелкие, вырождающиеся, а звук полновесный. На него невольно оглядываешься — ищешь, не упало ли что-то большое. Валентина села так, чтобы можно было опереться спиной о ствол жерделы. Босоножки она сняла, а ноги опустила прямо в пыль. Пыль была тонкая и теплая. Валентина хотела позвать с улицы Вовку, но Надежда Пахомовна сказала, что Вовка накормлен и отпущен в соседний двор.

На мать было страшно смотреть — в таком раскаленном воздухе над печкой она стояла. И загар у нее был печной, сушащий кожу и такого же цвета, как кизячный пепел.

Появился Гришка с двумя бутылками водки в руках. Он лазил в подвал, был потен и щурился сквозь очки довольно.

— В такую жару будешь эту гадость пить? — сказала Валентина.

— Буду! — ответил Гришка.

Мать бегала от печки к столу, ей помогали Ольга и старая, глуховатая бабка, мать Надежды Пахомовны. Ольга выносила из хаты тарелки, стопки, а бабка сидя чистила картошку, сваренную в мундире. Ольга рассказывала, как она болела всю эту неделю, как у нее расстроился весь организм, а Надежда Пахомовна ревниво прислушивалась к ее словам. Потом с досадой сказала о себе:

— Три дня назад упала вот здесь, а рука до сих пор болит.

Ольга засмеялась:

— Люди падают сверху вниз, а мать снизу вверх. Бежала со всех ног и аж до калитки летела. И еще удивляется, что синяк не сходит. У нее должен пройти!

Надежда Пахомовна только посмотрела на нее. Поставила на стол помидоры.

— Свои!

Сообщила уличные новости. Воюет с соседом Иваном рябым. Надумал мужик летом чистить уборную. Вонь.

— Я ему говорю, — сказала Надежда Пахомовна, — рябой ты черт, такую работу осенью делают! — И без перехода рассказала, как Иван воспитывает внука: — Иванов внук ударил палкой маленького товарища и бежать домой. А Иван стоит и молча смотрит. «Что ж ты, Иван, не видишь, что ли?» «А он ему палку сломал, значит, он должен был его ударить». Вот такой человек!

И опять без перехода сказала, что Иван рябой ухаживает за ней. Как напьется, переходит через улицу и начинает заговаривать, а сам как будто в разговоре толкает ее и все норовит по груди. «Ты свою Таню лучше корми, ее и толкай, а то у нее только кожа да кости».

Все сильнее пахло солнцем, жарой, тень под жерделой становилась все прозрачней, поверхность стола накалилась. И куда ни помотришь — всюду солнце и жара: и над белой от пыли дорогой, и над печкой, и над черной крышей невысокого сарая, и под редкой тенью деревьев в саду. Но жара не была тяжела Валентине, ее босым ногам,

ее обожженному носу и голым рукам. К столу постепенно собралась почти вся семья. Пришел отец, только что вымывший руки, переодетый рубаху и брюки, пришла Юлька, усадили за стол мать Надежды Пахомовны. Не было только бабы Вассы и деда Василия, которые, поругавшись с Юлькой, с утра ушли из дому и отсиживались у соседей. Звать их по очереди ходили Гришка, Ольга и Юлька, но старики уперлись.

— Мама,— сказала Ольга,— тебе надо сходить.

— Ты не смотри на меня строго,— раздраженно ответила Надежда Пахомовна,— на меня еще строже смотрят, да я не боюсь.

Отец кашлянул.

— Сходи.

И Надежда Пахомовна, лишь самую малость помедлив, направилась к соседям звать родителей мужа. Все понимали, что, хотя дед и бабка разобижены Юлькой, позвать их к столу может только Надежда Пахомовна — старшая невестка и главная хозяйка за этим столом. И что именно ее приглашения ждут старики. Валентина давно знала, что за таким вот накрытым, с вином и водкой столом в семье каждый раз и совершается великий праздник примирения всех со всеми. В будни Надежда Пахомовна часто враждует со свекром и свекровью, ругается с Юлькой, но когда приходят гости и стол накрывается с вином — главное, с вином! — Надежда Пахомовна идет на поклон к старикам. Не может не пойти.

Она и вернулась вскоре с бабой Вассой, которая говорила:

— Да ты ж знаешь, что я ее не пью.

— Ну, хоть посидите с нами, мама.

Пришел дед Василий, отец встал и предложил ему свое место. И Гришка тоже встал. Дед сел. Минута ожидания прошла, и все заговорили посвободнее. Надежда Пахомовна пожаловалась на свою глухую мать:

— Как вечер, идет по всей улице, ставни закрывает. Или тащит из дому простыни, наволочки, платья — дарит. Грехи она, что ли, замаливает? Каждый день меня зовут: «Надя, иди забери бабку». Мне уж в глаза говорят: «Плохо к матери относитесь, она и ходит к людям». А как я к ней отношусь? Целый день на кровати лежит. Руки положит под голову, ногу на ногу закинет и лежит.

Разговор за столом всегда начинался с осуждения глухой бабки. И бабка забеспокоилась, оглядела смеющиеся лица и спросила у Валентины:

— Обо мне говорят?

Надежда Пахомовна сказала:

— Не про тебя, не про тебя!

Юлька крикнула:

— Прикидываем, как тебя отправить в богадельню.

Оглядев всех, бабка сказала Валентине:

— У меня такая примета: когда плохое про меня говорят, у меня левая щека чешется. А кто про меня плохо говорит, тому счастья не будет.

Ольга, уже выпившая рюмку, сказала Валентине:

— Знаешь, как бабка мешает молоко? Помешает и ложку оближет, помешает и опять ложку в рот. Я потом это молоко пить не могу.

Все засмеялись, и баба Васса тоже сдержанно заулыбалась. Она была ровесницей глухой бабке, но сохранила слух и разум и сейчас гордилась этим. А охмелевшая Юлька совсем разошлась, сказала, что Гришке и Ольге негде уединиться: и ночью бессонная бабка за-

ходит к ним в комнату, зажигает над их кроватью спички, проверяет, все ли дома.

— Не про тебя, не про тебя,— замахала она на бабу.

Женщины зашлись хохотом. И Ольге и Надежде Пахомовне нравилось, как смело и со вкусом произносит Юлька бранные слова, как она повторяет свою собственную остроту,— вчера Ольга и Надежда Пахомовна приподнились в городе, бабушка стала волноваться, не под трамвай ли попали, а Юлька сказала ей: «Две таких ж... никакой трамвай не переедет».

Надежда Пахомовна смеялась со взвизгиваниями, а отец показывал головой.

Валентина смеялась со всеми. Когда-то Женя сказал ей осуждающе: «Бабушка у вас — семейная жертва. Разве можно так!» Но Валентина не согласилась. Она сказала ему: «Проживи с ней хоть неделю. Тяжелая бабушка и эгоистка. Крышу на сарае портит, приваживает на нее воробьев, сыплет туда хлебные крошки, по дому ничего не делает».

Разговор разделился. Надежда Пахомовна утешала бабу Вассу, рассказывала, как обижает ее Ольга.

А Валентина разговаривала с Юлькой:

— Я вот думаю: ну почему со мной ничего такого не случается? Не прогуливаю, не ворую, честно работаю. Тебе пока все сходит. Не боишься?

— Валя! И этого бойся, и того бойся! Лучше я ничего не буду бояться... Но вот ты мне скажи: проспаться ты можешь?

— Отец,— спросила Валентина,— ты когда-нибудь на работу опаздывал?

— Да...— сказал отец.— Редко.

— Да ты ж знаешь, какой отец мужик,— сказала Валентине Надежда Пахомовна.— По двум половицам не ходит, все норовит по одной.

— Зато мать у нас героическая натура,— сказала пьяная Ольга.— Ей в одной упряжке с собаками на Северный полюс бежать. Упряжку перетягивать.

Прибежала Юлькина дочь Настя, уперлась животиком в Валентинино колено. Юлька подвинула ей свою тарелку, предупредила:

— Горячо, а ты дуй. Под носом ветер есть?

— А Степана тебе не жалко? — спросила Валентина.

— Жалко,— согласилась Юлька.— Знаешь, когда мне его было жалко? Я на него в заводской комитет пожаловалась: «Пьет!» Они мне сказали: «Без вас дело разобрать не сможем». Я пришла, а они поставили Степана перед столом, он голову повесил и два часа простоял. Хоть бы слово сказал! Так жалко его было, так жалко!

От выпитой водки у Валентины кружилась голова, она слушала мать, слушала Юльку и удивлялась. Она смотрела на них, на отца, на Ольгу, на бабу Вассу, которая, когда Вовка болел, сказала: «Умрет он, передай Валентине, пусть не убивается», на деда, и ей хотелось научить их счастью настоящей жизни, открыть им глаза, сделать их счастливыми. Но все они, вся ее большая семья, вызывали у нее сейчас и раздражение. Мать, конечно, поймет ее и согласится с ней и отец согласится, и Ольга, и даже Юлька, но они согласятся совсем не так и поймут не так, как все это давно понимает Валентина. И Валентина подумала, что если бы Женя видел и Гришку, и Ольгу, и Юльку, и мать так, как их видит она, он не был бы таким простодушным, а если и был бы, то совсем по-другому, чем сейчас. Она и дальше развивала бы эту мысль, готовила бы ее, чтобы при случае высказать Жене, но в это время во двор вбежала женщина,

и Валентина одной из первых увидела ее лицо. Внутри у Валентины все оборвалось. «Вовка!» — подумала она.

— Война,— сказала женщина.— Германия на нас напала.

«Женя,— подумала Валентина,— господи, Женя!»

Глава вторая

— Если считать, что один раз я уже был начальником этой конторы, то сейчас я уже тринадцатый начальник. За четыре года! — Сурен Григорьян засмеялся.— Я уже всем говорю, что я тринадцатый начальник. В первый раз я ж руководил «на общественных началах». Вызвали меня: «Сколько зарабатываете как инженер-проектировщик? Семьсот? Мы вам предлагаем триста. Мало, но вы же будете расписываться на проектах — включайте себя в ведомость как соавтора». От халтуры я отказался, а стать начальником согласился.— Григорьян опять засмеялся, смех у него восторженный, заикающийся от полноты чувств.— Нравится мне это дело. Кто передо мной это место занимал? — Он стал загибать пальцы.— Учитель. Бывший кавалерист. Райкомовская работница. Бывший работник горжилуправления — ни одного специалиста. Я и начал с того, что всех халтурщиков уволил. Начал расчищать завалы — из кабинета целый день не выходил, архивы проверял. Три года добивались, чтобы дали штатную единицу — секретаршу. Я добился, чтобы секретаршу и машинистку. На перспективу начал работать. Ремонт начал производить — мы же дома проектируем, а к нам войти нельзя. Видел, какая лестница?

Сурен хвалил себя, но как бы и не хвастался, а радовался собственной честности, оборотистости:

— Вечером приходил домой с больной головой, с рулоном кальки, чертил — зарабатывал. И получал к концу месяца неплохо. Не так, как мои инженеры-сдельщики, но ничего. А потом написали на меня анонимку, пришла комиссия, определила мои заработки как совместительство на том же предприятии. Я им сказал: «Какое это совместительство! Я же производитель, я произвожу. Ну, вот хотя бы эту табуретку я мог бы сделать в нерабочее время?» Поставили моему начальству «на вид», а я отказался заведовать. С женой, с двумя детьми мог я жить на такую зарплату? Опять стал проектировщиком, неплохо зарабатывал, но страдал: опять дело не в те руки попало.

Сурен — плотный, потеющий от жары, от физических усилий. Он делает полочку для вешалки, завинчивает шурупы. И хотя он только что дрелью подготовил отверстия, шурупы идут туго.

— Видел, как работают столяры? — говорит Сурен Слатину.— У них всегда с собой кусок хозяйственного мыла — вертеть шурупы.

Полочку Сурен делает Слатину, и тот идет на кухню за мылом. Сегодня воскресенье, 22 июня 1941 года, Сурен пришел к Слатину пораньше, не дал ему поспать, Слатин раздражен, отнимает отвертку: Сурен месяц пролежал в больнице с грудной жабой.

— Дай я,— говорит Слатин.

Сурен отдает отвертку и, когда смазанный мылом шуруп легко входит в отверстие, спрашивает:

— Чувствуешь?

Достает из кармана большой скомканный платок, промокает лоб, щеки, вертит шей, запуская платок поглубже под рубашку. В лице его мало армянского: волосы темные, но не черные, усы рыжеватые, а нос курносый. И только глаза темные и очень волосаты руки, обнаженные по локоть.

— Самодельщик чем хорош? — говорит он. — Сколько бы у тебя ни было денег, ты не купишь то, что нужно для твоей квартиры.

С тех пор как две недели назад Слатин переехал в этот старый большой дом, Сурен каждый день приходит или приезжает к нему на своем выкрашенном в красную пожарную краску самодельном автомобиле. У автомобиля мотоциклетный мотор, мотоциклетные колеса, кузов из авиационной фанеры, но тем не менее на белой жестяной пластине, укрепленной там, где у настоящего автомобиля радиатор, красной краской в столбик записаны названия городов, в которых Сурен уже побывал. Время от времени Сурен поглядывает в окно — автомобиль собирает любопытных: заглядывают внутрь, щупают, смеются.

Приезжает он поздно, задерживается за полночь, привозит цемент, мел, доски. Тащит все это на третий этаж, является уже уставшим, жалуется на то, что не мог раньше вырваться с работы, переодевает брюки и лезет на стол, чтобы оборвать старую проводку: «Зачем тебе эти сопли?» С потолка на него сыплется штукатурка, он не отворачивается, только жмурит глаза и сдувает пот и пыль с верхней губы.

От побелки в квартире сырая, тропическая жара. Слатин уже понял, почему говорят: «Два раза переехать — один раз погореть». Приходя из редакции, он выносит ведра со старой штукатуркой, поднимает наверх песок и к тому времени, когда приезжает Сурен, всякую мысль о новой работе встречает с раздражением. Сурен чувствует, что раздражение переносится на него, и смущается:

— Дарагой! Сядь! Ты можешь понять самодельщика? Я полгода ждал, пока ты сюда переедешь. Дай развернуться.

— Энтузиаст! — говорит Слатин с подозрением. Когда-то он помог Сурену, и теперь ему кажется, что Сурен таким образом благодарит его.

— Что ты! — говорит Сурен. — Я теперь берегусь! Для энтузиазма настроение нужно. Вот когда автомобиль делал, настроение было. До четырех утра спать не ложился, а утром без номеров, без кузова, на одной раме, пока нет милиционеров, за город выскочил. Представляешь? Рама, на ней два сиденья, и мы с напарником на этих сиденьях.

Вывинчивая старый разболтанный выключатель и примеряя на его место новый: «Приморозим его алебастром», он рассказывает, как недавно перевозил тещу с окраины поближе к себе:

— Понимаю, с барахлом не расстанется. Повезет свой шкаф, стол, тумбочки в комиссионный. Там ей не дадут того, что она потребует, она назад все привезет, с места не тронется. Пять лет меняется, а тут вдруг согласилась! Спрашиваю: «Мама, сколько вы хотите за шкаф?» — «Пятьдесят». Достают пятьдесят. «А за стол?» — «Тридцать». Все предусмотрел.

Потом отвез в комиссионный, четверть цены выручил.

Сурен смеется своим заикающимся смехом.

— Тещу сразу на новую квартиру не пустил. Мне ей ремонт делать, а там пятеро соседей. Один сразу сказал: «Лестница мытая, а вы мел таскаете». А мел на подошвах носишь, как их ни вытирай. Я говорю: «Вы извините, сейчас мокрую тряпку на пороге проложим. Упустил из виду». А теща бы его дураком обозвала: «Не видишь — ремонт!» И скандал на всю жизнь. А я как вошел, свою лампочку в коридоре ввинтил, а провода к пяти выключателям пообрывал. Белить легче и лампочку нельзя выключить — от тещиною счетчика. Я тебе скажу, все это окупается. Они смотрели, сомневались, а я про себя думал: «Скоро вы меня любить будете». Я теще с самого начала говорил: «Мама, все равно я с вами уживусь».

— Всем не понравиться,— говорит Слатин.

— Конечно,— говорит Сурен.— В армии становлюсь на новую квартиру, прихожу к хозяйке: «Вот что, хозяйка, давайте ваши квитанции, в которых вы за электричество расписываетесь. Вы к этому не касаетесь — я буду платить. Чтобы не было недоразумений». Так в Калаче хозяйка как-то говорит: «А у вас свет поздно горит». — «А вам-то,— спрашиваю,— что до этого?» — «Провода изнашиваются». Я тебе скажу, меня и бойцы любили, хотя — я потом смеялся — на восемьдесят человек у меня было семьдесят национальностей.

Сурен берет в руки полочку, говорит:

— Вот скажи: что в этой полке? Две доски, десять шурупов, а вдвоем уже два часа возимся. Вот работа!

О работе он говорит много, охотно и всегда с изумлением. С собой он приносит тяжелую сумку с набором отверток, плоскогубцев, пробойчиков. В жестяной коробке однокалиберные, как патроны, черные каленые шурупы. Он смеется:

— Кто что из Москвы привозит. А я два килограмма шурупов привез. Увидел — свободно в магазине лежат. Не удержался.

Удивил он Слатина, когда взялся переложить печку.

— Никого не нанимай. Я же прекрасный печник. Первоклассный! — И радостно засмеялся.— В армии научился. Я же не только дороги и мосты строил, но и линейно-дорожные дома. Вот про одного и того же печника говорят, что одна печь у него удалась, а другая не вышла. Такого быть не может. Что значит: удалась — не удалась! Просто один раз случайно выполнил технические нормы, а в другой не выполнил. Делает на глазок! Я, например, из всех печек, которые сложил, пятьдесят процентов перекалывал уже готовых. Переведут нашу часть из села в село, я прихожу на квартиру, смотрю на печь, говорю хозяйке: «Что-то она у вас плохо горит. Давайте я вам ее переложу». Вначале не верит, а потом спрашивает — все одно и то же спрашивают: «А духовка печь будет?»

Слатин смотрел, как Сурен радуется своей сообразительности, честности, и думал, что он и в детстве точно так смеялся заикаясь и вообще мало с тех пор изменился и как будто радуется, что во взрослой жизни сумел управиться лучше многих.

— Нет,— сказал Слатин,— этого я тебе не разрешу. Отопление паровое, не нужна мне печь. А работы до черта.

В детстве они жили в пятиэтажном доме, который принадлежал до революции деду Сурена. В двадцатых годах отец и мать Сурена занимали одну комнату в коммунальной квартире на четвертом этаже. Мать была грозная и гордая армянка со страшными красивыми глазами. Она на вопросы детей и на вопросы самого Сурена отвечала не всегда. В комнате у них стоял рояль — черная глыба, тускневшая год от года потому, что мать Сурена, как и всю свою мебель, протирала его мокрой тряпкой. На рояле никто не играл. Не учили и Сурена. И вообще он никак не выделялся среди дворовых ребят и, кажется, одним из последних во дворе узнал, что он внук бывшего домовладельца. Родители ему этого не говорили.

После седьмого класса и Слатин и Сурен поступили в строительный техникум, но Слатин из техникума сбежал, родители Сурена сменили квартиру, а потом Сурен как-то заурядно женился, обзавелся ребенком и уже одним этим отдалился ото всех. Его взяли в армию, он надолго исчез, а когда вернулся в город, у него уже было двое детей, вид у него был торопливый, замуторенный, а рука в пожатии худой и твердой. Он все где-то и как-то зарабатывал. Но где и как, Слатину было неинтересно. Слатин вообще тогда запоминал только то, что интересно.

Армянский язык стали забывать еще родители Сурена и потому армянский акцент в его речи — прикрывающая смущение защитная реакция.

— Я тебе не рассказывал, как я в армию попал? Я тогда думал, что совсем уже служить не буду, прорабом работал на станции Калиновской. Городок небольшой, все друг друга знают, и когда мне военком восьмого марта, в Женский день, позвонил, чтобы я зашел, я ничего такого не подумал. А он спросил: «Григорьян, документы принес?» — «Принес». Положил на стол паспорт, воинский билет, а он открыл ключом ящик стола, как будто что-то хотел достать оттуда, но не достал, а вот так сбросил в ящик документы. — И Сурен очень выразительно показал, как военком лениво открывал ключом ящик, как смахнул одним движением в него документы, как запер ящик и протянул бумагу. — «На, читай». А там сказано было: «Направить Григорьяна в распоряжение...» — командирское звание, как сейчас помню, не было проставлено. Ехать надо было срочно. Я пошел домой, жена ждала меня за праздничным столом. Я ей и преподнес подарочек. Вместе с ней на следующий день выехали в Москву. Оттуда на Север. Неделю добирались, приехали, а там еще зима, и не то степь, не то тундра и базовый поселок из нескольких бараков. И потом меня на другие стройки перебрасывали. Один раз даже начальником гарнизона в районном городе был. И там тоже строил. И на службе и после службы. Клуб городу спроектировал, помог построить, потом в этот клуб бойцов в кино водил. Бойцы повзводно, а я с женой за ними. Лида беременна была. Мне говорили: «Ты и жену строим в кино водишь». А потом, сам знаешь, время пришло: вроде бояться нечего, всю жизнь честно работал, а ночью думаешь — черт его знает, может, что и не так. Тут случай подвернулся уйти — заболел. Я и ушел. И жену убедил: диплом у нее пропадает, то работает, то не работает. Дети без школы, а главное, сам без перспективы. Вернулся и поступил в это самое проектное бюро — подальше и потише. Спасибо, в армии печки научился класть. Я и сейчас иногда кладу. А раньше у меня бригада была. Каменщики, плотники — они дома кладут, а как кончают, зовут меня, чтобы я печку сделал. Я после работы беру чемоданчик, мастерок и еду. Два вечера поработал — печка. Четыре печки в месяц сложил — моя зарплата в проектном бюро. Я мог бы бросить службу и жить вот так!

Часов в одиннадцать приходила дочь Сурена:

— Папа, мама волнуется.

К полуночи Слатин бывал уже мертв от усталости, Сурен тоже чаще ошибался и переделывал.

— Плюнь! — просил Слатин. — Пусть так!

Сурен упирался:

— Сделанное должно быть сделано. — И спрашивал у дочери: — Мама внизу? Пусть поднимается.

Приходила Лида, полная, с одышкой, спрашивала:

— Заговорил людей? Замучил? Как тебе не стыдно, Григорьян!

Слатин смущался. Ему казалось, что и шутить так с наработавшимся Суреном нельзя. Но Сурен говорил:

— Это мой отдел технического контроля. Если Лида работу примет, значит, все в порядке.

И Лида находила какие-то недоделки.

Потом Сурен наконец начинал собирать в свою сумку плоскогубцы, отвертки, пробойчики, мыл руки, они садились за стол, Сурен просил кофе покрепче, и начинался разговор о детях. И Лида и Сурен могли часами говорить о своих детях.

— У меня на десять лет вперед все расписано,— говорил Сурен.— Лишь бы войны не было. Когда сыну будет восемнадцать, я ему двухместную машину сделаю. Я тебе скажу,— предупреждал он возражения Слатина,— если войны не будет, все равно ему захочется велосипед, а потом мотоцикл. Так машина безопаснее.

Слатин смеялся, а Сурен говорил:

— Только война будет. По газетам вижу и так чувствую. Я же военный человек. Чутье у меня есть. И знаешь, о чем я жалею? Меня там не будет, когда это начнется. Хочешь верь, хочешь нет. Я же со своими из части переписываюсь. Их давно к западной границе передвинули. На Черное море в отпуск через наш город ездят, ко мне в гости заезжают. Я знаю кто что умеет. Кто начальства боится, кто жены. Я тоже жены боюсь и сам понимаю, что если там буду, ничего не изменится. Но вот иногда думаю — что-то такое они без меня упустят, что-то не так сделают.

В прошлом году Слатин помог Сурену избавиться от беды. Сурен сделал проект на ремонт двухэтажного дома. Дом этот, строившийся когда-то на одну богатую семью, был неудобен для общежития. Сурен предложил жильцам передвинуть лестничную клетку, вместо мансарды — этаж, квартиры по возможности изолировать. Ему сказали: «Будем купать вас в шампанском». Проект он сделал, а когда явились строители, оказалось, что дом с изъяном: за первым слоем кирпича в стенах — доски. Дореволюционный подрядчик обманул хозяина — делал кирпичные стены с пустотами. Дерево, правда, было еще превосходным: семидесятка, дуб. Должно быть, подрядчик купил и разобрал на доски старую баржу. Но те жильцы, которым переделка не сулила особых улучшений, написали несколько жалоб, в которых было сказано, что инженер Григорьян заставил жильцов согласиться на эту вредительскую переделку. И хотя жалоба была даже на первый взгляд пустой — проектировщику проще делать капитальный ремонт без всяких переделок и никаких возможностей кого-то заставлять у него нет,— жалобе дали ход. Тогда-то Сурен и разыскал Слатина. Слатин послал в проектное бюро толкового рабкора, и вот теперь Сурен нет-нет да и напомним: «Был с комиссией в том доме. Жильцы меня увидели, спрашивают: «А разве вы не в тюрьме?»

Однако жалобы эти чем-то Сурену и помогли. В горисполкоме к нему присмотрелись, увидели, как он работает, и взяли «исполняющим обязанности» главного инженера жилищного управления. «Исполняющим обязанности» — потому, что анкета у него все-таки была не очень ясной. Убрать буквы «и. о.» так и не решились и вернули в проектное бюро с условием, что он будет работать заведующим, а деньги получать как сантехник в одном домоуправлении и как истопник в другом, пока в горисполкоме не найдут возможности повысить ему зарплату. И он опять сел за свой стол, уволил нескольких пьяниц и начал ремонтировать помещение.

Теперь ему предлагали место на заводе — сорок подчиненных, ставка — семьсот рублей, и он спрашивал совета у Слатина, переходить или не переходить.

— Понимаешь,— говорил он,— директору нужен такой, как я. С административной хваткой. Талантливый инженер на эту должность не пойдет.— И Сурен смущенно улыбался тому, что сам же себя выводил из числа талантливых.— И я тебе скажу: год назад я и думать не стал — перешел бы. А сейчас с делом жалко расставаться. Производство наше, конечно, оборонного значения не имеет — ремонтируем людям жилье,— но все ж сердцем делается.

Сурен спрашивал совета, и Слатин удивлялся: что он может ему посоветовать?

— С женой ты советовался? — спросил Слатин.

— Жена на пляже агитацией занимается, — опять засмеялся Сурен. — Она у меня библиотечарша, идейная. По воскресеньям у них нагрузка — выезжают на пляж с газетами и журналами. Детей с собой берет. Они купаются, а она на жаре в платье за столиком сидит. Библиотечаршам своим разрешает позагорать, а сама не раздевается. Я говорю: «Сиди в купальнике! Читатели твои в трусах». Не хочет.

...Воскресное утро подходило к концу. Слатин собирался завинтить последний шуруп в полочку. Кусок хозяйственного мыла был весь в дырочках от шурупов. Сурен сказал:

— Последний шуруп — мой!

Они укрепили полочку в прихожей рядом с зеркалом.

— Едем ко мне, — сказал Сурен, — машину поставим и пойдем по аварийным адресам.

Слатин недавно просил Сурена показать город «глазами строителя».

Они спустились вниз, Слатин сел на заднее сиденье суреновского автомобиля, закрыл дверцу. Почему-то он ждал металлического хлопка, но звук был деревянный, фанерный. Красная пожарная краска, любопытные взгляды прохожих смущали Слатина. Сурен несколько раз дернул ручку, мотор мотоциклетно затарахтел, автомобиль развернулся и бодро покатил. Ехать было недалеко; у себя во дворе Сурен закатил машину в железный ящик — гараж, — и они вышли на улицу. Раньше Слатин не очень внимательно слушал рассказы Сурена. Но однажды по какому-то делу он заглянул к нему на работу. Пригибая голову, поднялся по узкой лестнице, прошел по коридору мимо длинной очереди, открыл дверь, на которой было приклеено объявление: «Прием заказов прекращен до 1-го августа 41 года». Объявление никого не останавливало. В кабинете было много людей.

Слатин присматривался, и Сурен казался ему то отодвигающим себя на второй план, как в детстве, — человеком, которого легко склонить на свою сторону, — то совсем новым Суреном, которого ни уговорить, ни склонить нельзя. Слатин заметил, что для Сурена не было с в о и х. Он просто разбирался в проекте, который ему приносили. Тогда Слатин и попросил Сурена показать ему город. Сурен понял его по-своему, выписал адреса нескольких аварийных домов и предложил свой автомобиль. Слатин не захотел привлекать к себе внимание этим странным драндулетом, и вот теперь они шли пешком. Это была десятки раз исхоженная улица. Привычная побитым асфальтом тротуаров, кирпичным цветом фасадов, ставнями на первых этажах домов. Кладкой дореволюционной, кладкой современной, потеками от водопроводных колонок — всем тем, что оседает в памяти постепенно и не замечается, не помнится потом. Сурен дома видел насквозь, диагнозы ставил мгновенно. Показывал на одноэтажный дом, который Слатину казался кирпичным:

— Деревянный, обложенный кирпичом. Кирпич скоро осыплется. Считай, дома уже нет. До революции сколько хочешь было подрядчиков-халтурчиков. Хозяин не следил — делали черт знает что! Стена вроде кирпичная, а на самом деле между кирпичами — земля. Сейчас ремонтируем дома — находим.

Он сверился со своим списком адресов и повел Слатина вниз, к реке. Это была самая старая часть города, тихий пешеходный район, хотя центр был совсем рядом. То, что улицы старые, было видно и по толщине уличных деревьев, и по оконным ставням, и по цвету

бульжника на мостовой, и по абсолютному отсутствию автомобильного и трамвайного шума. В тишине солнечный свет был ярче и жара сильнее. Тень лежала короткая, от одноэтажных домов. Сурен закурил и залился потом, рубашка прилипла на спине и животе. Он, как полотенцем, вытирал платком лицо и шею и рассказывал Слатину, почему в стенах некоторых домов кирпич имеет два, а то и три оттенка. Люди использовали и фабричный кирпич, и кирпич, взятый после разборки разрушенных в гражданскую войну зданий, и кирпич от взорванного городского собора.

Сурен показал на двухэтажный оштукатуренный, серый, будто каменный дом:

— Деревянный, обтянутый сеткой, по сетке штукатуренный. Потолок из камышитовых матов. Материал неплохой, но недолговечный. Конечно, если барак простоит столько, сколько ему положено, то не страшно. Но ни одного временного строения мы еще не снесли. Средства вгоняем в капитальный ремонт, и дома повисают у нас на балансе. Люди идут в город, а жилья не хватает.

Сам Слатин до последнего времени жил в коммунальной квартире. И друзья его имели комнаты в коммунальных квартирах. В настоящих двух- или трехкомнатных квартирах он бывал так редко, что ни зависти, ни энергии добиваться и для себя чего-нибудь такого же это в нем не возбуждало. И вообще все это как-то определяться стало для него совсем недавно. Только сейчас сквозь книжный туман он стал замечать комнату, в которой спал, кухню, в которой мать готовила еду. Один раз в жизни он сшил костюм на заказ, и все, что было связано с хождением к портному, надолго оставило в нем стыдное ощущение. Человек, который мог тратить энергию на то, чтобы достать себе модные туфли, был ему странен и неприятен. Работа поглощала Слатина целиком. Может быть даже, он был фанатичным человеком. Ведь то, ради чего он работал, называлось счастьем человечества. А квартирная бедность и бедность в одежде, которую Слатин вовсе не ощущал как бедность — все жили примерно одинаково, — развязывала ему руки, освобождала от низменных хлопот. Он родился в бедной стране, где беднота совершила революцию, и слово «необходимость» было одним из главных в его словаре.

— Мало пока строим, — сказал он Сурену.

— Мало! — ухватился Сурен.

— Но ведь строим же, — сказал Слатин. — Простым глазом видно. Все средства в тяжелую промышленность вгоняем. На квартиры не хватает.

Сурен ответил непонятно:

— Сознательных много — инициативных нехватка. То, что идет на тяжелую промышленность, — пусть идет. А дома можно строить на месте своими силами. И людей и средства — все можно найти. Материал местный есть — я в карьерах бывал, присматривал. Специалисты нужны, инициативные люди. Помнишь дом, в котором мы жили? Знаешь, что это дом моего деда? Зайди туда — дерево в оконных рамах как новое. У деда глаз был. Дед в наш город приехал из Мариуполя не с капиталом, а с рекомендательным письмом от хозяйна, у которого работал приказчиком. Ему под это поручительство занимали деньги. Тогда тоже не только на деньги, но и на человека ставили.

Они шли по Нижнебульварной улице. Отсюда была видна река. Пляж, усыпанный телами загорающих, моторный паром, везущий отдыхающих на пляж, парень на корме парома с гитарой наперевес... Они еще не знали, что двадцать минут назад радио сообщило о начале войны с Германией.

Глава третья

1

Было до войны такое выражение — «гореть на работе». Слатин точно знал, что это такое. Через несколько минут работы он начинал чувствовать, как сосредоточенность давит изнутри на глазные яблоки и давление все усиливается. У него воспалялись веки и, казалось, поднималась температура. Когда Слатин проходил сквозь вестибюль редакции, пожилой шофер Александр Мокеевич Шмикин спрашивал его участливо:

— Здоровье-то как?

Слатин был еще в том возрасте, когда никто не спрашивает друг друга о здоровье.

— Да вроде... — изумлялся он.

— И слава богу! — будто с облегчением сразу же отступался Александр Мокеевич. И исчезал, растворялся в сумраке огромного вестибюля.

Когда у Слатина вот так давило на глаза, те, с кем он встречался и здоровался, в ту же секунду растворялись за его спиной. Физическое ощущение горения высвобождало его из комнатной и коридорной суеты, делало причастным к чему-то гораздо большему, чем редакция. Пока было горение, было и ощущение независимости, свободы, нравственно прожитого дня. Утром, поздоровавшись со всеми, он выкладывал на стол рабкоровские письма, стопку чистой бумаги, отключался и ждал, когда сосредоточенность, дающая о себе знать слабым давлением на глазные яблоки, осадит в нем вчерашнее, сегодняшнее и у него останется одна ограниченная профессиональным напряжением способность воспринимать нужные газете факты и слова. А горение — оттого, что печатное слово было для него словом правды и справедливости.

Если к Слатину приходил посетитель, Слатин не сразу поднимал на него воспаленный взгляд. Он работал, делал газету, гнал строчки, а посетитель мог понадобиться газете, а мог и не понадобиться, и в любом случае он мешал работать. Тут было противоречие, и Слатин оставлял веки полуприкрытыми, чтобы во время разговора сохранить горение.

Стол Слатина в длинной узкой комнате стоял первым от двери. Большинство посетителей здесь задерживались, а им нужно было пройти дальше, к окну, к Ванечке Фисунову. В сумрачные дни Слатин зажигал у себя лампу, так что по расположению столов опытные люди сами догадывались, кто в отделе заведующий. Чаще всего это были театральные администраторы. Двери они распахивали широко и, ни секунды не колеблясь, шли сквозь всю комнату к Ванечкиному столу.

Этот момент мгновенного распознавания начальника неприятно волновал Слатина. Он переставал править и следил за этими громко-голосыми мужчинами. Уходили они, все так же равнодушно минув столы напарника Слатина и самого Слатина, и лица их были как спины.

Когда двери за ними закрывались, Слатин спрашивал грубо:

— Что-нибудь интересное?

И Ванечка Фисунов с несмятой длинной папиросой в аккуратных пальцах поднимался из-за стола и направлялся к Слатину.

— Вот, — говорил он, раскладывая перед Слатиным театральные программки, в которых уже успел сделать карандашом свои пометки. При этом Ванечка доверительно наваливался на стол и очеркивал

ногтем фамилии актеров и актрис.— Ничего,— пожимал он плечами.— Так себе. А это дублер.— И он морщился, показывая Слатину, какой это дублер.— Сам пойдешь? — спрашивал Ванечка.— Или кого-нибудь пошлем?

Ванечка обходил стол и полуобнимал Слатина за спину. Спина у Слатина напрягалась, и он все еще грубо спрашивал:

— Рецензию будем давать?

И Ванечка, окончательно уничтожая только что ушедшего администратора, говорил:

— Аннотацию. Так... Нейтральную.

Взъерошивал Слатину волосы и возвращался к себе.

Они вместе пришли в редакцию. Перед тем Ванечка два года просидел в областном издательстве за редакционным столом. Он говорил, что согласился променять издательство на газету, чтобы расшевелиться на живой работе. Лицо его, интеллигентное, красивое, но немного ненатуральное, а как у актеров, сделанное, иногда вдруг становилось прозрачно-желтым, морщины углублялись, а нос заострялся. У Ванечки была застарелая язва желудка, она истощала его.

В такие минуты он доставал папиросу, стучал мундштуком о крышку коробки и часто откладывал, так и не закурив. Все жесты его были аккуратны и немного ненатуральны, а по-актерски сделаны. Ванечкины манеры поражали не только своих, местных, но и бывалых столичных театральных администраторов. Ванечка любезно поднимался и даже выходил им навстречу, наклонялся в затыжном поклоне и в ответ на громкий голос, на ветер, поднятый решительным человеком, произносил что-то очень тихое. И человек, повинувшись Ванечкиному любезному жесту, садился на стул, расстегивал пуговицы на своем северном пальто и произносил что-нибудь будничное: «Жарко у вас». Или: «Юг, а холод чертовский». Ванечка предлагал папиросу, быстро обходил стол, садился на свое место и, уже просто вежливо улыбаясь, заговаривал о деле и ничего не обещал: «Нет, на все спектакли дать рецензии не сможем. У нас газета областная.— И — немыслимое дело! — кокетливо клонил головку набок.— Возможно, один спектакль отрецензируем». Когда посетитель поднимался, Ванечка вскакивал, глубоко наклоняясь, протягивал руку через стол, потом вместе с посетителем делал два-три шажка к двери, произносил что-то вроде: «Очень мило!» — и возвращался к себе. Лицо его мгновенно гасло, к коже прилиwała серость.

Сидел он в зябко накинутом на плечи пиджаке.

Иногда Ванечку звали к редактору, он уходил, потом возвращался, присаживался к телефону и начинал дозваниваться в аптеки — добывал для редактора редкие лекарства. Во всей редакции один редактор называл Ванечку Иваном Акимовичем.

Третьим работником в отделе (вернее, вторым, третьим был Слатин) был маленький изможденный человек с лысеющим марсианским черепом, с неправдоподобной фамилией Стульев. Было странно, что человек с таким слабым телом обладал неистощимой работоспособностью и низким мощным голосом, который он мог усиливать как угодно. «Моя фамилия Стульев,— сказал он Ванечке этим своим мощным голосом,— но это не значит, что я позволю кому-нибудь на себя садиться».

Стульев пришел в газету на несколько месяцев раньше Ванечки и Слатина. Его перевели сюда из военной газеты, где он, единственный штатский, вольнонаемный, занимался стихами и вообще художественным творчеством бойцов и командиров. Здесь он тоже занимался стихами, которых в месяц на отдел поступало не меньше ста пятидесяти штук. Стульева из военной газеты в областную брали «на

отдел», но в конце концов заведующим сделали Ванечку, и это определило их отношения. В первый же раз, выслушав Ванечкины замечания о стихотворении, которое надо было поставить в воскресную полосу, Стульев сказал:

— Ваши замечания меня не обескураживают. Я знал одного человека, который вычеркивал стихотворную строку и вписывал прозаическую.

— И правильно делал,— сказал Ванечка.— Ошибка в стихотворном размере лучше, чем смысловая ошибка. Я вас прошу, исправьте.

Стульев с минуту постоял в раздумье, взял листок и отправился к своему столу. Через пять минут он положил перед Ванечкой новый вариант этого один раз уже переписанного им, а теперь исправленного чужого стихотворения.

— Это уже лучше,— сказал Ванечка.

В каждом материале, подготовленном Стульевым, он находил что исправить. Стульев молча исправлял, а Ванечка от этого страдал еще больше, потому что не было видно, раздражался ли Стульев. Стульев был мастером сосредоточенности. Слатину все-таки нужно было сделать над собой усилие, чтобы отключиться, чтобы вызвать внутреннее давление на глазные яблоки. Стульеву, по-видимому, надо было делать над собой усилие, чтобы выйти из состояния почти постоянной саморугленности. Когда кто-нибудь заходил в отдел, чтобы просто потрепаться, со Стульевым он должен был здороваться не меньше трех раз. Начиналось что-то вроде игры.

— Здравствуйте, Родион Алексеевич! — говорил приятель и подмигивал Ванечке и Слатину.

Никакого ответа.

— Родион Алексеевич! Здравствуйте!

И хоть бы сидел неподвижно — курит, пишет.

— Стульев, здравствуй!

— А? — не поднимая головы от работы, говорил Стульев.

— Здравствуй, говорю.

— Да,— отчетливо произносил Стульев. Собирал листки, исписанные мелким четким почерком, поднимался из-за стола во весь свой маленький рост и неторопливо, не глядя по сторонам, выходил из комнаты, шел в машинное бюро и возвращался в отдел с тем же выражением отрешенности и неузнавания. И нельзя было понять, узнал ли он того, кто с ним здоровался.

Лет пять-шесть назад Стульева в лицо знал весь город. Он работал в филармонии.

Вообще-то Стульев был ленинградец, но в начале тридцатых годов уехал оттуда и оказался на Дальнем Востоке, где его, истощенного, подобрала и пригрела руководительница эстрадного оркестра, его нынешняя жена. Она же и привезла его сюда, на юг, к своей матери, в комнатку в десять квадратных метров. Жена была лет на десять старше Стульева, детей у них не было. Они брали на воспитание беспризорников.

Этот маленький человек с нарочито замедленными важными движениями, с тонкими, слипающимися во время рукопожатия пальцами детских ручек, с постоянной папиросой в больном рту так нагружал себя своей и чужой работой, что никому в редакции это не было бы по силам. Пospорив однажды с Ванечкой о том, как нужно выправить стихотворение, Стульев уже не спорил с ним никогда. Принимал от Ванечки любые материалы, аккуратно укладывал их в папку «необработанных писем», доставал оттуда по очереди, прочитывал и, уже не заглядывая в авторский текст, на чистом листе бумаги писал свой вариант.

— А я давно уже не правлю, а переписываю,— сказал он Слатину.— Будешь править — запутаешься. Да и нечего там править — я-то лучше знаю, что сегодня газете нужно! И авторы довольны — я лучше пишу, чем они.

Родион Алексеевич был для Слатина целой журналистской фабрикой. У Стульева всегда было много посетителей.

— Мне нужен Родион Алексеевич Стульев,— говорил посетитель.

Ему никто не отвечал, он подходил поближе, и в тот момент, когда он собирался повторить свой вопрос, Стульев, не поднимая головы, говорил своим низким мощным голосом:

— Да?

— Вы Родион Алексеевич?

— Я.

— Мне сказали, что мои стихи у вас.

— Фамилия?

Человек называл фамилию.

— Ваших стихов у меня нет.

— В отделе писем меня направили к вам.

— Десять дней назад вам послан ответ.

— Может, вы забыли? Мне сказали, что у вас много стихов.

— Назовите первую строчку.

Человек не понимает.

— Свои стихи помните?

— А-а! — удивляется поэт и называет первую строчку.

И тут-то начинается главное! Стульев его прерывает и, с некоторым усилием припоминая, продолжает читать стихи сам.

— Да-да, эти,— останавливает его пораженный и пристыженный поэт. Но Стульев продолжает читать строчку за строчкой, пока не дойдет до конца.

— Ваши стихи? — спрашивает он.

— Мои.

— А вы говорите — «забыл». Мы ничего не забываем. Могу назвать запятые, которые вы поставили правильно, и все запятые, которые вы поставили неправильно. Неправильно поставленных у вас большинство. У вас слабовато с грамматикой. И размер вы не выдерживаете. Знаете, что такое стихотворный размер?

— Бросить писать?

— Писать стихи,— говорит Стульев своим мощным голосом,— гораздо лучше, чем пить водку. Поэтому я не советую вам бросать стихи. Но посылать их в газеты повремените. Вы только пишете? Или читаете тоже?

Десятки раз маленький человек на глазах Слатина превращался в значительного человека с мощным голосом. Превращения эти, несомненно, были приятны самому Стульеву. Он долго не отпустил подавленного посетителя, распекал его все благодушной и наконец отпустил. При этом Стульев часто выходил из-за стола, возбужденно прохаживался по комнате. Но очень быстро успокаивался, садился, откидывался на спинку стула и говорил:

— Память у меня феноменальная. Прочту страницу — помню все от первого до последнего слова. Хотел бы забыть — не могу. В университете экзамен сдавал — экзаменаторы заволновались; как по учебнику читал. Я им объяснил. Они дали мне прочесть несколько страниц, я потом даже переносы со страницы на страницу называл. Говорят: «Потрясающе!»

Еще из военной газеты Стульев принес с собой большую карту Европы. Каждый день флажками он отмечал на этой карте движение немецких войск в Бельгии, Франции, Польше.

— Вот с кем придется воевать,— сказал Слатину.

— А договор?

Карта висела за спиной Родиона Алексеевича. Не оборачиваясь к ней, он сказал:

— Посмотри на карту.

Карта эта была известна всей редакции. Посмотреть на нее приходили из всех отделов. Иногда возникал спор, так ли Стульев ставит флажки. Немцы, подошедшие было к Львову, отошли на свою линию, а Родион Алексеевич не убирал желтого флажка. Спорами этими Ванечка был недоволен. Как-то он сказал Стульеву:

— Родион Алексеевич, а не удобнее было бы, если бы вы свою карту повесили в зале заседаний?

Стульев не ответил ему. А Слатин спросил:

— Иван Акимович, а вы военнообязанный?

— Конечно! Я недавно командирские сборы проходил.

Утро начиналось с того, что Слатин и Стульев рассматривали карту и, если в военных действиях происходили какие-то изменения, перемещали флажки.

Слатин с утра заваливал свой стол авторскими письмами, черновиками, чистой бумагой. У Стульева всегда был идеальный порядок. Почерк у Стульева был мелкий, каллиграфический. Он сказал восхитившемуся Слатину:

— Я давно подсчитал: на одну мою страницу — три машинописных.

У Слатина — наоборот: три, а то и четыре страницы «от руки» свободно укладывались в одну машинописную страницу. Писал он с черновиками, «измучивал» свой текст, измучивал себя, пока, как ему казалось, не находил единственный вариант. Все это сказывалось на бумаге. Первая фраза будущей статьи писалась несколько раз, несколько раз переносилась на чистую страницу. Слатин не мог писать после зачеркнутого. У Стульева же не было черновиков. Исправления он делал тут же на полях тем же мелким каллиграфическим почерком.

— Сколько раз,— говорил он Слатину,— мне случалось отдавать рукопись прямо наборщикам. И набирали. Говорят, не хуже, чем после машинистки.

И правда, набирать можно было прямо с листа, написанного рукой Стульева. По всему было видно — работа мастера. Четко, грамотно. Ясно или чуть щеголевато. Гневно или просто жестко, восхищенно или только одобрительно — словом, так, как в этот момент нужно газете. И в то же время немного лучше, чем надо в этот момент. И видно, что не последнее выдал человек, что за неожиданным и таким уместным словом у него много таких же слов.

Ванечка как-то пожаловался Слатину:

— Он слишком легко пишет, поэтому и создается обманчивое впечатление, что он стилист. А присмотреться — много однокоренных...

И возвращал Стульев странички, в которых волосяными карандашными линиями были подчеркнуты однокоренные слова.

— И пожалуйте, Родион Алексеевич,— говорил Ванечка,— пообрывайте вот эти цветочки.

Стульев, как всегда молча покуривая, стоял над Ванечиным столом, рассматривал Ванечкины пометки, потом, ни слова не сказав, не выразив ни согласия, ни возмущения, отправлялся к себе и молча вносил изменения.

Ванечку он не ругал и за его спиной. О Ванечке он молчал всегда. А Слатин ругал. За то, что всю работу переложил на них со

Стульевым, за дамскую балетную походку, за то, что придирается к Стульеву и мешает работать ему, Слатину. Слатин не понимал, как мог Родион Алексеевич не споря вносить исправления, которые требовал Ванечка. Когда Слатин относил машинисткам переписанные набело листочки, все, что было на этих листках, казалось ему единственно возможным. Перед тем как Слатин садился писать, бумага была чистой. Но она оказывала страшное сопротивление. И касалось это не только того, что называется содержанием, а и количества слов в фразе, длины этой фразы, числа абзацев в материале. Неточная фраза раздражала его своей неаккуратностью, своими придаточными, двоянными определениями. Обличал ли Слатин или хвалил, рассуждал или просто сообщал, он испытывал горение, переживал свою работу. И все имело к этому отношение: и слова, и запятые, и точки, ставящие фразе предел. А Ванечка по праву заведующего брал лист и произносил одну и ту же ненавистную Слатину шутку:

— А вот мы сейчас пообрываем цветочки!

Ванечка умел учить! Кое-что он знал.

— Тебе эти места, конечно, особенно нравились,— сказал он Слатину в один из самых первых дней.— Ночь не спал — придумывал. Да? А мы их пообрываем, пообрываем! — И вычеркивал выстраданные Слатиным щеголеватые фразы.— На свете нет ничего прекраснее простоты.

И Слатин, который сам так думал, принялся искать простоту. Вначале это легко было выразить количественно: вместо двадцати слов — пять, не больше одного определения на фразу, как можно меньше придаточных. Длинное предложение в газетный столбик не уложишь. Но потом он понял, что дело не только в числе определений,— не можешь писать хорошо, пиши просто, а для того, чтобы писать хорошо, одной простоты мало. Стульев никогда не писал просто. «Цветочки» у Стульева нельзя было пообрывать — в этом было все дело.

А Слатин бился, истребляя однокоренные слова, какие-нибудь «приехал» — «уехал». Заменял «уехал» на «отправился» и мучился тем, что такая замена противоречит закону естественности и простоты, который он сам себе установил. И он сравнивал и сравнивал слова, примеряя их к тому месту, где они должны стоять, и от этой работы к концу дня у него воспалялись веки, в глазах появлялся песок и что-то сильно давило изнутри на глазные яблоки. И он был доволен тем, что у него воспалялись веки и поднималась температура,— он честно работал. Он добивался, чтобы любой его материал звучал так, как это требовалось газете: гневно так гневно, восхищенно так восхищенно. И когда Ванечка брал в руки статью, написанную Слатиным, отношения их накалялись мгновенно.

Слатин любил писать. Он затем и променял свою учительскую работу на газетную, чтобы писать. Это было у него в крови, в воспитании. Слатину казалось, что вся жизнь его выстроена так, чтобы он мог воевать, отстаивать справедливость. Он за этим шел в газету. Но первый же материал, не отредактированный, а написанный им самим, Ванечка с минуту подержал в руке и небрежно положил на стопку второстепенных материалов. С тех пор прошло несколько лет, но жест, которым Ванечка брал снизу пальцами листки, подписанные самим Слатиным, нисколько не изменился.

Слатин видел, что сам Ванечка по доброй воле не пишет никогда. И Стульев в газету не пишет.

Зарабатывал Стульев тем, что писал для филармонии.

Писать в газету Стульева заставлял Ванечка. А Ванечку — редактор.

— Иван Акимович, читатели имеют право знать тех, кто работает в газете,— говорил редактор на какой-нибудь утренней планерке.

— Но ведь я не так давно выступал,— приподнимался Ванечка со своего стула.

Планерка проводится в редакторском кабинете. О том, какие материалы пойдут в завтрашнем и послезавтрашнем номерах докладывает ответственный секретарь. Сидит он у торца большого редакторского стола, спиной к окну. Планерку ведет «в темпе». И редактор, человек пожилой, слушает, наклонив голову. Чтобы слушать сосредоточеннее, он иногда даже полузакрывает глаза. Редактор — из бывших типографских рабочих. На этой газете он не очень давно — года три,— но за редакторскими столами сидит уже лет десять. Однако за быстрым ответственным секретарем редактору трудно поспеть, поэтому он напряженно наклоняет голову, останавливает и спрашивает его. Но, в общем, тоже хочет, чтобы планерка шла «в темпе». А разговор с Ванечкой — это уже пауза, разрядка для всех. Главные в газете партийный, промышленный и сельскохозяйственный отделы. Первая, вторая и почти вся третья полосы принадлежат им. Когда ответственный секретарь называет материалы отделов, в его бодром голосе, веселой, быстрой скороговорке все чувствуется отстраненность: не он эти материалы писал, не он визировал (вернее, не его подпись главная), не ему за них отвечать. Вообще-то материалы, особенно политически важные, согласовывались с редактором, с заместителем, не раз обсуждались, но каждый знает, что может подойти такой момент, когда ссылки на согласование потеряют силу.

Ответственный секретарь — второе по осведомленности лицо в редакции. Он еще до планерки знает, какой материал, уже запланированный, замаскированный и набранный, полетит сегодня. Фамилия секретаря — Маятин, зовут его Владислав. Он художав, подвижен, весел. И видимо, способен и умен. В профессии его есть что-то таинственное, как в профессии кинорежиссера. Все в редакции пишут статьи, правят авторские письма, а он делает газету. Большинство газетчиков, проработавших и пять и десять лет, так и не знают, как это делается. Этим и объясняется особое положение Владислава. Он не только журналист, но и техник, и проектировщик, и немного художник. Он определяет размеры будущих, еще ненаписанных материалов, отбирает фотографии и рисунки, решает, каким шрифтом будут набраны тексты и заголовки. Он «выбивает» в отделах запланированные материалы. По штатному расписанию второе лицо в редакции — заместитель редактора. Но на самом деле вторым всегда был Владислав. Поставить или не поставить в номер материал зависит именно от Владислава, хотя формально не он решает, что нужно сегодня газете. Формально власть его не очень велика, но возможности влиять, вмешиваться, «проталкивать» или останавливать материалы чрезвычайны. Он всегда в центре, или, если угодно, в пекле, газетных событий. К нему приходят отстаивать свои материалы или просто просить за них. Вся внутригазетная информация стекается к нему в кабинет, и это один из источников его влияния на редактора. Владислав молод, энергичен и здоров. Он очень художав, светловолос и голубоглаз. Когда он бежит по коридору, газетная полоса, которую он несет к редактору, летит по ветру. В редакции много молодых, и молодые делают газету «по-молодому». Никто никогда не слышал, чтобы Владислав где-то интриговал, на кого-то капал, но в умных глазах Владислава многим видится что-то опасное. Перед планеркой стулья в кабинете стояли вдоль стен в один ряд, теперь они

смешаны. Сидят и у стены и ближе к столу — кто как. Но на самом деле в том, как сидят, есть постоянный порядок. Выдвинувшись в первый ряд, поближе к редакторскому столу, сели завывы — промышленник и сельскохозяйственник. Заведующий партийным отделом Александр Васильевич Пыреев — чуть ближе к заместителю редактора. Ближе к стене, закрываясь спинами промышленника и сельскохозяйственника, сидит Ванечка.

В газете есть люди, репутация которых много лет держится примерно на одном и том же уровне. Но чаще она колеблется от номера к номеру, от планерки к планерке. Постоянная репутация только у тех, кто, как Ванечка, пишет крайне редко.

Сельскохозяйственник — невысокий, в потертом пиджаке, в наглухо застегнутой косоворотке, с истовым, неулыбающимся лицом, которое день ото дня становится истовее и внимательнее, — выдвигается из первого ряда, чтобы никто — ни сбоку, ни сзади — не отвлек его от того, что скажут редактор и Владислав. После редактора сельскохозяйственник обязательно просит слово. Говорит жестко, решительно, называет присутствующих — критикует тех, кого только что назвал редактор. Когда он сядет, краска негодования долго не гаснет на его скулах. В посевную и уборочную он просит для своего отдела больше места, но сам не пишет никогда, редактор никогда не заставляет его писать. У сельскохозяйственника четверо детей, а зарплата, не подкрепляемая гонораром, мала. Так что бедность его не показная. Его подчиненные, которым он не мешает писать, зарабатывают больше, чем он. Себе сельскохозяйственник оставляет телефонные разговоры с глубинкой. «На телефоне» сидит до глубокой ночи. Когда он говорит, редактор слушает его, напряженно наклонив голову. Называет он сельскохозяйственника только по имени-отчеству — Николай Федорович, и работу отдела всегда отмечает: оперативность, политическая грамотность, беспощадность к расхитителям народного добра, разгильдяям, врагам народа. Перечень этот никогда не оборвет посередине. Редактор любит митинговать, а заместитель говорит тихо, длинные матерчатые налокотники, которые он не снял, когда шел на планерку, рукава пиджака да и весь пиджак как бы серебрятся, когда он поворачивается к кому-нибудь. Да и то, о чем он говорит, требует более рассудительной интонации. Он сообщает об ошибках, которые были выловлены в самый последний момент из полосы, говорит о том, насколько профессионально сделаны материалы.

Разная степень наклона редакторской головы показывает разную степень нетерпения. Когда говорит Александр Васильевич Пыреев, заведующий партийным отделом, редактор слегка кивает. Если слово берет Ванечка — это бывает очень редко, — редактор снимает очки и поворачивается к нему всем корпусом. Однако если Ванечка затягивает, редактор опять возвращается к своему столу, надевает очки и рассеянно кивает.

Вообще редактор — человек увлекающийся, не желающий ни с кем делить свою газету. Когда редакционный завхоз напечатал в газете заметку, редактор уволил его: «На этой должности мне нужен именно завхоз».

В три часа редактор уезжал на обед, а возвращался в пять, к концу рабочего дня. Медленно шел по лестнице наверх, навстречу тем, кто собирался домой. Останавливался на лестничной площадке, несколько минут отдыхал, потом шел по коридору, заглядывая в отделы. Первым от лестничной клетки был отдел культуры, и когда редактор открывал дверь, он видел улыбающееся Ванекино лицо, поворачивающееся ему навстречу. К тому времени, когда на лестнице слышался редакторский голос, Ванечка принимался за материалы, ко-

торые сдали ему Стульев и Слатин. Ванечка специально откладывал чтение этих материалов на пять часов. Вообще по всей редакции в пять часов прокатывалась вторая рабочая волна. Хлопали двери, заведующие отделами несли в секретариат вычитанные материалы, Владислав бежал к редактору, и полоса развевалась по ветру. Домой, навстречу редактору, шли только нагруженные хозяйственными сумками — в обеденный перерыв бегали на базар — машинистки; редактор, еще стоя на лестничной площадке, прощался с ними. Потом он открывал дверь в отдел культуры и останавливался на пороге в расстегнутом пальто.

— Иван Акимович, куда идут твои работники? — спрашивал редактор.

Ванечка поднимал брови, разводил руками.

— Петр Яковлевич, — говорил он с ужимкой, — пять часов, рабочий день кончился.

— Но ведь ты работаешь?

Ванечка разводил руками, а Стульев и Слатин продолжали укладываться: снимали налокотники, прятали бумаги в ящики стола.

— Петр Яковлевич, — говорил Стульев своим мощным голосом, — посмотрите в папку готовых материалов. Еще что-то надо сделать? Я останусь.

Но редактор подходил к более молодому Слатину:

— Ты что же? Как машинистка? От звонка до звонка?

По правде говоря, Стульев и Слатин не сразу решились на это — они стали при редакторе уходить домой, когда уже могли себе это позволить.

— Петр Яковлевич, — говорил Слатин, — в среду я сутки не уходил, делал материал в номер.

Но редактор знал все. Он уже начал поощрять Слатина повышенными гонорарами, а главное, тем, что иногда обращался к нему, минуя Ванечку.

Домой Слатин обычно уходил со Стульевым. Стульев говорил:

— Я люблю приходить домой.

Он и в перерыв бегал обедать домой, а не спускался в пирожковую. По улице он шел с тем же выражением сосредоточенности и отрешенности на лице. Слатину он говорил:

— Мать жены три года с постели не вставала перед смертью, а я все равно любил домой приходить. Вначале она меня невзлюбила, просила Лину: «Прогони его!» А потом Лину прогоняла: «Уйди, ты не умеешь».

Иногда он сообщал: работал до утра, писал «настоящую» пьесу.

— Устал?

— Мне было интересно. Я дома работаю. Я вообще люблю, когда много работы.

Слатин смотрел на неряшливо выбритого, уже седеющего Стульева и думал, что, может быть, и не нашел бы своего горения, не пришел бы к этому чувству, если бы начал работать в газете с другим напарником.

И когда редактор приходил в отдел к концу рабочего дня и спрашивал, куда они собираются, Слатин вслед за Стульевым смело отвечал:

— Домой, Петр Яковлевич. Дома я работаю.

Газета выходила каждый день — в этом было все дело. Газета выходила каждый день, а штатных литературных сотрудников в ней было мало. Если бы можно было собрать и сброшюровать то, что Слатин правил, писал и переписывал, то за месяц собирался бы не большой том. Не все работали так, как Слатин, не всем давали срочные задания: оставляли в газетном макете пустое место — до полу-

ночи писать, продиктовать специально оставленной машинистке, дать завизировать начальству и заслать в набор. В этой ночной работе, в этой бешеной гонке была бездна газетного романтизма и бездна самолюбия. Когда-то Слатин думал только о целях журналистики. Он не думал, что когда работы много, когда работы слишком много — сама работа может стать целью, что целью может стать оперативность, темп, грамотность. Он не думал, что пот работы, ее постоянное напряжение может заслонить то, ради чего работа. Слатину не в чем было упрекнуть себя — он изматывался до предела, ничего не оставлял про запас. Когда он так работал, ему казалось, что он чувствует время, ритм эпохи. Он не ходил, а бегал по редакционному коридору — не мог дожидаться, пока перепечатают весь его материал, — снимал с машинки по страничке. Он становился мастером. Но главное было не в этом — его нравственное чувство если не насыщалось, то изматывалось тем, что он работал, работал и работал. И когда редактор вызывал его к себе, Слатин вставал от работы.

Не ругать или хвалить вызывал к себе редактор Слатина, а учить. И это было высокой степенью признанья. Когда-то, в самый первый месяц «испытательного срока», редактору не понравился очерк Слатина о заводском саде. Петр Яковлевич читал возмущенно на планерке: «Листья кажутся металлическими!» И говорил: «В таком саду не засидишься!» Сельскохозяйственник кивал: «На заводе железо — и в саду железо!» Редактор сказал тогда Ванечке: «Испытательный срок подходит к концу. Иван Акимович, давайте ставить вопрос о человеке». Ванечка выручил Слатина. «Мне кажется, здесь есть материал», — сказал он. «Иван Акимович защищает своего работника», — сказал сельскохозяйственник. «Я говорю о материале», — сказал Ванечка. После планерки он увел Слатина в кабинет, махнул рукой в сторону редакторской комнаты. И вообще был очень хорош. Не кокетничал, не кривлялся, был прост. Сам сел подгонять очерк под «газетный материал».

Теперь редактор, подзывая Слатина к столу, показывал ему какую-нибудь фамилию в полосе:

— Зачем ты о нем пишешь?

— Мне его порекомендовал партком.

Редактор смотрел через очки снизу вверх.

— Ты меня слушай, — и кивнул на один из телефонов, — я все знаю.

Разговора этого редактор не продолжил и не возобновлял. Но он, правда, поражал Слатина тем, что как будто знал всех в городе и в области. Если на планерке предлагали кандидатуру ударника, стахановца для очерка, редактор не спрашивал кто это. Он или кивал, или говорил «нет», или морщился — не совсем то, что нужно. (У него были свои газетные идеи. Сейчас это, может быть, и странно называть идеями, но тогда казалось не совсем обычным то, что редактор добивался, чтобы инициалы обязательно ставили перед фамилией и чтобы инициала было два. У него было старое пристрастие к некоторым шрифтам, он разрешал Владиславу Маятину верстать газету веселее, перебивать основной шрифт другими шрифтами.) Главной его страстью была оперативность. На планерке обязательно сообщалось, сколько информации со словом «сегодня» прошло в номере.

Бывало, что ничего существенного в выступлении редактора на планерке не оказывалось. Но иногда оно на несколько дней меняло направление работы всех основных отделов. Начинал он всегда с международных событий:

— Немцы захватили Крит. Одним ударом с воздуха. Все уже

знают? Провели англичан. Подбираются к Каиру. Что это значит, ясно каждому. Война идет у наших границ.

Кто-то подскажет:

— Англичане Гамбург бомбили.

— Да,— скажет Петр Яковлевич.— А сколько у нас было на прошлой неделе материалов по машиностроительному заводу? — спросит он у Владислава.

— Семь,— с готовностью ответит Владислав и весело взглянет на Платонова.

— О других заводах материалы были? — Это опять Владиславу, а не Платонову, который уже несколько раз облизал языком узкие губы.

— Были. О калориферном.

— В области нет других предприятий? На них не наши люди работают? Или эти предприятия не имеют оборонного значения?

Платонов моложе Владислава, но хотя он и самый молодой зав в редакции, он лучше любого другого может постоять за себя. И привычка в волнении облизывать узкие губы выглядит у него как приготовление к нападению. Но и он не станет напоминать редактору, что тот месяц тому назад вот так же на планерке спросил у Владислава, сколько за неделю прошло материалов по самому крупному в области машиностроительному заводу. И потребовал, чтобы материалы об этом гиганте первой пятилетки шли в каждом номере. Завод, на котором трудится пятнадцать тысяч человек! Сотни инженеров, тысячи техников! Завод, имеющий первостепенное оборонное значение! Может быть, кому-то надо напоминать, в каком окружении мы живем? Как близко у наших границ ходит война? Но Платонов этого не скажет. Только наивный человек будет оправдываться. Пришли новые указания, следовательно, надо сразу перестроиться и дать материалы по мелким предприятиям. Редактор, конечно, мог бы сказать: «Нас поправили: «Увлекаетесь гигантом, не видите заводов поменьше». Но Платонов прекрасно знает правило: претензии можно предъявлять только самому себе — надо было иметь в запасе материалы по мелким фабрикам.

2

По крайней мере, в первый год работы в газете Слатин был счастлив. Слатина отличало одно вполне определенное обстоятельство— у него было постоянное и очень сильное желание понять мир при стойком ощущении, что он его не понимает. Это постоянное ощущение — не понимаю — его мучило. Так много страданий человеческих он видел в детстве, слышал о них, становясь подростком, юношей. Он видел верующих людей и никогда не верил сам. Он знал, чего не понимает, и искал книги и людей, которые помогли бы ему понять. Нужен был смысл для жертв военных, голодных и других лет, нужна была логика — логика истории, прогресса, которая давала бы человеческое освещение всему тому, что он видел. Слатин прекрасно понимал, что в момент убийства или насилия факт этот мог не иметь ничего общего с какой бы то ни было логикой. Но потом он обязательно должен был вовлекаться в движение истории, освещаться историческим смыслом, вступать в связь со всеми другими историческими фактами. Связь должна была быть! Поэтому он испытывал такое наслаждение, читая у Маркса фразы, которые звучали примерно так: «Дело не в том, что сейчас думает отдельный рабочий, и даже не в том, что думают целые группы рабочих,— дело в том, что вынужден будет сделать весь рабочий класс, чтобы выжить и сохра-

нить себя». Вынужден будет! Слатин, конечно, немного мистифицировал для себя материалистические законы. В это «вынужден» он вкладывал не совсем то, что думали по этому поводу великие Маркс и Энгельс. Но Слатин не был великим. Он был провинциальным интеллигентом, и счастье его было не в том, что он открывал великие исторические законы, а в том, что, испытывая на себе действие этих законов, он испытывал счастье понимающего, принимающего и участвующего. Это было счастье зрячего. Слатин, провинциальный интеллигент, марксист, видел то, чего не могли видеть Маркс и Энгельс,— подтвержденную практикой теорию великого ученого. И это было ни с чем не сравнимое счастье! Слатин нашел великую теорию и великих учителей. Он узнавал — и темные, слепые факты обретали смысл и объяснение. Это было не только объяснение, но и преодоление жизни. У Слатина было то, чего всю жизнь искали ищущие, верующие, избранные: у него была цель, у него была вера, у него было знание, и если бы он был постарше, можно было бы сказать — мудрость. Потому что когда он узнал, он успокоился в чем-то. Он нашел, ему незачем было суетиться. И жизнь, и даже возможная смерть во время грядущей большой войны, неизбежность которой он чувствовал, теперь обрели смысл. Даже возможная несправедливость по отношению к нему не пугала его потому, что он в значительной мере утратил страх за себя, увидел то целое, в которое он входил незначительной частью. Соразмерил пропорции. Он мог сжиматься, работать по четырнадцать часов, изматываться до предела, мог отказать от того, что называют личной жизнью,— знал, ради чего. А разве не этого как самого высочайшего счастья добивались думающие люди всех веков и народов — знать, ради чего можно пожертвовать своей жизнью?! Жизнь надо наполнить смыслом, тогда ею легко пожертвовать. У Слатина жизнь была наполнена смыслом.

Отец Слатина был старым революционером. Он был в числе организаторов знаменитой южной забастовки 1904 года. В тридцать четвертом они всей семьей собирались переехать в Мариуполь, на юг,— у отца было плохо со здоровьем. В квартире было голо, даже кровати стояли с пустыми панцирными сетками — мать уже упаковала постели. Отец прилег на голую сетку — до поезда оставалось часа два. В это время постучали...

Через год отец вернулся, и он все-таки уехал в Мариуполь с матерью. А Слатин остался в городе. Потом отец умер, и мать вернулась. Самое главное, что Слатин запомнил об отце,— это то, что отец умел думать против себя. Правильным для него было совсем не то, что было приятней или легче. Может быть, поэтому для Слатина всегда были так значительны слова отца. И вообще отец, больной и слабый, всегда оставался для Слатина значительным потому, что умел думать против себя. Слатину казалось, что он перенял у отца это умение.

С самой возможностью несправедливости Слатин оборачивал дело так, что себя же считал виноватым. Ведь это же мы сами куда ни взгляни, куда пальцем ни ткни! И следовательно, все наши большие недостатки идут от наших малых, личных недостатков. От лени, жадности, эгоизма, от неумения жить по законам логики. И Слатин озлоблялся на самого себя, на свои недостатки, на собственную слабость. Надо, надо бить и за слабость, и за трусость, и за эгоизм! Надо заставлять людей работать, вытаскивать страну из технической отсталости. Он был еще молод, и бешеный рабочий темп был ему по силам, и весь новый мир казался ему молодым, бессмертным, а старики были подозрительны потому, что они были оттуда, из другого мира.

Конечно, перегибы были, и никто от них не застрахован в будущем. Но дело не в отдельных перегибах — «каленное железо», о котором каждый день писали газеты, было не только средством наказания и устрашения, но и мерой нравственности, которую многие принимали сознательно. Не ниже! И мировая война, и революция, и гражданская война, и коллективизация, и пятилетки — все это было вот оно. Ни о чем нельзя было сказать, что это вчерашний день. Вчерашним днем было «мирное время» — так пожилые люди называли то, что было до четырнадцатого года. А с девятьсот четырнадцатого мирного времени в стране не было. Была борьба, не имевшая себе равных в истории. На пороге ждала та самая война, к которой поколение Слатина готовилось всю жизнь. Инженеры, рабочие строили оборонные предприятия, а делом Слатина было воспитание сознательности. Его делом было воспитание новой, сознательной дисциплины, самоотверженности, героизма и веры; в такой борьбе ждать прекраснотушия от противника или терпеть его в своих рядах — преступление! Так много раз писал в своих статьях Слатин. Это была литая истина, требовавшая почти дословного повторения. В газетном обиходе было немало таких литых истин, и повторять их надо было, избегая перестановки слов в фразе потому, что малейшая перестановка казалась безжалостно. Даже излишний энтузиазм редактор вымарывал безжалостно. И чаще всего он вымарывал у Слатина потому, что Слатин над этой литой истиной размышлял постоянно и мучительно, и размышления его сказывались на том, как он писал. В размышлениях Слатина были и сомнения и озарения. Среди озарений и была мысль о том, как высоко, на каждую жесткую и трудную, но нужную человечеству высоту поднимает эпоха свою нравственность. Сомнений у Слатина, пока он учился, пока в тридцатых годах его подросшие сверстники не стали занимать командные посты, не было совсем. Он безоговорочно верил в дело, верил отцу, верил тем, кто был старше его, легко прощал им перегибы, но безоговорочно верить тем, кого он знал с детских лет, Слатин не мог. Спасался он от сомнений работой. Что ни говори, а главным в эпохе была работа. И главное его сомнение начиналось тогда, когда ему начинало казаться, что такие, как Ванечка Фисунов, направляют всю его работу на холостой ход. Суреном Григорьяном Слатин и заинтересовался потому, что это был работающий человек. Правда, вначале Слатину казалось, что Сурен просто отгородился в своем техническом мирке от главных вопросов эпохи. Сколько угодно отгораживаются. Но потом он понял, что характер у Сурена не такой, с каким можно от чего-либо отгородиться. Недаром жена Сурена Лида шутя называла его «враг семьи». И перечисляла: в армии отпуск позже всех получал, самые трудные солдаты ему доставались, в любую драку вмешивается, сам деньги на роту ездил получать, уголовники один раз проследили, едва отбилась от них с наганом — на ходу с поезда прыгал.

Слатину неудобно было слушать, как наивно говорил о газетчиках Сурен:

— Понимаешь, может, и правильно, что они свой авторитет оберегают.

Но все равно Слатин был счастлив тем, что работал в газете. Как-то в их длинную комнату заглянул один из секретарей обкома партии, приходивший знакомиться с газетчиками. Слатин встал, и редактор, который сопровождал секретаря, сказал Слатину с одобрением:

— Сиди, сиди. Не в армии!

Но Слатин хотел чувствовать себя в армии.

Они были новыми людьми в редакции, к ним приходили знако-

миться, и Слатин с любопытством, вниманием и удивлением следил за сценками, которые разыгрывал с посетителями Ванечка. В том, что Ванечка принимал людей, известных Слатину по их книжкам или статьям, была какая-то тайна. Сам Слатин принимал бы их не так, не в таком порядке. Но Ванечка знал этих людей еще по областному издательству, и Слатин присматривался. Он начинал понимать, что ненавидит Ванечку. Не презирает, а именно ненавидит. Ванечка постепенно убивал смысл жизни, смысл их работы, каким его понимал Слатин.

Слатина никак нельзя было назвать терпимым человеком. Он был раздражительным борцом за справедливость — так это можно было бы сформулировать. С юношеских лет он был уверен, что логика для всех одна, что образованный человек руководствуется в решениях своих логикой. Одним из самых ошеломляющих открытий для него было то, что логика не действовала на всех одинаково. Больше того, было сколько угодно людей, на которых логика не действовала совершенно. В начальнические качества Ванечки Фисунова, например, входило принципиальное незнание каких-то самоочевиднейших вещей. Он обладал вот этой способностью чего-то не знать и не понимать. И вот как раз в этой сфере, где не спрашивают, не отвечают, где Слатин постоянно попадал впросак, Ванечка ориентировался лучше всего. Приносил, например, кто-нибудь в редакцию сборник статей университетских философов и предлагал сделать на него рецензию. Ванечка улыбался и разводил руками:

— Не пойдет.

Слатин точно знал, что ни одной философской статьи ни в этом сборнике, ни в каких бы то ни было других Ванечка не читал. В другой раз Ванечка сам приносил Слатину на стол какую-нибудь книжечку и говорил:

— Сделаешь аннотацию строк на шестьдесят. Это интересно. Вначале Слатин кричал:

— Кому интересно? Тебе интересно? Мне интересно? Ты туда даже не заглядывал!

Когда Слатин был студентом, ему нравились научные поправки к старым аполитичным словам «истина» и «справедливость». Нравились не только научной обоснованностью, но и научным романтизмом. Научный романтизм даже составлял для него главную привлекательность. Слатин собирался перестраивать старый мир, а без этих научно обновленных, заряженных политической энергией слов в такой работе нельзя было обойтись. Слатин, конечно, понимал, что не Ванечка виноват в том, что возникает душевная пустота, душевная незагруженность, но, конечно, Ванечка поручал ему, способному решать алгебраические задачи, работу на арифметическом уровне. Правда, и тут Слатин все поворачивал так, что обвинял самого себя. Дело было в недостаточной интенсивности его чувств, в несовершенстве его собственного воспринимающего аппарата.

Все эти годы Родион Алексеевич пытался освободиться от Ванечкиной власти. Когда Ванечка ушел в отпуск, Стульев и Слатин дали в два раза больше материалов — папка «готовых материалов» пухла, и редактору это нравилось. «Мы должны делать полтора номера в сутки» — был главный его производственный принцип. Это означало, что треть материалов, запланированных, набранных, с которыми у журналистов связывались свои надежды, каждый день летело в корзину. Зато у редактора был выбор. Когда Ванечка вернулся из отпуска, его ждал страшный удар — редактор выделил Стульева в отдельный «сектор». Родион Алексеевич перебрался в каморку, в кото-

рой до этого фотокорреспонденты сушили под вентилятором свои фотографии...

Ванечка страдал и настойчиво добивался возвращения Стульева в отдел.

Стульева переводили в секретариат, возвращали в каморку, он всюду таскал за собой свою карту, настольное стекло, рисунки и фотографии. Потом его вернули в отдел, он сел за свой стол, повесил карту, воткнул флажки, прикнутил афишу, но теперь это уже был человек, которого в любой момент могут направить работать самостоятельно. Ванечка мог сколько угодно разговаривать со Слатиным — Стульев ничего не слышал, хотя Ванечка говорил и для него.

3

В ночь с субботы на воскресенье 22 июня 1941 года Слатин работал, потом лег, но не сразу заснул, а рано утром пришел Сурен, и они делали полочку для вешалки, а потом пошли по городу.

Выступления Молотова по радио они не слышали, и только на главной улице им сказали о войне. У газетных киосков собирались люди, но утренние газеты уже прошли, в них ничего не было — Слатин это прекрасно знал. Над Ванечкиным столом на специальные крючки накальвались полосы, которые курьер приносил утром и в обед для вычитки. На первой полосе сегодня шла передовая «Командир запаса». Тут же были информации о закрытии итальянских консульств в США и о том, что Дамаск занят английскими войсками. Основные сообщения о войне регулярно печатались на четвертой странице под обширным заголовком «Война в Европе, Африке и Азии». В заголовке этом иногда выпадала Африка или Азия, но в общем он не менялся уже много месяцев, сделался привычным, как сделался привычным тон сообщений, печатавшихся под этим заголовком. Первый абзац — «сообщается в сводке германского командования». Второй — «согласно коммюнике английского командования». В субботу, например, на англо-германском фронте была некоторая активность авиации. Немцы, по сообщению германского командования, бомбили портовые сооружения Грейт-Ярмута, а также аэродромы в Южной Англии, а английские бомбардировщики, «согласно коммюнике английского командования», совершили налет на доки в Гавре и промышленные объекты в Кёльне и Дюссельдорфе. В сообщении на воскресенье все повторялось. Только, «по сообщению германского командования», на англо-германском фронте была «значительная активность авиации», а по сообщению агентства Рейтер, английская авиация совершила непродолжительный, но ожесточенный налет на французское побережье, оккупированное Германией. Еще было сообщение о том, что продвижение английских частей вдоль дороги из Сайды на Бейрут задерживается вследствие сильного сопротивления французских войск.

Оставив Сурена, Слатин побежал в редакцию. Ванечка уже был в отделе.

— Что будем делать? — спросил Слатин.

— Пока ждем, — сказал Ванечка. — Редактор в обкоме. Почитай газету.

У Слатина на столе лежал свежий номер газеты. С первой полосы улыбалась Зоя Федорова. В подписи под фотографией было сказано, что вчера в наш город прибыла лауреат Сталинской премии артистка Зоя Федорова, снимавшаяся в фильме «Фронтовые подружки». Слатин отложил газету в сторсону, потом спрятал ее в ящик сто-

ла. Он подумал, что номер этот нужно сохранить — исторический номер. Но он еще не знал, не мог знать, не мог даже предчувствовать, какое значение в жизни страны, в жизни близких ему людей и в его собственной жизни будет иметь этот день...

Глава четвертая

1

В то самое время, когда Валентина собиралась домой, Женя ехал на завод.

Ехать на завод надо было минут пятьдесят через весь старый и новый город — Женя несколько раз хронометрировал. Вначале трамвай шел булыжной Гоголевской, и хоть тут он начал ходить не так давно, лет через десять после революции, улица эта казалась искони трамвайной. Потом сворачивал в узкие переулки бывшей окраины, на поворотах наезжал — места для рельсового поворота не хватало — на заборы, царапался о ветки акаций, объезжал пустырь, который уже несколько лет превращали — никак не могли превратить в стадион, подбирал редких пассажиров на остановках, названий которых никто не мог запомнить, и вдруг, поднырнув низким узким туннелем под железнодорожную насыпь, оказывался на асфальтовой улице типа «новый быт». Дальше шли остановки с названиями, сразу осевшими в памяти: «Универмаг», «Школа», «Стадион», «Заводская».

По этой улице мимо трех-четырёхэтажных домов с квадратными окнами рядом с трамваем шел троллейбус, и улица казалась искони троллейбусной. На трамвай здесь и садиться было как-то неприятно — таким он тут выглядел старым, жарким, жестким и дребезжащим.

Пятьдесят трамвайных минут Жене всегда казались потерянными. Троллейбусом до завода — Женя хронометрировал — можно добраться быстрее, минут за тридцать. Но трамвайная остановка была рядом, а до троллейбусной надо было идти три квартала. Кроме того, Женя вообще не любил ездить. Лет шесть назад, еще до женитьбы, у него был принцип — никогда не ездить. В любую погоду и зимой и летом на работу и с работы он бежал «на выдержку» вдоль трамвайной линии. Получалось час двадцать, час десять — почти столько же, сколько на трамвае. И время не пропадало: ежедневная тренировка на марафонской дистанции, закалка организма — Женя очень серьезно относился к спорту.

Интересно, что никто на заводе не считал Женю чудаком. Что-то спортивно-серьезное было уже в самой его одежде: зимой — пригнанный, даже будто притертый к его фигуре лыжный костюм, летом — синее гимнастическое трико на резинках. И бежал он по-настоящему легко, не на пресловутом втором дыхании. Осенью и весной не забрызгивался до колен, летом не помирал от жары. И никому свой способ передвижения не навязывал. А если кто-нибудь восхищался его выносливостью, Женя пожимал плечами: «Тетки-молочницы за двенадцать километров на рынок к шести утра поспевают, а у каждой по два ведра на коромысле». Женя не на теток равнялся, у него была своя теория, но однажды он от кого-то так отмахнулся.

И специалист Женя был первоклассный — модельщик по литью, слесарь-инструментальщик. Его давно прочили в мастера, но он отбивался. Дураком бы он был, если бы с такими специальностями в руках перешел на зарплату мастера! Хотя для самого Жени (он над этим не очень задумывался) не это было решающим.

Но, пожалуй, дело было не только в специальностях Жени, не в его спортивных плечах. Время, что ли, было такое. Сейчас, через двадцать лет после войны, и завод разросся, и спортсменов на нем в десять раз больше, но тогда, до войны, каждый Женин сверстник в глубине души считал, что и он, как Женя, должен бежать за трамваем. Во всяком случае, в этом видели что-то новое. Передовое. Страна строилась, изменялась. Перемены, строительство были поэзией революции. Мир, темный до семнадцатого года, до всеобща, открывался заново. Он открывался и на уровне всеобщего обязательного семилетнего обучения, и на том уровне, где наука переходит в научную фантастику. Казалось, все можно построить и перестроить: и завод, и собственный организм, и вообще человеческое общество. Нужны только вера и серьезность. А веры и серьезности Жене было не занимать. Он все делал серьезно. В армии был прекрасным артиллеристом, отличным вычислителем — на стрельбах удивлял инспекторов необычным умением положить в цель первый же снаряд. Ему привинтили на петлицы треугольники сержанта — это продлеvalo службу на несколько месяцев, уговаривали поступить в командирскую школу — он отказался. В артиллерии было много такого, что интересовало его: моторы, машины — техника вообще, математические задачи, головоломки, решать которые он любил. И соответственно всей этой технике, с которой не так-то просто обращаться, обращение с людьми. Почти такое же, к какому он привык на заводе. Ему даже расстегнутый воротничок прощали. И все же он не захотел остаться.

Правда, придя из армии, он не вернулся в свой цех. Из инструментального перешел в литейный. А мог бы вообще не возвращаться на завод. И резоны были — далеко. Не век же ему бегать через город за трамваем. Не мальчик уже. С его способностями можно отыскать работу поближе к дому и позаработнее. Обычно мать не решалась ему советовать, а тут его три года не было, и у нее накопилось. Она робко кивала на соседского парня, старого Жениного приятеля. У него редчайшая, а по тем временам уникальная специальность — наладчик рентгеновских аппаратов. Во всех больницах врачи с ним на «вы», парню двадцать четыре года, а он — Николай Алексеевич. И в армии не служил — специалист незаменимый. И заработки — как у незаменимого специалиста. Теперь он сам предлагает Жене companionship — не справляется один. Раньше аппараты были только в тубдиспансере, в областной поликлинике, еще в двух-трех больницах, а теперь их устанавливают всюду, и Николай боится потерять монополию. Женя несколько раз помогал ему. Рентгеновские аппараты радовали его своей сложностью, близостью, что ли, к миру научной фантастики. Женя считал, что все по-настоящему важные проблемы и сегодня и завтра будут решаться техникой. Совсем недавно, например, у города был отстало-трамвайный, булыжный вид, а теперь троллейбусы, автомобили и асфальт изменили его, хотя центр города почти не перестраивался. Но, освоившись с новыми схемами, побывав в затемненных шторах аппаратных тубдиспансера, областной больницы, Женя быстро охладел. Его тянуло на завод. Во-первых, там много знакомых. Идешь от проходной — и каждый тебе говорит: «Здорово, Женя!» Во-вторых, завод не только самый большой в городе, но и один из крупнейших в стране. Свой стадион, своя водная станция, свой Дворец культуры. И наконец, рядом с заводом и при заводе институт с вечерним и заочным отделениями. Нет, Женя не учился в институте. Ему еще и так было интересно жить. Но все же ему приятно было думать, что и он когда-нибудь поступит в институт. Если захочет, конечно. С этим институтом у Жени были се-

мейные неприятности. Когда он вернулся из армии, мать — три года собиралась — предложила:

— Мы с Ефимом подумали и решили, что ты можешь поступить в институт.

Ефим — это отец. Но отцом его в семье почти никогда не называли. Маленький, нахохлившийся, похожий на ссохшегося, постаревшего Женю, Ефим молча сидел тут же. Это означало, что он не вмешивается. Он вообще не вмешивался. Это была его старая, угрожающая, томящая всех позиция — молчать, не вмешиваться и осуждать. Сейчас он даже не смотрел на жену и сына, и материну «мы с Ефимом подумали» можно было понимать как угодно. Как женскую глупость, например. Как Ефимову снисходительность. Мало ли он терпел женских глупостей! Сейчас этот глупый разговор, затеянный глупой женщиной, закончится, и Ефим уйдет в свою комнату. Так Ефим молчал для матери. И она сбивалась, бледнела, не успев произнести ни одного слова. Для Жени Ефим молчал по-другому, даже с некоторым оттенком извинения: «Не я затеял эту канигель, ты взрослый, я тебе не указ. И вообще, подумаешь — институт, не институт!» Так у Жени с Ефимом было всегда. Когда Женя был маленьким, Ефим говорил ему: «Не маленький, думай сам!» Это была суровость, сквозь которую Женя вначале не мог пробиться, а потом и не стал пробиваться. Он только жалел мать, теряющуюся под этим уничтожительным молчанием. Но тут он ей ничем не мог помочь. Разве успокаивающе притронуться к плечу: «Ладно, ладно, мать». От этой снисходительности мать терялась еще больше — получалось, что она и вправду затеяла разговор невпопад. Но Женя ничем не мог ей помочь.

Странно все-таки, что Ефима почти никогда не называли в семье отцом. Он был на восемнадцать лет старше Жениной матери и словно сам старался всем показать, что настоящая жизнь у него была давно, еще до того, как он встретился с Жениной матерью, и что все важное и значительное для него происходило в той, настоящей жизни. Что у него там могло быть важного и значительного, Женя не знал. А главное, и не старался узнать. Что там могло быть? Ни спорта, ни техники, ни науки. Досадно, конечно, что у Ефима с матерью не сложилось — на Жениной памяти Ефим не сказал матери ни одного ласкового слова, — но сама досада у Жени была непостоянной, летучей. Во-первых, Женя привык, а во-вторых, не сложилось как раз в то время, когда ни у кого не складывалось. До революции. Не то что Женя так примитивно думал — это было как раз тем, над чем он вообще не думал, просто принимал, как принимали почти все его знакомые. До революции и должно было не складываться. Все. У всех. В историческом масштабе. Во всяком случае, вовсе не удивительно, если не сложилось.

Женя видел, что Ефиму не нравятся новые порядки. Сам Ефим редко прямо об этом высказывался. Так, колухнет ногтем кожпропитовую подошву на полуботинках местной фабрики: «Подошва! Кожпропит!» Или с отвращением нюхает пахнущую керосином и еще бог знает чем краску для полов, только что купленную в магазине: «Раньше хозяин собачью будку такой краской поганить бы не стал». Или вдруг увидит на параде командиров, несущих сабли наголо, и возмутится плохой выправкой: «Как жандармы свои сеledки!» С особым вкусом он произносил: «Хамье!» Помнут ему рубашку в трамвае, наступят на ногу, жена спросит, где это он так, а он закричит на нее: «Что ты хочешь? Хамье! Ну!» — и бешено смотрит на нее, будто глупее и оскорбительнее вопроса она ему задать не могла. Но больше он осуждал молчаливо, и хотя революция ничего у него не могла

отнять — до революции он у местного купца был мелким конторщиком, — молчал он так, словно она отняла все или не дала то, что обещала. Оживлялся Ефим только на уровне разговоров о международной политике. Тут он был патриотом и даже человеком общительным. В общем, Ефим для Жени был загадкой. Но такой загадкой, которую совсем не обязательно разгадывать. Нет интереса. И не спорил Женя с Ефимом никогда. Как-то без спора переспорил его. В их тесной квартире у Ефима была своя комната. То есть комната, куда без нужды никто не решался войти, хотя Женя и не помнит, чтобы Ефим кого-нибудь выпроваживал оттуда. Женя маленьким тоже опасался входить в эту комнату даже днем, когда Ефим был на работе. Жене передавалась тревога матери, всегда боявшейся, чтобы, не дай бог, на столе у Ефима кто-нибудь что-нибудь не переставил, не перепутал. А на том столе лежали железная линейка, сделанная так, чтобы, прочерчивая линии чернильным пером, не ставить кляксы, посеребранный железный пенальчик для карандашей и две чернильницы с конусовидными крышечками. И еще на столе лежали обыкновенные конторские счета. Вот по этим счетам, если пощелкать костяшками, а потом забыть их сдвинуть к правой стороне, и можно было заметить, что кто-то без Ефима хозяйничал у него на столе. В детстве Женя заиграется во дворе и вдруг даже вздрогнет — это ему предстанут счета Ефима, на которых костяшки разбросаны как попало. А потом у Жени в общей комнате появилась своя книжная полка с Бремом, энциклопедией, Джеком Лондоном, самоучителями, а на кухне ящик со слесарным инструментом, и как-то забыл Женя, что когда-то с трепетом подходил к столу отца и с трепетом притрагивался к конторским счетам. И сам Ефим, уходивший по вечерам отсиживаться с газетой в свою комнату, перестал Женю интересоваться. Жалко даже Жене отца становилось — ну что он там делает со своей газетой? Так, дурной характер побороть не может. А дурной характер Жене казался чем-то пустым, чем-то вроде женского каприза. Дурные характеры, которые нельзя побороть, были для него тоже чем-то оттуда, где все у всех не складывалось. Из той, дореволюционной эпохи. Себе Женя никогда бы не позволил иметь дурной характер.

Правда, слишком хороший характер, такой, как у матери, тоже мог быть оттуда, из дореволюционной эпохи. Когда мать разговаривала с отцом, Жене всегда казалось, что у нее слишком хороший характер. Женя давно понял, что и грозным Ефим всей семье кажется только потому, что таким он кажется матери. Со всеми остальными Ефим был просто замкнутым, немногословным человеком. С соседями, например. Но, кажется, и соседи слегка опасались его, считали его яростным и грозным потому, что и им невольно передавалась всегдашняя готовность Жениной матери испугаться того, что скажет Ефим, как он посмотрит. Когда за обедом Ефим вдруг откладывал в сторону ложку и произносил, уставившись на мать: «Сто раз говорилось — недосол на столе, а пересол на спине», — все: гости, родственники, сидевшие за столом, — тягостно замолкали, ожидая, когда же Ефим отведет глаза от Жениной матери. Но Ефим надолго замирал, даже остолбеневал, словно потрясенный бабьей глупостью, словно пораженный тем, что и сто раз сказать недостаточно. Способность вот так сказать, спросить и долго не менять грозно-вопросительного выражения лица у Ефима появлялась, только когда он разговаривал с матерью или безлично ругал новые порядки. Для остальных случаев у него была обычная, довольно гибкая мимика. Но почему-то всем, и Жене тоже, Ефим запомнился по вот этому грозно-окаменевшему выражению лица, по тому, как он оборачивался к матери, когда та что то говорила, и торопил ее: «Ну? Ну!»

В детстве Женя все ждал, что мать в ответ на это «ну!» топнет ногой, накричит на Ефима. Теперь он знал, что мать никогда не закричит, никогда не топнет, хотя до сих пор не понимал, что мешает ей это сделать. Мать всегда казалась Жене и умней и шире отца. В доме у них при нелюдимом и желчном Ефиме всегда было полно народу. Гостили племянники и племянницы — Женины двоюродные братья и сестры — из Мариуполя, родственники из Одессы, свои, местные племянники. Женина мать была всеобщей теткой. Обременяли ее не задумываясь, не извиняясь, не обращая внимания на грозного Ефима. Мать была главной в доме. Это понимали все, кроме нее самой. Все, в том числе и грозный Ефим, придирчиво принюхивавшийся к кухонным запахам, присматривавшийся к воротничку свежестглаженной белой рубашки — не отликает ли желтизной. Когда он наконец надевал эту рубашку, сменял свое грозно-вопросительное выражение лица на буднично-деловое и стремительной походкой легкого, очень худого человека выходил из дому, мать юмористически вздыхала: «Ах ты боже мой!» — и возвращалась к обычным своим делам, от которых на несколько минут отвлеклась, провожая Ефима: кормила племянников, выгоняла из комнаты мух, занавешивала от солнца газетами окна, протирала мокрой тряпкой старые, много раз крашенные полы, иногда посыпала их травой, чтобы сохранить в комнатах прохладу и чистый воздух до тех пор, пока вернутся с работы Ефим, Женя, жена Жени Валентина, стирала, гладила, готовила обед и делала тысячу других маленьких дел, ни разу не опоздав с обедом, ни разу не пересолив, не пережарив. То было время столовых, судков — специальных кастрюлек, в которых холостяки или работавшие на производстве хозяйки носили из столовых обеды домой, — а у Жени, Ефима, у Валентины был дом. У них весна всегда вовремя начиналась редиской и салатами, лето — молодой картошкой и огурцами, у них были здоровые желудки, и Ефим мог позволить себе быть брезгливым потому, что чистоплотной была Антонина Николаевна. И потому, что у них был дом, к ним в маленькую старую квартиру тянулись родственники, у которых и квартиры были лучше и зарплата повыше. Родственники приезжали из Одессы, Севастополя, Мариуполя, и Женя давно считал, что город, в котором он живет, лучше и Одессы, и Севастополя, и Мариуполя. Когда Женя женился, он не стал искать себе квартиру, а привел Валентину к матери — не мог представить, как будет жить в другом месте. Шесть лет прошло с тех пор, а мать ни разу не поругалась с невесткой, хотя Валентина вовсе не была покладистой и обходительной. Лишь иногда Антонина Николаевна поглядывала на Валентину с тревогой, когда та слишком решительно что-то от Жени требовала. Вот хотя бы чтобы Женя поступил в институт.

— Пусть он сам. Пусть сам, — говорила она Валентине, едва ей начинало казаться, что Женя сердится. — Ты не требуй от него.

Женя смеялся тому, как мать учит насквозь современную самолюбивую Валентину:

— Нет, мама, она имеет право требовать.

Валентине очень хотелось быть женой инженера, как тогда говорили — итеэровца, начальника цеха. А еще больше ей хотелось, чтобы Женя по вечерам ходил вместе с ней в институт, а не на водную станцию и не на стадион, где бывает так много хороших физкультурниц.

— Они спортом занимаются, чтобы скорее выйти замуж, — говорила она Жене. — Щеголяют в купальниках. Будто я не знаю, сама на водную станцию ходила.

Женя смеялся: физкультурницы в купальниках ему не угрожа-

ли — он был очень уравновешенным человеком как раз там, где у других всякая уравновешенность кончалась. Вот и этот институт! Не хочется, хоть ты убей! Еще и так интересно жить. И начальником цеха не хочется. Женя не мог этого объяснить ни матери, ни жене (особенно жене!). Такой характер, что ли. А может, друзья просто все такие подобрались — токари да слесари. А может, возраст не подошел, с водной станцией расставаться неохота. Или еще что-то...

— Нет в тебе этого.... азарту,— говорила с досадой Валентина.— Я на третьем курсе, а до сих пор к тебе за консультацией и по математике и по чертежам. Тебе бы и делать нечего — только экзамены сдать. Не понимаю, как такой неазартный человек спортом занимается. Девчонкой я думала про тебя — вот фанатик, за трамваем бегаешь. А ты просто тюлень. Ты просто притворялся фанатиком.

Валентина была подвижная, немодного по тем временам высокого, почти в уровень с Женей роста. Ей все казалось, что Женя недостаточно внимателен к ней, что любит он ее слишком спокойно. И ссорилась она с ним потому, что он такой спокойный. И улыбка его казалась ей излишне спокойной, и то, что его трудно, почти невозможно вывести из себя, раздражало ее. И обижало то, что он ей самой предоставил налаживать отношения со свекровью и свекром и никогда не вмешивался в домашние дела.

— Вот получу диплом, стану твоим начальником,— говорила она,— посмотрим, что ты тогда скажешь!

Женя смеялся, но не спорил (а Валентине было бы легче, если бы спорил). Он и правда не очень переживал, если проигрывал на соревнованиях, не казнил себя самолюбиво, но фанатиком он все же был. Проиграв, он пробовал для себя новый режим тренировок, придумывал диету — ни грамма алкоголя, ни одной папиросы, не больше пяти стаканов жидкости в день — и вообще всячески испытывал свой организм. Начал он бегать за трамваем, например, после того, как проиграл встречу по боксу. Боксом он до этого почти не занимался — на соревнованиях выступал потому, что некого было выставить от завода,— а проиграв, взялся за тренировки всерьез. Точно так же всерьез он занимался рентгеновскими аппаратами, когда помогал Николаю, всерьез решал кроссворды в «Огоньке», и вообще он о себе говорил: «Нет, в этом я ничего не понимаю», если не знал дела полностью и всерьез. Всем домашним Женя чинил часы сам, а когда Валентина похвасталась подругам, что Женя и часы умеет чинить, он сказал: «Нет, в этом я ничего не понимаю». Он очень легко так говорил о себе и смеялся, когда Валентина раздражалась и ругала его.

2

Женя вскочил в прицепной вагон трамвая — он всегда ездил в прицепке — и остался на подножке. Вагон был полупустым — трамвай только что развернулся на конечной остановке — и по-особому, по-воскресному пыльным и жарким.

— Войдите в вагон,— сказала Жене утомленная воскресной жарой кондукторша (все сегодня гуляют, а она на работе!),— что мне, за вас отвечать?

— Воротничок белый,— улыбнулся кондукторше Женя.— Вспотею — испачкается. Увижу милиционера — поднимусь.

И хороший человек кондукторша бледно улыбнулась:

— Вы что, не слышали — война!

— Как не слышал! — сказал Женя.

— Германия на нас напала, да? — спросила кондукторша.— Немцы на нас пошли? А то пассажиры говорят, говорят, а я не разбе-

русь.— И она опять бледно улыбнулась: так устала от жары, что и война где-то там, за полторы тысячи километров, не страшна.— Я сейчас одного пьяного везла. Ему говорят: «Война!» — а он ничего не понимает.

— Проспится, завтра поймет.

Это поразило кондукторшу:

— Все уже знают, а он только завтра узнает! Вот что водка с мужиками делает! Зальют глаза! Несчастные их жены. Я вчера одного возила, три круга сделали, вылезать не хотел, не знает, где его остановка.

Она ругала мужиков, но с каким-то оттенком восхищения. Она заигрывала с Женей и хотела, чтобы он увидел, какая она баба понимающая и широкая.

Женя сочувственно кивал. На остановке у центра, где садилось много людей, он поднялся в вагон, ближе к горячей, накаленной солнцем крыше, от кондукторши его оттеснили пахнущие духами, табаком и потом взволнованные пассажиры. Но кондукторша все время помнила о нем и время от времени улыбалась ему.

Жене везло на хороших людей. Женщины, как эта девчонка в короткой юбке и белых спортивных тапочках (никогда она спортом не занималась, Женя это мог определить с первого взгляда, спортивные тапочки носит потому, что дешевы), по-доброму расцветали, когда он улыбался им, желчный отец редко повышал голос, начальство ценило, друзья уважали, а если Жене попадался плохой человек, какой-нибудь хулиган, то и он, взглянув в Женины серьезные, не ускользающие глаза, на его прочную шею, на время притворялся хорошим. Так что мир для Жени был наполнен почти исключительно хорошими людьми.

На заводской остановке он попрощался с кондукторшей, помахал ей и спрыгнул, не дожидаясь, пока трамвай станет. Площадь у завода была по-воскресному пустой, асфальтово-душной и жаркой. На деревянном киоске облупилась недавно подновленная голубая краска. Вахтер, который по случаю воскресенья один дежурил у пропускных коридорчиков, не удивился тому, что Женя хочет пройти на завод. Этого рябого вахтера на заводе дружно не любили (Женя поступил на завод лет десять назад, а он уже давно был вахтером). Сколько ни ходи, не пройдешь, не показав пропуск «в развернутом виде». И не поздороваяешься. «Проходи, проходи!» — скажет он. Работой вахтера была бдительность, он не любил всех этих опаздывающих, толкающихся, норовящих обойти правила и инструкции людей. А работу свою он любил. Это было видно и по его цепким глазам, и по желтой кобуре револьвера, которую он носил сдвинутой на живот, будто оружие ему ежеминутно могло понадобиться, и по тому, как он сверял фотографии с лицами владельцев пропуска, и по тому, как непоколебимо загораживал дорогу тем, кто за несколько минут до гудка хотел уйти домой. Женя видел однажды, как пожилая подсобница с усталым, злым лицом, в мужской спецовке, не поженски испачканная ржавчиной (на заводе все так или иначе пачкаются о металл, но эта ржавчина на худом женском лице почему-то Жене запомнилась) ругала вахтера:

— И зачем таким власть дают! Обостряют только людей.

Жене была симпатична эта старая и, видимо, больная подсобница. Но он не осуждал и вахтера. Вахтер был добросовестным работником, он делал свое дело, отстаивал каждый пункт инструкции, а инструкция была написана разумными людьми, в этом у Жени никогда никаких сомнений не было. Женя только инстинктивно опасался встретиться глазами с вахтером, как опасаются встретиться взгля-

дом с сумасшедшим — вдруг он с тобой заговорит! — но вообще-то симпатии ему хватало и на вахтера. И вахтер это чувствовал и по-своему Женю выделял.

— Тут до тебя, — сказал он ему, — этот косоглазый прошел. — «Косоглазым» вахтер без всякого почтения называл Котлярова, секретаря заводского комитета комсомола. И спросил: — Выходит, коварно нарушили договор? А наши, значит, верили? Не ожидали?

Женя достал носовой платок, который у него был проложен между воротником и шеей, — его удивила пренебрежительная интонация вахтера: «верили», «не ожидали».

— Вам, папаша, воевать не придется, — сказал он. — Так?

— Так-то так... — сказал вахтер и нехотя отступил, пропуская Женю к металлическим вертушкам. Женя толкнул вертушку и вошел в один из узких коридорчиков, на которые проходная была поделена перилами из гнутых крашенных труб. Вахтер недовольно смотрел ему вслед. — Не придется... Ишь, акробаты! — сказал он.

Если Жене случалось в нерабочий день прийти на завод, он всегда с удовольствием прислушивался к особой, воскресной заводской тишине. Тишина эта в низком туннеле проходной протягивается сквозняком, пахнет маслом и железом — запахом, который сюда на своих спецовках занесли тысячи и тысячи людей. А выйдешь на заводской двор — и перед тобой остывающий красный кирпич цехов. Он еще шелушится от недавнего жара и грохота, от звуковой и световой вибрации, а за начерно прокопченными, мохнатыми от металлической пыли глухими окнами цехов ни отсветов плавок, ни вспышек электросварки — цеха остывают. И где-то вдалеке — на складе, что ли, — непривычную заводскую тишину подчеркивает обязательный воскресный звук: кто-то лениво бросает железо на железо, словно пересчитывает детали — раз, два, три... Вчера не успели закончить, а сегодня не работается.

И это безлюдье и эта тишина рождают особое, воскресное, какое-то хозяйское чувство. Не был бы хозяином всего этого, не пришел бы в воскресенье.

В коридорах заводоуправления тоже воскресная тишина. Но пахнет она не маслом и железом, а табаком и холодом длинных и темных коридоров. Воздух ночной или даже вчерашний — все двери и окна заперты. А стены тоже будто шелушатся, оттаивают, остывают. Здание заводоуправления Женя знал хорошо. Знал и эту тишину в сотнях пустых комнат, и то место в коридоре, где, как в цеху, потягивает железом, подоконники лоснятся от масла, а стены вытерты ржавыми спецовками. Подоконники эти напротив бухгалтерии и профсоюзного комитета. Сюда приходят подписывать больничные листы, выбивать квартиру, уголь, дрова, путевки для детей или выяснять, почему в прошлом месяце зарплата была такая, а сейчас на десять рублей меньше. Жене до сих пор ни разу не приходилось тут выстаивать.

Дальше по коридору тянул постоянный сквознячок. За поворотом большой бесхозный зал. Раньше там занимались заводские гимнасты и штангисты. Но однажды физкультурников прогнали, исцеленный штангой и гириями помост вытащили в коридор, а в зале поверх обычных полов настелили паркет. Сказали — будет столовая. Но потом мастера ушли, а за ними никто стружки не подмел — зал так и остался бесхозным. И постепенно все, что когда-то стояло в бесхозном зале, втащили назад: и помост для штанги, и старую мебель, не умещавшуюся в служебных кабинетах, и какие-то стенды, и стулья из зала заседаний, связанные в ряд по шесть. Паркет ступенькой возвышался над полом коридора, об эту ступеньку многие

спотыкались и постепенно потревожили плитки. Теперь их можно было свободно вынимать рукой.

У Жени эти разболтанно лежащие плитки вызывали оскомину. Он и сейчас не мог пройти — поправил плитки, осторожно наступил на них, прошел коридором, поднялся по лестнице этажом выше и двинулся на звук включенного на полную мощность громкоговорителя. Котляров в комитете комсомола включил. Тарелка громкоговорителя дребезжала, слов нельзя было разобрать, и от этого Женю охватила тревога. Он толкнул дверь с табличкой комитета и спросил с порога:

— Что-нибудь новое?

(Вчера он сказал бы: «Пора зал за кем-нибудь закрепить: паркет будет целее».)

— А, это вы! — сказал ему Котляров.

Перед финской войной Котляров окончил военно-мореходное училище, у него осталась флотская командирская привычка говорить подчиненным «вы». В комсомоле говорят друг другу «ты», но Женя на Котлярова не обижался — парень ему нравился. Правда, слаб он в чем-то, легко срывается на крик. Но ведь во время войны с Финляндией сам отпросился с Черного моря на фронт и получил тяжелейшее ранение. Вот и пишет теперь левой рукой, а правой, желтым протезом в перчатке, придерживает бумагу и на входящих смотрит двумя разными глазами. Один глаз у него светло-голубой, подвижный, с маленьким зрачком, а второй — стеклянный, стеклянно-голубой, с неестественно крупным зрачком. И соответственно левая половина лица неподвижная, холодная, командирская, а правая живая и смущающаяся. И странно идущие к этим разным глазам, разным половинам лица детские пшеничные воинственные усики.

— Вы были в армии? — спросил Котляров.

— Ты же знаешь, — сказал Женя.

Котляров посмотрел на Женю своим неподвижным стеклянным глазом. И Женя понял — Котляров, который по-настоящему был в армии, сейчас хотел напомнить об этом.

— Кажется, артиллерист?

Женя не ответил. Вытер платком шею, посмотрел на грудь и на живот, нет ли пятен на рубашке, подошел к закрытому окну и стал дергать замазанный густой масляной краской шпингалет. Никак Котляров к штатской работе не может приспособиться. И кличку уже себе заработал — «адмирал». То командует, как на мостике, то вдруг шарахнется, всем «тыкает».

— Окна не открываешь никогда, — сказал Женя, расшатывая в гнезде неподдающийся шпингалет.

В комитете комсомола тоже сильно пахивало маслом и железом, а подоконник и стены лоснились, вытертые спецовками. Приходили сюда во время обеденных перерывов, и после работы, и по делам, и в шахматы поиграть, и так поболтать, папиросу выкурить. Правда, с тех пор как секретарем стал Котляров, ходят сюда реже. Котляров запретил в комитете курить. Сделал он это запальчиво, как будто боялся, что его не послушают: «Все, ребята, в комитете больше не курить! С папиросами в коридор. Здесь мое рабочее место». И запальчивость и «мое рабочее место» другому не простили бы, но Котляров был герой, и был он болен, ранен — его послушали, но ходить стали реже.

Окно наконец поддалось, склеившиеся половинки треснули, из пазов пошла пыль. Котляров смутился, виновато посмотрел на Женю живым глазом:

— Понимаешь, простужаться стал. Жара на дворе, а я простужаюсь.

Вошел Гриша Лейзеров — инженер с длинной кличкой «Лейзеров играет на фортепиано». Он был из механосборочного цеха, здоровый, веснушчатый, с тонким проникновенным голосом, с манерой брать во время разговора за пуговицу, вертеть ее любовно и говорить: «Понимаешь, я давно собирался тебе сказать...» Никогда он на фортепиано не играл. Год он просидел на том самом месте, где сидит сейчас Котляров, и все тогда было в этой комнате как сейчас: тот же стол, та же красная скатерть и даже стулья те же. Потом заболел туберкулезом, учился в институте при заводе и, когда болел, все равно оставался таким же плотным, веснушчатым и здоровым на вид. Лечился тут же при заводе — на все лето пошел сторожем в заводское подсобное хозяйство. Встречаясь со знакомыми, все так же доверительно брал их за пуговицу, смотрел любовно в глаза и дышал в лицо, рассказывая, как старается круглые сутки быть на воздухе. Одним словом — «Лейзеров играет на фортепиано».

— Здравствуйте,— сказал Лейзеров и на секунду задержался в дверях, чтобы своим любующимся взглядом посмотреть сначала на Котлярова, а потом на Женю.

— Входите,— энергично пригласил Котляров и, прежде чем Лейзеров успел сесть сам, разрешил: — Садитесь!

Лейзеров сел и спросил:

— Товарищи, что же это такое?

И так как Лейзеров всем своим тоном спрашивался на то, чтобы ему разъяснили, Котляров сказал:

— Это война, товарищ! Понятно?

То, что сказал Котляров, было глупо, но Женя подумал, что тон у него верный. Умного никто сейчас не скажет — никто ничего не знает, — но у кого-то должен быть верный тон.

Женя много лет знал эту комнату. Он знал многих бывших секретарей. Знал до того, как их избирали секретарями, знал после того, как они возвращались в цеха. Помнил, как в этой комнате разоблачали подкулачников, пробравшихся на завод вредителей, готовили субботники, утверждали списки комсомольцев, едущих «на смычку» в село. Двое из бывших комсомольских секретарей высоко пошли. И другие тоже были дельные ребята, и Лейзеров тоже дельный, он и сейчас дельный, толковый инженер и общественник — его постоянно выбирают во всякие комиссии: жилищные, профсоюзные и всякие другие, где нужен человек со сметкой, умеющий договариваться с начальством. Но никто из них не умел так разговаривать, как Котляров. Все секретари уважали и побаивались заводское начальство — сами редко ходили, ждали, когда позовут. И бесхозный зал, который гиревики и заводские спортсмены хотели бы за собой закрепить, ни один из секретарей не сумел «выбить» для комсомольцев. И Котляров тоже не сумел. Но Котляров, пожалуй, был самым смелым из секретарей: его можно было «завести», и он шел, требовал, стучал протезом по столу, партизанил — ничего не боялся. И когда он кричал, это и было видно прежде всего — «ничего не боюсь!». Жесткие усики его топорщились, стеклянный глаз смотрел пристально, не мигая. И собеседник в этот момент почему-то видел не все его лицо, а только жесткие усики и немигающий стеклянный глаз. Зато Котляров и любил, чтобы ему потом рассказывали, как он смело разговаривал с начальством, как стучал протезом по столу. Спрашивал: «Правда?» И добавлял подробности: «Ты не видел, я его потом огозвал в сторону. Ты, говорю, хитрый, как амбарная мышь. Зерно грешь, а говоришь: газеткой шуршу. Да я тебя,— и переходил на во-

сторженный полушепот,— такой-сякой, так и переэтак... Да тебя бы ко мне в штурмовую группу, когда мы финский дот брали. Да я бы тебя...» И смеялся довольный, потирал протез здоровой рукой.

А иногда расскажет о себе такое, что и при желании поверить невозможно. Как-то он сказал Жене: «Вчера у меня была гонка! Жена отравилась консервами, я позвонил в «скорую помощь». Говорят: «Нет машин, ждите». Я кричу: «Доставайте машины где хотите, с вами говорит секретарь заводского комитета комсомола». Не едут! Я на трамвай. Вбегаю во двор «скорой помощи» — машина стоит! «Ах вы гады! Где бригада, где шофер?» — «На обеденном перерыве». — «Человек умирает, а у вас обеденный перерыв!» Вскрываю в машину, включаю зажигание — завелась! Даю газ и вылетаю на полном ходу из ворот. Врач успел вскопчить на ходу, шофер бежит за мной. А я включил сирену — на красный свет, на толпу! — как раз поспел. Врачу говорю: «Если что-нибудь случится...» И показывал, как вел машину, как крутил рулевое колесо, а Женя смотрел на его желтый протез и прикидывал: нет, никак не получилось бы у Котлярова то, о чем он рассказывал.

Женя знал, что на заводе многие подсмеиваются над Котляровым за эти его неожиданные рассказы о себе, но Женя считал — что ж тут такого! Любит человек похвастаться — пусть хвастается, кому от этого плохо? Женю только удивляло, что Котляров никогда не хвастается своими воинскими подвигами. И когда Котляров «заходил», Женя говорил ему:

— Рассказал бы лучше, как воевал.

Но о том, как воевал, Котляров рассказывал скучно. Женин двоюродный брат, газетчик Мишка Слатин, который беседовал с Котляровым, сказал: «Ни одной живой детали». Женя не понял. «Ну, такой, которой выдумать нельзя,— сказал Мишка.— Как будто газетную статью пишет: «Героическим натиском... Вдохновленные... Самоотверженно...»

Женя сел рядом с Лейзеровым к столу, накрытому длинной красной материей — на столе шахматные доски и шахматные часы,— подвинул к себе часы и щелкнул пальцем по пусковому рычажку. Часы заработали, стрелка двинулась, будто отмеривая время, отпущенное на обдумывание хода. Но Женя тут же выключил часы.

— Так что будем делать? — спросил он Котлярова.

— Бить их будем! — ударил кулаком левой здоровой руки Котляров.— Я вот написал заявление в военкомат. Добровольно! Командовать я смогу. Сейчас командиры будут нужны. Култышка мне не помешает,— показал он на протез.— А стрелять даже лучше — прищуриваться не надо.— Жесткие усики шевельнулись в смущенной улыбке.

— А по мобилизационному плану нас не возьмут? — сказал Женя.

— Мы авангард! — сказал Котляров.— Мы обязаны подать пример. А по мобилизационному плану,— опять посмотрел на Женю живым смущенным глазом,— нас пока не возьмут. Я инвалид. Освобожден по чистой. А у тебя будет бронь. Я-то знаю. Незаменимый специалист.

Внизу хлопнула дверь, кто-то топал по лестнице. Женя прислушался.

— Еще идут люди,— сказал он.

(Окончание следует)



ВИТАУТАС БУБНИС

★

ЖАЖДУЩАЯ ЗЕМЛЯ*

Роман

IV

Женщина останавливается на бугре, осматривается. В полях уже хозяйничает осень. Дома попрятались за старыми тополями и садами, и если б не узкие проселки, отходящие от большака, подумалось бы: чьи-то руки затащили постройки в чащу, укрыли за деревьями — подальше от посторонних ушей да глаз. Хорошо было обходить деревню, когда избы толпились у большака. А теперь бродит уже второй день, и конца не видно хуторам... Ноги отказывают, все тело ноет; не стоило за это братья. Есть же помоложе... Но дождешься ли? Отвращаются люди от веры, не зря над деревней занесен карающий меч архангела Гавриила.

Юрконене крестится и, опираясь на палку, шлепает по обочине раскисшей дороги.

В избе Скауджюса пусто. Она входит в кухню — как обедали, так и оставили стол; жужжат мухи, хлеб и грязные миски черны от них. Засовывает голову в чулан — стоит мотовило, разноцветными нитями пестрят на лавке витушки; видать, здесь собираются ткать покрывала.

За хлевом, в загородке, Скауджювене повалила наземь овцу, налегла на нее всем своим грузным телом и знай щелкает ножницами — снимает с овцы шубу. Юрконене слово, другое — хороша шерсть-то, не поздно ли стрижешь, не успеет ведь отрасти до убоя — и к делу: настоятель в воскресенье мессу за деревню служит, вот она и собирает пожертвования; и с Валюкене договорилась — та дает горницу для общей молитвы, — а угощение в складчину, каждый принесет что не жалко.

Старуха выкладывает все сразу, как «Отче наш», и добавляет:

— По десятке все дают, может, и ты не откажешь.

Овца поднимает голову, испуганно смотрит на женщин и, посучив связанными ногами, принимается жалобно бляеть. Скауджювене, прижав овцу локтем, со злостью трет ее брюхо и отвечает:

— Десять рублей — деньги. Вчера вот мой целый воз поставок отвоз, а сколько дали? Так-то, тетенька, не из лужи эти рубли черпаем.

Старуха понимает. Все как есть понимает, ей не надо говорить да еще пальцем тыкать.

— Сама знаешь, Скауджювене, какая жизнь-то — сегодня овцу стрижешь, а завтра... может, по тебе уже свеча горит, господи наш Иисусе Христе, спаси и помилуй. Меч занесен, а на кого упадет... На все воля божья, не надо господу гневить, Скауджювене...

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

Скауджювене, опираясь руками в землю, неуклюже встает — дородная, аж вся колышется, и такая рослая, что старуха рядом выглядит девочкой, — и уходит в избу с ножницами в руках...

— На вот, — протягивает деньги, — за яйца выручила, кое-как наскребла.

Юрконене задирает верхнюю юбку, достав подвязанный у пояса кошелек, засовывает в него захватанные бумажки и, сказав, в который час в воскресенье месса, бредет к воротам. В саду на деревьях белеет крупная антоновка, кислый запах напоминает старухе, что обед был несытный и в дорогу ничего не взяла. Надо было хоть горбушку хлеба прихватить — пожевала б, пока от хутора до хутора плетется...

И занес же господь хутор Брузги к черту на кулички! Мучайся теперь, волоки ноги, к которым будто камни привязаны. И хутор Маркауска отсюда виден, старые тополя окружили избу. Но туда она не заходила и не пойдет. Не станет просить у Андриуса десятку, пусть он подавится, о господи наш!.. Хоть Андриус и метит в родню и, видно, возьмет-таки Тересюке, не такой зять ей нужен; тот ведь ни руки не поцелует, ни доброго слова не скажет. «Холера» да «кулаки»... Тьфу! Лучше она у Тересюке эту десятку попросит, все равно уже... можно сказать, одно и то же... из одного дома пожертвование... Будет хранить господь и этот дом и их обоих...

— Далеко путь держите, тетенька?

Сын Валюкене Мечис, боронивший посева, натягивает вожжи, и лошади останавливаются.

— Божью волю исполняю, сыночек.

— Никак опять чудо?

Старуха поднимает палку, словно огромный перст, и грозит ею:

— Не смейся! Может, еще сегодня вечером домой не придешь.

— А я верхом, тетенька! — хохочет паренек, погоняя лошадей.

Юрконене сердится; вот времечко настало — щенки старикам проходу не дают, готовы в могилу загнать; дай скажу матери, какой сын у нее растет, пусть знает...

Идет и вся кипит от злости.

Межа узкая, опуханная с обеих сторон, старуха то и дело оступается, чуть не падает.

С хутора на хутор, из ворот в ворота — так и бредет она по деревне, над которой занесен карающий меч архангела Гавриила.

* * *

— Скотину покормлю и прибегу.

Мать стоит у окованного железом сундучка и встряхивает ватник. Пахнет моченым льном, плесенью и табаком.

— Говорила и говорить буду: накличешь гнев божий. Мало что в костел не пошла, теперь и молиться со всей деревней не хочешь... Один безбожник и другая... Потискаетесь теперь да уляжетесь. Будто скоты!..

— Мама...

Тересе невозможно слушать вечную воркотню, вечные упреки и подозрения. Отбрила бы, ответила, за словом в карман она не лезет, но будто это поможет, будто уймется старая. Думает, Тересе сладко живет, да еще это ее зуденье над ухом. И про костел-де забыла, и утром-вечером не молишься... Нет, Тересе уже не та, что раньше, в прежнее время. Отвыкла молиться или охладела к богу. Да и когда ей было молиться?.. За день так умается, что вечером рада побыстрей добратья до постели, а утром — голос Маркаускене: «Вставай, светает. Живей, не дрыхни...» Молитвы остались далеко, в сказках, в детстве. Костел, конечно, другое дело. Гудит орган, все поют, на стенах огромные

картины — святые и ангелы как живые, похожие на простых людей, все ей там по душе. Целыми часами простаивала под высокими сводами в том непонятном оцепенении, когда, кажется, самую малость надо, чтоб ты вдруг поднялась и улетела птицей, забыв про свои тяжелые руки и ноги. Как-то она рассказала об этом Андриюсу, но тот усмехнулся: «Дуреха! А мне так лучше у ворот костела с мужиками языком потреть...» Теперь она носу из дому не кажет. Да и вообще, время нынче такое, что не знаешь, к кому звать — к богу или к черту. Матери хорошо, она по старинке крепка своими молитвами и повторяет их, пожалуй, с еще большим рвением, словно желая всем, а прежде всего ей, дочери, показать: «Вот господь наш, он все видит и слышит... А вы-то... А ты?»

— Когда вся деревня молится, не смей с безбожником сидеть! Слышишь, Тересе?

Эти слова догоняют Тересе во дворе, но она не оборачиваясь убеждает по тропе все дальше от избенки.

«Ладно уж, схожу на моление, не буду ее мучить, пускай порадуется», — думает Тересе.

Небо хмурое, вечернее. Дни теперь намного короче. Бежит время, шибко бежит, хоть и тревожное. Работа. Если б не работа, если б сидеть сложа руки, тогда, конечно...

Андрияса нет дома, и Тересе вспоминает, что он собирался в деревню. Нет, молиться его палкой не загонишь, сидит у кого-нибудь за бутылкой или картишками. Пускай посидит. Ему ведь тоже не сладко.

Из избы — в хлев, из хлева — в избу... Снует Тересе, торопится, бежит проторенной дорожкой. Все сделано, и она садится у окна, не зажигая лампы, кладет руки на стол и смотрит на дорогу. Дорога пустая, серые сумерки все гуще, ее охватывает тоска.

Надо к Валюкене идти, вспоминает Тересе, но остается сидеть, только прислушивается — вдруг услышит шаги в саду. «Посидим вот так, поговорим. Андриус расскажет, где был и чего слышал, потом несмело подойдет ко мне, положит руку на плечи и скажет: «Вот и осень уже, и зима скоро... Давай сыграем свадьбу». «Хорошо», — отвечу я. «А когда бы ты хотела?» — «Может, на всех святых». — «А чего так долго ждать...» — «Можно и быстрее...» Тогда его шершавые пальцы коснутся моего лица, и он поцелует... Губы пахнут табаком и водкой... Колется борода... Нет, он утром брился... Он поцелует, и мне захочется, чтобы он целовал долго-долго...»

Тересе даже краснеет от этих мыслей. По всему телу разливается тепло; берет тоска, на душе беспокойно, словно руки Андрияса уже на ней и она слышит его учащенное дыхание.

На столе белеет накрытый тряпицей каравай хлеба, стоит кувшин молока, мясо, соленые огурцы. Он сядет, отрежет себе хлеба, она нальет молока. Андриус будет ужинать, а она будет смотреть на него не спуская глаз. Оба будут молчать, будет слышно только, как он чавкает.

Но почему его так долго нет?

Если б не темнота, Тересе бы увидела... Она издали бы увидела, как за ветками яблони появится Андриус. Он всегда возвращается садом.

Поздний час уже, и Тересе спешит в свою избушку у ольшаника. Андриус и там ее найдет. Он придет к ней.

* * *

По узкой лесной дорожке шагает небольшой отряд. Густые ветки елей, ив и березок почти не пропускают неяркий вечерний свет. Пахнет сыростью мха, гнилым хворостом, трухлявыми пнями. Иногда до-

летает грибной запах, и мысль убегает в прошлое. Теплая комната, миска дымящейся картошки, шкварки... Тьфу! — выплевывает набравшую слюну один, потом другой. Отдуваются, ругаются.

Идут не торопясь, не говоря ни слова, будто все слова давно уже сказаны.

Останавливаются на прогалине. По небу ползут тяжелые сизые тучи. Пролетает утиная стая. Жалобный крик удаляется, гаснет. Вот-вот начнутся дожди, похолодает. Снова шлепать по лужам, хлюпать по грязи, сидеть в вонючем бункере и кормить вшей. У, мерзость какая!..

— Итак, парни,— наконец говорит Сокол, все время шедший впереди,— задача ясна? И попрошу без комедий. Ты, Ясень, отвечаешь за проведение операции.

— Слушаюсь, командир! — подтягивается худощавый бледный паренек и смотрит, словно спрашивает: «Почему мне?..»

— А вы... Сокол?..

Сокол бросает взгляд на Панциря. Тот зыркает на него исподлобья и ждет. «Не доверяет? Слишком часто я остаюсь один, редко с ними советуюсь?»

— Панцирь со мной.— Сокол спокойно обводит взглядом свой отряд.— Исполняйте!

Отряд исчезает в густом ельнике, а Сокол идет в противоположную сторону. У него за спиной шуршат по траве тяжелые сапоги Панциря.

«Болван. Пожалуй, подозревает, что могу их выдать!.. Недостаточно им, что утверждаю любой их приговор... Ставлю подпись, даже не спрашивая, за что убивают. Им ведь кровь нужна».

На опушке — редкие, чахлые кусты, за ними — поля. На большаке пусто, ни души. Какую-то сотню метров он проходит по дороге, словно подбадривая себя, и только потом спускается к речке. Пригорки, обрывы, ложбинки да густой ольшаник, растущий по обоим берегам Эглине,— отличное прикрытие, и Сокол шагает спокойно, как в старое доброе время, когда из школы он возвращался прямо по полям, срезая петлю дороги. Но эти шаги за спиной... Он оглядывается на Панциря, замечает в его руке поднятый немецкий автомат, видит холодные глаза с большими, светящимися в сумерках белками, и вдруг ему кажется: его ведут на расстрел. Это чувство пронизывает его, хватая за сердце ледяными пальцами, и Сокол на миг теряет равновесие.

Панцирь с первых же дней не понравился ему, а со временем вообще опротивел. Эти его рассказы об оккупации — как расстреливал и вешал, как выдирал золотые зубы, как пил водку и жрал немецкий шоколад — наводили ужас. Ему самому вроде бы тоже не столько приятно было это вспоминать, сколько хотелось подчеркнуть — вот я каков. Моя рука еще ни разу не дрогнула!.. Да уж дрогнет... Сами немцы упрятали его в тюрьму за дебош, ударить он не успел, в богатое отцовское хозяйство тоже вернуться не мог — хорошо знал, чем это пахнет,— и сразу же ушел в лес. Честь Литвы, судьба родины его меньше всего волновали. Он ненавидел каждого, кто мог при свете дня пахать поле, полоть огорода, ездить на базар или в костел, есть за столом, а ночью спать в постели. Словно их вина, что Панцирю надо скрываться. «Вот сволочи, лежат с бабами и детей плодят. Как вдарю из автомата», — ругался он, слоняясь вокруг хуторов. Наверное, он и Аиста... Сокол по сей день толком не знает, от чьей пули погиб Аист. Аист как-то обмолвился: не сложить ли винтовки, не взять ли в руки косу? Мол, если власти обещают помиловать, значит, и помилуют. Кто посмеялся, кто прикрикнул на Аиста, а Панцирь только паль-

цами прищелкнул. Вскоре он попросился отпустить его в деревню вместе с Аистом. Вернулся один. «Истребители Аиста ухлопали», — буркнул Панцирь. Сокол в глубине души не поверил. Да и по сей день не верит. А кому верить в его отряде?

«Раньше слушали, развесив уши, когда я рассказывал о Литве и свободе, о праотцах, их мужественной борьбе с врагами. А теперь только посмеиваются, гады. Этот самый Панцирь как-то сказал: хватит пороть чушь, командир, мы не дети, нам сказки не нужны... Все, что они не могут потрогать руками, — сказки. Лишь кровь остается кровью. И чем больше крови, тем веселей: не зря сидят, борются!»

Где же правда, за которую он мог бы держаться, которая осветила бы его разум, как лампа избу, чтоб все стало ясно и понятно?.. Он хватается за свою веру как утопающий за соломинку и твердит: это долго не протянется... Да-да, есть кому позаботиться о том, чтоб слово «Литва» прогремело на весь мир! Он командир отряда, командует своими людьми, но они его не понимают. Для них земля — начало всех начал... Сегодня же они вернулись бы к земле, если б не страх, и из страха они все больше пятнают себя кровью; Сокол не в силах их удержать. Колесо крутится, хотя он чувствует — не так все, не так... Что-то не так, если литовец убивает литовца, брат брата, сын отца... Это ли истинные враги, против которых следует сражаться?.. Сражаться против которых он ушел когда-то?

Сокол невольно придерживает шаг, плетется, не видя ничего вокруг. В груди жарко, в горле комок, ноги одеревенели; так и тянет присесть на кочку, полной грудью дышать прохладным воздухом полей и забыть свою судьбу, оставить ее где-то далеко-далеко... Кажется... кругом носятся дети, первоклассники, второклассники. Толкаются, резвятся на лужайке. «Дети, посмотрите желуди, — говорит он. — Из желудей получается вкусный кофе...» Веснушчатая девочка плачет, подбегает, трет кулачком глаза: «Учитель, меня как толкнули... Учитель... учитель...»

— Заснул, Сокол? — откашливается за спиной Панцирь, и Сокол, вздрогнув, сжимает автомат.

Не будь милосердным самаритянином, смеется он над собой, не пробуй проповедовать братство и любовь, а то с ходу схлопочешь пулю в лоб. Если не от истребителей, то от своих. Ладно, не копайся в собственных потрохах.

Не первый такой приказ отдает он себе. Сколько раз уже отгонял воспоминания, обрывал мысли, сколько раз нес чепуху, острил, ругался последними словами. Лекарство, которым часто пользуешься, а то иначе... Говорят, в отряде Грома один парень сошел с ума, чуть весь бункер не перестрелял. Успели его самого...

Шаги тяжелы, словно ноги внезапно сковала усталость.

— Куда идем, Сокол?

Куда они идут? Не скажешь ведь, что отлучился из отряда единственно для того, чтоб не видеть суда над новоселом? А может... Он то и дело вспоминает свою деревню — его эта деревня, его! — вспоминает Тересе. Повидает, разузнает новости. Ведь старая Юрконене — ходячая газета.

— Надо разведать положение в округе, — отвечает Сокол.

Высокие кудрявые тополя хутора Маркаускаса, вонзившие вершины в черное небо, кажутся исполинскими штывками.

— Сокол, не пора ли проведать кукушонка? Андрюса, говорю...

Не первый раз Панцирь напоминает об Андрюсе.

— Никто не жалуется.

— Да новосел же!

— Спешка ни к чему.

— Будем ждать сложа руки, пока большевички нас самих не перещелкают? Дудочки, Сокол!

Сокол не отвечает, только морщится и, сгорбившись, крадется вдоль кустов.

В деревне лениво тявкает пес. От хутора Валюкене доносятся нестройные мужские и женские голоса:

— Иисусе, сын господень, внемли молитве нашей... Пусть мольбы наши до тебя долетят...

У Сокола перехватило горло, он задыхается — над его могилой никто не сотворит этой молитвы. Даже гроба не будет. Забросают землей, как околевшего пса... И креста на могиле не будет.

— Молятся, сволочи... А если б так пройтись из автомата по этому осиному гнезду?.. — Панцирь мрачно хохочет.

Сокол молчит. Он не себя пожалел. Хуже всего погибнуть, не зная, дал ли хоть что-нибудь людям. Пока работал учителем, все было ясно. А теперь?.. Когда же ты снова войдешь в класс и скажешь: «Доброе утро, ученики?»

Около избенки он снова прислушивается. Внутри темно, огня нет. Хоть бы кто шелохнулся! Словно там ни души.

— Ты постой, я на минутку, — шепчет Сокол.

Подходит к двери, дергает за ручку и отступает в сторону. Кажется, проходит целая вечность, пока раздаются шаги, звякает крюк и скрипит дверь.

— Где ты так долго?..

Сокол делает шаг вперед, берется рукой за край двери, и Тересе, прислонясь спиной к косяку, еле слышно выдыхает:

— Господи...

Она ждала Андрюса. Она думала, что Андрюс... потому так широко распахнула дверь...

— Это я, Тересе. Не бойся.

Он слышит, как девушка ловит ртом воздух, словно захлебнувшись.

— Ты одна, Тересе?

— Од... одна.

Сокол перешагивает через порог и стоит у двери, глядя на Тересе, которая маячит в темноте.

— А мать где?

— У Валюкене. Молится.

— И Андрюс там? — усмехается Сокол.

— Нет, он...

— Обещал прийти?

— Не знаю, ничего не говорил.

Андрюс сию же минуту может появиться. На дворе Панцирь... Прямо ему в лапы. А если Андрюс заметит Панциря и сбежит?.. И донесет?.. Какого черта ты сюда пришел?

— Вы присядьте, учитель.

Голос Тересе ровно такой же, как в те дни, когда он приходил навестить свою ученицу. «Присядьте... Почему она меня так называет — учителем? Я давно ей не учитель... Я вообще не учитель, и она это знает...»

Он кладет автомат на стол, нашаривает стул. Тересе садится на кровать. Шуршит сеник, скрипят доски.

Глаза привыкают к темноте, и он начинает различать предметы. У стены — лавка... плита... широкая кровать...

— Что нового?

Тересе молчит, потом вздыхает.

— Учитель...

Сокол понимает: Тересе хочет о чем-то спросить, но не смеет. Может, лучше будет, если она не спросит...

— Вы всегда мне говорили, учитель...

— Ты была любознательная девочка. Говори, Тересе.

— Ведь это не вы... Это не вы застрелили Аксомайтиса?.. Правда? Сокол засовывает палец за воротник, ему душно. А если б она спросила днем, глядя прямо в глаза?..

— Нет, это не я. И не мои люди. Поверь, Тересе, невинных мы не трогаем.

— Так кто же мог?..

«Вот святая простота, господи... Не могу же я разрушить то, во что она так верит».

— Не знаю, Тересе. Может, даже... сами истребители...

Он замолкает и ждет, что ответит Тересе. Поверила или нет? Она бы должна ему поверить.

В щели между бревнами робко трещит сверчок, в ольшанике уха-ет сова. Где-то далеко-далеко хлопает одиночный выстрел. Нет, Ясень еще не успел. Но почему ты послал туда Ясеня? Надо было Панциря, а Ясеня с собой взять. Думаешь, твои люди послушаются Ясеня и не будут пытаться новосела? Ах ты, милосердный самаритянин... Твой Ясень сегодня тоже не прежний Алексукас...

— Я часто о вас думаю,— говорит Тересе.— Вспоминаю школу. Вы так красиво рассказывали... А теперь вас каждый день могут убить...

Сокол снисходительно улыбается.

— Конечно, могут.

— О, господи...

— Но тебе-то что? У тебя есть Андриус.

— Не говорите так...

Сокол встает, останавливается у окна. Настораживает уши, слышит шаги. Если теперь сунется Андриус... Нет уж, сегодня ему лучше тут не появляться... По двору стучат тяжелые шаги.

— Это Панцирь,— говорит Сокол: не надо, чтобы Тересе зря пугалась, пусть знает.

— Вы не один?

— Нет.

Он поворачивается к Тересе, проходит по избе, опирается на изголовье кровати. Волосы Тересе — у самого его лица. Он чувствует кожей тепло ее тела, слышит запах пота, пальцы прикасаются к плечу девушки.

— Я знаю, ты бы меня пожалела,— возобновляет он разговор.— Ты была добрая девочка. Ты и теперь такая, Тересе.

Плечо под его рукой вздрагивает, и Сокол, чего-то испугавшись, отходит к столу, в изнеможении опускается на стул.

— Так все сложилось, Тересе. Многого я ждал от жизни, но жизнь потребовала такую цену, что мне, пожалуй, не осилить. Но помни, Тересе, я все делаю для Литвы. Если и ошибаюсь, то только ради этого зеленого клочка земли.

— Вы мне скажите: будет иначе или так и останется?

Сокол не ожидал такого прямого вопроса. Кому-нибудь другому он, без сомнения, ответил бы: «Конечно, будет иначе!» Но Тересе... Он долго молчит.

— Учитель...

— Не знаю, Тересе.

— Вы -- учитель, и не знаете?!

Слова Тересе, простодушные и прямые, звучат как обвинение.

Тишина. За окном все те же беспокойные шаги то приближаются, то удаляются снова. Потом скрипит дверь сеней, пальцы в потемках нашаривают щеколду.

— Сокол, водички,— глухой голос Панциря.— Пить охота, помираю.

Свет карманного фонарика разрезает темноту, падает на Тересе.

— О, вы тут вдвоем,— язвительно говорит Панцирь.— Извиняюсь, что не постучался!

Сокол нервно встает, отодвигает стул.

— Вода у двери.

Панцирь, посветив фонариком, гремит ведром, долго пьет, громко сосет сквозь зубы, потом снова будто невзначай освещает Тересе.

— Где я тебя видел, а?

— Может, у Маркаускаса прошлой осенью.

— А-а, может...

— Пойдем, Панцирь! — Сокол набрасывает на плечо автомат.— О нас даже маме не говори, Тересе. Так будет лучше. Спокойной ночи.

Сокол сам не понимает, куда он спешит. И зачем спешит. Блуждать ночью без цели или торчать в бункере? Ночь — что мачеха: укрыть-то укроет своим черным платком, но не согреет; ты одинок, хоть вой на луну.

Лениво тявкают псы, от хутора Валуkene долетают невнятные слова молитвы.

— Командир... Сокол...

Сокол останавливается, поворачивается к Панцирю.

— В деревне тихо, может, жратвы поискать?

— Только и знаешь: пить да есть.

— Святым духом сыт не будешь.

— Иди...

Оставшись в одиночестве, Сокол переводит дух, словно с плеч свалилась тяжесть.

Панцирь, пригнувшись, делает крюк и возвращается на тропу. Идет к изгибу Эглине, залезает за куст ольшаника и ждет чего-то. Но почему он теперь беспокоится? Наверное, голодный волк, притаившись перед прыжком, тоже дрожит, не заботясь о том, что будет дальше. А что может быть? Есть только этот день, это мгновение. Завтрашнего дня нет. Не будет его и быть не может — Панцирю это доподлинно известно, и он не собирается ни исповедоваться, ни каяться...

Каких-нибудь полчаса он сидит в кустах, потом вылезает и осторожно оглядывается.

В избенке тихо, и Панцирь дрожащими пальцами стучится в дверь. Ему кажется, его сердце колотится еще громче. Он вытирает холодный пот со лба и снова бьет костяшками пальцев.

— Кто там? — шепот за дверью.

— Сокол,— отвечает Панцирь.

V

Андрюс возвращается через сад, выведя коров на клеверище. Остро пахнет росистыми яблоками. Старые раскидистые деревья прирели под тяжестью плодов, сгорбились, на земле валяются ветки. Не выдержали тяжести без подпорок и обломались, а то сорвал ветер или прохожий. Когда-то Маркаускас ухаживал за каждым деревом, собаку привязывал в саду, собирал падальцы: мелкие, с гнильцой,— свиньям, которые побольше -- на сушку, а самые красивые -- на продажу.

Ничего у него не пропадало зря. Вот был жук! Взять хотя бы пчел. Сколько выгоды имел. Выдастся погожий воскресный денек — гляди, и он уже возле ульев с дымком. В одной рубашке, чуть ли не босиком. И хоть бы одна гадина его ужалила! А когда Андриус решил вынуть мед, его так изжалили эти «кулацкие пчелы», что неделю ходил с опухшей харей, на человека стал не похож. Пес его знает, никак день попался перед дождем. Но к пчелам больше подходить не стал. Чтоб их холера! Сдались они ему! Захочет меду, на базаре купит — денег прорва.

Андриус срывает с ветки румяное полосатое яблоко, запускает зубы — даже сок брызнул — и хрупает, чувствуя, как кислый яблочный дух освежает все тело. Потом набирает побольше яблок — самых румяных, с солнечной стороны, — принесет для Тересе.

Черный поросенок пашет пяточком захламленный соломой двор, в хлеву фыркают лошади.

— Такого еще не бывало. Кто-кто, а Тересе...

Андриус пожимает плечами и, послонявшись по двору, уходит в дом. Кладет на стол яблоки и не знает, за что приняться. Садится, смотрит в окно. Глядит на часы, тикающие на стене. В другое утро уже чугуны кипели, а теперь... Коровы не доены, свиным картошка не сварена. Надо бы из погреба принести — там еще немало прошлогодней. И дров надо бы принести. Но Андриус сидит и ждет. Он не встает, не идет ни за картошкой, ни за дровами. Смотрит на ворота. Вот, кажется, и она идет. В ватнике, в клетчатом платке, бежит, запыхавшись, и будто еще издали кричит: «Ну и заспалась я сегодня!»

У гумна вихрится ветер, хватает с земли соломинки и бурые листья, свистит, мечется, раскачивает шаткую изгородь.

Андриус глубоко вздыхает и сжимает кулаки. Руки костлявые и тяжелые. И сильные руки — он это знает, но с чего это они вдруг онемели, словно чужие стали.

Андриус смотрит в окно. По двору и впрямь бежит Тересе.

— Тыфу! Дурак! — Андриус ругает себя, что дал волю мыслям. Встает, нахлобучивает фуражку. И вдруг свирепеет. Не могла вовремя прийти? Где это видано!.. Дребезжат старинные часы, вздрагивают всеми своими железными потрохами и принимаются отбивать время.

Она застывает на пороге, приваливается плечом к косяку и глазет на него.

— Андриус! — Подбегает, утыкается ему в грудь. — Андриус...

Она трясется, как осиновый лист, крепко вцепившись в отвороты Андриусова пиджака. Андриус берет ее за плечи, хочет оторвать от себя, но Тересе прячет лицо у него на груди, не дается.

— Андриус, Андриус...

— У тебя не все дома, Тересе? Что такое, отвечай!

Она плачет, плечи вздрагивают.

Андриус усаживает Тересе и осматривается, словно ищет помощи. Слезы он ненавидит и не умеет утешать. Ребенку пригрозил бы ремнем. А тут...

— Ну, кончай, будет...

— Приснилось... — шепчет Тересе. — Такой страшный сон приснился...

— Да ты и впрямь спятила...

— Такой сон... Ты не знаешь. Ты ничего не знаешь, Андриус!

— Так говори.

— Будто... будто они тебя... увели и застрелили.

Андриус смеется.

— Ты не смейся. Не смейся, Андриус!..

— Прикажешь верить в сны?

Тересе поднимает глаза. Глаза большие, полные слез. И такие... Андрюс никогда не видел, чтоб ее глаза были такие — усталые, с набрякшими веками, синими кругами.

— Только из-за сна так?..

— Нет, нет, Андрюс... Мне снилось, но это не все... Ты не понимаешь, они могут прийти. Придут ночью... Может, даже сегодня... И как Аксомайгиса...

Страхнув руки Тересе, Андрюс скручивает сигарку. Листок рвется, желтая табачная труха рассыпается на пол. Он долго скручивает сигарку. Закуривает. Глубоко затягивается горьким дымом.

— Они придут, Андрюс. Ночью придут.

— Только не потому, что тебе снилось,— пытается он пошутить, но у него мучительно кривятся губы.

— Снилось... Сам ведь знаешь, что творится. Знаешь и побереги себя, Андрюс.

Андрюс кашляет, подавившись дымом, словно непрожеванным куском, швыряет на пол сигарку, растирает каблук. Встает, странно, как будто руки у него связаны, поводит плечами и говорит:

— Коровы не доены.

— Андрюс...

— Сброшу с садки сноп гороха, намолочу. Сваришь с мясом.

Выходит. Без стука закрывает дверь.

Тересе смотрит в пол, но видит пропасть, которая внезапно открывается перед ней. Она долго так смотрит, пока голова не начинает кружиться и все тело не наклоняется вперед. Она едва сдерживается, чтоб не упасть,— такой скользкий бережок пропасти, на котором она сидит, сложа руки на подоле.

На гумне бухает цеп.

Она берет подойник.

* * *

Пробил час, и Андрюс убедился, что Тересе не зря тогда боялась. Известное дело — бабье сердце. Чует. Особенно беду.

Ночью он лежал на хлеву, зарывшись в пушистое сено. Он уже засыпал, когда залаял пес. Андрюс приник к окошку. Лунная ночь. Вдалеке белеет изба, густые сумерки обволакивают ее, как туман. Тополь у ворот кажется неслышанно высоким, упирается прямо в небо. А во дворе пусто. Пес замолкает, только жалобно скулит. Стиснув пальцами раму окошка, Андрюс обшаривает взглядом окна, дверь избы, изгородь. Снова взвизгивает пес. И снова тишина. Сердце колотится, в ушах стоит звон.

Андрюс хочет вернуться на сено, но слышит шаги. Ему даже кажется, что кто-то уже стоит за спиной, и он оглядывается. Никого. Черная тьма. Он вспоминает — лестницу затянул за собой наверх, а без нее не заберутся. А если сунутся... Он протягивает руку и находит скользкий черенок двузубых вил.

Вскакивает пес. И тут же трусливо, словно его огрели палкой, забирается обратно в конуру.

У избы маячит тень. Человек быстро подбегает к двери и стучится. Легонько стучится. Пережидает и стучится посильней. Потом снова колотит. Подходит к окну, мягко, кончиками пальцев, барабанит по стеклу. Переходит к следующему окну.

Андрюс прижимается к доскам и злится на пса за то, что тот гремит цепью, скулит, нарушает тишину, которая теперь так нужна: он хочет все слышать.

Из-за угла появляется второй человек. В руке у него винтовка. Ну конечно, винтовка! Человек бьет кулаком по оконной раме.

— Открой! — слышен голос.

«Чуть было не остался в избе, ведь хотел же остаться», — думает Андриус. По спине бегают мурашки.

Тени приникают к окну и светят фонариком. Светят в торцовое окно, потом в боковые... Подходят к каждому окну...

— У-у, холеры, — шипит Андриус.

Из избы никто не выходит. Некому выйти. Но Андриус в какой-то миг видит, что его схватили, бьют, месят ногами, а потом приставляют дуло к груди... Андриус встряхивает головой. Не видать их больше. За избой. А может, в кусты попрятались. Притаились, ждут...

Пес злобно повизгивает, грызет доску конуры, потом вдруг выскакивает, заливаясь лаем.

Андриус так и не засыпает. Утром запрягает лошадей и уезжает в город — посоветоваться со Скринской.

Под вечер возвращается.

Под сиденьем, в соломе, винтовка.

Тересе он ни слова не говорит ни об этой ночи, ни о винтовке. Зачем? Не стоит. Но Тересе в поисках чего-то открывает дверь шкафа.

— Господи, Андриус!..

С визгом закрывается дверца шкафа. Тересе прислоняется к ней, заложа руки за спину. Губы вздрагивают, она силится что-то сказать, но голоса нет. Молчит. Потом нетвердым шагом подходит к Андриусу, садится и приникает к его плечу.

* * *

Андриус переступает порог. Промокшая под дождем одежда пахнет мокрым лугом. Встряхивает фуражку и швыряет на лавку. Винтовку ставит в угол.

Тересе нагнулась над очагом. Вечер уже вот-вот; в углах притаилась темнота.

Андриус топчется посреди избы, потом откашливается и говорит:

— Сколько можно так. Хватит! Я — тут, ты — там, Тересе. Хватит так жить, Тересе.

Пламя освещает лицо девушки, ее щеки — что румяные яблоки. Красивая! Другой такой во всей деревне не сыщешь. Куда там до нее Анеле! Анеле, правда, тоже не из последних, но Тересе... Ему нужна Тересе. Как хлеб насущный, нужна.

— Тересе, ты меня слышишь? Хватит, говорю...

Девушка ворошит угли смолистым поленцем, оно загорается, и Тересе сбивает пламя, машет им в воздухе, не может потушить. Бросает поленце на угли.

— Хоть завтра поедем и распишемся!

— Господи, как печет.

— Чего ждать? Ни то, ни се — я тут, ты там.

Андриус подходит и кладет руку на ее плечи. Тяжелая рука, свинцовая.

— Тересюке.

Тересе швыряет новое полено. Сухие дрова с треском разгораются, пламя лижет ее пальцы, лицо. Тогда она сразу поняла, что это не Сокол говорит, но Панцирь сказал — его послал Сокол, очень важную вещь он должен сообщить. Вошел и сказал: Сокол приказал ему застрелить Андриуса. Этой же ночью, вот сейчас... И тогда все переплелось в один клубок: мольбы Тересе, чтобы Панцирь не убивал Андриуса, угрозы Панциря, его цепкие руки, потное лицо. А перед уходом Панцирь остановился у двери и бросил: «Хоть слово пискнешь — аминь! Ни Соколу, ни Андриусу... Никому ни звука!..»

Она лежала, уткнувшись в подушку, и плакала. Временами ей ка-

здесь — это был сон, но смрад, заполнивший избу, возвращал ее к действительности, и она снова то рыдала, то всхлипывала, сама себе стала противна. Когда вернулась мать, Тересе хотела броситься к ней, все рассказать, но тело было свинцовое, она не могла тронуться с места.

— Ишь, развалилась на постели! — заворчала мать, как только зажгла лампу. — Тересе, ты слышишь? — накинулась она на дочку. — Да ведь ты, корова, простыню как замарала! О, господи наш... Только что свежую постелила, а она дегтем, что ли, изножье изгвадала...

Тересе впиалась зубами в наволочку, чтоб не закричать, и лежала ни живая ни мертвая. Мать ворчала, сердилась, выговаривала Тересе: не пошла молиться, мол, сам черт ее обуял!

...Не ее обуял, нет. Просто она уже не прежняя... она другая, не та, что была раньше... давным-давно, и боится теперь поднять голову: Андрюс увидит и все поймет.

— Чего молчишь, Тересе?

— Лучше подождем, Андрюс.

— Нет!

— Лучше...

— Сбеситься можно!

— Подождем, а? Столько ждали, поживем еще так. Будто нам не хорошо?..

Тяжелая рука соскользнула с ее плеч. Словно камень свалился. Но Тересе легче не стало. Только тяжелее.

Андрюс сидит на лавке, уперся локтями в колени, потирает кулаками лоб. Слышно, как он дышит — как смертельно уставший человек.

— Знаю! — вдруг кричит он. — Знаю, почему не хочешь! Думаешь, не знаю? Не такой уж дурак. Вот почему! — орет Андрюс и тычет пальцем в винтовку. — Вот! Думаешь, ухлопают меня, а ты останешься... Ждешь, пока... Чего ждешь?

У Андрюса глаза лезут на лоб. Тересе еще не видела, чтоб он таким зверем смотрел. Но Андрюс снова опускает голову, снова трет виски кулаками.

— Нет уж! — трясет он головой. — Не возьмет меня холера. Не возьмет! Слышишь, Тересе, не возьмет!

Тересе не отходит от плиты. Обожгла руку, но боли не чувствует.

— Такая усадьба, столько земли, Тересе. Всего — завались. А сколько уходит на ветер. Недоделано, недосмотрено. Да и ты как чужими руками. Я не говорю, Тересе, что не работаешь. Ты работаешь, да еще как... Но ежели вместе, разом... Сама пойми, Тересе, уж как заживем!..

Андрюс говорит о хозяйстве и работе, говорит о жизни, о будущем. Тересе видит эту жизнь. Как на ладони видит она и Андрюса и себя.

— Удивляюсь я, вот что! — вскрикивает он. Потом подбегает к Тересе, хватая ее за плечи и так стискивает жилистыми ручищами, что у нее в глазах темнеет.

— Не уходи, Тересе! Оставайся и будь тут. Живи!

Андрюс хрипит, целует девушку куда-то в затылок, и тут его охватывает стыд. Не размазня ведь, силы — хоть бревна швыряй, и за словом в карман не полезет — рубит что топором, а тут — стыд и срам! — вот-вот на колени бухнется перед девкой. Но что ему делать, как объяснить, чтоб Тересе поняла — тяжело ему без нее; ему мало видеть ее изо дня в день... Ведь с косовицы, когда на лугу, под вербой... ни разу больше... Все выскальзывает из рук, убегает...

Сумерки тяжелы, прилипчивы, и Андрюсу кажется, что они заса-

сывают его, как клейкая глина, ног не вытянуть, и весь он погружается в это болото.

— Останься, Тересе.

— Что мама скажет?

Как маленькая. А может, это все отговорки? После того как увезли Маркаускасов, ведь ни разу здесь не ночевала. И в ливень и в пургу — убегала к себе. Если б другая так... вот, скажем, Анеле... Анелето его ждет... Наверняка ждет, и Андриус может показать... Он даже может сказать Тересе — раз ты так, то я знаю дорожку к такой, которая не прогонит... Мало мне тех крох любви, которые я краду словно вор то в половне, то в вишеннике, то у ржаного поля.

— Хорошо, — кивает головой Тересе. Она снова ворошит угли. — Хорошо, Андриус.

— Ты остаешься?

— Остаюсь.

Андриус садится, вцепившись руками в столешницу, и смотрит перед собой, не зная, что же теперь делать. Потом вспоминает, что за шкафчик он когда-то засунул бутылку. Достает, ставит на стол, потирает ладони.

— Тересюке, давай закуску! И садись. Вот тут!

Андриус наливает себе стаканчик, опрокидывает не моргнув глазом, потом наливает Тересе.

Тересе отпивает и вся передергивается от отвращения. В горле стоит комок — ни выплюнуть, ни проглотить. И хлеб какой-то вязкий — жуешь, жуешь, как резину.

— Такую свадьбу закатым, Тересюке, что вся деревня вповалку будет лежать. А что нам? Будто чего недостает? Полная чаша! Хо-хо, пускай увидят, холеры, что батрак — это вам не батрак, а батрачка не батрачка! И мы люди! Ничем не хуже, а то и лучше. Выпей, Тересюке, выпей, за это надо выпить...

Тересе отнекивается, отталкивает стаканчик. Андриус сует его к губам, грозитя влить силой. Но от запаха самогона ее тошнит. Да еще картошка в чугушке закипела, капли падают на раскаленную плиту, просто дышать нечем. А вдруг это?.. Который день она не поймет никак, что с ней творится. От всего дурно, тошнит... Господи, а если?.. Тересе цепенеет, ее руки свисают, колени дрожат.

— Отвезу завтра Кряуне два мешка ржи, водки нагоним. Скажешь, плоха эта? Что огонь. И муки надо хорошей намолоть. Поросянок откормлен, можно забить... Хо-хо, Тересюке, валяй до дна, потом мой черед.

Андриус обнимает одной рукой Тересе, просит выпить... Но у нее перед глазами непроглядная темнота; Тересе трясется от страха.

— Погоди... пусти...

Отталкивает Андриуса, встает, пошатываясь, бредет у самой стены, потом хватает с крюка ватник и бросается к двери.

— Нет... Нет!..

Андриус видит, как по двору бежит Тересе и исчезает за воротами.

Сидит один. На столе — бутылка, в руке — стаканчик.

В плите гаснут угольки.

VI

Нет, она не знала, что бывают мысли тяжелей полных ведер, которые она таскает от колодца в избу, а из избы в хлев; тяжелей корзины с картошкой, которые выносит из погреба, ссыпает в котлы и варит для свиней.

Куда ни пойдет, за что ни возьмется, все себя спрашивает: «Что теперь будет? Что? Кто посоветует, кто утешит, кто т а к у ю поймет?»

Бывает, успокоится и подумает просто, по-бабы: выскочу побыстрей за Андриуса, и вся недолга! Буду жить, работать и ни о чем не думать. Выскочу, и комар носу не подточит! Сживается с этой мыслью, свыкается — вот останется вечером с Андриусом и сама заведет разговор о женитьбе. Он только обрадуется, давно ведь ждет этого слова. Но тут встает у нее перед глазами ночь, когда в избенку вошел Панцирь, и хоть удавись. «Теперь уже не смеешь Андриусу в глаза посмотреть, — говорит она себе, — а как потом, всю жизнь? Вечно будешь глаза прятать? Думаешь, привыкнешь? И забудешь? Нет-нет, лучше признайся Андриусу. Сию минуту все ему скажи. Но поймет ли он? Сможешь ли так рассказать, чтоб он тебя понял? «Хоть слово пискнешь — аминь!» — сказал Панцирь».

Чем больше думает, тем ей страшнее — кажется, вот-вот спятит. А может, уже?.. Вдруг все, что видит, не настоящее? Идет по избе, осторожно касается кончиками пальцев столешницы, запотевшего оконного стекла, зажмуривается, трясет головой, снова открывает глаза. Внимательно рассматривает свои руки, сгибает пальцы с заусеницами, подносит к глазам задубелые ладони. Острая боль в затылке, стук в висках — все это неспроста... И то, что видит наяву... Вот она идет по зеленому лугу. Луг большой, кругом зеленым-зелено. Обернулась — на нее несется бугай. Совсем уже рядом. Вот налитые кровью глаза, острые рога. Бросается так, что она кричит... Вздвогнув, оглядывается. Сидит на краю кровати и не спит. Глаз и то не закрывала. Снова смотрит на руки. Пальцы одеревенели. Не сгибаются! Пожалуй, не поднять ни ведра воды, ни корзину картошки. Сил нету. Но откуда у нее в руках пионы? Розовые махровые цветы пахнут крепко и приятно, аж голова идет кругом. На столе уже ждет белый повойник, девушки плетут ротовый веночек и поют: «Прощай, моя матушка...» В дверях появляется Андриус. Без пиджака, босиком, штанины закатаны. «Хочешь меня обжулить, да? — говорит он. — С таким приданным мне на шею, да?» Андриус гогочет, а Тересе роняет пионы на пол, прячет лицо в ладони.

«Нет, нет, я ничего не хочу. Ничего!» — качает она головой и убегает из комнаты. Понимает, что без дела сидеть нельзя. Иди, беги, работай! Но надолго ли забудешься? Да и можно ли забыть то, что близится с каждым днем, с каждым часом?

* * *

И день, и другой, и третий старуха не спускает глаз с Тересе. Утром четвертого дня она застаёт дочь за избой, когда ту рвет, и, словно старуху мешком по голове ударили, смотрит, моргает прищуренными глазами.

— Вот зараза! О господи наш, Иисусе Христе, прости и помилуй, конец света!

Хватает Тересе за волосы, бьет кулаком по спине, а сама ловит ртом воздух — вот упадет замертво, сердце не выдержит такого позора!

— Заделал-таки жеребец этот!..

Лицо у Тересе серое, глаза бегают.

— Мама... нет, мама...

— Будет она тут мамкать, зараза! Когда разлеглась, небось маму не звала! О господи наш...

Вот-вот вцепится девке в волосы, повалит на траву и задаст встряску. Даже руки поднимает, пальцы растопыривает, но тут на-

ходит такая слабость, что она со стоном хватается за изгородь, а перед глазами — зеленый туман.

— Мама... Я, наверно, съела чего. Может, от того мяса, ржавое было...

Так она и поверит!..

— Свадьба когда?

— Я ничего, мама...

— Когда свадьба? Или он теперь тебя не берет?

— Андриус ничего не знает.

— О чем ты себе думаешь, зараза? Коли в грехе зачала, то в грехе и растить хочешь? Чужало мое сердце...

Тересе, спотыкаясь, убегает на хутор Маркаускаса.

* * *

Вечером того же дня Юрконене бежит прямо на поле, где Андриус пашет клеверище.

— Постой! — кричит она издали.

Шуршит, разламываясь, дерн, постукивают вальки, Андриус бредет за плугом свесив голову, а мысли насели, не отпускают.

— Стой, говорят!

Оглядывается через плечо, натягивает вожжи и, повернувшись, упирается спиной в рукояти плуга.

Старуха, отдуваясь, подбегает все ближе и затягивает потуже углы белого платка. Куда это она выбралась, так принарядившись?

— Зову, зову, а он...

— Да не слышал я.

— Кто не желает слышать, тому хоть в ухо кричи — глухим прикинется! О господи наш, Иисусе Христе... Так вот, зятек, потолковать пришла.

Еще ни разу она так Андриуса не называла. Ишь, зятек... Даже в поле выбралась, чтоб сказать... Андриус-то знает, что он скажет...

— Зря так далеко ходили, мама.— И Андриус в первый раз так величает старуху.

— Да время не терпит! Сам знаешь, зятек, какая Тересе.

— Ха, не первый год знаком. Справная девка.

— Так чего ждешь-то? Чего замуж не берешь?

— Не идет, вот и не беру...

— Господи наш, Иисусе Христе! Не верти хвостом, как будто не знаешь! Девка в положении и чтоб замуж не хотела?!

У Андриуса глаза лезут на лоб, он смотрит на старуху, которая воинственно подбоченилась, выставив заостренный подбородок, и раздражается хохотом. И тут же, захлебнувшись, замолкает. Снова плясает на нее.

— Ишь, вылупился, как кот, что в муку нагадил. Не знает. Он ничего не знает!

Андриус пожимает плечами и на всякий случай оглядывается.

— Что-то не пойму... Ничего я не пойму!

— Спрашиваю — свадьба и крестины в один день будут?

Старуха подходит еще ближе, так и буравит крохотными глазками. Подбородок дрожит, посиневшие губы дергаются, и Андриус стягивает голову, словно испугавшись, что его ударят.

— Что вы тут несете?.. Вы тут...

Защищается от старухи, защищается от самого себя.

— Что ты безбожник, это я знаю. Господи наш, Иисусе Христе, спаси и помилуй! Девку опозорил и запирается.

Андриус потными ладонями сжимает рукояти плуга. Дрожат от

напряжения руки, поля закрутились, завертелись перед глазами. Вдруг он хватает с земли кнут и изо всей мочи бьет лошадей.

— Поше-ел!

Плуг выпрыгивает из борозды, лемех ползет по стерне и снова впивается в грунт.

Старуха грозит сухими кулачками, семенит за ним, но нога проваливается в борозду, и она падает на колени на мягкую пашню.

— О господи наш, Иисусе Христе...

Землистыми пальцами дергает углы белого платка и смотрит, как удаляется спина Андруса.

— Поше-ел!

Звонкое эхо несется над осенними полями.

По морщинистой щеке катится теплая слеза.

* * *

Дотемна Андрус не выпускает из рук плуга. Кричит на лошадей, хлещет кнутом, всем телом налегает на рукояти. Рубашка мокрая, хоть выжми, приклеилась к спине, по лбу градом катится пот, разъедает глаза почище рассола.

Шелестит ольшаник, роняя последние листья, вдали темнеет хутор. Серая пашня сливается с ненастным небом, и Андрию кажется, что борозде нет конца; так бы и шел, вцепившись в рукоять плуга, так бы и шел куда-то... подальше от этих мест, от грозно маячащих тополей Маркаускаса; так бы и шел, пока бы не понял, что весь этот навал мыслей из-за болтовни глупой бабы, которую он принял за чистую монету. Но борозда кончается, лошади сами разворачиваются у ольшаника, и он снова топает обратно, все ближе к хутору и черным тополям.

Едва только исчезла Юрконене, Андрус свернул было на проселок, но — еще борозду, потом... еще борозду... Может, лучше не спешить, повременить малость? Нет, нет, холера, он и так долго ждал... Слишком долго... он же последний дурень... Вот эту борозду проложит, и точка... Но что он скажет Тересе? У него же тяжелая рука, а кулак что кувалда. Лучше сегодня ее в глаза не видеть, за ночь он сможет все передумать... Ну, еще эту борозду... Поше-ел!

Лошади останавливаются. Андрус хлещет кнутом, лошади дергают постромки, фыркают и стоят как вкопанные. Андрус опускает руки и только теперь чувствует, что они болят. Садится на свежую борозду, обхватывает руками колени и смотрит в темноту. Струится прохлада, ласкает разгоряченное тело, проникает сквозь одежду. Где-то в соседней деревне гудит машина. Андрус поднимает голову, прислушивается. Снова по-осеннему мрачная тишина полей, пахнувшая сыростью пашни и вянущей ольховой листвой. Тишина звенит в ушах Андруса. Он встает, отцепляет вальки и подгоняет лошадей, оставив плуг посреди поля.

Закрывает за собой ворота. В окне вроде мелькнул кто-то, и Андрус, скрипнув зубами, влетает в избу. Не переставая сопеть, чиркает спичку, другую. От плиты идет жар. Пахнет вареной картошкой и щами. Чугуны накрыты крышками, поглубже опущены в плиту, чтоб не остыл ужин. На столе — чистая пустая миска и ложка. Полкаравая хлеба.

— Твое счастье, что ушла! — цедит он сквозь зубы.

Зажег лампу, основательно осматривает все углы и, оставив дверь открытой, выходит во двор. В хлеву чавкают у корыта свиньи, хрюпают сечку коровы. Дверь гумна приперта палкой. Андрус крикнул бы, но не поворачивается язык. Или он боится услышать свой голос? Молча забирается в амбар, достает из сусека с ячменем бутылку. Вы-

дирает зубами пакляную затычку, выплевывает ее и запрокидывает бутылку, прислонясь спиной к дверному косяку. Отпивает, переводит дух, тупо глядя себе под ноги, снова отпивает. А когда не остается ни капли, аккуратно ставит бутылку на пол. Жаль, была неполная, а больше, как на грех, нету.

Лошади бродят по двору, путаясь в постромках.

Андрюс набрасывает винтовку на плечо и шагает по тропе. Избенка встречает его могильной тишиной и черными, плотно занавешенными оконцами.

Напротив безмятежный ольшаник; пахнет гниющим листом и торфом. Ветерок приносит дым избенки. Щекочет в носу. Ноздри раздуваются, дрожат.

Ночь темна. Винтовка давит на плечо.

* * *

Тересе с ведрами в руках идет к хлеву и тут же возвращается. Берет корзину и спускается в погреб. Не торопясь, понутив голову, как раньше, когда батрачила у Маркаускаса.

Когда она моет картошку у колодца, появляется Андрюс. Засунув руки в карманы штанов, подходит ближе. Три лиловых картофелины вылетают из корзины и дружно катятся с горочки. Андрюс наступает на них сапогом. Хруст.

— Слушай...

Голос срывается, и он с усилием сглатывает слюну, чтоб вымолвить слово.

— Слушай, Тересе, мать вчера сказала... Ты знаешь, что она мне сказала?

Краешком глаза Тересе косится на Андрюса.

— А что она тебе... сказала?

— И ты не знаешь? Не знаешь?!

Тересе хочет, чтоб раздвинулась земля и спрятала ее. Да-да, она уже падает в пропасть.

— Ты слышишь, что я говорю?

Она не поднимает головы. Все ниже, ниже... И если б не жесткая рука Андрюса, которая хватает ее за плечо, она бы упала.

— Это правда, что твоя мать сказала?! — хохочет Андрюс злобно. — Какая девка признается, что с другим путалась. Только и метит тебе на шею сесть. Откроешь ты рот или нет?! — Андрюс трясет ее, как яблоню.

Тересе выпрямляется и ясным взглядом смотрит Андрюсу прямо в глаза. Не унижается, не умоляет простить.

— Убей. Возьми винтовку и застрели меня.

— Что?! — У Андрюса глаза полезли на лоб. — Значит, это правда, холера?

— Застрели...

С размаху бьет Тересе по лицу, но она только пошатнулась и стоит, даже лица ладонями не заслонила.

— Возьми винтовку и застрели... Я... такая!..

От второго удара она падает и, скорчившись, прикрывает руками живот. Андрюс бьет ее ногой в сапоге Маркаускаса. Месит ногами, каждый пинок с бранью:

— Сука!..

Хлопает дверь избы, и почти сразу он появляется с винтовкой в руке. Остановливается, щелкает затвором и, не посмотрев на Тересе — она лежит на мокрой земле у колодца, — выходит из ворот.

Тересе поднимает голову и смотрит ему вслед, удивляясь, почему это Андрюс — с винтовкой — удаляется от нее.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Был март, после Казиминова дня. Ночью морозило, да так, что перед рассветом, не добежав до хлева, варежкой нос оттирал, зато днем в чистом небе появлялось солнце и на полях стекольным боем сверкал снег, заиндеветавшие сучья тополей чернели на глазах, а у стен хлева и гумна вылезали из-под снега пучки прошлогодней травы, серела земля. С кровли капало, и длинные сучковатые ледяные свечи тянулись к земле. На ветках резвились, чирикали ожившие воробьи, а на верхушках тополей раскачивались вороны, сильным карканьем оглашая воздух.

Ранним утром по проселку брели народные защитники — от хутора до хутора сопровождал их собачий лай, а крестьяне с опаской глядели из-за неоттаявших окошек. Ввалились они и в избу Андруса. Озябшие, ооченевшие. Топтались у дверей, не садились, пока малость не отошли, и только тогда дружно двинулись к столу. Скринска поносил зиму и бандитов.

— Сволочи, никак сидят, забившись в тепло!.. — фукал он на посиневшие руки. — Клопы вымерзают, тараканы вымерзают, а эти, считай, что вши под чирьем.

— Сковырни чирей — и перемерзнут, — посоветовал Маляука.

— Сковырни! Скажи на милость, где этот чирей — враз скovyрну. Да еще как скovyрну! Может, где за печкой и днюет и ночует. Думаешь, нет? А ты как считаешь, Андрус?

Андрус чувствовал: неспроста они пожаловали, не душу отвести, а по делу, да вот чего-то тянут...

— Если б им никто не пособлял, давно б было иначе.

— Правду говоришь, Андрус, чистую правду. Если б все взяли винтовки, вот как ты...

— Эге! — выпустил дым Маляука. — Ему ж эта винтовка — пришей кобыле хвост. Была б моя воля, не давал бы винтовок таким, которые только о себе пекутся, а для другого пальцем не шевельнут. Сосед закричит, а твой Андрус, думаешь, бросится на помощь? Черта лысого — не его же убивают...

— Да вряд ли... — засомневался Скринска, а Андрус покраснел и втянул голову в воротник дубленого полушубка.

— Чего вам от меня надо, холера? Чего прицепились, спрашиваю? Или я какой?.. Кто я такой, спрашиваю?

Маляука заржал, весело сдвинул шапку на затылок.

— С виду вроде бы наш, только вот... жирком стал обрастать.

Расхохотались и другие, но Скринска не подхватил, покачал головой:

— Не хватили ли мы через край, мужики? Хватили! Наш человек, а мы... Не за тем пришли. Давайте за дело!

Скринска с размаху бросил на стол планшетку, потер отмякшие руки.

— Неси-ка квитанции поставок, Андрус!

— Сдал я поставки. Все что полагается.

— Показывай.

Скринска порылся в своих бумагах, отделил несколько листов и разложил перед собой на столе.

— Давай показывай!

Андрус достал из стола довоенный календарь, раздувшийся от множества засунутых в него бумажек и загнутых уголков на страницах. Там были квитанции поставок и платежей Маркаускаса, серые,

зеленые и голубые листочки. А в самом конце календаря топорщились бумаги Андриуса.

— Натэ,— разложил их на столе Андриус.— Вот зерно, а вот мясо. Грамм в грамм.

Скринска ощупывал каждую бумажку, водил пальцем по своему большому листу и ставил галочки карандашом. Все примолкли, боясь помешать, и было слышно, как шепчут его губы:

— Сто пятьдесят литров молока... Сто тридцать девять литров... И еще сто пятьдесят..

— Говорю, капля в каплю,— не выдержал Андриус.

— Не мешай, потерпи,— попросил Скринска и, когда все бумажки оказались у него под локтем, спросил: — А яйца где?

— Нету яиц.

— Как так нету?

— Куры не несутся.

— Что значит «не несутся», если государство планирует на текущий квартал...

Изба утопала в дыму, лица мужчин побагровели, отмякли в тепле; на полу, под сапогами, натекли лужицы. Пахло полем и ветром, дубленками и потом.

— И еще — как с лесозаготовками?

— Девять кубов вывез.

— А остальное?

— И остальное вывезу.

— Когда?

— Ну... вывезу.

— Я спрашиваю: когда вывезешь?

— Давно бы вывез — да волок сломался.

— Да врет он! — не вытерпел Маляука.

— Вру?! Если я врун, то ты — вор!

Маляука бацнул по столу ладонью — громко, как вальком,— встал и не спеша наклонился к Андриусу:

— Что ты сказал? А ну-ка, повтори!

Скринска вскочил, замахал руками:

— Может, и правда у него волок-то... Андриус ведь... Не будь контрой, Андриус! Ты слышишь, я тебе в глаза говорю, не важно, что мы приятелями были. Не будь контрой!

— А чего он задирается,— буркнул Андриус.

— Вот что! — Скринска привстал на цыпочки.— Если до пятнадцатого не вывезешь леса, за саботаж знаешь что бывает! Сам будешь виноват!

И ушли. Скринска в воротах остановился.

— Чего не женишься, а?

— Не это в голове.

— Зябко одному. А я уже. Будешь в городе — захаживай. Супружницу покажу. Не баба — огонь! Женись, Андриус. Как это так. Одному не с руки...

— Не это в голове, говорю...

— Да не дури ты! Поутихнет время, иначе заживем, а ребятня уже во какая будет. Женись, нечего ждать.

— Да не это...

— Вот заладил!.. Бывай!

Андриус постоял во дворе, проводил взглядом мужчин, гуськом удаляющихся по белому полю, и от души пожалел их. Холера, собачья жизнь у этих истребителей... Днем и ночью топаешь по сугробам и не знаешь, за которым кустом бандиты сидят. Пульнут, свалят с копыт, и хоть бы тебя кто добрым словом помянул!

Выкатывает из дровяного сарая колоду, приносит бревнышко и принимается гукать топором Березовое полено твердое, крученное, звонкое. Топор поблескивает на солнце, удары глухи, словно по древесному грибу. Он снимает vareжки, расстегивает полушубок и все тук да тук... Опустился на колено у волока, померил, отчертил ногтем, отпилил ножовкой и снова меряет, снова тукает топором.

Ко всяким поделкам Андрюса сызмальства тянет. Зимой салазки, летом тележку, бывало, для себя сам сладит. Да так сладит, что другие дети только ахают. А то посопит, забившись в угол, и вот вам — нож, складной; кладешь на черенок соломинку — чах! — и отрубил лезвием. Долгими зимними вечерами сколько ножей для Маркаускене смастерил! Лезвие из обломка косы или пилы, черенок — кленовый, до блеска отделанный стеклышком, да еще раскаленной проволокой узорчик нанесен. Не одну скамью сбил и сломанную педаль прялки вырезал — да не просто, а с завитушками. Плевать ему на то, что хозяйка хвалит, подбрасывает кусок повкусней, а Маркаускас, вернувшись с базара, сует лит-другой на табак. Главное, он чувствовал свое превосходство над хозяином — а ну-ка попробуй ты так сделать! И еще — сам видел свою сноровку, а когда кругом говорили: «О-го, Андрюс!» — с притворным равнодушием отвечал: «Мне только подавай...» — и сам уже верил: была бы охота, даже бричку бы соорудил.

Тукает Андрюс топориком, тешет. Сухое березовое полено пахнет весной и ветром.

С ведром в руке идет, стуча башмаками, Тересе. Располнела, раздалась, идет осторожно, как по льду. Не остановится, не взглянет. Ей все равно как будто. И Андрюсу все равно, он тоже не видит Тересе. Давно уже так. Давно он хотел ей сказать: «Да не путайся ты под ногами! Мне ты не нужна...» В тот осенний день, когда он избил Тересе, она встала, ушла в свою избенку и не показывалась. Андрюс сам варил для свиней картошку, сам таскал ведра с кормом, вываливал в корыта и лупил палкой изголодавшихся свиней, ругался, кричал. Упросил Скауджувене коров подоить. День, другой. Неделю, другую. Хотел уже взять винтовку да перестрелять всю животину — до того опостылела эта морока. Но как-то явилась притихшая и оробевшая Тересе, взяла из сеней подоюник — и в хлев. Хоть бы слово сказала! Подоила коров, молоко процедила, задала свиньям корм и, так и не открыв рта, домой. Каждый день так. И Андрюс молчал. Буравил взглядом девушку и шипел, стиснув кулаки. На кончике языка висело: «Не путайся под ногами!» — но как тут скажешь! Хоть плачь, баба в доме нужна. И Андрюс тоже играл в молчанку. Но как-то не выдержал, остановил ее посреди двора.

— Кто?

Тересе подняла на Андрюса серые большие глаза. Когда-то он смотрел в них как в колодец и глаза блестели, полные до краев любовью.

— Кто?!

Теперь они приводили его в ярость; самой малости не хватает — и он убьет Тересе.

— Кто он, отвечай!

Губы Тересе дернулись. Она опустила голову и тут же подняла, но теперь глядела уже на чернеющую вдали пашню.

— От кого пухнешь, спрашиваю?

Тересе страдальчески посмотрела на Андрюса, покачала головой и, шагнув в сторону, обошла его, словно столб.

Вечером, как только Тересе исчезла за воротами, Андрюс накинул на плечо винтовку и бросился за ней. Добежал до ольшаника, залез в чащу. Стоял в кустах, не спуская глаз с избенки. Завывал хо-

лодный ветер, коченели руки, а он ждал, лелеял в сердце месть этому... кому-то... Должен же он прийти! Появится не сегодня, так завтра, и Андриус... Задрожали руки, крепко сжимавшие винтовку, жаркая слюна обожгла горло. Но вот погас в окошке огонек, затихла, забылась сном деревня, и Андриус поплелся обратно. На другой вечер тоже торчал до полуночи в ольшанике, разжигая себя горькими мыслями. Но в избенку не приходил. Много долгих холодных ночей простоял он, до боли в глазах вглядываясь в избенку.

— Кто он? — снова накинулся на Тересе, после пьянки вернувшись из деревни.

Тересе прятала глаза. Плечи дрожали, как будто он ее бил.

— Скажи, Тересе, — стал умолять он. — Не изводи меня, ты слышишь? Не мучай...

Тересе молчала, зажмурившись крепко, до боли.

— Не можешь сказать, да? Почему не можешь мне сказать? Мне!

— Не могу... — упрямо мотала она головой.

Андриус снова стал поносить ее последними словами. Тересе бросилась из дому, в одной легкой кофточке убежала в осеннюю слякоть.

А утром она снова доила коров, кормила свиней. Андриус избегал ее; казалось, он сам был в чем-то виноват. А может, и правда?.. Может, он не сумел ее уберечь? Ведь столько тянул с женой! Но она-то почему молчит? Почему не скажет?

Сколько раз ни наседал Андриус на Тересе, она только отмалчивалась, и Андриус видел: ни за что не скажет. А время шло. Думал, все пройдет, быльем порастет, да и какое его дело... не жена ведь! Но из головы не выкинешь, из сердца тоже не выдрать, корни пустила, холера...

Уже вечером Андриус загоняет в полозья новые копылы, крепит поперечинами и, подтащив волок к дровням, привязывает цепями.

— В лес собрался? — спрашивает Тересе, набирая в корзину пахнувшей щепы — на растопку.

Андриус открывает рот, но тут же крепко сжимает губы и в мыслях отрезает: «А твое какое дело?»

— Хлеб кончился, что в дорогу возьмешь?

«Думаешь, сдохну, да? Заботится, а как же!»

— Надо с вечера тесто замесить.

«Я тебя не прошу!.. Но кто выпечет, если не она?»

— Муки из амбара не принесешь?

«Сама не барыня... Но ведь надо...»

Садится холодное алое солнце.

Хрюкают в хлеву свиньи, скрипит колодезный ворот.

Андриус нашаривает в кармане амбарный ключ и бредет по двору.

* * *

Уехал затемно. Поверх полушубка — сермяга, вместо облучка — мешок, набитый клевером.

Неярко мигали звезды, по небу скользил бледный ущербный месяц, звенела ночь. По накатанному санному пути легко трусили лошади, пели полозья саней, а по лицу бил вскинутый копытами снег.

Уже горели огоньки на хуторах. Тишина, даже собак не слышно, видать, и они попрятались в тепло и не разинут зря пасть в такую стынь.

Еще не доезжая леса, Андриус догнал парные сани. За ними виднелись и другие. Даже теплей стало, хотя пальцы ног уже покалывало как иголками.

— Никак Андриус, а? — долетел издали голос, и Андриус узнал на санях Кряуну.

Улыбнулся, откашлялся и крикнул:

— Он самый! А я и так гляжу и эдак. Небось тоже в лес?

— Вот-вот, пропастина, вчера как пристали — хоть кричи. Никак и тебя погнали!

— И меня, чтоб их холера. А ты вроде не один едешь, или там чего торчит?

— Анелюке.

— О-го-го!

-- В лесу бабе делать нечего, да куда денешься, раз мужика нету. Один умаешься вконец.

Анеле не отозвалась, видно было в полумраке, как она сидит спиной в спину с отцом.

У леса стало светать. Темнота рассеялась, попрыгала в ольшаник да заросли ивняка. Свешивались к земле заиндевелые лапы елей, а нижние еще были под снегом — почерневшим, усыпанным хвоей и метелками. Направо и налево уходили следы полозьев — то убегали в чашу, то кончались тут же, у дороги. Светились яркой желтизной свежие пни, высились кучи хвороста.

Андрюс соскакивает с дровней, бежит следом, хлопая руками себя по бокам. Так и не согрешившись, снова забирается на сани. Анеле ухмыляется. Колюче смотрит из-под шерстяного платка.

— Жидковат! — хихикает она.

— А? — Андрюс притворяется, что не расслышал.

— Жидковат, говорю.

— Согрела бы.

-- Жди.

Трусят лошади, звонко поют полозья да взвизгивают, задев за камешек.

— Во-он там! Видать! — кричит Кряуна, протянув кнут.

Редкие ели, на диво прямые и стройные, сосны с рыжими чешуйчатými стволами, высоко поднявшие кроны. А кругом — пни, прорва пней. Между ними — дровни, подальше — вторые.

Кряуна сворачивает с дороги. Вслед за ним и Андрюс дергает за вожжи. Прямо на исполосованную следами полозьев просеку.

Лежат упавшие во весь рост деревья с обрубленными ветками, отпиленными верхушками. На них чернеют клейма. Всюду штабеля сучьев.

Анеле — в пестрядинных отцовских штанах, заправленных в валенки, в тулупе, неуклюжая, большая, раздутая, как пузырь.

Мужчины не теряют времени — сбрасывают на снег доски, жерди, отвязывают цепи и направляются к бревнам, примериваются.

— Хорошо бы три куба взять, — прикидывает Андрюс. — Сколько в этом бревне будет?

Кряуна прищуривает глаз.

— Полтора, не меньше.

— Еще бы одно такое, в пару...

Бредут по сугробам от пня до пня, перелезают через бревна. Наконец выпрягают лошадей, подгоняют к бревну, обвязывают комель цепями, зацепляют вальки и тащат с вырубki -- если подкатишь на снях, и не думай с грузом выбраться.

Трещат жерди, смолистое, тяжелое бревно ложится на катки. Потом выкатывают второе.

— Дай мне. — Андрюс отнимает у Анеле жердь.

— А я? Думаешь, не могу?

— Давай, давай. Не бабье это дело!

У Анеле щеки горят, на ней столько всего понадето, что она потеет, как в парильне.

— Хорошо, кто одну лошадь записал. В половину повинностей,— говорит Андриус и бросает взгляд на Кряуна.

— Откуда знаешь? — выдает себя тот.

— Одна лошадь — это тебе не две.

— Откуда знаешь, говорю?

— Вижу.

— Так-таки и видно? — ухмыляется до ушей Кряуна и тихонько, с хитрецей хихикает.

— Видно. Может, и не каждому, а мне видать.

— Надо ловчить, Андриус. Не словчишь — жизни тебе не будет, мигом отдашь концы. Сам не отдашь, так другие помогут. А когда вот эдак... и так и сяк... ушки на макушке — и живешь.

— И корова одна?

— Коровы две, бойся бога. Корову не скроешь. Корова она и есть корова. Мычит. Когда шли с переписью, одну было отделил, под соломой спрятал. Услышала людей — как заревет! Те сразу на гумно. Вот стерва! Корова она корова, а лошадь умница. Разумная животина.

Андриуса зло берет — какого черта он зевал, мог ведь тоже одну лошадь спрятать! Думал, не обложат налогами, повинностями да поставками. Новосел все-таки!.. Не посмотрели, что новосел. Сидишь на месте кулака, имеешь все что полагается — вот и давай государству, сыпь за милую душу. Две лошади, две коровы, свиньи — сколько мороки-то! Кряуна хитер, его вокруг пальца не обведешь.

— Смотри не сболтни кому,— предупреждает Кряуна.

— Еще чего.

— Сам знаешь, обмолвишься ненароком, а мне — какую. Еще лошадь заберут, а что ты думаешь! Раз не записана, скажут, отдавай, пропастина.

Сани Андриуса загружены, бревна аккуратно лежат на перекладинах, привязанные цепями, и Анеле вдруг вызывается:

— Помогу тебе на дорогу выехать, вот что!

— Да я сам...— невнятно бормочет Андриус: надо же, чтоб помогли!

— Один не выберешься! Не бойся, Анеле умеет,— подхватывает Кряуна.

Андриус собирает со снега несъеденный клевер, запихивает его в мешок, мешок закидывает на бревна и берет вожжи. Анеле сидит возле жердей, ухватившись за натянутую, как струна, веревку.

— Поше-ел! — щелкает он кнутом.— За пенек не задень! — говорит, обернувшись, Анеле.

— Ты за своим концом смотри!

Анеле — молодчина, к какой работе ни приставишь, сладит.

Андриус дергает вожжи, объезжает пенек и оглядывается через плечо на Анеле. Та всем телом наваливается на жерди, волок уходит в сторону, и бревна аккуратно проходят мимо пенька.

— Чего один приехал?

— Это я-то?

— Может, я?

— А с кем прикажешь ехать?

Фыркнув, Анеле снова налегает на жерди.

— Одному нехорошо.

— Сам знаю.

— Так чего один приезжал?

— Черта с два кого наймешь!

— Зачем черта? Можешь и не черта. На черте далеко не ускачешь, лучше не связывайся.

— Хитра!

Андрюс бьет кнутом лошадей, свисающие ветки ели больно хлещут по лицу, полоз едва не задевает за кривую березку.

— Холера! — вполголоса ругается Андрюс, и его заливают жар: чуть лишней мороки не устроил, да и перед Анеле опростоволосился бы.

Вьезжает на дорогу, аккуратно ставит сани. Анеле сползает на землю и стоит, сняв варежку, отковыривая ногтями кору с бревна.

— Папаша ждет,— напоминает Андрюс.

— Подождет.

И все отдирает кору, не поднимая головы, трет пальцем застывшие слезинки смолы.

— Ночи такие длинные. А в чулане холодно... Как в колодце...

— Отец идет... Видишь!

— Отец, отец... Придунок!

Анеле прыгает через канаву прямо в сугроб, кое-как вылезает из него и удаляется, косолапя, как медведь.

Солнце уже за верхушками деревьев. С веток падают крупинки изморози. Пахнет смолой, свежими опилками, отмякшей сосновой корой.

В конце просеки стучат топоры. Слышен хруст, треск, и вдалеке валится дерево. В лесу отзывается эхо.

Из-за поворота показываются лошади, потом сани с бревнами. Человек на санях чмокает, нукает, дергает вожжи. Андрюс оглядывается и тут же отворачивается. В плечах появляется тяжесть, и он, нагнувшись, трогает шлею Воронка.

— Знать не хочешь, да?

От этой тяжести в плечах Андрюс согнулся в дугу, но он ведь не трус... ей-богу, не трус!

— А, братец! Пятрас! — Андрюс поднимает голову, изображает удивление, радость, но понимает — весь он наружу, не умеет скрывать чувств.

— Давненько не видались, Андрюс.

— Годы идут.

Андрюс смотрит поверх лошадиных спин. Постарел Пятрас, ссутулился, да и с лица спал. Точь-в-точь Иисус Христос, как его сняли с креста.

— И про родной дом забыл, Андрюс...

— Выгнанному нет туда дороги.

— Выгнанному, говоришь. Значит, выгнали тебя? А кто же тебя выгонял?

— Хватит, Пятрас! Помолчи! — свирепеет Андрюс.

Пятрас замолкает, но ненадолго.

— Скажешь, у тебя житья нету? Есть. На славу устроился, слышали.

Андрюс кладет на широкий круп лошади два кулака, тяжелые, как кувалды. Смотрит из-под дергающихся бровей на брата и видит березняк детских лет... видит Альбинуке... слышит свадебный марш и веселые крики... а вот и удары пьяных мужиков... Он ничего не забыл, ничего! Как будто вчера...

— Другое теперь время.

— Ах, другое! — злобно хохочет Андрюс. — Спасибо, что напомнил. И папаше передай. Большое спасибо!

— Отец совсем плох. Ксендза привозили. Проведал бы, Андрюс.

Андрюса как будто холодной водой окатили, даже кулаки разжимаются, бессильно повисают руки.

— Неважный из меня доктор...-- бормочет он.

— Все вверх тормашками пошло, а ты камень за пазухой носишь. В субботу у нас собрание. Колхоз будет.

— Ну, а ты как? Запишешься?

— Там видно будет. Может, когда всех в кучу сгонят, все отберут да разденут догола — говорю, может, наново тогда породнимся. А, Андрюс? Думаешь, тебя эта передряга минует? Опять будем братья. Как в детстве — голопузые.

Андрюс смотрит на него мрачнее тучи.

— Это еще посмотрим, не спеши хоронить, — говорит он как можно тверже.

— Чего тут смотреть, и так видно.

— Поговорили, и будет.

Пятрас пожимает плечами, вздыхает и погоняет лошадей.

— Отец совсем плох. Долго не протянет, — уезжая, напоминает он. Со скрипом удаляются сани, а Андрюс все еще стоит и ковыряется в шлее Воронка.

На дорогу выбирается и Кряуна.

— Анеле за пенек зацепила, пропастина. Будто бабе в лес?.. Бабе место у печки да в кровати, а не волоком править.

Андрюс с трудом залезает на бревна, берет вожжи, дергает.

— Поше-ел!

— Как по-твоему, Андрюс, вторым заходом успеем еще столько взять? Хорошо бы за день два раза съездить!

Андрюс уставился на цокающие копыта лошадей. Ничего не видит и не слышит.

II

Тересе толкает дни, словно камни в гору. Бойтся остановиться, распрямить спину и оглядеться — сколько еще этих дней-каменей осталось? Хватит ли сил? Что будет, если оступится?

— У моей дочки — пригульный! — хваталась за голову мать. — О господи наш, Иисусе Христе, спаси и помилуй...

Каждый день мать поедом ела Тересе, кляла ее на чем свет стоит. Утром проснется и с ходу:

— Валяешься, зараза! Как ни при чем, будто так и надо... О господи наш, Иисусе Христе, сказала и еще раз скажу: неужто я бы ее лечила, когда она маленькая хворала? Улетела бы в рай белая что твоя ангелочек, чистая да невинная. А я-то думала — дождусь, будет мне радость на старости лет, будет опора. Внуков дождусь... А как же, дождусь! Под кустом нагуляла или где на сене... О господи наш, Иисусе Христе! Ты слышишь, зараза? Что ты о себе думаешь, отвечай!..

Тересе накрывалась с головой и сжималась в комок, но мать, наконец не стерпев, подходила, сдергивала одеяло и поднимала над ее головой увядшие кулачки:

— Как тебя святая земля носит! Разрази тебя гром!

Тересе бросалась из дому, убегала на хутор. А там на нее смотрел Андрюс — его глаза спрашивали: «Кто он? Кто?» Вечером в избенке мать снова заводила одну и ту же песню:

— Лучше б не родиться, лучше б умереть... Была бы дурочка, так ладно! А тут — здоровая телка... О господи наш, Иисусе Христе... Сказала и еще раз скажу: кто от церкви отстанет, к тому бес пристанет. Маркаускасы, те с нее глаз не спускали, а тут... Что и говорить! А теперь, когда хутор разорили... когда разлитого молока и собаке и кошке... Изба и хлев — все идет насмарку... и человек... и человек уподобляется скотине. О господи наш, Иисусе Христе, под ракиновым кустом, а то на сене...

Наступает утро, и хоть глаз не открывай, до того страшно хоть

из дому беги. И Тересе спозаранку убежала на хутор. Как-то вечером, когда в окнах дома заиграло закатное солнце и в воздухе залетали багровые искры, метя прямо в глаза, Тересе окатила водой у колодца в корзине картошку для свиней и застыла, оцепенела от мысли, что ждет ее — сегодня вечером и завтра утром. Через месяц, через полгода — там, в избенке, и здесь, на Маркаускасовом хуторе. Андрюс ушел в деревню — куда и зачем, не сказался, — теперь от него слова не услышишь. Ноги ее налились свинцом. Вся она стала какая-то грузная, неуклюжая. Ухватила рукой за ворот колодца, села на цементный сруб. Покосилась вниз, в глубине заблестела черная вода. Словно подмигнули ей оттуда: «Приходи, а?..» Она так и оторопела, но от колодца не отошла. Даже не отвернулась. Смотрит, и ладно. Она уже ходила к Маркаускасам, когда утопилась Мортуте, служившая у Лаукониса. Они с ней дружили, пели на два голоса, о парнях болтали. У Мортуте уже был суженый. Лицом пригожий и вообще что надо. Мортуте говорила: «Когда я замуж выйду, ты пойдешь ко мне служить? Я же буду богатая!» Потом, правда, как воды в рот набрала, а когда Тересе обмолвилась о свадьбе, покраснела и крикнула: «Жить мне неохота!» «Ну и дуреха же ты», — выговорила ей Тересе. Не прошло и недели, как вся деревня загомонила: Мортуте вытащили из колодца. Даже мертвая она была красивее всех.

Черный глаз колодца снова подмигнул Тересе: «Приходи, а? Нагнись немножечко. Вот так... Еще ниже, еще чуть-чуть. Тут спокойно, над тобой не смеются, и никому ты не мешаешь. А жизнь будет идти своим чередом. Кому ты нужна такая?»

Рука, опиравшаяся на крышку колодца, онемела и медленно согнулась. Тересе наклонилась над колодцем, все ниже и ниже опускала голову, словно сиюсь разглядеть в воде свое отражение. Но вода была очень уж глубоко. Она нагнулась еще ниже, и тут под ложечкой у нее что-то шевельнулось. Оторопев, она прислушалась. Снова шевельнулось что-то в ней, перекувыркнулось и как бы затукало. Она вскочила, отбежала от колодца и прислушалась с рукой на животе — вдруг опять шевельнется... Оставив корзину у колодца, она ушла в избу, уселась и сидела не двигаясь до сумерек.

Не раз еще звал Тересе глаз колодца, но она все откладывала. «Нет, не сейчас... еще не время...» И тут захворала мать. Тересе варила ей травки и корешки и давала то с горячим молоком, то с теплым маслом — мать ей говорила как. Но старуха не поправлялась. С каждым днем ей было все хуже. Хоть плачь, надо везти ее к доктору. Но откуда телегу взять? Не попросишь же Андрюса! Тересе даже не обмолвилась ему, что мать плоха. Да и старуха отмахивалась:

— Пройдет. Только-только привязалась хворость — и уже по докторам сигать!.. Вот полежу, травок попью, и полегчает...

Тересе сновала что челнок: из избенки на хутор, с хутора в избенку. Прибавилось забот, некогда было спину разогнуть. Да и старуха теперь реже бередила дочкины раны — то ли притерпелась, то ли благодарила бога, что есть кому о ней позаботиться, когда хворь скрутила: «Если б не дочь, капли воды бы не дождалась, о господи наш, Иисусе Христе». Но правду-матку резала по-прежнему. Чуть что — Тересе задержалась, не то подала или не то взяла — и старуха уже трясет высохшими, как жердочки, руками и давай брюзжать:

— Спишь и видишь, чтоб я ножки протянула! Нет уж, ты как есть зараза, о господи наш, Иисусе Христе!.. Ты у меня еще запляшешь!.. Как бы не так!.. Ох, сколько ждать, пока встану! Не одного еще ребеночка успеешь заделать, о господи наш...

Потом затихнет, пустит слезу и вздохнет от всего сердца:

— А мне, думаешь, легко жилось? Тянула лямку, кровавыми ру-

ками рожь Маркаускаса вязала, на телеги грузила, свеклу сажала да полола... Что я видела хорошего, что нажила? Ах, Тересе, Тересюке... А ведь хотела такой малости... Весь свой век такой малости хотела — хоть один день прожить без забот. Иду, а заботы за мной как собаки гонятся, и нет им конца...

Мать причитала каждый раз теми же словами, и эта жалоба для Тересе была что полынный настой. Она думала: будь ее беда виной Андрюса, все бы обошлось. Даже если Андрюс оттолкнул бы ее, ей не пришлось бы от людей скрываться... и от себя не пришлось бы скрывать этих страшных мыслей. Ведь ни матери, ни Андрюсу не скажешь: отец ее ребенка — бандит Панцирь. Отец ее ребенка бандит. Панцирь Андрюса или Андрюс Панциря раньше или позже убьет... Ее сердце знало, каждый вечер она ложилась с этой мыслью: может, уже сегодня?..

В один дождливый вечер, поздно вернувшись домой, она застала в избенке Сокола. Тот сидел, опершись рукой на стол и зажав коленями автомат. Тересе так и застыла на пороге, прислонилась к дверному косяку и, спрятав руку за спину, старалась нашарить щеколду и броситься на двор.

— Не узнаешь, Тереселе? Это же учитель, — прошамкала на кровати мать, и в ее голосе прозвучало старое: «Подумать только, к нам зашел учитель!»

Сокол долго не спускал глаз с Тересе. Потом улыбнулся:

— Тересе — моя ученица. Как подумаю... Хорошая у вас дочка, тетушка.

Мать замахала руками, вздохнула и закашлялась, будто поперхнувшись.

На подгибающихся ногах Тересе прошла по избе и, не снимая мокрого ватника, села в ногах у матери.

— Как Андрюс?

Тересе залил жар, к горлу подступила тошнота.

— Все еще таскает свою кочергу?

— Я бы ему глаза выцарапала, большевику треклятому! — не выдержала мать. — О господи наш, Иисусе Христе! Кабы не моя хворость... Ладно, дай встану, он еще попомнит, этот кобель!

— За что же вы так, тетушка?

— За что?! Сейчас узнаешь! Да что и скрывать-то? Так вот! Эту мою заразу... этот кобель... Если не видать пока, то скоро вся деревня пальцами будет показывать...

Тересе съежилась, спрятала лицо в ладони.

— Не он... Не Андрюс! — крикнула она прерывающимся голосом. — Не Андрюс, мама!

— Никак пес, ежели не Андрюс?

— Не Андрюс!

Сокол заерзал, громко скрипнула лавка. У Тересе на кончике языка вертелось: «Панцирь!» Швырнуть бы это слово, как камень. Но в кого швырнешь-то? «Помни, хоть слово пискнешь — аминь!» Молчать. Молчать, стиснув зубы, хотя холодное, железное слово само просилось наружу: «Это Панцирь! Панцирь!»

— Если Андрюс тебя обидел... Тересе, скажи...

«Панцирь! Панцирь! Неужели ты не знаешь, кто у тебя в отряде! Сам ведь послал Панциря... Неужто ты их не знаешь?.. Но почему Панцирь велел никому не проболтаться? Соколу? Друг Сокол ничего не знает, и Панцирь его боится... Аминь, аминь...»

— Ведь Андрюс, правда? — настойчиво допытывался Сокол.

— Нет, нет. — Тересе качала головой и кусала губы, чтоб не сорвалось это ужасное имя.

— Дура девка, учитель...

— Вы, тетушка, на нее не сердитесь. И не браните, не надо. Тересе не из таких, чтоб ее зря мучить.

— Скажешь, еще похвалить ее, что с этим большевиком?..

— Не стоит, тетушка. Мы-то ничего не забудем. Не за это люди гибнут.

— А за что гибнут? За что? — Тересе несмело тронула натянутую струну.

— Сама бы могла понять, — помолчав, спокойно ответил Сокол. — Скажи, почему чужие края усеяны нашими костями еще с царских времен? Почему мы должны учить наших детей почитать нового бога? Скажи: лучше будет, если чужаки вычеркнут имя Литвы? Ты подумай, Тересе...

Сокол встал, подошел к Тересе, поднял руку к ее плечу и тут же отступил.

— Думаешь, нам легко? Мы тоже ведь, бывает, ошибаемся, не можем сдержаться, теряем голову. Родина не забудет страданий ни одного из своих детей, Тересе! А пока молчи, Тересе. Молчи!

Стукнула дверь. За окном шумел дождь, всюду гудел ветер.

— В такую непогоду собаку из дому не выгонишь, а он ушел. За веру, господи наш...

— Это Панцирь, мама! — зарыдала Тересе. — Он!

Мать подняла голову.

— Что — он?

— Это он, он, мама!

— Спятила...

— Он, мама...

— О господи наш, Иисусе Христе! Этот ирод?

Тересе убежала к себе в чулан и рухнула на постель, продолжая шептаться:

— Он, он, он...

Мать звала ее, но Тересе даже не шелохнулась.

Перед рождеством, когда ударили морозы, мать чуть оправилась, могла даже, держась за стену, пройтись по избе. Но вскоре ей снова стало хуже, она опять горела как в огне и хваталась за дочкину руку. Тересе всю ночь просидела у постели матери.

— Ведь такой малости хотела, — прошептала старуха спекшимися губами. — Денек прожить без забот, без горя. Такой-то малости...

Под утро лицо и руки стали серые. Она откинула голову, притихла, вроде заснула. Тересе пошла было вздремнуть хоть на часок, но тут мать дернулась всем телом, глубоко вздохнула, открыла рот и закатила глаза.

— Мама! — схватила ее за руку Тересе.

Мать не ответила. Лежала как никогда спокойная и равнодушная ко всему.

После похорон Тересе ходила потеряв голову. Только жизнь, изредка шевелившаяся под грудью, напоминала ей — ты не одна! И никакой радости от этого не было...

* * *

Тересе сидит у окна и вяжет варежки. Нитки Маркаускене, осталось полмешка шерсти — второпях забыла взять. Нитки белые, мягкие, толстые, варежки будут теплые. А то смотреть жалко — Андрус в лес дырявые натягивает. Руки ведь зябнут, а скоро ли весна — неизвестно.

В окно падает солнце, греет спину. Даже ко сну клонит. Но Тересе не закрывает глаз. Однообразно движутся пальцы, быстро мель-

кают спицы, а мысли знай скачут — то прошлое, то сегодняшний день, и опять — то прошлое, то будущее. Аж в голове гудит, а в теле такая усталость, словно целый день снопы вязала.

За торцовым окном мелькает чья-то тень, слышен скрип снега, потом стук двери, и в избу влетает Скауджюсов Пранукас. Уши заячьей шапки связаны под подбородком, нос красный с морозу, глаза блестят.

— Письмо! — Пранукас кладет на стол серый бумажный треугольник.

— Письмо? — удивляется Тересе. — Мне?

— Тебе письмо! — подтверждает мальчуган, отступая к двери. — Отец на почту зашел, просили передать.

— Вот те и на! — Спица со звоном падает на пол. — Откуда же письмо-то?

— Маркаускасы отписали.

— Маркаускасы?

— Угу.

— Ну спасибо тебе, что не поленился. И отцу твоему спасибо.

— Ладно. А я знаю!..

— Что ты знаешь, Пранукас?

— Чего там написано, знаю. Оно разворачивается, письмо, хочешь, так читай. По-литовски написано. Только на самом верху по-русски.

— Я сама... Я умею читать, Пранукас.

Мальчуган стучит деревянными башмаками о порог, от подошвы откалывается кусок снега.

— Говорят, скоро всех в колхоз сгонят!

— Говорят?

— Ты не слышала? Говорят, построят одно большое гумно, один большенный хлев и одну большенную избу, и вся деревня в ней жить будет... Вот это да!

Тересе молчит, ждет, чтоб мальчуган поскорей ушел, но тот не спеша нащупывает щеколду и продолжает болтать.

— Тебя дома не хватятся?

— А ну их!.. Говорят, деньги менять будут. А если б американцы мороза не боялись, давно бы пошли войной. А истребителям, говорят, червонцами платят, когда они лесного убьют, вот они и стреляют...

Тересе не терпится узнать, что в письме, спицы то и дело выскальзывают из рук, не идет вязанье... За всю свою жизнь она еще не получила письма. Как ее и отыскали...

— Ты ступай, Пранукас, ступай...

Мальчик не спеша закрывает дверь, и Тересе тут же хватается за письмо. Руки у нее дрожат. О чем ей может писать Маркаускас? Не родня же. И почему ей, а не Андриюсу?

Два тетрадных листка, исписанных крупными, четкими буквами, сливаются в одно серое пятно, и не скоро еще слова ложатся на свои места.

«Здорово, Тересюке!

Привет тебе с края света, куда нас спровадили...

Как мы живем? Хорошо живем, Тересюке! Так хорошо, как никогда еще не жили...»

Тересе опускает руки с письмом на колени и смотрит на плиту. Не чугуны видит, не полешки, брошенные на круги, чтоб подсохли, — видит, как хлопочет у плиты Маркаускене. «Узнают люди, почем фунт лиха, — думает Тересе. — Из закров не зачерпнешь, от окорока не отрежешь».

Подносит к глазам мятую бумажку.

«Тересюке, ты наш человек, и мы тебя вот о чем просим. Смотри

за домом, Тересюке! Бог знает, когда приедем, но приедем. Смотри. Тересюке, не дай разбазарить. Осталось одежды: отцов тулуп, двое брюк, три пары исподних, что были на чердаке нестиранные, фуражка, пять, кажется, мешков новых, еще одни брюки отца — галифе, выходные. Теперь мое: юбка домотканая, юбка в елочку, теплая исподняя нижняя юбка, выходной ватник, клетчатый платок с бахромой, платки разные, пять штук холстов, рушник; отцовы сапоги, мои ботинки, отца совсем новые башмаки деревянные. И это не все, Тересюке, ты сама знаешь, это еще далеко не все. Мы тут все переписали, чего дома осталось. Так вот о чем тебя просим: все наше добро ты собери и спрячь в чулан, а чулан запири и ключ держи при себе. И последи, чтоб моль не поела. На чердаке найдешь стебли от табака-самосада, что отец курил, — переложим ими одежду. И за постройками присматривай. А когда, бог даст, приедем, в долгу не останемся...»

Бумажка, словно свинцовая пластина, тянет вниз руки, и Тересе сжимает ее в руке. Ее просят... нет, ей велют, ей приказывают стеречь дом Маркаускасов, их добро. Все сберечь, а то, если чего хватятся — «все мы тут переписали», — что ты им скажешь? С тебя потребуют домотканую юбку, хотя ты в ней похоронила мать; с тебя потребуют брюки-галифе, хотя их Андрюс донашивает. Об Андрюсе ни звука, словно и нет его на свете. А может, они думают, что Андрюса нету? Знают, какие нынче времена да что творится, вот и думают: раньше Андрюса не трогали только потому, что они жили, а теперь-то он... в земле...

Тересе встает, бумажка медленно летит на пол.

На дворе солнце, с крыши падают капли, со звоном разбиваются сосульки.

«Чего я тут сижу? Стерегу хутор Маркаускасов? Как вон та собачонка, что тьякает у хлева?»

Тересе нечаянно наступает на письмо. Шуршит под ногой бумажка.

«Чего я тут не видела?»

На столе — недовязанная варежка, клубок белых ниток.

«И за нитки придется ответ держать. «Куда дела?» — спросят, и что я отвечу? Чего я тут сижу?»

III

Молотилка заглатывает последние снопы, выплевывает мятую соломку. Андрюс смотрит на опустевшие садки, на кучу непровеянного зерна в конце тока. «Три дня молотили. Мешков пятьдесят, не меньше. Пятьдесят! К весне рожь подорожает, за мешок — двести... Защищем деньги! А еще ячмень на гумне, да и в амбаре закрома не пустуют... Жить можно». Почему он тогда, в лесу, не позвал брата в гости? Приехал бы да посмотрел, как живет Андрюс. И отцу бы рассказал. Правда, отец давно не встает... Но Андрюс много бы отдал, чтоб отец с Пятрасом сами увидели, как живет сейчас этот косорукий. Ах, не жизнь у него, а малина.

Аксомайтене швыряет на стол молотилки охакку огребков, подскочив к Болюсу, отбирает у него четырехзубые вилы и сама запикивает соломку в пасть машины.

На доске конного привода сидит Тересе. Лошади бредут по кругу, вращая молотилку, а она длинным кнутом подгоняет то одну, то другую и все время переживает, что сидит, можно сказать, без дела. Не так давно еще бегала, не слыша под собой ног, трудилась в поте лица, а теперь... Разлезлась, будто квашня, и ни на что не годится — разве что лошадей погонять. Ее беда все приближается, вот-вот все

свершится; сегодня, когда Андрус, пообедав, ушел, Аксомайтене спросила: «Так и собираешься жить, Тересе?» Тересе промолчала. «Батрачила у Маркаускаса, а теперь у Андруса, да?» Словно камнем в нее запустили, и она не могла не защищаться. «Наше здесь все. И мое тоже... Вы не думайте...» «А ребенок-то будет только твой?» Тересе проглотила обиду. О, если б она могла крикнуть: «Это не Андрус!.. Это Панцирь меня!» Полегчало бы, этими словами она бы смыла позор. А тут — молчи, молчи как проклятая... И не знаешь, надолго ли хватит сил. Аксомайтене покосилась на Тересе и, наверно, пожалела ее. «Да не бери ты в голову, я просто так...— И сменила разговор.— Я одного боюсь: как бы Андрус тебя не доконал работами...» Тересе чуть было не кивнула. Самой ведь приходили в голову такие мысли. Отгоняла их, а то принималась убеждать себя, что Андрус любит как любил и главное — перетерпеть. Она жила воспоминаниями и верила в них; видела же, что Андрус и теперь, забывшись, смотрит на нее по-доброму, как когда-то; за такие минуты она могла отдать все.

Тарахтит на холостых оборотах машина, и Андрус, высунув голову из открытой дверцы, тпрукает на лошадей. Лошади ослабляют постромки, свешивают головы. Вспотели, аж пар идет.

Вечер. За ольшаником садится белое солнце.

С гумна выходит Аксомайтене. Вдохнув полной грудью холодный вечерний воздух, она стирает ладонью пыль с лица.

— Болюс!

— Я тут, мама.

Мальчик срывает с гороховой плети хрустящие стручки и, согнувшись, заходитя надсадным кашлем.

— Пойдем домой, сынок.

— Может, перекусите? — предлагает Андрус.

— Да некогда, малыши одни оставлены.

— Вот спасибо, Аксомайтене. Тересе, молока соседке налей.

Серые глаза Аксомайтене смотрят вдаль.

— Не заходишь к нам, Андрус.

— Работа заедает...

— Когда Казимерас был жив, захаживал.

Женщина удаляется в избу. За ней Болюс, кашляя по-стариковски. Не заходишь, мол... А о чем им говорить, если Андрус даже зайдет? Казимерас ему завидовал. Конечно, не стоит ворошить прошлое, но все-таки... О чем им говорить-то? Тересе послал, чтобы позвала соседку на молотьбу. Сам не пошел. Оно конечно, нелегко сейчас Аксомайтене, но при чем тут Андрус? Велел Тересе соседке мяса отнести. Он не покусится, по-царски заплатит за эти дни. Он ведь хочет помочь! Но Магде смотрит так, словно в чем-то обвиняет Андруса. В чем же?

Лает пес, из-за избы появляется дочка соседки Валюкене.

— Это вам! — кричит она издали, и Андрус, выйдя девочке на встречу, берет у нее сложенный вчетверо листок бумаги.

Девочка бежит к воротам, пес яростно лает — сорвался бы с цепи, живого места не оставил бы.

Слова, выведенные карандашом на тетрадной обложке, гудят, словно похоронный колокол. Андрус перечитывает раз, другой, а затем опускает руки и смотрит невидящим взглядом.

Хлопает сенная дверь, снег скрипит уже у ворот.

— Погоди, Аксомайтене!

Аксомайтене останавливается — в руке у нее кувшин молока — и велит Болюсу побыстрей бежать домой.

— Повестку принесли, возьми,— подает он бумагу, захватанную всей деревней.

— Ладно,— говорит женщина и поворачивается уходить.

— Собрание завтра! — чересчур громко говорит Андрус.

Соседка спокойна, и от этого ему становится еще пакостней на душе. Женщина перехватывает кувшин другой рукой и смотрит куда-то в сторону...

— Землю заберут, постройки заберут, скотину заберут... Колхоз будет, вот что, Аскомайтене!

Она смотрит на Андруса.

— Корова на издое, картошка в яме перемерзла. Что детям подать?

— Ну, знаешь... — Андруса обжигает взгляд соседки.

— На обед бруквенная похлебка с хлебом, а дети бегают до ветру — и как водичкой...

— Можешь каждый день Болюса за молоком присылать. И мяса кусок найдется.

Плечи женщины дрожат, она раскачивается всем телом, опускает голову.

— Думаешь, легко милостыню брать?

— Какая тут милостыня!.. За работу...

— Весной позовешь на огороды, потом навозить, потом на сено...

— Эх, соседка...

Аскомайтене наклоняется всем телом и делает шаг к воротам.

— Ну и как ты, пойдешь в колхоз?..

Помолчав, женщина отвечает:

— С Казимерасом посоветуюсь.

Андрус раздражается хохотом, но тут же замолкает.

— Я всегда с Казимерасом советуюсь. И теперь посоветуюсь!

И не оборачиваясь уходит.

По двору бродят коровы. На боках корки навоза, сосульки. Тересе тащит с гумна сеть с соломой — каждый вечер, выпустив коров на водопой к колодцу, она разбрасывает подстилку в хлеву. Не просто тащить солому, когда и так идешь откинувшись, выставив живот что каравай.

Задав корм лошадям, Андрус надевает на плечо винтовку и бредет к воротам. На поля опускаются мягкие сумерки, словно ребра, чернеют борозды пашни, пробившие грязную пелену снега.

На него смотрит Тересе — она стоит у колодца, свесив длинные руки. Пальцы озябли, покраснели... Надо бы ей что-то сказать... хоршее, конечно... Если б не Тересе, ему бы туго пришлось. Постой, неужели она тебе нужна только по хозяйству? И все? И ничего больше... не чувствуешь? Тогда сунь и ей в руки шматок сала — сделала дело и пускай уходит. Как Аксомайтене...

Андрус втягивает голову в плечи, сутулится.

— Так я пошел! — выдавливает он из себя и, махнув рукой, удаляется напрямик по полю.

Хрустит нездреватый снег, потрескивает ломкий ледок, перед глазами унылые полосы пашни. Гаснет сиреневое закатное небо, зубчики верхушек леса тают, сливаясь в черную зловещую стену.

Засунув большой палец под ремень винтовки, Андрус кое-как тащит тяжелые и непослушные ноги. Ужас до чего не хочется сидеть дома. Пусто там. Тересе уже ушла к себе. Дело для себя не найдешь, так и будешь тыкаться по углам. И не заснешь ведь. Думы не дадут.

Во дворе Скауджюса раскричались дети: салазки не поделили. Девочка аж заходится от плача.

— Нечего торчать на морозе! Живо в избу! — кричит женский голос, и дети враз замолкают.

У Валюкене хрюкают свиньи, визжат, как будто их забивают, — наверно, запоздала с кормежкой. Садовая изгородь перекосилась, штакетины выломаны. Залаял пес. Наверно, услышал Андруса.

«Куда я иду?» — спрашивает себя Андриус. Ответа не находит, но и назад не поворачивает — бредет по деревне и думает, думает...

* * *

Кряуна отматывает конец веревки от жерди, берет в охапку теплую еще полть сала, забрасывает за спину и, хрипя от натуги, бежит к амбару.

— Шейкуними! — кричит на ходу дочке. — И смотри в золу не урони. Нет, лучше я сам!

Дверь коптильни открыта настежь. Дощатая будка, почерневшая от дыма, благоухает можжевельником, чесноком и перцем. Этот запах не исчезает круглый год. Анеле девочкой, бывало, приоткроеет дверцу и дышит этим вкусным запахом. Теперь отец запирает коптильню. Рассмеявшись, Анеле отбрасывает ногой сосульку. В войну... кажется, в последнюю немецкую зиму, приезжал с колядой настоятель. Вошли все в избу, спели рождественский гимн, а органист пулей выскочил в дверь, бросился туда-сюда и скрылся за амбаром. Все вышли, стали садиться в сани, но тут открылась дверь коптильни и оттуда появился органист. «Хозяин! — закричал он еще издали. — Коптильня свежим дымком пахнет, а как насчет колбаски? Не пощещь, часом?» Отец поморщился, но принес-таки круг колбасы, снул органисту, и сразу же из ворот, позванивая бубенцами, вылетели последние сани. Отец постоял посреди двора, провожая взглядом санный поезд, и пошел припереть дверь коптильни. Почему-то открыл, заглянул внутрь. «Вот скотина! — заорал на весь двор. — Последняя скотина. Наклал, насвинячил, а я ему еще колбасу!» Не один день отец бесился да отплевывался, пока наконец не решил: «Сколочу-ка за хлевом будку. На всякий случай, для приезжих господ». Стал доски искать — гнилых не нашел, а не будешь же изводить новые на такой «дворец», куда сам ногой не ступишь — привык на свежем воздухе, чтоб ветерок поддувал. Так что купил замок и повесил на дверь коптильни — это вернее, подешевле обойдется.

— Чего стоишь? — ворчит Кряуна. — Могла колбасы снять.

Анеле залиvisto смеется:

— А ты помнишь, ха-ха-ха!.. Помнишь, ха-ха-ха... — Она просто задыхается от смеха.

— Хватит ржать! — обрывает ее отец. — Стой тут. Держи.

— Ха-ха!

— Ты держишь или нет? А теперь неси! Постой, скиландис¹ еще прихватишь.

В одной руке шейка и окорок, в другой — увесистый скиландис. Анеле едва волочит все эти копчености, тут не до смеха.

Кряуна снимает последнюю полть сала, забрасывает за спину, потом осторожно берет жердочку с нанизанными на нее колбасами и вперевалку шлепает по двору.

С порога избы отзывается жена:

— Отец, скажи Анеле, чтоб муки для клецек прихватила!

Кряуна кладет полть на горку шматов сала — аккуратно разложит завтра, при свете, — дает ключ от амбара Анеле, а сам возвращается к коптильне. Собирает еловую хвою, ворошит палкой золу.

— Все? — спрашивает Анеле.

— Подбедерок возьми. Завтра на нем борщ сварите.

Хлопает дверь, щелкает замочек. Кряуна внезапно оглядывается.

— Видала? — шепчет он. — Кто-то у забора был! Кого тут черт?..

¹ Скиландис — свиной желудок, набитый рубленным окороком и прокопченный.

И Кряуна вздыхает с облегчением, увидев Андрияса. Вытирает ладонь о штаны и радостно сует ему.

— Молодец, что зашел! Давно носу не кажешь, можно подумать, обиду затаил.

— Не до хождения теперь. Здорово, Анеле.

У Анеле обе руки заняты, она только локтями поводит и кивает головой на дверь.

— Заходи, согреешься.

— Да не знаю я... Разве что на минутку.

Над столом висит керосиновая лампа. Язычок пламени то и дело приседает, словно ему душно под закоптелым стеклом.

Мужчины садятся за длинный стол и расстегивают полушубки. Анеле убегает в чулан снимать отцовы штаны и возвращается в новой вязаной кофте — вся какая-то легкая, живая.

— Женщины, закуску! — командует Кряуна. — Или ты ужинал? Андрияс только рукой машет.

— Да уж, тебе не сладко. Нечто жизнь без бабы? В избе не прибрано, кушать не подано, исподнее не стирано.

— Андрияс не для того жену возьмет, — откликается Анеле, шаря в посудном шкафчике.

— Думаешь, на одно погляденье. Приклей тогда к стене газету с карточкой комсомолки и гляди себе на здоровье, на что тебе жена!

— Ты скажешь!..

Мужчины громко хохочут.

На столе появляется щербатая тарелка с нарезанным вареным мясом, огромный, что жернов, каравай хлеба. Кряунене приносит из сени миску соленных огурцов и говорит, что весной огурец не тот — водянистый, дохлый, одна кожура.

Бутылка из зеленого стекла наполнена по пакляную затычку. Кряуна откупоривает ее и, швырнув паклю под лавку, наливает себе самогону.

— Выпьем, Андрияс. Такая жизнь, пропастина...

— Выпьем.

— Будь здоров!

— На здоровье.

Теперь поднимает стопку Андрияс. По пальцам катятся желтоватые капли самогона.

— Чего не присядешь, Анеле?

— Вот кастрюлю отскребу...

— Садись, раз человек просит! И ты, мать, присаживайся.

— Никуда не денется эта отравка.

— Вот куриная голова! Ты дерни, Андрияс, и на закуску наляг.

Андрияс обводит взглядом большую теплую комнату, видит стол с закусками, огонь, весело потрескивающий в плите, и перед глазами ни с того ни с сего возникает Аксомайтене. Мотнув головой, он опрокидывает стопку, смывая неприятную картину. Берет огурец, откусывает; рассол брызжет на подбородок и отвороты полушубка; поддевает вилкой кусок мяса, отламывает от каравая кусок хлеба.

— Ешь да пей, пока есть чего, — дело говоришь, Кряуна. Как знать, что нас завтра ждет...

— Завтра иначе запоем, Андрияс, — усмехается Кряуна и затягивает козлетоном:

Трактор поле вспашет.

Самолет засеет,

Отдохнет лошадка...

Но тут у него не хватает духу и, засипев, он кончает шепотом:

Станет веселее ..

— Ну и песня... Такая песня... Хоть плачь!

— А что мне прикажешь делать, Андриус? Каково нам, старинным хозяевам-то?

— А я кто, по-твоему? Ну кто?

— Тебе еще туда-сюда. Тебе хорошо! Нашел, потерял — и вся недолга. Ничего не имел, ничего не имеешь. А нам, хозяевам, нож вот сюда!.. Давай пей, не тяни!

Андриус откидывается к стене и сжимает под столом кулаки — аж пальцы трещат.

— Мне легко, да? Вы, значит, хозяйева, а я батрак!

— Раньше был батраком, Андриус, раньше. А сейчас я не говорю. Выпей, не тяни.

Андриус осушает стопку и налегает грудью на стол.

— Говоришь, мне легко, да?

— Да пойми ты... Каждая вишенка тут нами посажена, каждая жердочка в изгороди нами прибита, каждая животина...

— А мне, говоришь, легко!..

— Наши отцы сюда все по крупинке стащили, мы тут сизмальства...

— Легко мне, холера, или нет?! — Подбородок Андриуса трясется, желваки так и ходят.

Кряуна видит, что тут не до шуток.

— Тяжело, Андриус!.. И тебе тяжело и мне. Всем тяжело, Андриус.

Анеле пододвигает к Андриусу мясо и огурцы, наливает ему стопку, просит выпить и закусить. Сама тоже и рюмочку пропустит, и уписывает за обе щеки.

— Да будет тебе, отец! — не выдерживает Кряунене. — Мало ли Андриус работал у Маркаускасов? Не такая уж чужая ему эта земля, чтоб с легким сердцем отдать...

Кряуна злобно косится на жену, но тут дочка подбавляет жару:

— Дали землю и отбирают. Не успел Андриус пожить человек человеком, и все псу под хвост...

— Будто я что говорю! — закатывает глаза Кряуна. — Тяжело Андриусу, пропастина, как тяжело!

— Вот-вот... — успокаивается Андриус.

— Выпьем!

— Выпьем. А то всех в кучу стонят — и шабаш.

— А мы и в шабаше будем самогонку гнать. Пить будем, Андриус, как еще не пили.

— Говоришь, все равно будем пить?

— Будем, Андриус! Что нам останется делать-то? Все заберут подчистую. Мертвую пить будем, пропастина!

Хохочут мужчины, опрокидывают по стопке, налегают на закуску. И замолкают, как будто поговорили по душам, все сказали и теперь каждый думает свое. Но у Андриуса все равно сердце не на месте. «Для старых хозяев я все равно батрак, — думает он. — Не говорят в лицо, но я-то знаю — им не по нутру, что мне такой хутор достался. да скотина, да земля... Все теперь мое! Дай срок — я бы им показал, этим хозяевам, что и я с ними под одну масть!»

Кряуна вдруг поднимает голову и резко спрашивает у дочки:

— Амбар заперла?

— Заперла. Ключ на полке.

— Запор проверила?

— Проверила.

— Надо было плечом поддать!

— Да хватит тебе, отец...

— А вот случится что, и...

За окном неожиданно раздаётся скрип шагов, и все застывают, забыв даже рты закрыть. Стук в дверь. Андриос осторожно отодвигается от окна и тянется рукой к винтовке, прислоненной к стене.

Снова слышны шаги.

— Сосед, открой! — слышен за окном женский голос.

— Тьфу! — плюет Кряуна.

— Вот холера! — бросает в сердцах Андриос.

— Ты что, сосед, Скауджовене не узнаешь?

— Чертова баба! — Кряуна еще раз смачно сплевывает и выходит в сени.

Скауджовене, отдуваясь, вваливается в избу и шмякается на лавку. Лавка трещит под ее грузным телом. Но тут Скауджовене рядом с собой замечает винтовку и, проворно вскочив, несется к противоположной стене.

— Давай к нам за стол, соседка, — зовет Кряуна.

Скауджовене трясет головой и все еще не может отдышаться. Все тело ее так и колышется: плечи, грудь и живот то вздымаются, то опускаются.

— Что делать будем? — наконец спрашивает она тоже, кажется, всем телом: и плечами, и грудью, и животом.

Кряуна смотрит на Андриоса, Андриос на Кряуну, потом на Анеле, сидящую напротив него.

— Выпей, Скауджовене, и не придется спрашивать. — Кряуна сует соседке стопку, та подносит к губам, отхлебывает глоточек и морщится.

— Сами жрите эту мерзость! Ну, так что завтра делать будем?

— Завтра — это завтра. Там видно будет.

— И Валюкене говорит: «Завтра видно будет». А что там завтра будет видно-то? Нельзя ли сегодня сговориться? Так или так...

— Нет такого закона, чтоб силой заставляешь, — сразу ходит с туза Андриос. — Кто хочет, тот вступает, вот что!

— А если подберут закон?

— Нету!

— Может, и твоя правда, Андриос, я тоже такое слышала, — соглашается Скауджовене. — Да и как тут запишешься, коли... Иду вот утром в молочный пункт, а на клене — бумажка! Вот такими буквами: «Если в колхоз собрался, справь себе крест». Вы слышите: справь себе крест...

— На всякие бумажки мне на...

— Известное дело, ты с пушкой ходишь... А нам что прикажешь делать?

— Нету такого закона!..

— А мне вот думается так, — вставляет Кряунене, — раз уж власти приспичило нас в колхоз загнать, то и загонят. Брыкайся не брыкайся, а все там будем!

— Где такой закон, спрашиваю? — не уступает Андриос. — Я по налогам рассчитался? Рассчитался. Поставки сдал? Сдал. Повинности выполнил. Вот и нате! — Андриос тычет кукиш в потолок.

— А если тебе налоги повысят, поставок прибавят?

— Буду платить и сдавать!

— А если через год их еще удвоят?

— Нету такого закона... — теряется Андриос и смотрит на всех в избе, выпучив глаза: неужели могут вот так?..

— Вот тебе и закон! — ухмыляется Кряуна. — Сам голову в петлю сунешь. Да еще успеешь перед этим последние штаны отдать.

Тишина. Лица у всех — чернее тучи. Одна Анеле не унывает — стреляет глазами в Андриоса и явно что-то прикидывает.

Трещат дрова в плите, клопочут на огне чугуны. Запах пригорелого приводит в чувство Кряунене, она бежит к плите и принимается отчаянно мешать черпаком.

— Ну и как жить будем-то? — Скауджювене стоит посреди избы, обхватив руками большой живот.

— Завтра видно будет, — тихо отвечает Кряуна.

— А что я своему муженьку скажу?

— Так и скажи, Скауджювене: завтра!

Соседка медлит, ждет чего-то, потом всплескивает руками:

— Что ж, и на том спасибо. Засиделась у вас, побегу.

— И я, может... Вместе, — приподнимается Андриус, но Кряуна придерживает его за полу, а Скауджювене, с опаской покосившись на винтовку, отмахивается:

— Упаси господь, Андриус. Я сама, сама побегу, а ты еще посиди... Тебе спешить некуда.

Андриусу правда спешить некуда. Приподнимает стопку, не спеша жует мясо и огурцы. Раскраснелся, на лбу испарина. Кряуна который раз предлагает ему снять полушубок, а Андриус который раз отвечает: «Да я ухожу...» И все сидит, как будто присох к лавке, — вторую бутылку починает. Кряунене давно храпит за перегородкой, Анеле, подсев к Андриусу, кончиками пальцев то и дело притрагивается к его руке:

— Ты пей... Вон тот кусочек, что попостней, поддень...

— Знаешь что, Андриус... зятек... — Кряуна едва ворочает языком. — Зятек, я тебе вот что скажу!.. Можешь верить, можешь нет, а я тебе скажу: будут колхозы! Все будет как в России. Мне еще в войну один русачок сказал: отец, говорит, не только у вас, на всем свете коммуны будут. Вот оно как получается, Андриус, зятек. Но тебе все равно жить надо. А жить без жены нельзя!..

— Андриус сам знает, что ему надо, — говорит Анеле и, наполнив стаканчик, который только что осушил отец, напоминает: — Выпей, папа, Андриус ждет.

— Твое здоровье, Андриус, и дай ус!

Мужчины целуются. Кряуна, растрогавшись, смахивает слезу, смотрит на пустую стопку и жалуется:

— Вот пропастина, мне никто не нальет!

Анеле наливает и, когда отец осушает стопку, говорит:

— Засиделись, уже и лампа гаснет...

— Я пошел...

— Иди, Андриус... Такое время, а уже полночь...

— Анеле! — Кряуна надувает губы, вращает белками глаз. — Может, мы нищие, не можем человека принять? Отведи-ка его в чулан... Спокойной ночи, Андриус, зятек.

Кряуна хочет встать, обнять Андриуса и еще раз чмокнуть в губы, но зад отяжелел, не оторвешь от лавки. Анеле крепкими руками хватает отца под мышки и ведет к кровати.

Верх окна забыли заслонить, и в чулан врывается лунный свет. Андриус приваливается спиной к бревенчатой стене. Ноги отяжелели, голова на диво легка, и все вокруг вращается, а он сам летит куда-то, вот-вот провалится в черную яму.

— Разденься и ложись, — сдавленным голосом шепчет Анеле, и Андриус послушно и неуклюже раздевается и забирается под одеяло еще острее чувствуя, что падает — вот-вот упадет — в эту черную яму.

— Анеле... Ты слышишь, Анеле, ведь завтра...

Анеле садится на край кровати, пухлой рукой касается лба Андриуса, на котором холодная испарина.

— Завтра такой день... Анеле...

Андрюс летит, несется невесть куда... Вдруг, словно стараясь за что-то уцепиться, он хватает девушку, сжимает в объятиях и затаскивает в кровать. Он задыхается от мелкого, тихого ее хохотка, от мягких рук, от пухлой груди...

— Я сама, сама, вот шальной! — похохатывает Анеле.

Все забыть и упасть... падать без конца в черную яму. Ведь ничего больше нет... Ничего.

IV

Андрюс устал от речей. Мужчины из города все говорят да говорят, сменяя друг друга, и каждый обещает собранию не жизнь, а сущий рай. У двери, оперевшись на винтовку, стоит и клюет носом Скринска. Не первый раз слышит он эту агитацию, и слова усыпляют его, как дробный стук дождя по крыше. Однако завидев Андрюса, спросил:

— Вступаешь?

— Не знаю,— ответил Андрюс.

— Если ты не вступаешь, то кому вступать?

— Почему мне?..

— Ты прямой, Андрюс, вот почему. У тебя горба нету. У кого горб, тому мудрено его сбросить.

Сейчас Андрюс оглядывается через плечо на Скринску и свысока усмехается: «Ишь ты, земля — горб. Может, для кого и горб, если земли не нюхал. Ну да, для Скрински земля — дерьмо. А вот когда я... когда мне... да откуда тебе понять, друг-приятель?! Для меня земля хлебом пахнет! Ты знаешь, каково голодному, когда хлеб дают? И только-только он ухватится обеими руками за хлеб, хочет голод утолить, как его бьют по рукам, отнимают каравай да еще говорят: «Не твой хлеб-то. Все будут есть, поделись». А вдруг тебе достанутся корки?! Нет, ни хрена ты не понимаешь, Скринска, ты слепой, тебя ослепила ненависть к бандитам».

— Вот бумага, вот ручка... Кто первый? — уже который раз хрипло басит парень, стоящий за красным столом, то и дело щупая синева-тый шрам на щеке.

Юргис Наравас поворачивается к гостю спиной, удобней устраивается на стуле, облакачиваясь на край стола. Он смотрит на односельчан. Вместе ведь росли, гуляли на вечеринках, делились бедами и секретами. Знакомые лица! Но почему они отворачиваются, прячут глаза? Почему одногодки и мудрые дяди твоего детства отгородились от тебя стеной? «Кто воздвиг эту стену — чья-то злобная рука, или я тоже вмуровал в нее кирпич?.. А ты говори, парень. В уезде тебе уши прожужжали, и теперь ты хочешь отличиться: приехал, раз-два — и сельхозартель! «Почему спите, почему провалили план коллективизации?» — спросишь нас завтра. Ладно, поговори еще... Молод ты, слов тебе не занимать, только вряд ли отличишь, где ячмень, а где пшеница. И эту самую речь, наверно, толкаешь в каждой деревне, куда ни пошлют. Только народ не всюду одинаковый, интересно, заметил ли ты это? Каждый человек — ларец с тайнами за семью замками, и подбери-ка к нему ключик, раз уж ты такой молодец. А может, ты и не замечаешь, что все твои слова отскакивают от невидимой стены?»

— Почему молчите, товарищи? — Парень со шрамом теряет терпение.

В классе накурено — хоть топор вешай. Люди съежились, ушли с головой в воротники полушубков и сермяг, словно ждут, что вот-вот им на головы рухнут тяжелые потолочные балки.

— Возможно, вам что-нибудь не ясно? — снова спрашивает тот.

— Яснее некуда,— пыхтит в усы Скауджюс.

А Валюкене ерзает на лавке и потом кричит:

— Окно откройте, а то и задохнуться недолго — так навоняли!

— Прошу повежливее! — наставительно говорит парень.

У Андриуса кружится голова, лоб покрывает испарина, а мысли рвутся на куски, словно покусанные молью нити, слова то всплывают, то снова куда-то деваются.

— Тебя, Андриус, зовут. Тебя, Марчюлинас.

Андриус поводит плечами, словно пытаюсь сбросить с плеч невидимый груз, и не знает, как тут быть.

— Чего? — переспрашивает он.

— Встань! — ворчит кто-то рядом.

— Вот товарищ, который гнул спину на мироеда, которому Советская власть дала землю. Это наш сельский активист! Так вот, товарищ, скажи бедняцкое слово своим соседям...

Андриус снова поводит плечами и окидывает взглядом море шапок, простоволосых, лохматых мужицких голов и клетчатых бабьих платочков.

— Да что тут говорить? Говорить тут нечего...

— Что ты лично думаешь о сельхозартели?

Андриус только теперь замечает, что все смотрят на него. Вся деревня уставилась на него. Чего они хотят? Одобряют? Осуждают? Ждут? До поры до времени — ждут. «Тебе еще туда-сюда...» — сказал вчера Кряуна. Не свое — всей деревни мысль высказал. Тебе еще туда-сюда... А как же, они хозяева, откуда им знать, какой ценой Андриус купил эту землю!

— Подойди-ка поближе. Ну выходи, выходи, товарищ!

Андриус продирается сквозь толпу.

Люди за красным столом оживляются, Юргис Наравас подбадривающе улыбается ему усталыми глазами.

Андриус берет ручку, макает в пузырек с чернилами. На лист капает черная клякса. словно смахивая хлебную крошку, он размазывает ее ладонью и, смутившись, краснеет.

Глаза соседей буравят его почище сверла, и Андриус чувствует боль во всем теле. Да-да, нешто свое отдает? Чужое! Чужое имущество запродаст, гад, чтоб у него руки отсохли. Ему ли понять, что он хоронит всю деревню, обычаи и веру? Ему ли понять, что такое посеять зерно, и ждать, когда заколосятся хлеба, и почувствовать вкус первого свежего хлеба — он как плоть господня... Все это — твое. Твое, человек! Ты посеял, ты сжал, ты и ешь вместе с твоими детьми. А вот поставишь подпись — и всему этому конец. Сам все закопаешь в глубокую яму. А что останется? Ради чего жить?

Серый листок дрожит перед глазами Андриуса, расплывается, на нем как бы борозды пашни. Екает сердце и перехватывает дыхание. Андриус ловит воздух ртом, решительно трясет головой и встает из-за стола. Пальцы выпускают ручку, и она вонзается пером в стол.

— Кулацкий хутор жалко, а? — спрашивает парень со шрамом.

— Вам-то хорошо глотку драть...

— Мы не глотку дерем, товарищ, мы политику партии разъясняем!

— А принуждать не имеете права!

Лицо парня наливается краской, глубокий шрам на щеке синеет.

— Принуждать?! Кого это мы принуждали?! Отвечай!

— Если мы не хотим... Если не нужна нам эта артель...

— Кто — мы? — Парень трясет в воздухе тяжелыми кулаками.—

От чьего лица агитацию разводишь?

Андриус пятится от стола, прислоняется спиной к подоконнику. Вот холера! Говорят же — осиное гнездо не трогай, а он возьми да

развороши. Но неужто Андрюс враг? Мало он пота пролил, вкалывая на чужих, и чтоб теперь не смел рта раскрыть.

- От чьего лица — отвечай! Молчишь? Оружие где?
- Какое еще оружие?
- Винтовка, которую тебе доверили.
- Моя-то? Дома.
- Почему дома?
- Дома... Думал, тут все по-быстрому, до ночи вернусь.
- А может, винтовка у бандитов?
- Да говорю же, дома. В шкафу заперта.
- А если бандиты пришли, взломали шкаф и вытащили?
- Быть того не может.
- Смотри, гражданин..

Андрюс мешком шмякается на лавку и вытирает пот со лба.

Мигают керосиновые лампы, под потолком плавает сизое облако дыма. К Андрюсу, согнувшись, подкрадывается Скринска и пристраивается на конец лавки.

— Ты что, спятил?! — тихонько шепчет он.

— Я-то?

— А кто еще? Чего на дыбы встаешь? Этот, который со шрамом, — уполномоченный из уезда!

— Мне один черт.

— Язык распустил. Держи за зубами...

— Убирайся, холера! — Андрюс двигает локтем Скринску в бок, и тот едва не шлепается на пол.

Андрюс пытается прислушаться к тому, что говорят мужчины за красным столом, но голова кружится, виски словно стянуты обрубком. И лишь когда встает Юргис Наравас, в голове малость проясняется. Юргис молчит, вытирает тылом ладони спекшиеся губы, а потом упирается костяшками пальцев в стол.

— Мужики, — голос его скрипит, видно, пересохло во рту, — и вы, бабы!.. Послушайте, что я скажу, соседи. Был бы жив брат Пранис, был бы жив Казимерас Аксомайтис, они бы сидели с вами и сказали бы то самое, что я теперь скажу. Какие пироги были при Сметоне, все помним, не раз мы эти времена кляли на чем свет стоит. Теперь можно жить по-другому, и это — святая правда! Но пока Пятрас сидит за своей межой, а Йонас за своей и оба друг на друга зыркают — добра не жди. — Юргис Наравас снова замолкает, сглатывает клейкую слюну. — Я понимаю ваши сомнения, мужики. Новую дорогу в жизни выбрать — это вам не новую одежду надеть. Но мало ли вы работали миром? Сосед соседу помогал и на косовице и на картошке. Вместе лен мяли, бабы в одну избу с прялками сходились... И сами ведь говорили — веселей так работать, работа спорится. Скажите, не правду говорю? А в колхозе ведь каждый день плечо друг друга чувствуешь. — Юргис замолкает, ищет одобрительные взгляды. — Знаю, вы думаете: хорошо Юргису Наравасу говорить, раз он в город удрал. А я вот что скажу: дай покончим с бандитами, и возвращусь. Наравасы — крестьяне, и я не могу иначе, корни мои тут, в этой земле. Но землю будем обрабатывать сообща и плодами ее будем делиться вместе...

Юргис широкой ладонью вытирает горящее лицо и не спеша, то и дело замолкая, выкладывает свои мысли, как будто вырывает их прямо из сердца. Но Андрюса мутит от его слов, он чувствует — слова эти падают как семена в рыхлую пашню. И когда Юргис садится, воцаряется тишина. Потом раздается скрип лавки в углу, встает Аксомайтене и оглядывается, словно заблудилась посреди леса.

— Мне домой надо, ребята одни,— наконец говорит она не то мужчинам за красным столом, не то соседям.— Я и так думаю и сяк...

— Вот бумага, вот ручка. Ставь подпись — и до свидания...

— У Авраама,— вполголоса кончает кто-то, но Аксомайтене, наверное, не слышит.

Она пробирается к столу.

— Запишусь! Казимерас все говаривал: если в куче жить, хуже не будет, а вдруг лучше?.. Лучше будет... Правду Юргис Наравас тут нам выложил, спасибо ему большое...

Волнуется море голов, в комнате стоит гул. Словно ржаное поле колышется перед грозой.

— О чем ты думаешь, соседка?!

— Ей жить надоело...

— Не все ли равно когда. Не сегодня, так завтра придется записываться.

— Очухайся, соседка!

— Молодец, Аксомайтене! Осрами мужиков, сделай почин.

— Вот сбесилась!.. Баба — первая. Мужики! Будь что будет, я тоже записываюсь!

Но вскоре галдеж затихает, и мужчины за красным столом снова встают один за другим и говорят о преимуществах сельхозартели.

Далеко за полночь народ расходится, все кричат наперебой — только теперь развязались языки. Андрюс идет один. Бредет, расстегнув полушубок, проветривая взопревшую грудь, и молчит.

Мимо него, шурша по мерзлой земле, мчатся сани. Возницы безжалостно хлещут застоявшихся лошадей, словно изливая ярость на спинах ни в чем не повинных животных. Не твоя земля и постройка, не твои лошади... И баба с ребятами уже не твоя! Да и ты сам... Чей ты? Кому ты нужен, крот земной?

— Но-о, пропастина! Сперва забью, потом отдам!..— во всю глотку кричит Кряуна, пролетая мимо Андрюса на всех парах, изпод копыт летит снег, залепляя Андрюсу глаза.

Хозяева... На собрание и то пешком гнушаются, все на лошадях. Ничего, все там будем!.. Научитесь пешочком!.. Его заливают сладкое чувство, но тут же исчезает, словно ветер его слизнул. Ноги сами сворачивают с дороги, и Андрюс шагает напрямик по полю, чтоб никого не видеть и ничего не слышать. Эх, было б куда зайти, зашел бы посидеть. Пускай без слова, без разговора — хоть бы побыть с живой душой! Столько лет прожито здесь, в этой деревне, и нет ни одного человека, который бы вошел в положение. Тересе?.. О ней лучше и не думать, от этого легче не станет. И почему так все вышло, Андрюс? Может, ты сам неуживчив, волком смотришь? Сам оттолкнул от себя людей, и им пришлось отвернуться? А может, у всех то же самое — своя берлога, свои беды, кислая баба и сопливые ребята? Скажи, к чему ты всю свою дурацкую жизнь стремился, чего ждал, на что надеялся? А, косорукий Андрюс?.. Земля тебе мерещилась, вот что. Клочок собственной земли, своя изба, своя скотина. И конечно, дети. Кто же поможет обрабатывать землю, как не жены и дети? И еще у тебя была мечта — как у отца когда-то — проехать на бричке по деревне и всем своим видом показать: не я первый шапку сниму, пускай другие скидывают! Получил чего хотел, да еще с лихвой. Заимел. Но ненадолго...

Ноги Андрюса наливаются свинцом, и он останавливается посреди поля, оглядывается: кругом непроглядная ночь, черное и низкое небо нависло над ним, словно накрыли его горшком. Никак забрал левее, вон где тополя маячат. С чавканьем бредет по бороздам пашни, спотыкается о кочки и камни. В ложбинках снегу по пояс,

не пройти. Лоб под шапкой вспотел, спине жарко, весь он пышет жаром, как натопленная печь.

Нет, это чужой ольшаник, деревья рослые и густые — лес, не кусты. А ведь тут вроде бы... Вот те и на! Вон где огонек мигает, наверно, у Кряуны... К Кряуне Андрюс не зайдет, он еще не забыл вчерашнего его слова: «Задарма получил, задарма отдал...» «Умничает, холера. Все эти умники сидят, будто в штаны наклали. А когда Аксомайтене записалась, встали и два, что у самого леса живут, и еще два, что огородами пробавляются. Что им! Терять им нечего, за душой ни гроша. А получить думают из тех же закровов, поровну будут с другими черпать».

Куда же этот огонек делся? Никак бес за нос водит! Виданное ли дело — в своей деревне заблудиться! В своей деревне, говоришь? Но ты же в ней один... Дома и то не находишь. А может, его уже нету? Так недолго были у тебя дом и земля. Все так недолговечно. Мелькнуло — и пропало.

Зайти бы на какой-нибудь хутор, постучаться бы и спросить дорогу! Но откроют ли тебе? Нет, лучше уж самому плутать по полям — своя же деревня...

Смертельно усталый Андрюс бродит, обливаясь потом, по полям, как призрак; то, до боли напрягая зрение, высматривает свой хутор, то забывается и думает, думает без конца. Когда наконец наткнется на kloкочущую речушку Эглине и понимает где он, нет сил даже обрадоваться — таким же медленным, усталым шагом бредет он к своему ольшанику.

На краю белого поля останавливается, оглядывается кругом. Чернеет межа, ветер сдул с нее снег. Андрюс делает восемь шагов в глубь своего поля. Да, вот в этом месте закопана. «Это моя земля. Восемь гектаров. Дала Советская власть». В горле першит. Андрюс берет мерзлый ком земли и растирает пальцами. Мерзлая земля крошится, как черствый хлеб.

«Задарма получил, задарма отдал», — тоскливо шепчет кто-то ему на ухо.

Не задарма получил. Уплачено за нее. Еще как!

«Земля Маркаускаса...»

«Моя».

«Маркаускаса...»

«Моя! Моя она, земля!»

Поднимает увесистые кулаки и грозит невидимой в темноте деревне.

* * *

Утром Андрюс запрягает Воронка и затемно уезжает в город. Заходит в волисполком, кладет на стол винтовку и говорит:

— Забирайте. Не надо. Ничего мне от вас не надо.

— Как прикажешь понимать?

— А вот так — не надо.

— С бандитами снюхался? А может, сам в лес собрался?!

— Да хоть бы в лес...

— Что?!

— Хоть бы в бандиты, а не надо. Если и землю... и все... то не надо... — Голос Андрюса дрожит. — Я жить начинал, а вы... А я-то думал...

Андрюс поворачивается уходить, но видит на пороге парня с автоматом.

...Когда Андрюса через всю базарную площадь ведут в дом из красного кирпича, звонко ржет лошадь, привязанная к телеграфно-

му столбу. «Клеверу не бросил,— думает Андрюс.— Пока не выпустят, холеры, скотине тут голодать!»

* * *

В крохотное, забранное решеткой оконце под потолком уже в четвертый раз заглядывает солнце, его блики пляшут на искрошенной кирпичной стене. Андрюс по-ребячьи протягивает озябшую руку к лучам, словно хочет согреться. Но солнце гаснет, и рука бессильно повисает.

«С каких пор поддерживаешь связь с бандитами?»

«Кто заходил? Назови имена!»

«Сокола знаешь? Сокола!»

«Нам все известно, и лучше сразу...»

«Кто на этой фотографии? Сокол?»

«Когда Сокол заходил?..»

«Сокол!»

«Сокол!..»

Андрюс сжимает руками виски, закрывает глаза, трясет головой.

— Нет! Нет! — кричит он.

Голос мечется в тесной камере и глохнет, не в силах пробить толстые стены и дверь, окованную ржавой жестью.

«Пятраса знаешь? Пятраса!»

«Когда Пятрас заходил?»

«Пятрас!..»

— Нет! — задыхается Андрюс и бьется головой о нары. Боли он не чувствует — ноет все тело, боль начинается где-то в середине и растекается по жилам, стучит в висках.

«Панцирь заходил?»

«Панцирь!»

— У-у! — Андрюс скрипит зубами и, вскочив с нар, принимается бегать из угла в угол. Три шага вперед, три назад. Вперед, назад. Останавливается, задирает голову, смотрит вверх. Запыленное, составленное из кусков стекла оконце затянуто паутиной; едва-едва сочится мутный свет, и лицо Андрюса выглядит серым, как иссушенная солнцем взбороненная пашня.

Он стоит и тупо смотрит на оконце. Стоит долго, пока, задрожав, не подгибаются ноги. И опять — вперед да назад... Это тебе не восемь гектаров и еще шесть, что за Тересе. Три шага вперед и три назад.

«Этого знаешь?..»

Гремит связка ключей, визжит замок, со скрипом отворяется дверь.

— Принесли, на! — говорит часовой.

За плечами часового появляется голова Скрински.

— Ну пропусти, будь человеком,— шепчет он часовому.

— Ишь чего захотел...

— Мне на два слова, ты тут рядом постой.

— Какие разговоры с этим?..

— А тебе жалко, гад! — вскипает Скринска и, отпихнув плечом часового, проталкивается в камеру.

Часовой что-то ворчит на пороге, а Скринска стоит посреди камеры и смотрит на Андрюса, забившегося в угол. Глаза моргают, губы раздвигаются — не поймешь, ухмыляется он или сочувствует.

— Ишь оно как...

Андрюс опускает голову, супит брови.

— Чего тебе?

— Если бы я тебя не знал, Андрюс, а то... Вместе росли, без штанов бегали, на свадьбе брата тебя эти сволочи связали, а я...

— Чего пришел, спрашиваю?

— Если б не знал... Не при на рожон, говорю тебе!

Андрюс горько усмехается, отхаркивается, кажется, вот-вот плюнет в лицо Скринске. Но тот смотрит безмятежно, по-детски удивленно, и его невинный взгляд приводит Андрюса в бешенство:

— Зачем меня сюда упрятал, как бандита?

— Не я.

— Ты, холера! Вы все!

— Андрюс, шевели мозгами, а то пропадешь.

— Товарищ Скринска! — кричит часовой. — Сейчас же двинь этой контре по зубам, а то я доложу начальнику, что ты с ним яхшаешься.

Скринска переминается на месте, разводит руками.

— Ты помни, Андрюс, какое нынче время-то. Мы, значит, бо-ремся, головой рискуем, толкаем жизнь вперед, а ты сам суешься под колеса. Телега не остановится, так и знай!

— Мне лекции ни к чему. Закрой дверь с той стороны, лучше будет.

От этих слов Скринска пятится — вот-вот хлопнет дверью и уй-дет. Но только добродушно ухмыляется:

— Злишься? Бесишься на весь свет. — Подходит к нему, трясет за плечо. — Готов даже на власть замахнуться, а ведь она тебя из нужды за уши вытащила. Ах, Андрюс, Андрюс, запутался ты, как заяц в силках, и сам не вылезает и другому не даешь тебя вы-тащить.

— Языком молоть наострился.

— Говорю, чего думаю. Поверь, заснуть не мог, когда узнал, что ты здесь. Вот, думаю, мой друг-приятель в тюрьме... Тот, кому по-ложено быть впереди всех, — в тюрьге?! Нет, Андрюс, по сей день ни-как не пойму, почему ты не со мной в отряде. Никак не пойму.

Андрюс отворачивается, прислоняется лбом к стене, и слова Скрински мечутся в тесной камере, больно ударяя Андрюса.

Гремят ключи, визжит замок. Ушел.

Андрюс крепко зажмуривается и молотит кулаками по холод-ной бетонной стене. В чем он виноват? За что его посадили? И еще измываются, приходят учить, холеры. Весна, на полях, наверное, и снега уже нету. Отойдет земля, приветливо засереют пригорки. Кто запряжет лошадей в плуг? Кто возьмет лукошко из амбара и пойдет сеять? Ты-то больше не хозяин, Андрюс! Ты что ком земли: растер пальцами — и нету тебя. Ах, Андрюс, как ты был дурак дураком, так и есть. Узнали бы Маркаускасы, со смеху бы померли...

Андрюс поднимает влажные глаза и замечает узелок на сыром полу, но мысли его все еще далеко от этой камеры. Наконец-то до-шло... Откуда появился этот узелок? Кто его бросил на пол? Клетча-тый платок, стянутые в узел уголки... Чей это платок! Видел ведь, и не раз...

Андрюс садится, кладет узелок на колени и заглядывает в него. В нос шибает дух свежего хлеба, родной запах, не спутаешь ни с чем, — так крепко шибает, что Андрюс хмелеет от него и сладостно зажмуривается. Пальцы сжимают узелок — не дай бог уронить, а то и вырвут из рук.

* * *

Юргис заправляет волосы под голубую фуражку, засовывает большой палец за широкий ремень и, размашисто пройдясь по про-сторной комнате, прислоняется спиной к подоконнику. Вспоминает

Тересе — когда они приходили на хутор, она поила их молоком и все время чего-то боялась. Теперь только глаза прежние, вся изменилась, пополнела, видно, донашивает последние дни.

— Андрюса тут держат... Он не виноват.

— Не бойся, женщина! — говорит Юргис Наравас. — Если твой муж невиновен, вернется.

— Я знаю, что невиновен.

— А вот мы пока еще в этом не уверены, женщина. Дай срок — разберемся.

Юргис видел: Тересе не может прийти в себя от удивления, что им вздумалось обвинять в чем-то Андрюса. Ах, уполномоченный из уезда заварил тут такую кашу, что только расхлебывай да смотри не подавись. «Ишь, докажи ему, что Андрюс ни сном ни духом... Уперся, как баран: связи с бандитами, — и хоть ты лопни... Говоришь ему, что земля связала новосела по рукам и ногам, что за этот год он уже перерос своих соседей, а он тебе — мелкобуржуазный уклон. Но на мой взгляд, товарищ уполномоченный, лишь коллективизация подсечет корни тяге к обогащению и навеки разорвет путы земли. Не потому ли нам с таким трудом даются эти путы, даже топоры о них зазубрили».

— Поскорей разбирайтесь, — помолчав, просит Тересе.

— Начальник в отъезде, вот вернется... А то все так закручено. Ладно, все сделаем, женщина.

Тересе не уходит. Потоптавшись у двери, она спрашивает:

— А может, он завтра и придет?

Юргис Наравас, пряча улыбку, потирает пальцами черные усики.

Тересе выходит из красного кирпичного дома и оглядывается — не знает, куда ей теперь свернуть. «Если твой муж невиновен...» Назвал Андрюса мужем, и Тересе промолчала. Бог с ним, все равно ведь ничего не ясно. Куда идти, где правду искать? Сходила бы в волисполком, но кого там найдешь? Воскресенье, дверь на замке. С кем же ей поговорить? Кто даст ей совет?

Понуриив голову бредет она по улице, то и дело задевая прохожих. Рычит грузовик, разбрызгивая лужи; в кузове — люди с винтовками; там же, наострив уши, сидит большой, с теленка, пес. Громыхает телега; на облучке — старик, рядом, закутавшись в платок, сидит женщина с корзиной на коленях, у них за спиной пристроился мальчуган и с любопытством таращит глаза на незнакомый город.

Колокол сзывает прихожан на обедню. Ди-лань, ди-лань!

Старик перетягивает кнутом конягу, мальчик обеими руками хватается за грядки.

Ди-лань, ди-лань!

Куда идти? Где искать правду? Ужас как давно не была в костеле — с похорон матери, кажется. Примоститься бы на скамье в темном углу и сидеть, слушая орган и песнопения... Музыка органа каждый раз невидимыми руками возносила ее, и она плыла над полями, а там, внизу, непременно волновались хлеба, колосилась рожь, пахло тмином и донником или цвела сирень. Так и быть, она пойдет в костел. Вдруг станет легче и она поймет что к чему...

Высокая каменная ограда костела, кряжистые, почерневшие от старости клены.

Ди-лань, ди-лань! — гудит колокол.

Вся улица, вся площадь напротив костела забиты телегами, санными, бричками. Лошади, привязанные мордами к задкам телег, ржут и фыркают, выщипывая заплесневелый клевер из-под облучка,

другие, в нахлобученных на морду мешках, громко жуют сечку. Люди стоят у телег, слоняются по площади, не спеша движутся в сторону костела. Но почему они толпятся у железных ворот?

— Скорей! Привезли! — Мимо несется полураздетый городской мальчуган, подзывая рукой приятелей, которые бегут за ним.

Тересе протискивается сквозь толпу, привстает на цыпочки. Ее толкают, отпихивают. Слышно, как всхлипывает женщина, кто-то невнятно причитает.

Наконец спины расступаются, взгляду Тересе открывается мощенная булыжником площадка, посреди которой лежат рядышком трое мужчин. Поодаль от них стоит, ссутулясь, молодая женщина.

— Изверги вы проклятые! — голосит она, сжимая кулаками свои виски. — Мало пристрелить — на кусочки вас изрубить, и того мало. Ах, Юозас, Юозас мой! За что они тебя, эти...

Женщина подбегает к трупам, пинает одного солдатским сапогом и отскакивает назад, в толпу, запричитав еще страшнее.

У трупов стоят два народных защитника с винтовками и мрачно посматривают на людей, которые, бросив взгляд на трупы, тут же отступают, прячутся за спины и исчезают в дверях костела.

Тересе, оцепенев, смотрит на три тела. Справа лежит безусый паренек. В рубашке, босой, голова откинута назад. Рядом валяется старик. Может, отец паренька? А слева... Тересе вглядывается в перекошенное лицо... Все вокруг начинает кружиться, и если бы не женщина, стоявшая рядом, Тересе не удержалась бы на ногах. Незнакомка берет ее под руку и шепчет:

— Идем отсюда, милая...

Тересе хочет обернуться и увериться в том, что видела, но боится этого перекошенного лица и разбросанных рук... Неужто на самом деле? Или ей показалось?..

Женщина отводит ее в сторонку.

— Узнала их? — тихонько шепчет она. — Не надо, ничего мне не говори, милая, но упаси бог себя выдать. А то заметят и начнут таскать. Молчи, как земля, так оно лучше.

Тересе, поддерживая руками свой большущий живот, медленно бредет по площади, и люди, направляющиеся в костел, расступаются перед ней, как перед святой — или прокаженной.

Сани стоят у забора настоятелева огорода. Лошадь она не выпрягала, только привязала вожжи за столб. Гнедок, завидев Тересе, нетерпеливо фыркает. Надо бы ослабить повод, бросить лошади охапку клевера. Но у Тересе нет сил. Она садится на грядки саней, смотрит на землю, усеянную соломинками и конскими яблоками, и раскачивается всем телом. Усталая, измученная и совсем одна в этом страшном мире.

Из открытой двери костела доносится гул органа и слова песнопения:

Преклоним колена, все христиане...

А на пустой площади перед оградой молодая женщина пинает солдатским сапогом трупы и просит отомстить за ее Юозаса.

Смиренно к господу зываем
И жертву мессы...

В по-весеннему прозрачном воздухе летит над площадью песня, и горло Тересе сдавливает острая боль...

Она отвязывает вожжи, нукает на лошадь. На тихой и пустынной улице то громко визжат, задевая булыжник, полозья саней, то бесшумно скользят по ледяной корке, сохранившейся у тротуара.

V

Весна не ждала.

Не переставая дули южные ветры, поля стали серые, лишь местами виднелись заплатки ноздреватого снега. То пронесется, громыхая по дороге, телега, то загалдят дети, возвращаясь из школы,— Тересе то и дело поглядывала из окна, надолго застывала у ворот, словно стараясь проникнуть взглядом в другой мир, мир за изгородью, за дорогой, ольшаником и пригорками, далекий и непонятный ей. Но и там не за что было уцепиться взглядом, и там она не находила чего искала, сама, правда, толком не понимая, чего ищет. А хутор до того холоден и пуст, что если бы не ржание лошади, мычанье коровы да тьяканье пса, то бы подумал, что находишься на кладбище.

Покормив на ночь скотину, Тересе отварила картошку, сделала творожный сыр, перемыла горшки и в изнеможении присела на скамеечку перед огнем, догоравшим в плите. Задумалась и вздрогнула, услышав скрип отворяемой двери.

— Андрюс...

Андрюс топчется у двери, словно случайный прохожий, не смея сделать шаг дальше. Потом расстегивает полушубок, медленно снимает его и кладет на лавку.

— Тепло тут...

Выходит на середину избы, и вот они уже стоят друг против друга.

— Пришел.

— Выпустили. Подержали и выпустили.

В окно бьют лучи закатного солнца, освещая лицо Тересе.

— Должны были выпустить. Невиновного держать не станут.

Пришлось выпустить.

— Ха! — желчно бросает Андрюс и осматривается.

Тересе берет с горячих кругов плиты миску с горохом и мясом и ставит на стол.

— Кушай...

Андрюс садится, ест, и Тересе тоже присаживается, не сводя с него глаз.

Андрюс ест жадно, навалясь грудью на стол, и молчит, только звякает ложка о края миски.

— За что они тебя? — наконец спрашивает Тересе.

Андрюс подчищает миску и долго облизывает ложку.

— Еще есть?

— Если хочешь...

— Давай. Откуда мне знать за что, — вспоминает он. — Ни за что...

— Кто-нибудь доказал. Много ли сейчас надо...

— То-то и оно что теперь мигом. Брякнул чего невпопад, не смолчал.

— Лучше не видеть ничего и не слышать.

— А если уши есть! И не слепой!

Ох, как давно они не сидели за этим столом, не толковали, и Тересе кажется, что последних месяцев и не было, что все ей приснилось...

Андрюс вытирает ладонью губы и переводит дух.

— В деревне что?

— Вчера опять собрание сзывали.

— Была?

— Буду я ходить... такая. Слыхала, полдеревни записалось.

— Холеры...

— В других волостях уже год как колхозы.

Тересе занавешивает окна.

— Хорек кур передушил. Капканов понаставила, да все пустые.

— Хитрые они, хорьки.

Чиркнув спичкой, зажигает лампу.

— Дрова кончились, топить нечем.

— Завтра наколю.

— Да уж и колоть нечего.

Убирает со стола, вытирает тряпкой столешницу.

— Овца оягнилась.

— Которая?

— Ну та, черномордая.

— Много?

— Трое, и такие бойкие....

Тересе приглаживает гребнем волосы, кончиками пальцев проводит по векам глаз и щекам. Она даже раздумянулась. Неужели эти месяцы и впрямь приснились ей; не было их. Зато был теплый, свой дом, был хлеб, который резали руки Андрияса... Были дни, о которых Тересе мечтала всю жизнь...

Андрюс достает из отвисшего кармана пиджака клетчатый, пахнущий хлебом платок и кладет его на стол. словно теплый ветерок овеивает Тересе. Но тут же ее обдает холодом, перед глазами возникают трупы, брошенные у ограды костела, «ди-ланы!» — звонит колокол. Тересе прижимается к стене, запрокидывает голову. И чувствует, что должна заговорить. Ведь столько молчала, столько ждала, и ей не вынести больше взгляда Андрияса, его вечного безмолвного вопроса. Все равно придется сказать. И если не сейчас, не сию минуту...

Тересе смотрит на аккуратно сложенный клетчатый платок.

— Андрюс...

Если не сейчас, не сию минуту... она уйдет куда глаза глядят и не вернется.

— Андрюс...— Она упирается ногами в пол, хватается руками за край лавки и прижимается спиной к холодной стене.— Андрюс, прошлое воскресенье перед костелом трое лесных валялись...

— Не впервой.

— Один, сдается мне, знакомый...

— Узнала?

— Вроде тот... что меня...

Тересе закрывает глаза. Ей уже все равно. Пускай Андрюс думает что хочет. Пускай выгонит, не даст ногой сюда ступить. Пускай бьет палкой или месит ногами ее живот. Теперь ей все равно... «Но почему он молчит? Хватай же меня за волосы, швырни на пол!»

Тишина. И Тересе, не в силах ее вынести, начинает говорить. Рассказывает о страшной осенней ночи. Все как есть рассказывает. Голос срывается, гаснет, разгорается снова. И когда, замолчав, она смотрит на Андрияса, тот сидит как сидел, только его плечи поникли, весь он как-то ссутулился.

— Мне показалось, там — Панцирь... Не знаю, может, только показалось.

Тересе хочет, чтоб Андрюс заговорил, спросил о чем-нибудь, но он молчит и на заросших рыжей щетиной щеках ходят желваки.

— Ты ничего не скажешь, Андрюс?

Андрюс не слышит. словно он не здесь, на лавке, а бродит по полям.

Тересе берет с кровати ватник.

— Так я пойду.

Андрюс кладет руки на стол и так крепко сплетает пальцы, что они трещат, как шестерни на мельнице.

У дверей Тересе оборачивается. Андрюс сидит понуриив голову и глубоко дышит. Плечи трясутся, как у зарванного ребенка.

— В котле кипяток. Вымойся.

Со стуком захлопывается дверь.

Андрюс встает, потягивается, поднимает над головой кулаки и изо всей мочи бьет по закоптелой потолочной балке.

* * *

Думал, вернется домой, так хоть выспится. Но кровать оказалась не мягче тюремных нар, и Андрюс встает разбитый, с больной головой.

Солнце освещает верхушки деревьев, звонко насвистывают скворцы. На жестяной крыше амбара белеет иней. Грязь на тропе замерзла, в коровьих следах у колодца белеет сухой ледок, словно затянутые бельмом глаза.

Из конуры выбегает пес, гремит цепью, прыгает, скулит, подвывает. Соскучился. Скучал по Маркаускасу, теперь скучает по Андрюсу. Кто кормит, перед тем и хвостом виляет.

— Уходи! — кричит Андрюс и, схватив с земли камень, запускает в пса.

Услышав голос Андрюса, фыркают в хлеву лошади, мычит корова. Ясли пустые, надо бы сенца подбросить. Но он стоит у гумна и смотрит на поля. Пашня уже подсохла, посерела. Запрягай лошадей и борони вдоль да поперек. Потом ячмень сеять. Но чье теперь это поле? Было — Маркаускаса. И Андрюса — было. А теперь чье?

Ветерок приносит сыроватый запах земли, и Андрюс хватается руками за изгородь, его заносит в стороны, словно он пьян. Трещит забор, рушатся подгнившие столбики. Андрюс наступает сапогом на штакетины, они с хрустом разламываются, и он шагает прямо по пашне — не торопясь, валкой походкой сеятеля, с пустыми, тяжелыми руками. Из-под ног, словно серый ком пашни, выкатывается жавсренок и взмывает вверх. Другой... И еще один... Кажется, все небо тренькает, журчит и звенит. Эта музыка сопровождает Андрюса, но сердцу от нее ничуть не легче.

Сапоги вязнут в пашне, облипают землей, тяжелые, едва вытащишь. Андрюс думает: куда же он идет и зачем? Но не останавливается, ноги сами сворачивают к ольшанику по длинной меже.

Над кочкарником взлетает чибис, он мечется словно подстреленный.

За набухшими почками ольхи и зелеными сережками орешника показывается избенка. Андрюс останавливается, втягивает голову в плечи и пятится, а потом снова бредет в сторону дома.

Пустое поле залито солнцем и птичьим гомоном. Как и раньше... Как ранним утром каждую весну, когда Андрюс собирался выходить в поле. Но сейчас не так, как каждой весной. Такого утра, как это вот, ни разу не было, и Андрюс даже вчера не думал, что это утро будет вот такое.

За что ухватиться, чтоб хоть на время отлегло от сердца и в глазах стало светлее?

Андрюс тащит в хлев охапки сена. Кормит лошадей, коров, бросает немножко сена овцам. Вот и все. Стоит посреди двора, свесив длинные руки. «Застал бы вот так Маркаускас, сразу же крикнул бы: «Заснул ты или со всей работой управился?» Но Маркаускас не

крикнет, его уже нет. А может, все-таки есть? Кажется ведь иногда, что он видит каждый мой шаг. Им срублена изба, им посажены деревья, и все, чего он касался здесь руками, смотрит на меня так, как бы смотрел сам Маркаускас». Андриус злобно озирается. «Ну и гляди на меня, холера! Смотри сколько твоей душе угодно. Смейся на здоровье! Все-таки моя взяла! Моя! Ты слышишь, а? Я здесь! А ты — ничто. И твой хутор — ничто и все тут ничто...»

У дровяного сарая в колоду загнан топор. Андриус выдергивает его, легко, словно кленовый валеk, подбрасывает в руке. Подходит к тополю, растущему под окном, и замахивается. словно сила бьет через край, он без устали орудует топором. Летят щепки, но злость не проходит; так и прет откуда-то изнутри, рвется наружу. Он рубит, рубит... А дерево толстое, в два обхвата, с наскока такое не справишь. Андриус в сердцах сплевывает и медленно направляется в сад. На раскидистых ветвях яблонь то тут, то там висят гнилые прошлогодние яблоки. Густой вишеник, частый сливник. И отсюда глядит Маркаускас. Андриус сшибает топором сук антоновки и замечает ульи. Какого дьявола они тут место занимают! Пчелы перевелись, а ну их! Андриус приподнимает крышку улья. Запах воска. Хвать! — обухом по петлям, и крышка летит наземь. Потом — лезвием по сухим еловым доскам. Они раскалываются легко, как лучина, и Андриус без устали машет топором.

— Андриус! Андриус! — Голос такой, будто случилось несчастье. — Андриус!

Андриус поднимает голову, проводит рукавом по лбу.

— Почему ты улы-то?..

Андриус смотрит на грудку досок, на изрубленные рамы с полосками желтого воска и сотами и горько улыбається:

— Сама сказала, дров нету.

Тересе бежала что есть мочи и теперь тяжело дышит, положила руки на большой живот.

— Пускай стоят ульи, Андриус...

— Хорошие дрова будут! — говорит Андриус и, подойдя к следующему улью, бьет по крышке топором. — Или ты Маркаускаса ждешь? — спрашивает он не оборачиваясь. — Может, его добро стережешь?

Тересе, повременив еще немножко, уходит, то и дело вздрагивая от стука топора.

Отскочивший брусок свистит мимо головы. «По глупости мог глаза лишиться», — думает Андриус и, собрав досочки в кучу, прислоняет к ней топор.

В деревне слышно дребезжанье колес телеги, лает Скауджюсов пес.

Андриус смотрит на пустую дорогу.

* * *

На столе дымится завтрак.

— Присаживайся, Андриус, — приглашает Кряуна.

Сглотнув слюну, Андриус качает головой.

— Да я уже. Только что.

— Не обидь, зятек.

Анеле бросает на стол ложку, подбегает к Андриусу, хватается за рукав.

— Присаживайся. Андриус. Отец и рюмочку найдет... Ты поищи, отец, ладно?

Андриус стряхивает цепкие руки Анеле и садится на лавку у двери.

— Тащишь как маленького! — сердится он. — Сказал — нет, так нет. Не за тем пришел.

И Кряуна осаживает дочь:

— Да не тяни ты душу! Только-только вырвался у них из когтей, а ты пристаешь к человеку.

Анеле поворачивается на месте, мелькнув из-под подола платья голыми коленками, и, вернувшись к столу, налегает на миску.

— Вот пропастина, зятек. Забирают ни за что и держат. Да еще кого — тебя! Кабы со мной такое, зятек, я не знаю, я бы не выдержал... Сам не знаю, что бы сделал!

— Ничего бы ты не сделал, Кряуна! — бросает Андрюс и снова сглатывает слюну: от сытного духа щей, кажется, кишки скрутило. Потом ухмыляется: — Разве что в штаны наклал бы.

Кряунене отодвигает миску.

— Не будь свиньей, Андрюс.

Андрюс смеется, он доволен, что бросил это Кряуне в лицо. Зятек да зятек!.. Какой он ему зятек, холера? Сдалась ему эта Анеле... «А Тересе?» — спрашивает вдруг какой-то голос, да так явственно спрашивает, что Андрюс вздрагивает, испугавшись этого незнакомо-го голоса.

— Записался? — Андрюс впивается взглядом в лицо хозяину и видит, что у того дергается щека.

— О чем это ты?..

— Записался или нет, спрашиваю?

— В колхоз-то? Записался, Андрюс. Как не записаться, ежели все записываются.

Кряуна садится поудобнее, облакачивается на стол.

— Я вот что тебе скажу, зятек: иначе не будет, а только по-ихнему! Бросишься, как лягушка на косу, — зарежут. А пойдешь туда — авось надсмотрщиком поставят. Ты не смейся, тебя-то могут поставить, Андрюс, у тебя жизнь такая — бывший батрак. Бригадиром сделают, кладовщиком, не рядовым. Все ж к закромам поближе, амбарная мышь с голоду недохнет.

Андрюс встает, большими ладонями комкает обвисшие полы пиджака.

— И поешь же ты, Кряуна. Как соловей.

— Это уж как умею, Андрюс. А сказал что думаю. И еще скажу: ты не думай, что из города для колхоза начальство привезут. Кого-нибудь местного поставят. Я уже справлялся, как в других местах. Не будь дураком, Андрюс, пока не поздно...

— Так вот почему я тебе нужен! Зятек в начальниках — и тещу жизнь!

— Андрюс! Я тебе добра желаю, а ты...

— Спасибо! Спасибо большое! — Андрюс так и давится этим вежливым словом и буравит взглядом всю троицу, завтракающую за длинным столом.

Но Кряуна не допустит, чтоб какой-то придурок... голоштанник... батрак в него навозом кидал. Ты, значит, к нему всей душой, а он в тебя — камень?! «У, пропастина, хватит!..»

— Так вот что я тебе скажу, Андрюс Марчюлинас. — Кряуна водит натруженными пальцами по столу, толкая то нож, то вилку, то ломоть хлеба. — Уходи!.. Уходи-ка ты к этой своей Тересе. Заделал ей ребенка и уходи. Бери ее, голодранку, и живи, пропастина! Два сапога пара!

Андрюс, сам того не чувствуя, хватает стоящий у плиты тяжелый табурет и поднимает над головой. Кряуна белеет как мел, горбится, глаза у него на лоб лезут.

— Господи, ведь убьет! — визжит Кряунене.

Со страшной силой швыряет Андрюс табурет на пол и уходит в дверь.

Яростно тявкая, собачонка провожает его за ворота.

VI

Не зря говорят: одна беда не беда. Андрюса прижало со всех сторон. Так прижало, что деваться некуда. Возвращаясь от Кряуны, встретил на дороге Валюкене.

— Куда эту дохлятину тащишь? — спросил Андрюс.

— Да на ферму, пропади она пропадом! Ну, ты!.. — завопила Валюкене и пнула башмаком корову по ноге. — Ладная коровушка, бойкая... Господи, всю ночь кровавыми слезами плакала.

Тощая, с ввалившимися боками коровенка едва волочила ноги, казалось, она вот-вот упадет в канаву и не встанет. Встретил Андрюс и Скауджюса. Тот не торопясь, то и дело останавливаясь, ехал на дребезжащей телеге. Полуживая кляча с трудом тащила телегу. На дне — плут с отломанными рукоятями, деревянная допотопная борона.

— Инвентарь везу! Пускай подавятся, ведь не жалко... И кобылку оставляю. Не лошадь, а клад! — нахваливал Скауджюс, как цыган, а Андрюс так и лопался от злости.

Падаль в колхоз ведут, а хорошую скотину припрятали. А то зарежут или продадут. Но тут как будто рукой сердце сжали. А ты что повезешь? Какую скотину, какой инвентарь?

— Я подписи не ставил! — вслух сказал Андрюс. Ведь подумать страшно, что творилось у него в душе. Да что там в душе — во всей деревне, на всем белом свете творится черт знает что.

Одна беда не беда, это точно.

Тересе вот-вот родит. Как дальше жить-то? И с кем жить? Он знал — не только Кряуна, все бабы в деревне трезвонят: Андрюс пользовался и теперь не берет девку. Как им рот заткнуть? Не крикнешь: не моя работа — бандита. Да и кто поверит-то! Еще, не дай бог, дойдет слух куда не надо, и снова начнут таскать. Жениться на Тересе! Теперь, после всех ее рассказов. А могла ведь и помалкивать. Давно бы за тебя выскочила, и у тебя бы рос ребенок бандита. И никогда бы ты правды не узнал. Тересе тебя не обманула, и стала ли она от этого хуже?

Андрюс бродил, как пес с подбитой лапой, облизывал раны, но они все равно горели, словно их посыпали солью. Забивался в дальний угол, только бы не попадалась на глаза Тересе — казалось, так легче будет принять решение. И чем больше он думал, тем больше лез в голову тот осенний вечер и мерещились Панцирь с Тересе на постели. Андрюс вскакивал, словно наступив на гвоздь, скрипел зубами, сжимал кулаки. «Он бы тебя застрелил тогда», — сказала Тересе.

Эх, одна беда не беда...

* * *

Запрягает лошадей в пружинную борону и трогает в сторону поля.

День солнечный, ясный, от ольшаника дует свежий южный ветер, донося запах набухающих почек и гнилой листвы. Серая осенняя пашня потрескалась, пошла комьями, тоскует по семенам.

Андрюс опускает рукоять бороны, погружая пружины в грунт.

— Поше-ел!

Над головой, следуя за пахарем, заливается жаворонок, а Андрюс бредет по вязкой пашне от луга до клеверища и от клеверища до луга. Здесь гектары Андрюса, те восемь гектаров, которые отмерила ему

Советская власть, а за межу он и носу не сунет, хоть зарости эти лишние га травой или ольшаником. Пускай эти га колхоз, да, пускай он их забирает! И какого черта он надрывался и осенью такой участок перепахал? Не сеять ему там, это уж как пить дать не сеять. Говорят, в других уездах вот так и начиналось — на лошадях да на тракторах кинулись бесхозные хутора обрабатывать. Заявятся они и сюда, на Маркаускасов хутор. Вчера, что ли, трактор по деревне прополз. Только-только колхоз объявился, а нате вам, трактор! Власти помогают. Говорят, всякие машины дадут. «Трактор поле вспашет, самолет засеет» — звучит в ушах песенка, и Андрюс мотает головой, отгоняет ее, хочет думать про другое, но все равно слышит: «Трактор поле вспашет...»

— Поше-ел! — огревает кнутом лошадей, и те, проснувшись, переходят на рысцу; Андрюс едва поспевает за ними.

«Трактор поле вспашет... Вот холера!» Тпрукнул на лошадей, решил покурить. Что-то блеснуло у носка сапога. Нагнувшись, берет в руки винтовочный патрон. Давно ли все поля были усеяны пулями и гильзами. Если б взошли все эти патроны, сейчас здесь непролазная чаща была бы. Как-то Андрюс опахивал картошку и вывалил плугом мину, большую, как скворода. Взял в руки, подержал. Бабы с криком бросились врассыпную. Тогда и Андрюс испугался. А сколько окопов забросал землей, и во всех полно было патронов да пустых гильз. Война. Но кончилась ли она, война-то?

Андрюс выламывает пулю из гильзы и зашвыривает подальше.

«Трактор поле вспашет...» Опять! Так и сбеситься недолго...

— Андрюс, обедать не пойдешь? — зовет Тересе издали, с проселка.

Андрюс смотрит на нее искоса и не отвечает. Прикрикнув на лошадей, взмахивает кнутом. Доборонит и приедет, сколько там осталось... Но почему Тересе о нем заботится? Да и вообще — какого черта она является сюда, в его дом, когда сама?.. после того, как Андрюс с ней так?..

— Обед! — еще раз напоминает Тересе, обводит взглядом по-весеннему пустынные поля и медленно бредет назад.

После обеда Андрюс кладет на дно телеги три мешка ячменя, борону и, сев на грядки, выезжает в ворота.

Андрюс не скупясь черпает горстью ячмень из лукошка и, широко размахнувшись, рассыпает по пашне. Горсть в горсть, взмах во взмах, словно взвесил или отмерил. Всегда он любил эту работу, она напоминала ему богослужение в храме. «Легкая у тебя рука, Андрюс, быть тебе хозяином», — сказал как-то Маркаускас. Вот и стал... Не успел руки-ноги согреть — и опять. Но ведь он еще не записался, до поры до времени тут все его, Андрюса. Его гектары, его лошади, и коровы в хлеву, и весь хутор, и... Его, Андрюса, все, еще видно будет, спешить-то некуда, можно все как следует прикинуть. Но чует сердце — недолго тебе прикидывать. А может, оно и лучше было бы... Сбивается с шага, пропускает взмах, сердито опускает голову, крепко зажмуривается. Постояв немножко, снова трогается враскачку.

Крупные зерна мягко опускаются в жаждущую землю, оплодотворяя ее, чтоб она родила и взлелеяла жизнь.

* * *

— Чего это со мной, ума не приложу... Такая слабость, ноги подкашиваются.

Словно Андрюса кипятком ошпарили. Он зыркает исподлобья на Тересе, которая сидит на краю кровати. В вечерних сумерках не видеть ни глаз, ни лица — мерно раскачивается большая тень.

— То схватит поясницу, то отпустит...

Андрюс швыряет на пол сигарету, аккуратно растирает каблуком и облакачивается на стол. Со стола не убрано, как ужинали, так все и стоит. Он один ужинал, Тересе так и не присела. Вроде бы не присаживалась, он не помнит, хоть ужинал-то полчаса назад.

— Видать, начинается...

Андрюс встает, ищет фуражку, но на крюке ее нету. Куда он ее дел?

— Так я лошадей запрягу...

Тень на кровати беспокойно шевелится:

— Зачем лошади-то?

— К девкам поеду! — с издевкой бросает Андрюс, но тут же спохватывается: — Дуреха! К доктору отвезу.

— Может, рано еще, Андрюс... Пока ничего, терпеть можно. Да и куда тут на ночь глядя... Завтра или послезавтра.

— А вдруг надо?..

— Завтра видно будет, Андрюс.

Андрюс снова садится на лавку. Чего он тут торчит? Вечер уже. Раньше Тересе в такую пору уходила в избенку и Андрюс ложился на широкую хозяйскую кровать. Теперь на краю кровати сидит Тересе. Не Тересе — черная тень.

— Ты не ходи куда, оставайся. Я в чулане лягу.

Тересе не отзывается, только садится удобней, уцепившись обеими руками за изножье кровати, и кладет на руки голову.

Возле хлева тьякает пес, потом замолкает.

— Я умру, Андрюс.

Андрюс вздрагивает.

— Вот дура!

— Я жить не буду.

— Говорю, не дури.

— Пускай меня похоронят... Белое платье в сундуке... И ботинки... Все там, весь свадебный наряд...

Андрюс вскакивает, без толку переминается у лавки. Ему что-то душно в избе... Да еще эти дурацкие разговоры.

— Закладывать лошадей или нет?

— Не стоит, Андрюс, завтра видно будет.

Голос у Тересе ласковый, дрожащий. Андрюсу невмоготу его слушать, и он выходит. Слоняется по двору, подумав, проверяет дверь хлева. Заперта. Говорят, у Делтувы обе лошади ночью пропали. Видать, воры. В ворах недостатка не было и раньше, а что говорить теперь. Собаке яду зададут и знай хозяйничают. Ветер скрипит дверью гумна — перекосилась, на одной петле держится. С гумна уносить нечего, разве что охапку соломы. Скоро и солома никому не нужна будет. Когда станут миром жить, поля сольют воедино, а скотину в один хлев загонят — на что тогда корма, на что лошади?.. «Трактор поле вспашет...» — вспоминает Андрюс песенку. Она преследует его, никак он от нее не избавится. «Завтра с утра ячмень посею, а после обеда... — Андрюс старается думать только об этом, но тут же налетает другая мысль: — Завтра же Тересе отвозить, забыл? А вдруг завтра еще нет... Может, и перетерпит, поймешь баб... «Я умру»... Последняя дура, черт те что выдумает. Лучше б прикинула, куда денется с дитем, как жить будет. Нужна она мне как собаке пятая нога, не потерплю, чтоб под ногами этот пригильный пугался... Но в чем она виновата? Ах, не виновата?! «Трактор поле вспашет, самолет засеет...» Надо наружную дверь на крюк закрыть. С какой стати я Тересе свою кровать уступил? Это Маркаускасова кровать. Нет, моя, я

на ней сплю. А сейчас — Тересе. Ну и пускай. Эту ночь. Эту ночь, но не больше. А теперь — спать. Заснуть и спать».

Андрюсу снится трактор. Черный неуклюжий трактор с амбар величиной ползет по полю, прокладывает борозду, не останавливаясь и перед гектарами Андрюса, — катит напрямик. «Вот сбесился, холера! Куда прешь-то?» — кричит Андрюс и не обуываясь бежит наперерез. Жнивье колет ноги — не жнивье, а стальные ножи, по их лезвиям бежит Андрюс, у него ноги в крови. «Я не записывался в колхоз!» — кричит он что есть мочи, но голосишко тихий, едва сам его слышит. То ли трактор так зверски ревет, то ли ветром относит. «Подписи не поставил! Это моя земля!» Андрюс прыгает с этих ножей на мягкую пашню, но не достает и проваливается в борозду. Борозда глубокая, края высоко над головой, Андрюс хватается руками за песок, но он осыпается, не за что уцепиться. «Это моя земля! Моя!» — кричит Андрюс. Почему никто его не слышит, почему не останавливается трактор? Андрюс цепляется руками и ногами за крутой скат борозды, лезет из последних сил, и вот уже, кажется, еще самую малость... Но снова сползает на дно. С рокотом приближается трактор. Андрюс слышит лязг гусениц, видит, как ложится исполинская борозда. «Я же не подписался! Нельзя! Ну что вы делаете?!» Андрюс лежит ничком в борозде, не кричит больше, только тихонько скулит. Трактор взрывает у него над головой, на Андрюса обрушивается земля — тяжелая и черная. Она придавливает Андрюса, он хочет крикнуть, но земля забивает рот, и Андрюс задыхается, вот-вот задохнется...

Сбрасывает тяжелое стеганое одеяло, переворачиваясь на бок, задевает рукой столешницу и просыпается. Поначалу не понимает где он, подняв голову, оглядывается, смотрит на смутно белеющее окно, трет кулаками глаза, потом вытягивается на спине и смотрит в потолок. Бойтся закрыть глаза, чтоб не провалиться в борозду: завалят землей — и не встанешь. «Это моя земля... — так он кричал трактористу. — Моя...» Но это же слова, что Андрюс записал на бумажке и потом закопал, сунув в бутылку, под свежей межой. Это было давным-давно. Нет, только вчера... Только вчера Андрюс шел с Тересе на конец поля, свято веря, что на гектарах, которые нарезала ему власть, он своими руками построит для себя жизнь. Через год эта вера потускнела, ветер куда-то унес ее, как мякину, и нечистая сила шепнула: возьми весь хутор Маркаускаса, вот тогда ты заживешь! Нет, Андрюс не виноват в том, что Маркаускасов не стало. Всех кулаков забирают, мало ли чего он набрехал тогда Скринске. А бумага, что ты настрочил? О чем ты думал, когда писал? Захмелел от сладкого чувства: мол, я — хозяин! Помнишь, как после ужина Маркаускас поймал тебя, когда ты мочился через изгородь палисадника на цветы, и огрел тебя по спине штакетиной: «Вот скотина, вот дьявол!..» Тогда ты затаил злобу и сказал про себя: «Ну, погоди!» А теперь вспомнил об этом, как будто это главное...

Андрюс переворачивается на живот, зарывается лицом в подушку. Бойтся заснуть, бойтся думать. А мысли не отступают, от них гудит голова. Надо бы хоть раз в жизни додумать все до конца. Итак, Андрюс ни в чем не виноват; хотел только землю иметь и получил ее; теперь землю заберет колхоз, и ну ее; Андрюсу, как ни верти, тоже придется записаться в колхоз; если поторопится записаться, чего доброго, назначат старшим, и тогда он всем покажет! Пляшешь под дудку Кряуны? Ну и пусть, только бы доплясаться до чего-нибудь хорошего. Кряуна не дурак, держит нос по ветру, знает, что говорит. Тебе бы ему в ножки поклониться... Андрюс сжимает кулаки и лупит себя по лбу. Если б знать, что будет через год, через два! Кряуна знает, Кряуну на козе не объедешь, вдруг он правду говорит, а?

Ворочается с боку на бок, кровать аж стонет под его телом. Сон разбегается, видать, так и валяться до утра. Кровать жесткая, он лежит как на камнях.

Андрюс садится, спускает ноги с постели и, облокотясь на колени, застывает в таком положении на добрых полчаса. Потом медленно одевается, долго стоит у окошка, глядя на деревья в саду, затем открывает дверь в сени. В нос шибает вонь прокисшей картошки и помоев. Андрюс ступает осторожно, боясь зацепиться за ведро или чугун. У двери в комнату останавливается, с бьющимся сердцем прислушивается, но Тересе, видать, безмятежно спит, и Андрюсу приходится на ум, что завтра, поди, не придется гонять лошадей в город и он досеет ячмень.

Возле изгороди находит заступ, долго топчется у калитки, будто кто-то держит его за полу и не пускает. Наконец, сгорбившись, трогается в путь. Ночной холодок проникает сквозь тонкую одежду, омывает руки, лицо, словно ключевая вода. В деревянные башмаки набивается холодный песок. Почему он сапог не надел? Он и не думал обуваться, ноги сами отыскали под кроватью башмаки.

Восемь шагов от лужка. Раз, два, три... Нет, слишком размашисто шагает. Придется сначала. Раз, два, три, четыре... Восемь! Здесь. Заступ задевает камень, пронзительный скрежет несетя над полями. Андрюса берет оторопь, и он оглядывается, напрягая зрение. Мог же засветло прийти! Ха, придешь тут — увидят и начнут чесать языки. Только он и Тересе об этом знают. Тересе не трещотка, никому не проболталась, это ясно, а все ж не стоило ее сюда приводить. Но кто мог тогда подумать?.. Поди, этих камней тут не было, когда копал! Стучат, звякают... Должна уже быть, глубиной в две лопаты ямку тогда копал. Куда она делась? Неужто нашли? Кто-нибудь выкопал, и гуляет теперь по деревне бумажка. Все хихикают, только он ничего не знает... Андрюс еще раз отсчитывает шаги. Раз, два... Дальше. На целых два шага дальше копать надо! И впрямь — черт, что ли, сюда камней натаскал! А если опять нету? Сбеситься можно. На лбу проступает холодная испарина, и Андрюс ничего уже не слышит — знай нажимает башмаком на заступ. Дзинькает стекло. Андрюс падает на колени и запускает пальцы в грунт. Бутылка! Нашел-таки! Держит в руках холодное стекло, стоит на коленях словно перед открытой могилкой и смотрит невидящим взглядом на холодное поле. За этот клочок земли он все мог сделать и все мог перенести. Даже в мученьях была сладость, казалось, все можно оправдать одним словом — земля. «Это моя земля», — сказал когда-то его брат Пятрас, и Андрюс, словно пес, поджав хвост, убежал из родного дома. «Это моя земля», — написал Андрюс на листке бумаги, с силой выдавливая буквы плоским столярным карандашом, а потом подумал и добавил: — Дала Советская власть». Неужели теперь сам отдашь? Все отдают, и ты отдашь землю?

Андрюс вскакивает, бросает бутылку на камень. Звенит, разбиваясь, стекло. Белеет на земле бумажка. Он берет ее и, стиснув в руке, уходит — ноги подгибаются, словно на плечах у него тяжелый крест. Лишь у самого дома малость приходит в себя и расправляет плечи. На пашню падают белые обрывки. «Это моя земля...» — горько усмехается Андрюс, вытирая ладони о штаны.

Сереет небо на востоке.

Брезжит рассвет.

Соснет часок и пойдет ячмень...

— Стой!

Андрюс словно в стену ударился. В двух шагах, под тополем, человек с винтовкой. «Конец!» — мелькает первая мысль.

— Фамилия? — голос за спиной.

— Он самый! — голос слева.

Андрюс медленно поднимает руки. Они тяжелы и пусты. Заступ остался в поле. О, если б у него был заступ!..

— Не вздумай бежать, Андрюс,— предупреждает знакомый голос.

— Кто вы? — вспыхивает надежда и тут же гаснет: стоит ли спрашивать у бандита, кто он такой?

— Веди в избу, познакомимся,— приказывает знакомый голос.

К спине, словно штык, прикасается дуло винтовки, и Андрюс свесив голову идет в каком-то забытье.

Лучи карманных фонариков разрезают темноту избы. На кровати, испуганно застонав, шевелится Тересе.

— С кем спишь? — тот же голос.

— Один.

— А там кто?

— Тересе.

Они занавешивают окно, зажигают лампу.

— Панцирь, к двери!

Страшным голосом кричит Тересе:

— А я-то думала!.. Мне показалось...

Мужчины смотрят на женщину, лежащую на широкой кровати, которая смотрит на Панциря как на призрак. Андрюс оборачивается к двери, куда глядит Тересе, и у него подгибаются ноги.

— Он... он... — шепчет онемевшими губами Тересе.

Андрюс косится на Сокола. Учителя Петрашку он знает давно, но таким — при оружии и с кусочками блестящей жести на отворотах пиджака — видит впервые. Впервые видит и двоих других мужчин. В висках стучит, и все ему кажется ненастоящим — как во сне.

— Вы... Вы все такие, если заодно... с этим... — Негромкие, приглушенные слова встали Тересе поперек горла, она давится ими.

Сокол садится к столу, вытягивает ноги.

— Спокойнее, Тересе. Ты же была хорошая...

«Если б не этот дуб у двери, так бы они меня и видели,— думает Андрюс.— Вдруг отойдет в сторонку, холера... Или хоть бы что под руку подвернулось... Сперва Панциря... Но голыми руками... А может, обойдется? Возьмут чего надо и уйдут? Пускай забирают хоть все, пускай подавятся... Лучше молчать и ждать. А они пьяные. Крепко выпивши...»

Плечи Тересе трясутся. Сокол нервно оборачивается к своим людям и понимает: они ждут...

— Ты слушай, Андрюс... Как фамилия?

— Марчюлинас.

— Послушай, Андрюс Марчюлинас. Вот мы и встретились. Хоть было бы лучше нам раньше с тобой встретиться. Теперь ты и в тюрьме успел побывать. Почему они тебя посадили?

— Не знаю.

— Не знаешь. А почему выпустили?

— Не знаю.

— Не знаешь. Зато мы знаем. Ты слушай, Андрюс Марчюлинас. Большевиком продался, потому тебя и выпустили. Чтоб людей выдавал, чтоб все им доносил.

У Андрюса пересохло во рту. Дали бы хоть каплю воды! Нет, у них он просить не станет. Но чего они хотят, зачем пришли? Они ждали его? Может, не первую ночь подстерегают. Почему? Может, хотят его только напугать? Бывает же такое. Отлупят, прикладами изувечат и оставят лежать на полу.

— Большевикам служишь, ты слушай, Марчюлинас!

— Никому я не служу.

— Большевикам! Литву продаешь, литовец! Ты хоть раз об этом задумывался?

— Не задумывался.

Тересе приподнимается на локте. Волосы разметались, лицо какое-то уродливое.

— Андрюс, они тебя застрелят!

— Молчать! — кричит Панцирь.

— Застрелят, Андрюс. Они и Аксомайтиса... чует мое сердце!

— Молчи, большевистская краля! — Сверкают глаза Панциря.

— Бандитская! — Тересе впервые произносит вслух это слово, это ужасное ругательство, да еще с такой ненавистью, что у Панциря с Соколом к лицу приливает кровь.

— Замолчи! — кричат они оба.

Тересе спускает ноги на пол и, в одной сорочке, делает шаг в сторону Панциря, подбоченясь и выставив огромный живот.

— Любуйся, что ты со мной сделал! Все полюбуйтесь, что этот... ваш Панцирь со мной сделал... Все вы... все такие...

Панцирь подбегает, направив винтовку на Тересе:

— Сокол, только словечко...

Сокол отталкивает его.

— Отойди-ка. А ты, Тересе, ложись. Ложись.— Он резко поворачивается к Панцирю.— Ты слушай, Панцирь, это правда? Отвечай.

— Сокол, не кипятись.

— Правда?!

— Было чего шуметь из-за большевистской крали...

Сокол забывает, что в избе они не вдвоем с Панцирем, и медленно наклоняется в его сторону — сейчас бросится с голыми руками, но вспоминает про автомат и звякает затвором. В тот же миг крепкие руки хватают его и стискивают плечи. Дернувшись, Сокол скрипит зубами и успокаивается.

— Сволочь! — шипит Панцирь.

Сокол стоит, свесив тяжелую голову, потом, глядя в сторону, говорит:

— Ясень, свяжи руки Марчюлинасу.

Андрюс сжимает кулаки, стискивает зубы. «Не дамся! Я вам не теленок, чтоб связанного... Но... лучше бы Тересе не видела. Только бы не здесь, в избе, на глазах Тересе». Пускай его уведят.

Он послушно отводит руки за спину и чувствует, как запястья стягивает шершавая пеньковая веревка — он сам свил ее еще при Маркаускасе.

— Андрюс!

Глаза Тересе, расширенные от ужаса. Андрюс смотрит в эти глаза и чувствует, как в горле встает комок. «Тересе! — хочет сказать он и не может; боится, что его вытолкают в дверь, а он не успеет произнести это имя.— Тересе!» И только теперь он понимает, как любит эту женщину. Почему он так ей этого и не сказал?

— Иди, Марчюлинас.

Андрюс пятится к двери, не спуская глаз с Тересе, и жалобно улыбается, словно извиняясь, что покидает ее, такую, в пустой большой избе.

* * *

В открытую настежь дверь врывается ветер; пляшет пламя лампы.

Шаги удалились. Затих пес, который все время рвался с цепи; твякнет время от времени и замолчит. Тихо. Тишина до того страш-

ная, что Тересе трясется всем телом и каждую секунду ждет... Мучительное ожидание держит ее в постели; нет сил, чтоб тронуться с места. Звенит тишина; вот-вот она взорвется. Но выстрела все нет. А Тересе ждет в таком страхе, словно дуло винтовки смотрит на нее самое; она видит черную дыру. «Почему тянешь? Стреляй же, неужто боишься голых рук человека?»

Куда они увели Андриуса? Даже умереть не дают на своей земле. Тихо.

Мертвая тишина.

— Что теперь будет? — со стоном говорит Тересе и, оглядев пустые углы, спускает ноги на пол. Стоит, держась за кровать, разинув рот, прислушивается к тишине. Но стоит так недолго. Что-то вспомнив, хватает ватник, набрасывает на голову платок, надевает деревянные башмаки и, неожиданно найдя в себе силы, грузная и широкая, выходит в дверь.

Небо на востоке уже порозовело, кое-где мерцают звезды, в ольшанике свирстит, проснувшись, ранняя птаха.

Тересе идет проселком, ничего не видя и не слыша. Идет быстро, держа руки на груди и глядя куда-то вдаль.

Деревня спит, ни звука, ни к кому не достучишься в такой час. Даже если отзовутся там, за дверью, и ты все расскажешь, только услышишь: «Да что мы можем... Домой иди, авось вернется-то...»

А вот и большак, он широк, ему нет конца. Куда ты держишь путь, женщина? К кому идешь со своей бедой? Думаешь, у людей своего горя мало? Думаешь, их крест легче, а плечи крепче? Остановись, женщина...

Острая боль прошивает спину, младенец шевелится в утробе, опирается ножками, кажется, она разродится тут, на дороге. Тересе охватывает страх, она осторожно садится на бережок канавы. Посидит минуточку, пока не уляжется боль, а потом снова в путь... Но боль не унимается, она пронизывает плечи, спину, поясницу.

— А-а! — вырывается сквозь стиснутые зубы стон, но Тересе замолкает, прислушиваясь к брезжущему утру.

Отпустило бы чуть-чуть, и она бы снова пошла. Ведь только-только тронулась в путь, ей еще так много идти.

Как пройти этот путь?

* * *

На берегу речушки торчит реденький кустарник, маячат горбатые кривые ольхи. Клокочет не осевшая еще Эглине, местами видна черная вода.

Сокол идет в середине растянувшегося гуськом отряда. Голова кружится, ноги ноют от нескончаемой усталости. Упасть бы на сухие прошлогодние листья и не вставать. Ведь куда дойдешь-то? Так и так настанет час. Но пока не настал этот «час», ты еще можешь, ты должен... внушать страх! Только это и осталось — нагонять на людей страх. Жизнь идет не туда, куда ты хотел, она подмяла тебя. Так говорит Панцирь. Каждый день он твердит это.

— Есть еще? — Сокол тянет за рукав долговязого парня. — Дай глоточек!

— Жажда мучит, командир? — пошатнувшись, ухмыляется Панцирь. — Какого лешего мы этого тащим? — машет он в сторону Андриуса.

— Дай, говорят! — гневно приказывает Сокол, вырывает фляжку из рук долговязого и взбалтывает содержимое. Пьет большими глотками.

— Сбесился ты, командир, мне не останется!

— На, дерни...

Фляжка идет по рукам. Прикладывается и Панцирь. Горлышко фляжки лязгает по зубам. Ясень из них самый молодой, и он молчит. Его мутит, во рту гадкий вкус — если выпьет еще хоть каплю, его стошнит.

— Сокол, давай его ликвиднем! — беспокоится Панцирь.

— Пошли, ребята!

— А какого лешего мы его?..

— Сказал — пошли!

— Ты полегче, Сокол. Может, мне надоело большевику в спину смотреть?!

Движутся гуськом прямо по полю, огибая прибрежные кусты.

Панцирь спотыкается и ругается на чем свет стоит. То и дело зыркает на Сокола, командир спиной чувствует его злобный взгляд. «Давно он на меня зуб имеет, — вяло размышляет Сокол. — Не нравится, что я команду. Хотел бы командовать сам. Но он ведь и командует, а я его слушаюсь. Может, завидует моей власти? Какая у меня власть? Остались мы впятером. Последние. Такой отряд был! Не уберег их. Погубил? Но при чем тут я? Мы верили в Литву и за нее сражались. Неужто все, к чему мы стремились, — мыльный пузырь? И теперь остается только убивать? — Кровь приливает к лицу Сокола, стучит в висках. — Сейчас прихлопну Панциря! Но и они могут меня прихлопнуть, я для них как нарвавший чирей. Не для одного Панциря — для всех. А может, всеми нами движет звериное остервенение, коль скоро чувствуем, что шаг за шагом приближаемся к смерти. И все оправдываем незатейливой логикой — пользуйся минутой и не разводи сантименты...»

— Не могу терпеть, Сокол. — Панцирь с трудом ворочает языком: этот глоток его доконал. — Ликвидируем, а?..

Почему он медлит? Почему не говорит последнего слова? «Потом... потом...» — путаются его мысли, словно это «потом» в силах что-то изменить. Он вспоминает Тересе — она проклинала последними словами не только Панциря, но и его тоже. Вспоминает Скауджювене, Мотузу, их детей — полный класс детишек. Что они скажут?

— Сокол!

— В лес... В лесу, — отзывается Сокол и ждет чуда.

— Тьфу! — Панцирь сплевывает под ноги Соколу. — И чего канитель разводить? Нет, я не вытерплю! Марчулинас, говори, где тебя кокнуть?

Андрюс не чует под ногами земли. Словно не его ведут, не к его спине приставлен автомат. Он идет там, за плугом, или сеет ячмень, а здесь не он; здесь страшный сон, и пора бы проснуться; просыпайся поскорей, Андрюс, уже занимается утро, пора задать лошадям овса...

— Марчулинас, ты слышишь, что придумал командир? А по мне, так и не стоит тебя мучить. Трах-тарарах — и ты счастлив, Марчулинас.

Голос доносится издалека, с того света, и Андрюс тщетно пытается проснуться, разорвать сонные веки и сказать: «Сегодня будет погожий день...» Наконец он приходит в себя: кончаются поля деревни и ухабистый проселок, обогнув бугор, исчезает в молодом лесу.

Деревянный крест на склоне бугра замечают одновременно и Андрюс и Панцирь. Но Панцирь произносит вслух:

— Крест! — Помолчав, добавляет: — Так вот, сволочь, сегодня страстная пятница!

— Пасха, — икая, говорит Ясень, а Панцирь, гадко хохотнув, взбалтывает фляжку. В ней — ни капли.

— Сокол! — Голос у Панциря с хрипотцой. — Тут! — Он останавливается и резко повторяет: — Тут!

Отряд сбился в кучу. Сокол обводит взглядом пустынные поля.

Его руки трясутся. Чуда нет. И не будет. Есть только Панцирь. Как и два года назад — приказывает он...

— Читай приговор, Сокол!

Андрюс смотрит в землю; в горле стоит комок.

— Так-то, Марчюлинас.— Сокол замолкает на минутку и говорит: — Ты изменил своей родине Литве...

— Зачем красивые слова. Сокол?

«И правда, мы уже не верим в эти слова,— думает Сокол.— Они вязнут в зубах, эти красивые слова».

— За большевистскую деятельность Андрюс Марчюлинас приговаривается...

— На крест его, сволочь этакую! — вдруг вскакивает Панцирь.— На крест!

Слова звучат громко, как удар грома, сам Панцирь, испугавшись, замолкает и моргает белыми, остервенелыми глазами.

— Рехнулся! — Голос Сокола доносится как из-под земли.

Панцирь, сделав шаг, делает второй. Помолчав, он раздражается торжествующим смехом.

— А почему бы большевикам не иметь своего святого? Своего Христа! Распятъ эту сволочь!

— Хочешь крест осквернить?

— А ты посмотри, Сокол, кто его осквернил. Все святые сорваны с креста.

Сокол не поворачивает головы; он и так знает, что на нем нет уже крохотной часовенки, деревянного Христа, вырезанного руками старого Нараваса. Не это главное — он сам больше не верит в бога, не верит в Христа: можно ли верить, если выбрал этот путь? Может, Панцирь верит? Или Ясень? Может, эти двое? Они давно убили веру, еще до того, как пустили первую пулю в человека.

— Чего тянем? — недовольно говорит Ясень.— Или так, или сяк!

— На крест! — Панцирь задыхается от злости.— Пускай видит деревня, как мы с большевиками...

— Деревня от нас отвернется.

— Скажешь, не отвернулась еще? Зато страху сколько будет! Это все, Сокол, что нам остается.

— Осталось, Ясень?..

Ясень отстегивает от ремня фляжку. Сокол откидывает голову и жадно пьет.

Со связанными за спиной руками, свесив простоволосую голову, Андрюс глядит на них исподлобья, и его душит бессильный гнев. Только-только начал жить — и вот уже конец! И глаза застыт землей... А может, твои глаза всегда застила земля и ты ничего не видел, только ее?

— Чего пялишься? — не выдерживает Панцирь: глаза Андрюса пронизывают его.

— Это не мне приговор. Вам! — отдельно произносит слова Андрюс и снова крепко сжимает посиневшие губы.

Панцирь крикает и бьет прикладом Андрюса по голове. Андрюс падает, и все уплывает куда-то, удаляется, исчезает.

— Ясень! — командует Панцирь, и они при помощи долговязого хватают Андрюса под мышки и тащат к кресту.

Сокол стоит на дороге, втянув голову в плечи, и крепко сжимает в руках автомат. Потом оборачивается на деревню; там, где белеют березы,— школа, твоя бывшая школа; за первой партией сидел когда-то Алексюкас Астраускас и слушал легенду об основании Вильнюса, о героических защитниках Пиленай... Алексюкас, который когда-то прильнул к твоему плечу, когда на дребезжащей телеге возвраща-

лись из экскурсии. Он верил тебе, он повторял твои слова. Ты позвал его в лес, да-да, ты... Теперь этот Алексюкас — Ясень; вместе с Панцирем они распинают человека, а ты молчишь...

Сокол оборачивается. Бесчувственное тело Андрюса уже прислонено к кресту. Панцирь закидывает руку на перекладину креста, привязывает ее. И другую руку привязывает. И босые ноги привязывает, кончиками пальцев они едва касаются прошлогодней травы...

— Ну как, Сокол? — ухмыляется Панцирь, спустившись на дорогу.— Есть еще у меня фантазия, верно? Чем плоха мишень? Подними-ка автомат, Сокол.

Автомат свинцовый, никогда еще он не был так тяжел. «Что мы делаем? — мелькает смутная мысль.— Что мы делаем? Панцирь, Панцирь... И этот американец со своими освободителями т а м».

— Что мы делаем?

— Командир!

Вывихнутые в суставах руки болят, и Андрюс приходит в себя, поднимает затуманенные глаза...

Небо, просторное и высокое, забрызгала кровь ранней зари, гаснет фонарик утренней звезды. Кругом — серая пашня, березы, истекающие сладковатым соком, ольшаник с набухшими почками. Изнемогает от радости жаворонок, он поет весеннюю песнь большой, теплой земле.

— Считаю до трех. Сокол!

Над прыгающей мушкой прицела Сокол видит ветку куста сирени и черную тучку на западе. «Нет, нет!» — хочет прокричать он эти отрывистые, как автоматная очередь, слова, но не может; еще не может; он целится куда-то... Краешком глаза косится на Ясеня, на Алексюкаса Астраускаса, и все его тело наливается невыносимой тяжестью.

— ...два...

Андрюса охватывает слабость, он боится закрыть глаза, он хочет смотреть без конца на рассветное небо, на добрую и суровую, щедрую и жаждущую землю...

— ...три!

...Только не закрыть глаз, смотреть и смотреть...

* * *

Грохот выстрелов будит деревню от беспокойного сна, и она больше не смыкает глаз. Вслушивается в тишину, в которой звонко, как колокол тревоги, бьется сердце, встает с деревянной кровати, надевает пропахшую потом одежду, снимает крюк со скрипучей двери.

Остановливается у колодца набирает ледяной воды, напивается из ведра, окидывает взглядом амбар, хлев и гумно.

Выходит к воротам.

Гулко гудит мост через Эглине, с ревом ползет на бугор заляпанный грязью грузовик и, подскакивая на рытвинах, летит по извилисту большаку в сторону темного леса.

Со страхом и надеждой смотрит деревня на оружие, поблескивающее в лучах зари.

Деревня просыпается перед праздником Воскресения.

Перевел с литовского ВИРГИЛИУС ЧЕПАЙТИС.



АНТАНАС ВЕНЦЛОВА

★

ЧТО ЗНАЧУ Я?..

С литовского

Цветут сады и колосятся нивы.
И, как в начале моего пути,
Весь этот щедрый блеск и переливы
Не меркнут, оставаясь позади.

Что значу я без пройденной дороги
И просиявших в ранний час огней?
Все давние обеты и зароки
Не поросли быльем в душе моей.

Сверкают звезды, и лучится море.
И, как в начале моего пути,
Минута счастья и минута горя
Не меркнут, оставаясь позади.

Что значу я без пройденной дороги,
Без этих солнечных и хмурых дней?
Все давние надежды и тревоги
Не поросли быльем в душе моей.

Встает заря, и запеваеет птица.
И, как в начале моего пути,
Светящиеся дорогие лица
Не меркнут, оставаясь позади.

Что значу я без пройденной дороги,
Которой нет ни шире, ни длинней?
И в этот час, как в час уже далекий,
Что значу я без Родины моей?..

ПРОГУЛКА

В саду сирень словно гора —
Сегодня выше, чем вчера.
А солнце, как фонтан, забило
И все дорожки затопило...

Иду сквозь волны облаков,
Вдоль пестрых, радужных лугов.
Они сверкают, и лучатся,
И делятся излишком счастья...

Здесь начинаются поля.
Стоят, как башни, тополя.
В листве все время ветер вязнет,
Она то вспыхнет, то погаснет...

А дальше — вишни над прудом,
Охваченные белым сном,
И лилии -- белее ваты,
А лебеди — чуть розоваты...

Мир, озаренный изнутри,
Еще светлей в лучах зари.
Все радостным и ясным стало.
И это только лишь начало...

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЭТЮД

Базилика и россыпь домишек в пыли.
Рядом — море с единственной баркой вдали.
И, как прибыль свою, аккуратно
Час за часом считают куранты.

Ряска грязи на звоннице, на витраже
Так стара, что и этим священна уже.
Во дворе среди пихт низкорослых —
Живописный навьюченный ослик.

Вот восторженно, чуть дребезжа, как фарфор,
Зазвучал в базилике девический хор.
Без сомнения, здешний священник
Знает твердо дорогу к спасенью.

Этих легких колонн так воздушны ряды,
Что и впрямь — не за ними ли рай сады?
Даже нищий при местном соборе
Позабудет и голод и горе.

Но закончилась служба. И выпорхнул хор.
Что за девушки! Глянет такая в упор —
Все запреты и все назиданья
Позабудет любой прихожанин.

Мотоцикл возле паперти загрохотал.
А в ответ громогласно осел заорал.
И как будто прося извиненья,
Башенные часы зазвенели.

ВЗДОХ

Пусть это снится, только снится...
Я вижу словно наяву
в оконце синий снег зернистый,
фонарь и — снова синеву;

потом -- виденье речки, парка,
льна, неба, клена на меже —
и так разборчиво, так ярко,
что это и не сон уже...

Так пусть же новшеством счастливым
непроторенная стезя —
под солнцем ли она, под ливнем —
вбежит в закрытые глаза!

Пусть льются световые волны,
суля дорогу впереди,
не то что этот вздох невольный,
звучащий наяву в груди...

Перевел Л. МИЛЬ.



ЕВДОКИЯ МУХИНА

★

ВОСЕМЬ САНТИМЕТРОВ

Из воспоминаний радистки-разведчицы

«Восемь сантиметров»... Эту книгу на протяжении пяти лет, когда в ночные дежурства выпадали спокойные часы, писала санитарка сухумской больницы Евдокия Афанасьевна Мухина (в девичестве Мельникова). В первый же год войны с фашистскими захватчиками шестнадцатилетняя комсомолка вступила добровольно в ряды Красной Армии. Маленькая девчушка — ей давали тринадцать—четырнадцать лет. — получив в армии специальность радиста, выбрасывается в тылы врага. Она проникает в гущу фашистских войск, держит постоянную связь с нашими, наносит на карту гитлеровские военные объекты, координирует удары наших бомбардировщиков...

Отважную радистку знали и на Северном Кавказе, и в Крыму, и в партизанских отрядах Украины, с которыми она дошла до Польши. О своих военных приключениях, о суровой своей юности Мухина пишет со свойственной ей простотой и непосредственностью. Мы видим, как наивная школьница превращается в опытного и ловкого бойца-разведчика, выполняющего сложные задания командования¹.

В прошлом году Евдокию Афанасьевну Мухину избрали депутатом и членом президиума Верховного Совета Абхазской АССР. Свои депутатские обязанности она выполняет, оставаясь санитаркой больницы.

I

Как я попала в армию

В конце сентября 1941 года, когда не исполнилось мне и семнадцати лет, я неожиданно стала военным человеком.

Расскажу, как это получилось.

Еще с утра серо-черные тучи нависли над Ачадарскими горами. К вечеру, насыщая воздух влагой, они спустились до вершин ближних холмов.

Шумит речка Гуммиста, шумит, а все равно кругом тихо и глухо: перед дождем всегда так. Еще не совсем смерклось, а мы с сестрой Верой улеглись и приготовились слушать, как по нашей ветхой, проржавевшей крыше будет барабанить дождь. Я люблю под шум дождя думать, а подумать есть о чем.

Уже несколько месяцев полыхает война. Фашисты заняли Киев, добираются до Харькова и Ростова. Не знаю, как это выразить. Вроде бы я еще не взрослый человек, и все же при мысли о той страшной силе, что гнет и ломит мою родину, во мне закипает ненависть к врагу. А себя чувствую вроде бы виноватой: идет народная война, а я

¹ В записках имена и фамилии по вполне понятным причинам изменены.

живу по-прежнему — ем, пью, гуляю. Разве так можно? Ведь у меня много сил. Много, много!

Под шум дождя пробую поделиться мыслями с Верой. Но она еще ребенок, не способна бороться со сном. Очень устает: ей тяжело приходится. Старшая сестра Мотя ушла в армию, меня почти не бывает дома. Грядки на огороде полоть — ей, дом убирать, посуду мыть, стоять в очередях за продуктами, что дают по карточкам, — все ей. И вот под мои речи она сворачивается клубком и засыпает.

Слышу, отец говорит матери:

— Эй, погоди спать, бабка! Чуешь, какой дождина припустил. Как бы не затопило огород...

Если Гуммиста вздувается от ливня, за несколько минут превращается в грозный поток. Не спастись от нее — несется лавиной. Прихватывает мостки, заборы, склады дров, а случается, сносит дома.

Нам, девочкам, не нравилось, что отец называет маму бабкой. Так ведь она и правда стара, слаба — все вздыхает и крестится: маме шестьдесят седьмой год. Отцу ненамного меньше, а он шустрый, быстрый — весь день бегает, хлопочет. Но, конечно, и его коснулась старость, а сверх того увечье, болезни. Получает как инвалид труда небольшую пенсию и при этом служит сторожем на шоссе на мосту. У нашего папки поломаны ребра: сорвался в реку, когда снимал опалубку с отстроенного моста. Папка плохо дышит, бывают у него приступы боли, однако берется за всякую работу... Поженились наши родители немолодыми — маме было сорок семь, отцу сорок пять. Через год после женитьбы родилась Мотя, за ней я, а Вера появилась на свет, когда маме исполнилось пятьдесят три года. После того как покалечился, отец долго лежал. Пришлось отдать нас в школу-интернат. Мы с Мотей успели окончить семь классов, Вера всего лишь четыре. Началась война...

Мы жили не в самом Сухуми, а за десять километров от города, в селе Ачадара. Недели не проходило, чтоб я не заглянула в Сухумский горвоенкомат. Военком отмахивался от меня как от назойливой мухи. Но я ему не давала покоя. До военкомата десять километров. Перекинув через плечо туфли, шлепаю босыми ногами по раскисшей дороге. Иду, почти бегу, а сама все гадаю: откажут сегодня или нет? Поднялось солнце, и сразу стало жарко. В сентябре еще горячее солнце на Кавказе. А я жары не боюсь. Ни жары и ни холода!

В утро после ливня во дворе военкомата было почему-то народу меньше, чем обычно. Этот домик с круглым двором я запомню на всю жизнь. Каменное одноэтажное здание, в середине двора большая развесистая пальма. Удивительная штука: неужели пальма способна русскому человеку напомнить родину? Сколько я читала стихов! Родина всегда связана с березкой, с елью, с колосющимся полем, с тихой речкой. А для меня эта толстенная пальма как бы определяла все мои чувства. Помнила, конечно, и свою деревню под Воронежем. Но там наша семья очень уж мучилась. Отец пострадал от измывательства кулаков и в конце концов не выдержал — пошел бродить по России. Всей семьей бродили — наша бедная мама и мы, три сестры: Мотя, я и маленькая Верка... В душе теплилось воспоминание о ранних годах жизни, о мягкой плоской земле, о тихих речках, о нашей доброй глазастой корове. Те далекие картины снежной зимы и ласковой, мягкой летней травки для меня очень много значили. Но вот эта пальма возле военкомата, жесткая и шелестящая, как стружки, тоже виделась при знаком родине: тоже вставала в моих снах...

Это было потом, когда одинокой пряталась в тылу врага в каменных щелях, в сугробах, в разрушенных артиллерийским огнем домах...

Ладно, не буду забегать вперед.

Заглядываю в окно... Мне, для того чтобы заглянуть, нужно, зацепившись за железный карниз, пробраться по кирпичному выступу. Теперь понимаю, как была смешна. Постовой кричит:

— Эй ты! А ну слазь! Нашла где забавляться.

А я увидела — военком у себя, больше мне ничего не нужно. Прыгаю на землю и бегом в дверь. Не даю себя задержать, врываюсь в кабинет.

Военком привык к моим посещениям. Обычно встречает сурово, сегодня улыбается:

— Здравствуй, здравствуй, Петушок!

А я стою перед ним по-военному «смирно». Нарочно не улыбаюсь, хотя мне его лицо видится очень добрым и обнадеживающим. Екнуло сердце. Он еще ни разу не говорил со мной так мягко.

— Ну что, опять пришла проситься? Куда бы тебя, Мельникова, направить?

— Как куда? На фронт, конечно! — отвечаю я. — Не на рыбную же ловлю пришла проситься. Мы и без того, когда Гуммиста вернулась в русло, наловили в лужах возле дома.

Я шучу, военком шутит, боюсь, боюсь, опять мне откажут. И слышу:

— Так вот, Мельникова, на фронт пока не выйдет. А есть... — Он смотрит мне прямо в глаза, как бы сомневаясь и проверяя... — Есть, Мельникова, одна такая школа... Туда, пожалуй, можно тебя направить. Пока подучишься, глядишь, и подрастешь.

Он говорит, смотрит на меня и не может удержать улыбки. Будто я и не человек, а бобик какой-то.

Я вскипела:

— Вы не должны смеяться, товарищ военком! Думаете, маленькая, а я все обдумала, понимаю, на что иду. Ежедневно читаю газеты и насквозь прониклась тем, что творится на передовой. Я хочу помочь фронту.

В кабинете за другим столом сидел молоденький лейтенант и что-то писал. Услышав, как я задираюсь, он поднял на меня глаза и неодобрительно покачал головой. А военком как ни в чем не бывало говорит:

— Ну, хватит! Садись, Мельникова. Ты вот горячишься, а не знаешь, куда мы тебя собираемся направить. Слушай внимательно, разговор особый. Пока будешь учиться, станешь носить, как и всякий красноармеец, военную форму, жить в коллективе, ходить строем, спать на кровати в солдатской казарме... А потом... пойдешь в тыл противника, в разведку... Это очень, очень опасно.

Мне казалось, военком слишком напирает на опасность. Неужели я не знаю, что такое разведчик, неужели не читала? Нужно переползти незаметно линию фронта, взять «языка», отметить на карте ту или иную вражескую точку... Читала я и о таких разведчиках, которые проникают в стан врага, выдавая себя за немецкого солдата или офицера. Это не для меня — немецкий язык я не учила, за фашистского солдата или офицера выдать себя не смогу. О чем он толкует, зачем пугает? Дал бы направление — и дело с концом. Но военком продолжал:

— Мы тебя обучим радиоделу. Сейчас Красная Армия ищет самоотверженных юношей и девушек, подобных тебе. Выбросят на парашюте с радиостанцией, в одежде обыкновенной крестьянской девчонки. И останешься одна-одинешенька. Поговорить не с кем, посоветоваться ни с одним человеком невозможно... Вот что ждет тебя, товарищ Мельникова... Согласна?

Я молча кивнула.

— Не хочу агитировать. Для такого решения душевная зрелость и внутренняя готовность должны быть выше слов...

Я решила его прервать:

— Товарищ полковник, я уже прыгала с парашютом.

— Знаю.

— Товарищ полковник, я сильная, ловкая — умею быстро бегать, умею плавать...

— Знаю.

— Я уже не маленькая... И всей душой... Я же комсомолка.

— И все-таки, Мельникова Дуся, подумай об опасности...

Он говорил тихим голосом, вроде бы нежно, как с родной, любимой дочерью. Мне подумалось — наверное, дочку потерял, а теперь расчувствовался.

Вскочив со стула и вытянув руки по швам, говорю:

— Вы меня только пошлите, пусть учат, а что и как, я пока гадать не хочу. Хоть двадцать раз прыгну в тыл к фашистам, если это нужно для родины... С парашютом прыгать не боюсь. Уже пять раз прыгала с вышки...

— Ну, коли так, пошлем ее,— проговорил лейтенант.

И полковник кивнул головой:

— Пошлем, пошлем, Повезло тебе, девушка!

Первый раз в жизни меня назвали девушкой. Я даже приподнялась на цыпочки.

Мне велели прийти завтра утром с комсомольским билетом и, если есть, захватить паспорт.

Выбегаю на улицу, забываю даже поблагодарить. Бегу. А самой каждому встречному хочется крикнуть: «Меня взяли в армию, взяли в армию!»

Скорей домой, скорей собраться! Надо что-то соврать папе и маме, что-то придумать...

Завтра еду.

* * *

До свидания, Сухуми! А может, прощай? Может, никогда не увижу эти засаженные пальмами и дорожками цветов улицы-сады. Прощай, наш красавец ботанический сад! Я говорю «наш» потому, что мы с сестрой Мотей любили эти места. Прощай, мое Черное море! Увижусь ли когда-нибудь с тобой?

Мне грустно, и при этом, как ни удивительно, я счастлива. Да-да! До этого утра жила с угнетенной душой, с чувством вины перед родиной. И вот наступил день, мой день! Хочется петь, горланить во весь голос, что я счастлива! Иду в армию!.. На улице, смотрю, девчонки играют в классики. Сегодня меня назвали девушкой. Но душа ликует, и я не могу удержаться и как маленькая прыгаю по меловым клеткам, соблюдая все правила игры. Бросаю камушек, попадаю куда нужно. Девочки смеются, и я с ними смеюсь.

...Вот я и за городом. Иду, почти бегу к дому. А голова раскалывается... Что скажу отцу с матерью, как обеду? Отец — человек пронзительный, прошел трудную школу жизни. Был зачинателем колхоза, вел борьбу с кулаками. В него стреляли, его били. Был случай — привязали длинным канатом за санками и волокли по дороге десять километров. Мстили. После того случая он более полугода гнил по больницам. А еще раньше, в прошлую войну, попал в плен к немцам. Два года сидел за колючей проволокой, куда им, пленным солдатам, немцы кидали гнилую картошку и очистки. Он бежал из плена, его

поймали и послали работать в каменноугольные шахты. И вот — опять война с Германией.

— Эх, Дусенька, когда б не шестьдесят пять моих лет и не хлипкое здоровье, пошел бы проситься добровольцем. Как-никак, не только владею винтовкой и пулеметом, могу быть полезен и тем, что хоть немного, да умею по-немецки...

Отец не бахвалился. Были б силы — обязательно пошел бы на фронт. А меня пускать не хочет. И Мотю бы не пустил, когда б не была она совершеннолетней.

Иду и думаю: что сказать, что сочинить?.. Надо смотреть прямо в глаза. Если заговорю отвернувшись, возьмет за подбородок, повернет к себе: «Не лги, дурья башка. Не умеешь — не берись. Хитрости в тебе и во мне вместе на три копейки!»

Перед самым домом я вспомнила — как созрели в нашем саду яблоки и груши, отец не раз повторял: «Ах, хорошо бы Моте спроворить гостинцу». Почта посылки не принимала. Отец собирался было сам поехать. Но хоть и не очень далеко до Батуми — оставить дом, огород и сад не на кого. Мать все болеет, полеживает.

Отца как раз дома нет, ловит рыбу. Увлечется — его не остановишь. Да ведь и верно: низинки, что заполнились водой после разлива Гуммисты, сохнут, гибнет в них рыба. Папка корзинами таскает форель и красноперку. Мать сперва продавала, но учуяв, что рыба портится, соседям стала давать бесплатно. Сбежались к нам люди. В толчее никто не заметил бурной моей веселости. Отца я нашла у самого берега, где он прилаживался коптить над ямой форель.

— Ну, чего ты, чего? Чем торчать, подносила бы гнилушки от пней. Сухие ищи гнилушки, от них дым больно густ.

Говорю скороговоркой, а сама сияю:

— Пап, я встретила Гоцеридзе, замначальника станции, помнишь его? Он едет по делам в Батуми, обещал меня прихватить. Провезет бесплатно...

Папка похвалил:

— Ах, умница. Поезжай, доченька, ты уже большая. Сейчас, сейчас соберем посылочку... Рыбки свежекопченной, картошечки молодой, яблочек, груш, огурчиков. В армии знаешь как — гостю каждый рад, а гостинцу и того боле... Мотю поцелуй и от меня и от мамы. Да и от Верки поцелуй, и от соседей передай привет. Присмотрись, как она там служит и живет и чего ей не хватает...

Удивляюсь своей натуральности. Ловко соврала. Одного боюсь: вдруг отец пойдет со мной на вокзал. Нет, ему не до проводов. Слишком много дел.

Спрашивает меня:

— Завтра вечером поезд? В котором часу? В шесть вечера? Ну, еще светло будет. Вот Вера тебя и проводит... Сколько будешь ездить? Неделю? Две?.. Только смотри, дочка, не вздумай проситься у начальства. Знаю — захочешь пристроиться рядом с сестрой...

— Нет, нет, папа, папочка...

* * *

Мать собрала копчушки, насыпала яблок, груш. Отец настоял, чтобы взяла под них любимый его стародавний чемодан.

— Смотри в оба, Дуська. Чемодан моей работы, в продаже таких не бывает. Украдут — уши оторву!

И правда, крепкий был чемодан, с хорошим висячим замком. Что с ним буду делать? Засмеют в военкомате. Сверх всего мама дала мне хлеба, брынзы, заставила взять смену белья и велела надеть галоши.

— Батуми, слыхала, какой дождливый горд. Промокнешь, простудишься!

Я безропотно брала все что велят. Утром мы с Веркой навьючились как ишаки.

Отец спрашивает:

— Поезд вечером, зачем в такую рань?

Не могу же я ему сказать, что военком велел прийти к восьми утра.

Говорю, что Гоцеридзе велел пораньше прийти. Надо ему помочь что-то такое упаковать и погрузить. Ничего, сошло.

Прощание было коротким — ведь только одна я знала куда и зачем еду. Папка говорит:

— Поешь пирожка с яблоками. Возьми-ка вот с собой три кусочка сахару.

Сахар в то время был редкостью. По карточкам давали только на детей. Мне уже не полагалось, тем более не училась и не работала.

Притопали мы с Верой в город. Она зевает во весь рот — не выспалась. Это я виновата. Вчера перед сном пристала к отцу, разожгла его. Расскажи да расскажи о первой войне с немцами, о том, как попал в плен и как немцы мучили русских солдат. Я все хорошо помнила — папка часто вспоминал, — а тут захотелось накопить побольше злости. Отец красочно рассказывал. Как их, военнопленных, чуть что били по хребтине прикладами, за малейшее неповиновение лишали осьмушки хлеба и оставляли на ночь без света в сырой шахте... Как однажды его продержали трое суток в карцере по пояс в ледяной воде...

После рассказов отца ночь раздумывала, а утром по пути в военкомат, забыв, что рядом тащится младшая сестренка, замкнулась в себе и все вздыхала...

Она мала-то мала, но заметила, что иду не к вокзалу.

Эх, была не была! Отхожу с Верой в сторону, сажусь на травку под кустом, зову ее отдохнуть. Она смотрит с удивлением.

— Вот что, Веруня, я тебя посвящу в тайну...

Она сразу преобразилась:

— Какая тайна? От кого? Как это от всех?

Я потребовала от нее, чтобы торжественно дала честное пионерское слово молчать. Она поклялась, и я продолжала:

— Теперь слушай. Потому тебе говорю, что хоть кто-то в нашей семье должен знать — не к Моте еду. Меня взяли в армию. Сейчас, вот сию минуту, зайду в военкомат и получу направление. Куда пошлют, я и сама не имею понятия.

Оставив перепуганную сестренку хранить вещи, я побежала в военкомат. Там было все готово. Мне вручили проездные документы, дали направление и написанный на листке бумаги номер телефона.

Хмурый, невыспавшийся лейтенант сказал:

— Приедете, товарищ Мельникова, сразу же позвоните по этому номеру. Вам ответит дежурный и даст указания о дальнейшем — куда ехать и тому подобное. Вам понятно? Повторите!

А я-то надеялась встретиться с военкомом, поблагодарить его. Ждала, что он крепко, по-военному, пожмет мне на прощание руку. Но оказалось, что полковник куда-то выехал. Оформлял меня тот самый лейтенант, который всегда надо мной посмеивался. Я его за это невзлюбила.

— Повторите! — потребовал он жестко.

— Приеду, позвоню по данному номеру, дежурный мне скажет, что делать дальше — куда ехать и тому подобное.

— Можете отправляться!

Я по-военному круто повернулась и зашагала к двери.

— Отставить! — приказал лейтенант. — Кру-гом!

Я повернулась.

— Действительно все понятно? — спросил он теперь уже мягко, по-товарищески.

— Действительно! — сказала я.

На этот раз он мне пожал руку и пожелал доброго пути.

Хоть и было мне все, что он сказал, понятно, но никогда в жизни я по телефону не звонила. Признаться в этом не позволила гордость.

...И вот я опять с Верой. До шести вечера надо болтаться с ней по городу. Куда пойти? О чем говорить? Мы отправляемся на морской берег за сухумскую крепость. Тут очень хорошо. Пустынно. В прошлом году всюду было полно курортников, теперь город настроен на военный лад. Никто не гуляет, не слышно смеха. Даже рыболовов и то мало. Там, где были десятки, теперь один, два... Раньше вздыхала я, теперь вздыхает Вера. Да так, будто не тринадцать ей лет, а тридцать три. Лицо осунулось. Тайна не дает ей покоя. Не знает даже, можно ли о чем-нибудь спрашивать. Да и я боюсь ее вопросов, боюсь разреветься. Сама не знаю, что на меня накатило. Жалко себя? Да нет же, быть этого не может.

Мы с Верой отплываем не меньше чем за километр. Она, как и я, прекрасно плавает. Умеет лежать на волнах. В тот день волны были маленькие, ласковые, вода теплая.

— Дусь, а Дусь, ты мне-то будешь писать?

— Буду писать до востребования.

— А как же мне получать? Паспорта нет.

Да, об этом еще придется подумать. Вдруг страшная мысль приходит в голову: на берегу наши вещи и мешок — там мое направление, номер телефона, железнодорожный литер.

— Скорей, скорей! — кричу я Вере и плыву к берегу брасом.

Мне кажется, за мной следили, какой-то враг наблюдал за каждым нашим шагом. Мы, как всегда, закидали свои вещи камнями и ветками, ну, а если и правда кто-то следил?.. От этого страшного предположения я покрылась цыпками. У самого берега стала задыхаться. Стыдно было перед сестрой, что выбираюсь по камням на четвереньках. Бегу к заветному месту и падаю от усталости. И хохочу, хохочу как дура. А потом говорю Верке:

— Есть! Ой, как хочется лопать, сил моих нет!

— Из-за этого так быстро плыла?.. Я тоже хочу.

— Ешь копчущки, ешь от пуза! Вот хлеб, вот кусок брынзы. Ешь, ешь!

Вера не заставляет себя долго просить и с удивлением смотрит на меня: как так, только что говорила, что проголодалась, а теперь ни до чего не дотрагиваюсь.

— А как же Мотя? — спрашивает Вера, глаза ее напуганы.— Папа ей напишет, она будет ждать. Мы умяли ее груши.

На берегу под крепостью я провела последний день своего детства. Попрощалась с детством навсегда.

Уже на вокзале Вера отколола такую штуку, что я одновременно и плакала и смеялась.

— Дусенька, знаешь, что я придумала: мы с гобой одного роста, верно? И ты девочка, и я такая же девочка. Но ты умеешь и строгать, и пилить, и тесать топором. Ты у папы настоящая помощница. Дай мне свои документы — я поеду в армию, а ты домой.

То ли она шутила, то ли правда надумала такую чепуховину —

не знаю. Лицо было серьезным. Я хотела отмолчаться, но Вера вцепилась мне в руку:

— Не пущу! Сама поеду, а тебя не пущу! Папе с мамой невозможно без такой помощницы. Они старые. Ты что, забыла — они у нас старые. Дай мне свои документы. Дай, дай!

И тогда, притворяясь сердитой, я прикрикнула на нее:

— Ты глупая, что ли! На меня нисколько не похожа. И какое ты, пионерка, имеешь право взять мой комсомольский билет, выдавать себя за комсомолку! Это ж преступление... Перед родиной!

Поезд уже двинулся, а мы все еще обнимались и проливали друг над другом слезы. Я вскочила на ходу.

Многим парням и девушкам, отправлявшимся с этим же поездом в свои воинские части, махали руками и платочками провожающие. У каждого было много провожающих. Они ехали свободно, ничуть не тайно. Меня никто из моих подруг и товарищей не провожал. Я никому не имела права что-либо доверить, рассказать хотя бы о том, что записалась добровольно в армию.

* * *

Утром я вышла на жаркую привокзальную площадь. Меня ошеломил городской шум, толчея, круговорот людей. Прежде всего, конечно, стала искать будку телефона-автомата. Заняла очередь. За мной стоит какой-то пожилой военный. Наконец попадаю в будку, достаю бумажку с номером телефона. Кручу диск, кричу — вся взмокла от духоты, но ничего не получается. Кто-то мне в трубке отвечает, а меня не слышит. В очереди начали шуметь. Тогда военный, что стоял позади, открыл дверцу, а я его не пускаю: ведь никто не должен знать мой секретный номер. Этот военный товарищ стал мне кричать:

— Кнопку нажми, девочка, кнопку!

Я все-таки доверилась ему, и он меня соединил. Кричу:

— Алло, алло! Это Мельникова из Сухуми... Алло, алло, алло!— Слышала, как другие кричат, и сама так.

Мне ответили:

— Ждите у вокзала. Через двадцать минут прибудет машина.

И все, больше ни слова.

Я давя кнопку, изо всех сил прижимаю к уху трубку:

— Алло, алло!

Но в трубке короткие гудки. Люди в очереди возмущаются. А я думаю: какая придет машина, где ее ждать, как меня узнают?.. Пришлось все-таки от телефона отойти — оттеснили.

Тогда я взбежала по ступенькам вокзального крыльца; встала на видном месте, где больше всего жарит солнце. Ищу глазами городские часы. Должны же тут быть часы. И вижу — у моих ног, на самом солнцепеке, возится с узлами какая-то изможденная, бледная женщина. Топчутся вокруг нее трое детей мал мала меньше, орут во весь голос, плачут. У женщины развязались узлы, никак не соберет. Руки дрожат, нервничает. Разогнулась и зовет:

— Носильщик, носильщик!

Какой там в военное время носильщик! Обращаюсь к этой женщине:

— Чего вы убиваетесь? Помочь вам?

Она обрадовалась:

— Ради бога, помогите. Где тут камера хранения? Мы эвакуированные, понимаете: беженцы мы. Дети в дороге разболелись, молока нигде нет, хлеба нет...

Я ей отдала весь свой продзапас из мешка. Хватаю узлы, она тащит детей: одному годков пять, другому не больше трех, третий, наверно, годовалый... Камера хранения оказалась где-то в подвальном этаже. Очередь. Дети этой женщины цепляются за меня. Так мы стоим, а время идет. Идет время... Подходим наконец к окошку, кладовщица узлы не берет:

— Отойдите, гражданка, не мешайтесь!

Женщина рыдает, но кладовщица неумолима:

— Русским языком говорю: нема такого закону — хранить в камере узлы. Обращайтесь к начальнику вокзала.

Тогда женщина бросает на меня детей:

— Я сейчас, сейчас, девочка! К начальнику и обратно!

Самого маленького она сунула мне в руки.

Сколько я ее ждала! Вся извелась. Вы представляете? Меня на площади, может быть, ищут, а я тут, в подвале, обросла детьми. Люди оттискивают от окошка:

— Ну чего толчешься под ногами. Пришибут ненароком ребеночка чемоданом...

Но вот и женщина с запиской от начальника вокзала. Я отдала ей малыша и припустилась. Она мне кричит вслед:

— Девочка, девочка, возьми хоть рубль!

Я сама не своя выскочила на площадь. Думаю: «Дура я, дура! Какое имела право! Ведь я ж военная. Так только штатские могут себя вести. А военному нужна во всем суровость и четкость поступков. Вдруг меня не доищутся. Могут ведь посчитать дезертиром, отдать под трибунал». Так я себя ругаю. Но вторая мысль, задняя, говорит голосом отца: «Хорошо ты, Дуся, поступила. Правильно, детка!»

Так кто же я — детка или красноармеец? Имею я право на добро, или надо каждый раз обдумывать свои поступки в соответствии с обязательствами?

Выбежав на площадь, я опять вернулась на верхнюю ступеньку крыльца. Но теперь смотрела только на подъезжающие машины. Представляю, какой был у меня вид. Вся истерзанная, взлохмаченная. Моя стрижка, за которую в школе прозвали петушком, от пыли и пота превратилась в мокрую швабру. Дикий взгляд привлекал внимание прохожих. Казалось, все знают, какую я сейчас сваяла дурочку.

И тут к крыльцу вокзала подъехал «пикап». Из машины выскочил военный. Быстро поднялся прямо в вокзал. Я — за ним. Но он на меня и не посмотрел. Разве мог подумать, что эта растрепанная девушка, за которой его послали!

Я не стала ждать, решительно направилась к машине. Спрашиваю шофера:

— Вы из штаба фронта?

Красноармеец смотрит на меня — не отвечает.

— Я вас спрашиваю, товарищ. Я серьезно спрашиваю...

— Чего тебе, девочка?

— Жду машину из штаба. Вы понимаете?! Должны приехать за мной.

— Ах во-от что! — сдерживая улыбку, серьезно сказал водитель. — Ну, коли так — жди. Начальство сейчас вернется.

Через несколько минут подбегает молоденький капитан:

— Нет нигде, да и народу уйма, разве отыщешь в таком хаосе нужного человека!

— Капитан, может быть, вот эта девушка вам нужна? — спрашивает водитель.

Я назвала свою фамилию и вручила подошедшему предписание военкомата.

— Молодец, что догадалась, верно определила нашу машину. Пять с плюсом!

Капитан велел мне сесть на заднюю скамеечку, сел со мной рядом, и мы поехали. Долго кружили по разным улицам. Он молчал, и я молчала. Смотрела и смотрела на город. Никогда еще не видела таких высоких красивых домов, такого большого потока пешеходов. Проезжаем через мост. Вода в реке желтая, мутная.

Я много слышала и читала об этой реке. Хотелось бы остановиться посмотреть. Но попросить не решилась. Потом мы петляли по узким крутым улочкам и наконец остановились возле небольшого здания. Только мы соскочили на землю — подошла высокая девушка.

— Катя,— обратился к ней капитан,— принимай новенькую. Накорми, а потом ко мне.

Эта Катя — я ее видела в первый и последний раз — была в военной гимнастерке без знаков различия. Строгая, подтянутая. Она повела меня по каким-то коридорам. Я почти бежала за ней. Завидовала ее легкости, стройности, четкости шага: она была обута в блестящие командирские сапожки.

Столовка маленькая, тесенькая. Катя подошла к кухонному окошку, принесла мне щей и кусочек мяса с капустой. Я думала, сядет со мной, поговорит, расскажет. Но она только обняла за плечи, усадила и сказала:

— Ешь.

Ушла, а минут через десять вернулась и проводила меня на второй этаж, к кабинету капитана. Перед самой дверью зашептала:

— Входи смело в кабинет, держись просто, не стесняйся и не удивляйся.

Тот самый капитан, который ехал со мной, теперь сидел за столом с несколькими телефонами. Он долго с кем-то говорил, показав мне глазами, чтобы села. А я не могла сесть, стояла навтыжку.

Закончив разговор, капитан оглядел меня с ног до головы. Будто не он ехал со мной, будто первый раз видит. Но потом очень просто, можно сказать по-товарищески, проговорил:

— Вот передо мной приказ о вашем зачислении, курсант Евдокимова...

— Я не Евдокимова...

— С этой минуты, запомните твердо, вы Е в д о к и м о в а! Понятно? Евдокимова Евгения Ивановна. Следовательно, дочь Ивана Евдокимова. На этом пока все. Кроме того, у вас, товарищ Евдокимова, еще есть и прозвище — Чижик. С этим новым своим именем и новым прозвищем начнете учиться и жить.

От капитана дежурная меня проводила на склад. Там мне выдали обмундирование: гимнастерку, юбку, пилотку, ботинки, чулки и другие женские принадлежности. Все было мне велико. Кладовщик успокоил:

— Не хвилюйся, девушка, в общежитии товарки твои помогут решить. Сама шить умеешь?

Кладовщик был усатым добродушным дядькой. Неторопливым, спокойным. Я почему-то подумала: «Так ты, дядечка, и проживешь в этой складской тишине до самого конца войны». Почему-то мне его стало жаль.

Под вечер, часов в пять, мы с тем же капитаном сели в «эмку» и поехали куда-то далеко за город. Ехали по ущелью, среди высоких гор, поднимались все выше и выше. Вот наконец и ворота. Над ними вывеска: «Дом отдыха».

Выходит, значит, привезли меня отдохнуть?

Нет, тут, в горах, где раньше отдыхали рабочие со всего Советского Союза, расположилась наша школа. И никому тут было не до отдыха.

О школе я много рассказывать не стану. Иная трехдневная выброска в тыл врага сильнее бередит память, чем трудное все учение. А ведь нас, ее воспитанников, узнали и на фронтах, и в партизанских отрядах, и в десантных частях, и в подпольных группах.

Забылось, затуманилось время учения. Конечно, я и поныне помню двух близких подружек — Дашу Федоренко и Полину Свиридову. С ними еще предстояло встретиться в боевой жизни... Но ведь и о них я тогда почти ничего не знала.

Трудно рассказывать об учении. Меня спрашивали фронтовые товарищи:

— Как вам там, на «курорте», жилось, а, Чижик?

Я неизменно отвечала:

— Хорошо. Красиво, сытно и... безопасно.

Верно — пришла туда девчонкой и вышла девчонкой.

Но я и нужна была именно как девчонка.

II

Дедушка и внучка

Расскажу о Куцевке.

Есть станица Куцевская на реке Ее, километрах в восьмидесяти от Ростова, и есть большая железнодорожная станция Куцевка. Почему-то они разно именовются, хотя и расположены рядом; теперь скорей всего слились.

Меня туда выбросили с парашютом к одному деду на должность внучки. Что за дед, откуда попал в Куцевскую, чем занимается — объяснять не стали. Не говорят — значит, считают ненужным. Действительно — вдруг гитлеровцы заметят парашют и меня схватят. Не успею подорваться гранатой — потянут в гестапо. Тогда мне и самой лучше не знать, какой такой дед и откуда он. В штабе фронта даже имени будущего моего «родственника» не назвали. Ограничились тем, что сказали пароль и отзыв.

В штаб меня вызвали утром 19 октября, когда в нашем прибрежном городке Х. стояла теплая солнечная погода. Зеленела чуть только тронутая желтизной листва деревьев, горели цветами клумбы, спокойное море манило искупаться. До войны это ласковое время именовалось бархатным сезоном. Тут был курорт.

Майор, мой начальник, человек пожилой, недавно к нам прибывший, раскрыл на столе папку, посмотрел на фото, потом на меня:

— Боец Евдокимова?..

— Так точно! Евдокимова Евгения Ивановна.

— Садитесь, Евгения Ивановна.

Снова глянул на фото, полистал мое дело, вздохнул:

— Положение на фронтах знаете?

Я ответила:

— Совинформбюро передает — в районе Сталинграда тяжелые бои, сражения в центре города...

— Все правильно, только с сегодняшнего дня... забудьте. Поменьше осведомленности. Способны к этому, а, Евдокимова?.. Придуриваться можешь? — Он перешел на «ты». — Где после подготовки побывала?.. Ах, под Моздоком? Корректировала огонь дальнбойщиков? Значит, было шумно... Теперь пошлем тебя в тихое место, в семейные

условия, к деду. Там был радист, молодой парень... Фашисты выловили. Понятно тебе? Возили в Краснодар, в гестапо, ничего от него не добились и привезли обратно в Куцевку. Согнали народ и парня этого повесили. Десять дней не давали вынуть из петли, чтобы висел для устрашения... А дед цел, парень его не выдал. Деду необходим радист — внук, а еще лучше внучка. Поменьше и понезаметнее... Лететь надо сегодня. Полетишь, Евдокимова?

У нас существовал порядок — каждого спрашивали: может ли, хочет ли? Сейчас одно было не ясно: для чего мне сообщать, что моего предшественника гитлеровцы повесили?

Майор резко заговорил:

— Вы должны понимать, на что идете. Фашистская контрразведка в Куцевке рацию не нашла. Значит, ищет... У деда объявится внучка. Не в капуте же найдет, верно?.. Однако мы заранее ничего сочинять не станем, легенду пусть вам дает дед, он не хуже нас это умеет — опыта хватает. Документ же немецкий, аусвайс, для вас готов. И вот еще, смотрите — билет железнодорожный с готовым компостером от Ростова до станции Куцевка... Но... слушайте, слушайте, Евдокимова! В Куцевку вы вроде придете со станции Степная пешком. Не поездом приедете, а вроде бы придете. Вам понятно?

Я пожалала плечами. Интересно: сперва спрашивает, согласна ли полететь, и, не получив ответа, дает дальнейшие инструкции.

— Вам понятно? — переспросил майор. — Это не для вас, это нужно деду. Ну, а если вас кто-то спросит: для чего, имея билет до Куцевки, сошла в Степной? Что ответите? А?..

— Зачем сошла? Очень даже просто: собралась было с голодухи хлебушком разжиться в Степной, да вот и отстала от эшелона.

— Допустим. А почему не сели на следующий поезд?

— Проводники не пустили, билет не годится...

— Почему не годится?

— Отстала, просрочила.

— Так, так... А дошло до вас, как это... билет до Куцевки, а вы вдруг являетесь пешком? Смысл ясен?

— Смысл в том, что если бы доехала до Куцевки — должна бы пройти сквозь вокзал. Меня ведь никто на вокзале не увидит...

* * *

Я оделась, как деревенская девчонка: телогрейка, штопаные чулки, старые ботинки. На голову повязала белый хлопчатобумажный платок, а сверху еще и полушалок. Хоть шерстяной, но противного серо-коричневого цвета. Посмотрела в зеркало — плюнуть хочется. Платок еще туда-сюда, но телогрейка вся перекошена, рукава с заплатами... Зато два объемистых внутренних кармана. Очень подходяще для гранат-лимонок... Я еще попросила отдельный пришить косой карманчик для пистолетика.

Пистолетик вроде игрушки. Такой только ранит. Добывать надо финкой. Финку мне наточили как бритву...

А я еще в людей не стреляла и не резала пока никого.

Как прошел последний день — в хлопотах, — я не заметила. Думать ни о чем не могла. При штабе фронта был буфет — там меня подкормили.

Что было дальше? Туман в голове и глупые мечты. В 17.00 поехали в открытом «газике» с тем самым майором. Он сам вел машину. Наверное, неспроста. Крутит баранку и мне внушает... А я слушала, откровенно скажу, вполуха. Потому как временами дорога шла по самому берегу и до смерти захотелось в последний раз в жизни испугаться. Так я и сказала:

— Последний раз в жизни, товарищ майор! Для бодрости.

Он рассердился:

— Вы глупости болтаете. Вам жить и жить. И на этот раз, в этом задании, никакого не требуется от вас героизма. Хорошенько запомните: вы внучка от погибших родителей, которую взял к себе дед...

Поверх ватной телогрейки на меня натянули летчицкий комбинезон. За спиной бугрился рюкзак. На заднем сиденье лежал главный барин — простеганный наподобие ватника полутораметровый грузовой мешок, который предназначался деду. Я знала главное: там тол, мины и что-то еще по партизанскому списку. Для меня как для радистки в том же мешке — запасные батареи к радиации «Северок». Сам же «Северок» висел через плечо на ремне.

Как же я такую чушь спорола, что желаю напоследок выкупаться в море? Это был мой детский каприз, и я его высказала вслух.

Майор продолжал меня напутствовать:

— Главное, слушайся деда. Во всем положишься на него...

Майор ко мне то обращался на «вы», то вдруг на «ты». Полагается «вы», но ведь я «пионерка». Мы ехали на адлерский аэродром по дороге, которая дальше ведет к Сухуми. Тем самым я приближалась и к родному своему дому. Майор говорил, чтобы во всем слушалась какого-то кущевского неведомого деда, а я вспомнила, что отец мой и сам старый дед, хотя пока и без внуков. Они там с мамой от тоски плачут — две дочери в армии. И опять явился во мне каприз сморозить глупость: пусть, мол, летчик пролетит над селом нашим Ачадара — я помашу на прощание родителям и младшей сестренке Вере.

Все, что говорил майор, мне было важно. Душа моя рвалась к подвигу, и я никак не могла понять, что тихое сидение в какой-то хатенке — подвиг, может быть, еще и более страшный, чем вылет для корректировки огня, когда снаряды воют и пулеметы стрекочут и даже куры от страха дичают и стаей собираются на одном каком-то дереве; я под Моздоком видела и очень удивилась...

В Адлер мы приехали на закате. Майор пошел к аэродромному начальству, а меня оставил в машине. Когда стемнело — поехали с ним к взлетной полосе. Уже стоял наготове «У-2». Немолодой летчик в теплом комбинезоне пожал мне руку. Именем не назвался.

На мне закрепили, как и полагается, парашют. Потом натянули шлем. Под ним у меня два платка. Летчик что-то говорит, я переспрашиваю. У меня голос дрожит. Почему дрожит? Вроде бы не в первый раз. А я вся дрожала, как при сильном ознобе. Майор с удивлением смотрит. Сам же напугал меня виселицей и наставлениями о том, что придется актерничать.

Говорю ему:

— Я когда впервые выступала в самодеятельности, меня силком вытаскивали на сцену.

Он не понял, отмахнулся. Скажу вам — нет хуже, если провожает незнакомый командир. Хорошо, когда знает тебя лично и твой характер. Один перед вылетом бледнеет, другой краснеет, третий бестолково острит, смеется. Не обязательно от боязни. Но ведь нервы тоже на что-то существуют, правда? Я зеленею и трясусь, но это ненадолго — в воздухе набираюсь спокойствия.

Летчик положил мне на плечо руку — успокаивает:

— Я везучий. Три дня назад «мессер» всю мою машину прошил пулями, сплошь дырки, а я живой. И хотя самолет с дырками, ничего, летает... Теперь слушай: ударю себя по плечу — готовься. Махну рукой — перебрасывай себя через борт на крыло. Только поворачивайся быстрее, а то пролетим цель.

Кивая головой, кричу:

— Прыгала! Знаю!..

А я еще ни разу с «У-2» не выбрасывалась. Вот летчик уложил грузмешок, защепил парашют карабином за стальную петлю. Дает дополнительные инструкции:

— Слева будешь выходить.

— Ясно!

Он молодецвато вскочил на свое место, закрепил на мне ремни и сам закрепился.

Боец аэродромной службы покрутил рукой пропеллер:

— Контакт!

— Есть контакт,— откликнулся пилот.

Мотор взревел, вскоре машина побежала. И вот мы в воздухе. Майор остался внизу — устало машет рукой.

* * *

До Туапсе мы летели над морем, потом свернули к горам и только перемахнули какую-то гряду холмов, начался лес, и мы при лунном свете пошли бредущим над самыми деревьями. Некоторые деревья высоко торчали — того и гляди влечемся крылом. Однако же мой летчик знал что делал. Где-то тут проходил невидимый тихий фронт. Кругами летали наши «Илы». Вдруг появились фашистские «рамы». Между ними возникла перестрелка трассирующими пулями; нас пока это не касалось. Вражеские зенитки тоже не заметили. Дальше мы оказались над степью, где я во мгле успела разглядеть две или три станицы, излучину реки... и вот уж ничего не видно, только, если смотреть через плечо летчика, видны приборы.

Ночь.

Свежая осенняя ночь. Сквозит в тучах луна. Является, пропадает.

Я вынула было свои часы со светящимся циферблатом, но не могла сосредоточиться. Который час — не поняла. Посмотрела на бортовые часы и опять не поняла. А сердце — тук, тук, тук — тяжело стучало. Глянула на альтиметр — он яснее, что ли, освещался,— увидела: тысяча двести метров. Высоко забрались. Значит, от холода дрожу. От холода и от высоты, а вовсе не со страху.

Вы бы знали, как я боялась обнаруживать страх. Не то чтобы перед кем-нибудь — более всего перед собой. Когда летишь во вражеский тыл, обнаружить перед собой боязнь не то чтобы стыдно, даже гибельно. Я благодарила сильный ветер: он вышибал слезу, значит, не плакала. Самолет то и дело проваливался в воздушные ямы. От неожиданности я хватала воздух открытым ртом, как бы всхлипывала, и получалось вроде рыдания. Именно что вроде. Стало быть, я в ту ночь в своем фанерном гнездышке на высоте в тысячу метров несколько не рыдала, самолетик трясло не от моих рыданий, а по техническим и атмосферным причинам...

...Забыла рассказать. В общезитии откуда-то взялась аккуратенькая куколка. Настоящая, фарфоровая, с закрывающимися глазками. Небольшая — чуть подлиннее ладошки. Я вам честно скажу — обомлела. У меня за все мое детство, кроме тряпичных, никаких других кукол не бывало. Я ее с минуту, наверное, разглядывала, кажется, даже прижала к груди, но мне своих товарищей стало до ужаса стыдно. Куклу тут же отдала уборщице. Она обрадовалась. Жила тут неподалеку с детьми. Обрати мне протянула:

— Может, с собой возьмешь?

Я отказалась. Но вполне возможно, что зря.

Я девчонкой была, хоть и стукнуло семнадцать. Кукла мне больше подходила, чем пистолет или финка, не говоря о гранате.

Откуда могла кукла попасть в общежитие? Да случайно. Великая вещь — случай!

Все разведчики верят и обязаны верить в счастье и в счастливый случай... который надо организовать. «Обязательно даже организовать!» Это наш начальник говорил. Повторяю его любимое выражение...

Однако ж я все-таки взახлеб плакала в том самом самолетике, что летел над кубанскими степями, захваченными немецко-фашистской армией.

Где-то там, на земле, во тьме копошится при полной светомаскировке враг... Нет, не при полной. Кое-где сверкали огоньки. Может, окна, а может, костры. Летчик повернулся и показал рукой вниз. Смотрю — горит дом. Большое каменное здание. Приподнявшись сколько позволяли ремни, я прокричала ему в ухо:

— Партизаны?!

Летчик кивнул и, опять обернувшись, радостно засмеялся.

Значит, было у нас с ним дружеское общение. Мы хоть не знакомились, именами и адресами не обменивались, но не чужие летели.

Когда он мне показал подожженный партизанами склад или казарму — что там было, не знаю, — сразу мои слезы высохли. Дышать тоже стала ровно. Потому что получился обоюдный контакт: мы фронтовики — он и я. Друг друга не знаем, но мы вместе. Вполне возможно, погибнем вместе... Тут же я вспомнила, что он везучий. Он и я на этом кукурузнике одно целое, значит, его везучесть обязательно и моя. Но не в этом, не в этом главное. А в том, что увидела дело рук наших: пожар у немцев... Как так наших? Мы-то ведь с ним ничего еще не подожгли. Ну и что! Руки-то все равно русские, советские. И армия, и партизаны, и я, как пионерка с двумя косичками и с двумя лимонками в карманах. — все один к одному...

Я стала видеть хорошо. На моих часах циферблат ярко засветился: 0 часов 15 минут. Летим, значит, четвертый час. Почему так долго? Потянулась к летчику — он приглушил мотор.

Кричу ему:

— Далеко еще?

Он поворачивается ко мне:

— Летим вкруговую, над берегом Азовщины.

Хотела спросить, за каким чертом, но не решилась. Может, летчик не только мною занимался. Хоть и ночью, а все-таки вел разведку восточного азовского берега. К тому же забрасывать меня безопаснее со стороны запада: у кущевских оккупантов не так заострено было в ту сторону внимание.

* * *

Помните условие? Когда летчик стукнет себя по плечу — готовься, отстегивай ремни. Когда поднимет особым образом руку — перебирайся на крыло. Он приглушит мотор, даст газу, и ты, хочешь не хочешь, сорвешься с крыла и канешь вниз.

Вот он похлопал себя по плечу, поднял руку — я отстегнулась и вылезла на крыло. Показал вниз — я соскользнула; секунды через три раскрылся мой парашют.

Тут летчик устроил мне фокус — я испугалась ужасно: он спикировал и прошел на бреющем прямо надо мной. После чего дал полный газ и пропал в тучах.

Зачем так сделал? Он умно поступил и дерзко: с высоты метров в десять сбросил грузовой мешок без парашюта. Это было для меня великое дело — собирать буду не два парашюта, а голько один.

Приземлилась удачно. Ветра не было, моросил дождик. Однако ж

не слишком темно: за тучами луна. Неподалеку мирно перебрехивались собаки. Значит, порядок. Парашют не заметили. Я так близко от людей и их домов опустилась, что даже запах учуяла живой — дыма кизячного, земли вспаханной. И звуки услышала: кто-то брэнчал на рояле. Это в первом-то часу ночи. Неужели клуб есть и в клубе играют?

Не посчитайте, что окончательная дурочка,— долго не вслушивалась. Руки-ноги действовали, как отлаженный механизм: тяну к себе парашют, гашу, комкаю. Тут окончательно уяснила — топчусь на пробороненной пашне. Зло взяло: «У, сволочи, озимую пашут. Пашут и боронуют. Значит, будут и сеять...» На бороненной земле сильно отпечатываются следы. Это худо. Посветила фонариком не больше секунды. В мозгу отпечаталось, как на фото: рядом лесополоса — густая, колючая. Скорее всего акация. За этот миг я высмотрела и грузовой мешок: лежит в мягкой осенней листве. Листву ветром нагало — так и бывает у лесополос. Быстро срезаю с себя стропы, сбрасываю рюкзак и рацию, взрезаю финкой грузмешок и в разрез заталкиваю комбинезон, шлем, парашют. Все заваливаю листвой и присыпаю, как положено по инструкции, нюхательным табаком. Могу твердо сказать — в тот момент боязни не осталось даже и чуточки. Не тряслась, зубы не стучали. Снова вскидываю на себя рюкзак и рацию на лямке. Определяюсь на местности. План Куцевки я еще в штабе внимательно изучила, и он во мне жил будто нарисованный: у разведчика должна быть способность четко запоминать план и мысленно переводить его из чертежа в настоящие дома, улицы, огороды, сады... Намечаю маршрут. Надо идти вдоль лесополосы, нигде не тронув ногой бороненную землю. Не может же она тянуться вечность. И правда, вскоре пахота кончилась. Справа неподалеку яблоневый сад. Как я поняла? Стволы снизу побеленные, вроде бы в чулках. Иду через сад и опять злуюсь, что за ним при оккупантах ухаживают. Листья под ногами шуршат, дома близко. Там, должно, спят. А может, кто и не спит; хорошо, что хоть окна сюда не выходят... Вдруг замечаю в межрядье деревьев какие-то светлые фигуры. Будто притаились, чтобы схватить. Дождь припустил сильнее... фигуры стоят не шелохнутся. Я замерла, и уже ноги подгибаются. Командую себе: «Ложись, дура, ползи!» Вдруг осенило — это улы на раскоряченных ножках. Их там стояло пять или шесть — собрались толпой.

Дальше нужно поворачивать. За крайней хатой начинается улица. Оттуда-то и доносится брэнчанье рояля. Теперь слышны и сильные голоса. Не то поют, не то спяну орут. Немцы. Гуляют, паразиты. И сразу в сердце толчок: «Враг рядом, готовься к бою!» Рука потянулась за гранатой, но голова победила. «Ты что,— говорю себе,— сбрендила?» Выглянула за угол — метрах в двухстах открытая дверь сарая, а может, казармы. Окна замаскированы, а дверь кто-то спяну отворил, да так и оставил... Я знаю — жители гулять ночью не будут. Повсеместно действует запрещение выходить из дому после восьми вечера. Да и какое может быть у советских людей гулянье!.. А мне ведь идти на улицу, да еще с заплочным мешком и рацией... Время торопит. Вполне возможно, меня дед ищет... Решаюсь. Вернулась в сад, затолкала под улей всю свою поклажу, замаскировала кое-как листвой и двинулась, прижимаясь к плетням... Все ж таки девочка-подросток, обыкновенная станичница, а не парашютист с рюкзаком. Увидят — авось сразу-то и не застрелят... Обогнула угол. Но с этой стороны, с уличной, не плетни — штакетник. Сюда окна выходят. Мне нужна третья хата. А я со счета сбилась. Как могла сбиться? Очень даже просто — меж домами такой же почти вышины сарай... Я уже не иду — согнулась в три погибели: штакетник невысокий, если кто из темного помещения посмот-

рит, заметит мою голову. Хорошо свой какой-нибудь. А может ведь и чужой. Уже не иду — ползу, гранаты-лимонки стучатся в грудь. Я взяла в руку пистолетик, спустила предохранитель. Зачем? Ну а как быть, когда потеряла ориентир и представить не могу, с кем сведет судьба. Где она, третья хата? Попробовала по грубам определить — у сараев-то нет труб. Но темно, чертова темень. И дождь, дождь... Собаки и те попрятались, слава богу, не гавкают. Добро хоть заборы светлые... Скрипит калитка, кто-то хватает меня за шиворот, подымает, как щенка, затаскивает во двор. Мычу, пытаюсь вырваться, но пистолетик в ход не пускаю. Рука держит крепко.

Слышу шепот:

— Долга ночь!

Это пароль.

Придушенным голосом отвечаю:

— Оттого и голова болит.

Это отзыв.

Дед меня встряхивает, ставит на ноги. Ох и дед! Я ему по пояс. Вталкивает в дом. В сенях спрашивает:

— Где груз?

Сердце в горле гук-тук, но кое-как вышептываю:

— В лесополосе, против бороненного участка.

— Удача! Слышь, внучка, везет тебе.— Он выпускает меня в хату, где только угли светятся в русской печи, и продолжает говорить: — Мой проборонен участок. Нарочно вспахал, а потом и проборонил. Чтобы следы видеть. Ясно?

Старик страшен. Голова под потолок, борода кудлата, папаха вроде вороньего гнезда. Сам в черной шинели. Не таясь от меня, он сует в карман «вальтер», берет зачем-то из угла грабли.

— Сиди здесь. И чтобы ни гугу. Не запирайся. Войдет кто — плачь, рыдай что есть силы. У тебя мама — дочка моя Лизавета Тимофеевна Иванова — надясь преставилась. Больше ни слова, нишкни. Ты из Степной пешком?.. Так-так... Лады, бегу. Плачь. Только не вой, тихохонько горюй. Ежли меня спросят, отвечай: к Свириденкам потопал. А то просто — к фершалу, мол, побежал. Запомнишь?

Я кивнула. Хоть он и не велел, выскользнула за ним во двор. Старик не через калитку пошел, а по огородам. Там у него в плетне проделан был лаз. Я вернулась в хату, села у печки...

* * *

Никогда и никому не признавалась. Можно разве забыть рацию, да еще почти не замаскированную?! Да я и не забыла. Но где груз, а где рюкзак и рация! Старик за одну ходку все взять не может. Конечно, надо бы сперва забрать главное мое оборудование, из-за чего прилетела. От этих мыслей стало меня колотить. Если бы кто вошел — обязательно бы решил, что я в горячке. Деда нет как нет. Смотрю в окошко — вроде бы даже светает. А может, луна открылась в тучах. Глянула на свои часы и к уху прижала — идут ли? За стуком сердца тиканья не услышала. Стрелки показывали четверть второго. Значит, надо решаться. Выскочила из хаты и бегом через огород к плетню. Плетень высокий, колючий, набран скорей всего из веток той же акации. Где же лаз, где лаз? Луна и верно появилась, а я лаза не найду. И тут вижу — подымается над плетнем темная гора. Это дед с груз-мешком. Сбросил мешок в огород, потом грабли полетели.

Я ласково говорю:

— Дедушка! — А сама плачу.

Отвечает:

— Что, внученька? Чего тебя черти носят? Кубыть тебе в курене плохо? Беги домой, не мешайся!

Я еще не объяснила в чем дело, а он уже ругается. Как ему скажу? Схватила грабли и полезла на ту сторону.

Слышу:

— Куда, дурища?! — Он шепотом кричал.

— За рацией.

Я шмыгнула направо вдоль плетней. Уже упоминала — с этой стороны во всем порядке окон не было... Вот и сад в белых чулках. Под один улей толкаюсь, под другой — нет моего рюкзака, нет рации. От нервов я взмокла. Браню себя в душе: «Расквасилась, дура. Не суетись, толком ищи! Никого тут не было, никто не мог быть. Подняли бы тревогу».

Тут-то меня и настиг дед. Вырвал из рук грабли. Я его попросила наклониться и зашептала на ухо: призналась, что спрятала, а найти не могу. Он меня слегка смазал по загривку:

— Вертайся домой и сиди мышкой!

Я послушаться не посмела. Однако в дом не пошла, а уселась на корточках в огороде под плетнем. Жду. Дед вернулся через двадцать две минуты — я по часам следила. Притащил и рюкзак и рацию. Меня поднял и коленом стукнул по известному месту. Все молчком. Только сопит и чихает. Тихо, вроде кошки. Значит, нанюхался табаку. Это я его угостила: второпях бухнула слишком много.

Мы в хату вошли, а старик все чихает и чихает. На меня не смотрит. Мрачный стал.

— Дедушка,— говорю,— я ж иначе не могла. Не выходить же с рюкзаком на улицу. В казарме гитлеровцы при открытой двери...

Старик снова вышел в огород, принес мешок с грузом. Буйвол, а не дед. В этом мешке поболе шестидесяти кило... Вот он затворяется на крюк, груз сваливает в горенку...

— Дедушка,— говорю,— вы нашли, а я почему не обнаружила?

Не отвечает. Только чих да чих. Грабли поставил в угол, шинель снял и мне показал руками, чтобы скинула телогрейку. Онемел он, что ли? Зло рванул из моих рук ватник, вытряхнул из карманов обе гранатки-лимонки, пистолетик, фонарик, компас, карандаш — обезоружил. И все качает кудлатой башкой и что-то про себя бурчит. Через плечо повесил полотенце — громко стал сморкаться.

— Дедушка,— говорю,— вы мне, значит, не доверяете? Заберите тогда и финку. Так и эдак я против вас цыпленок.

Финку взял, ни слова не выронил. Глухонемой — и только. Запалил бензиновую моргалку (я потом узнала — бензин для света годится, надо только в него соль сыпать). Глаза старика сверкают из-под бровей, как у первобытного: я таких видела на школьных картинках. в жизни встречать не приходилось.

Полутьма, наружных звуков нет, потрескивают в печи угольки. Дед толкнул меня в горенку...

Это надо рассказать. Горенка при свете бензиновой моргалки так выглядела. Пол набран из широких некрашенных досок. Стены хоть и выбеленные, однако все в копоти и местами куделью висит черная паутина. Посреди круглый стол под клеенкой. На столе навалено — топор, книжка молитвенная с крестом на обложке, тряпки какие-то, плотницкий ящичек с инструментами и гвоздями. Стоит у стены кровать железная с шишками, покрытая прожиренным, как блин, лоскутным одеялом. Подушка — хоть она и в цветочках, но от грязи их почти не видно. Три крестьянских дубовых стула, диванчик деревянный точь-в-точь как у нас; такой папка сам сколотил. Главное же в горенке — большущий иконостас, где, кроме Иисуса благословляю-

щего, толпились во множестве разные мелкие святые. Лампадка за-масленная и запыленная — никогда ее, видно, не зажигали. Окно горенки было затянуто серым сукном, а может, байкой.

Старик отодвинул диванчик, отвалил широкую закладку — раскрылся вход в подпол. Он туда сбросил грузмешок Рюкзак пока не тронул, рацию уложил в иконостас, для чего открыл дверцу, и там оказалось место ровно для «Северка» с комплектом питания. Я хоть и была в напряжении, все замечала. Очень меня успокоило, что дед понимал, как обращаться с моей аппаратурой...

— Дедушка,— говорю,— я, ей-богу, не виновата.

А он опять ни звука. Берет моргалку и опускается в подпол, там кряхтит, возится — меня пока не зовет. И вот он выкарабкивается, а в руке держит сложенный толстый шнур, тот, которым был перепоясан крест-накрест грузовой мешок. Командует:

— Полезай вниз, разберемся!

— Дедушка, миленький, тут поговорим...

— Чего тут гутарить. Сказал — лезь!

Полушутя говорю:

— Пороть себя не позволю. Вы должны понимать: я такая же военная, как любой красноармеец. Под трибунал отдать можно, а телесные наказания советским законом строжайше воспрещены!

Он все-таки хохотнул. Коротко. В бороде звук гаснет!

— Полезай-полезай! Один я буду копать? Во-ен-ная... Ну и что? Зато я холуй немецкий, полуполицай. И ты моя внучка. Полезай, куда веляю. И чтобы не было дальше пустых разговоров. Могу ведь и правда прибить.

Что делать — полезла.

В обширном сухом подполе хранилась картошка, капуста, свекла. Все это за дощатой переборкой, а со стороны стенки проложен камыш. Старик принял при свете той же моргалки потрошить грузмешок. Говорит мне:

— Помогай-помогай! Отгреби-ка вот тут картоплю. Видишь, доска — под ней углубление. Там мы пока что уложим тол. К ребятам пойду не скоро. Раньше надо чтобы ты оклемалась... Бугристые, что это за железки?.. Такие, значит, мины? Новые? Магнитные, говоришь? Инструкция имеется?.. Ладно, потом читаем. Парашют суй туда же. И комбинезон толкай в ямку. В нашем хозяйстве пропадать ничего не должно. А где второй парашют? От грузмешка?

Я торопливо объяснила, как сманеврировал летчик. Старик обозлился:

— Чертов охламон! Скупится на парашюты. У нас каждый лоскуток идет в дело.

Не могла определить — серьезно ругается или ворчит. До сих пор не попрекнул, что оставила под ульем рацию. И опять же не пойму, как случилось, что я, молодая, не нашла, а старый увидел. Да ведь и он прокопался чуть не полчаса...

...Кроме тола и мин, нашлось в мешке килограммов шесть свиного сала, соль, сахар, спички. Дед наткнулся на мягкий какой-то мешочек. Аккуратно его развязал. А увидев махорку, растянулся в улыбке:

— Ну внученька, ну удружила! Сколько просил. Ваши отвечают: у станичных, мол, повсеместно самосад. Того не соображают военные люди, что мне зельем этим заниматься несподручно. Фашисты — они отдохнуть не дадут. Им, гадам, рыбку подавай. Хоть нырять да руками лови... Ну, лады. Кажись, все тут подчистили, картоплей привалили. Теперь давай на верхотуру. Есть-то небось охота? Хотя... трохи погоди. Посидим. Я покурю. Приустал.

Я смотрю на него — другой старик. Как может меняться! Теперь

похож на доброго. И все-таки не понимаю — зачем разоружил, зачем молчал, грубиянничал?

Вот он сидит на мешке с мукой, дымит сигаркой, ласково смотрит. Покурив, растер сапогом огонь на глиняном полу... Все-то он делал не спеша, как бы с ленцой. Так же лениво облапил меня ручищами и, притянув к себе, расцеловал в обе щеки:

— Ну, здравствуй, здравствуй, заморыш. Называешься Евгения, а сама вроде запятой. Зато — благородная. Энтю если с греческого перевести... А Тимофей означает — любящий бога. Вот и собрались до пары... Вылазь наверх, благородная. Хватит нам в могиле сидеть. Наежемся еще в земле. Фашисты помогут. Да мы их, пожалуй, раньше прикопаем. Как полагаешь, а, внучка?

Слава богу, оттаял, понемногу разговорился.

* * *

И вот мы сидим в жарко натопленной кухне за дубовым пристенным столиком. На сковороде — запеченный в картошке сазан.

— Тебя, тебя, внучка, энтот сазанище дожидался. Еле от фрицев укрыл. Я, слышь, и ловлю, и пеку, и жарю. Макай в соус. Крепкая штука, с красным перцем. Бери пирожки — с капусткой, с луком. Ты их не щади — фрицам достанутся. Самогоночки с пути-дороги не тянешь перед сном?.. Не куришь, значит, и не пьешь. Ну, и так обойдемся. Да и мала ты для этих делов, Женюшка... — Тут он поперхнулся. — Кто тебе надумал, простой деревенской девчонке, такое имя. Не стану так называть, будешь у меня «внучка» или «деточка», а рассержусь — найду и покрепче словцо... Что, вкусно? За поварское уменье немчики окрестили меня гутен кох... Язык ихний понимаешь?.. Ах, жаль, жаль, что не научили. Было бы к делу... А я как раз достаточно познакомился. Тем и держусь. Вижу, клюешь носом. Спать погоди. Наелась-насытилась? Теперь так: будить тебя не стану — отсыпайся. Если же дома не окажусь, боже тебя сохрани, чтобы кто увидел на базю. Носа не высовывай.

Я не поняла. Спросила — что это означает. Дед ответил:

— На базу — то же, считай, что и на дворе. — Вдруг мелко как-то всполошился, непохоже на себя: — Погоди, погоди! Да ты кубыть не казачка? Это что ж такое получается — обманули меня твои начальники? Я ж их просил, чтобы не слали мне иногородних. Ах, нехорошо, скверно!

— Фрицы отличают по говору?

Он на меня прищурился:

— Да ты, девка, никак и вправду неумная. Фрицы что! Они тебя среди прочих даже и не заметят. А вот местные, кущевские, сразу же и усекут... Что ж теперь делать? Как зачислю тебя во внучки?.. Ах, думать, думать надо. Обратю тебя в самолет не усадишь. Ну, шляпы! Кого прислали. Благородную Евгению, безязыкую, да еще и не соображающую ничего. Я пока не солил, пожалел тебя с пути. Придется посолить твою ранку: «Дедушка, почему вы нашли, а я потеряла?» А ты думала, где ставишь и что ставишь? Ты все свое военное имущество потеряла. И рюкзак и рацию добрые люди нашли. Они и тебя видели.

— Кто видел?

Дед аж плюнул:

— Тебе фамилию сказать? Имя-отчество? Да ты решительно дура... Может, мне тоже перед тобой, кузуркой, полностью распаковаться? Анкеты не привезла из отдела кадров? Полезай на печь, чтобы духу твоего не было!

Я вскочила, но старик тут же меня подтянул к себе, посмотрел в глаза:

— Эй, девка... сейчас мы тебя превратим кое во что. Ты смелая?.. А коли так, ничего не бойся. Садись на табурет спиной к печному свету.

Он пошел в горенку, чем-то там гремел, что-то искал и вот явился. В руке что-то блеснуло.

— Слушай и запоминай. Как твою маму зовут?

— Елизавета... Тимофеевна.

— А что с мамой?

— Умерла.

— От чего она умерла? Ты не знаешь, да и я пока что не знал. Господь бог сподобил — додумался. Мама твоя, которая мне приходится дочкой, проживавшая на Темерничке в Ростове, она хворала тифом. Тем, который от вошей, — сыпным. Вот и померла... Сиди смиренно, я тебя обстригу ножницами, а потом еще и машинкой...

Я хотела было возразить, но дед и слова не дал сказать: ухватил лапищей — ладонью крепко закрыл мне рот.

— Тихо, внучка! Никто тебя не убивает. Пусть ты будешь некрасивая, зато целая.

Я и правда могла от боли закричать. Инструмент деда был старый и тупой. Слезы сами текли.

Косички мои сгорели в печи вместе с ленточками. Зеркала у деда не оказалось, я руками щупала свою несчастную голову. Потом поскорее замоталась в платки и, сдерживая рыдания, полезла на печь.

Заснула — как провалилась.

Последнее, что услышала:

— Послезавтра выйдешь в эфир!

* * *

Сейчас, когда пишу эти строки, я давно мать двоих детей, которых пора бы считать взрослыми. Сын поступил в экономический институт, а дочка Женя готовится. Назвали ее Евгенией в честь той Жени-разведчицы, которая после войны возвратилась в обычную жизнь, вышла замуж, стала снова Дусей-Евдокией и теперь уже под фамилией Мухина. Михаил Мухин — мой муж. Он полковой разведчик, сильно раненный. Я написала «полковой разведчик» так, вроде бы он продолжает им быть. И тут в чем-то правда. Так же, как и я, мой Миша главное свое жизненное дело совершил в войну. Мы с ним работаем в одной больнице. Он санитар, я санитарка. Жизнь сложилась так, что после войны мы хоть и были молодыми, с учеьем у нас не получилось. Много после ранений болели. Зато и сын и дочка будут с высшим образованием. Довольна ли жизнью? Об этом еще будет разговор. Одно ясно: наши родители, то есть мужа моего и мои, дать нам образование не смогли. Для этого были серьезные причины. Прежде всего — война...

Не надо, пожалуй, далеко отрываться от рассказа о Кущевке и от той девчонки, которая после стрижки полезла на печь и там уснула. Я оторвалась вот для чего. Не я придумала — муж мой Михаил настоял на том, чтобы назвать дочку тем самым именем, которым наградили меня в войну. Мы с мужем совсем недавно, дня два назад, говорили: а вдруг война? Неужели согласились бы свою девочку отпустить в тыл врага? И оба рассмеялись: она бы нас легко обманула, как и я обманула своих родителей. Конечно, нам видится, что дочка, хоть она едва ли не на голову выше меня, крепче физически и много образованнее... нам она видится совершеннейшим ребенком, не способным к хитростям, к тяжелым испытаниям, к голоду, да и вообще

нынешняя молодежь вроде бы избалована, не приспособлена к самостоятельности. А может... Может, и мы такими же виделись нашим родителям?..

* * *

...Я пробудилась оттого, что старик в полной тьме набросил на меня свой полушубок. Ничего не сказал. Растворился в темноте. Это ласка была и забота, может быть, нежность души. Не знаю. Старик меня растревожил. Сразу же вспомнила — кожей почувствовала, — что нет у меня волос: оболванена. За все мое детство ни разу такого не делали. Да я и не болела особо, тифом не болела. Трудно объяснить: почему-то в такой вот стрижке, да еще насильственной, крылась оскорбительность: вроде бы с меня сорвали одежду... На печке было жарко, я раскидалась во сне. Но старик-то об этом знать не мог, видеть меня в темноте тоже не мог.

Сколько я проспала? Этого сказать не могу — часы у меня дед отнял, — но чувство подсказывало: часа два все-таки пробыла в глубоком забытии. Не знаю как другие, я с раннего детства, с интерната, умела чувствовать время: просыпалась и, на удивление подружкам, минута в минуту говорила. Ну да ладно, какие уж там подружки... Я комочком свернулась и все шарила-шарила по колючей голове. Шарила, сдерживая слезы. Боялась, что подойдет и осветит дед. Зачем ему? Ну, а вдруг под кофточкой скрыла еще одну гранату?

Как идут мысли, как возникают и укладываются тем или иным рядом? Сегодня вспоминаю — и все вроде бы ровно выстраивается, правильно. Было, конечно, не так. Когда волнуешься, мысли идут вперекрест, клубками, петлями — сплывают без всякого порядка. И все-таки могу выбрать из кучи главные мои страхи, которые совмещались с обидами, потому как обида и страх ходят вместе.

Думала ли я в ту ночную пору о противнике и о том, что нахожусь в самой его гуще? До прилета в Кущевку, когда меня послали на какую-нибудь горку высматривать движение немцев, они, хоть я и разглядывала их в бинокль, виделись мне кучно. Там хлопочут возле орудия, там рота совершает перебежку, там явились из-за скалы танки, там проскочила офицерская легковушка. Были не люди, не лица, а фигурки, которые перемещались массами и в одиночку. Я их понимала как часть войска, а соответственно и оценивала для направления нашего огневого удара. Что же до печки, где я оказалась, отсюда в полной тьме никаких немцев я видеть не могла, а должна была их воображать, что не так-то просто.

После выброски я слышала звуки рояля и сильные голоса, видела открытый, светлый дверной проем — это и означало присутствие врага. Расплывчато и неопределенно. Можно бы, конечно, подбежать, швырнуть гранату, а когда пьяные эти морды стали бы выскакивать, их бы из-за угла пулеметом... Пустое, одни только мечтания.

А тут...

Старик меня разоружил, отнял даже финку. Часы отнял и компас. Зачем? И зачем остриг?

Нас старшие товарищи учили: «Надо уметь распознавать характеры». Говорили нам, что гитлеровцы — пусть офицеры, пусть солдаты — одинаковыми не бывают. В наступлении, на передовой, рассуждать об этом ни к чему. Полковому или ротному разведчику, задача которого — выследить врага и понять его силы и вооруженность, характеры врагов и знать незачем. Немец в тылу — это другой немец. Тем из нас, которым предстояло стать радистками, говорили: «Вы, девочки, немецкого языка не знаете, однако живых фашистов увидите в самой непосредственной близости. Будете с ними встречаться. Не только с массой, но и с отдельными солдатами и офицерами. Ря-

дом будете жить, бок о бок. И, хотите того или не хотите, придется к ним приспособливаться, вести игру, притворяться... А всякое притворство требует понимания характера того, кого хочешь обмануть. Нужно чутье, нужно его в себе вырабатывать. Заранее тут ничего не сделаешь».

...Значит, так, первым делом я вспомнила, что дед меня разоружил. Торопилась понять — какой он. От дурного характера поступил со мной грубо или по уму и рассуждению? Если разоружил — ослабил. Фашистов пока нет — значит, ему лично понадобилась моя слабость... Случись, сию минуту нагрянут... Я уже не боец. Даже себя подорвать не смогу и обязательно попадусь в лапы. Живая. И меня будут пытаться...

Второй всплывает вопрос. Как мог этот самый дед Тимофей знать пароль, и отзыв, и мое имя, и то, что я, по условиям, пешком шла со станции Степная? Он меня ждал. Он даже рыбу, как сам сказал, пек на сковородке для меня, чтобы накормить. Совсем, что ли, принимает за дурочку? Ведь одно это выдает с головой, что он имеет связь с нашими, хотя радист его и погиб. Наступит утро — спрашивать старика? Но мне запрещено. Он ведь не дедушка, не только дедушка — он мне начальник. Если начну расспрашивать, подумает, что болтуха. А тогда совсем замкнется, не станет у нас взаимного доверия. А можно ли доверять? Нужно ли? Нужно, нужно! Без доверия лучше сразу же головой в омут.

И все-таки доверять не могла.

Я старика почти что возненавидела. Не головой, то есть не умом. Он мне стал противен нескладностью поступков, переменчивостью голоса.

...Тишина была полная. И тишина и темнота, каких в жизни еще не испытывала. Слышны были мои вздохи и то, что я шуршала ладошками по голове. Заставила себя лежать неподвижно.

Никаких звуков. Вроде я одна в доме. Почему одна? Тут же старик должен быть? Где-то он есть, дедушка Тимофей. Почему не храпит, не сопит? Но ведь бывают же и такие, которые бесшумно спят, правда?

Я соскочила с печи и зашептала:

— Дедушка, дедушка!..

Никто мне не отвечал. На ощупь пробралась в горенку, там совсем было темно. «А, — думаю, — была не была, растолкаю деда. Спать не могу, сидеть в темноте тошно». Я примерно помнила, где кровать. Подошла, потрогала руками — никого нет. Где же он? Может, спит на диванчике? Но и деревянный лежак стоял на месте, прикрывая собой вход в подпол. Выходит, и в подполе нет старика; куда-то ушел, а меня оставил...

Что особенного? Ушел — значит, ему надо было уйти. Не станет же просить разрешения. Прилечь, что ли, на кровать? Тут не так жарко. Разве уснешь? Отворила дверь в сенцы, хотела было выйти во двор просвежиться да и погоду посмотреть, как вдруг услышала — кто-то идет к двери. Придержала дыхание. Уверена была — дед Тимофей, а все-таки притаилась. Но... был не он. Неведомый какой-то человек пошарил с той стороны, подергал за ручку, погромел висячим замком и заругался вполголоса:

— Фарфлюктен!

Гитлеровец! Вот так раз! Хорошо, хоть я себя ничем не обнаружила. Постаралась не дышать.

Незванный посетитель тут же и ушел. А у меня, конечно, мысли: как же так эти гады ползают к старику по ночам, да еще втихомолку? Я знала о них, что орут, колотят в дверь прикладами. всюду нахаль-

но прутся. Этот же пришелец определенно таился... Старик хорош. Ушел. Меня запер. Ни о чем не предупредил. Я уселась в сенях прямо на полу. Дрожала от холода и беспомощности. Голова, хоть и под двумя платками, мерзла. И все-таки в хату я не пошла.

Рассказываю вроде бы обыкновенные вещи. Никто пока не стреляет, не издевается, не грозит. Всего только и слышно, как моросит дождичек... Мне на счастье, прокукарекал вблизи петух. Издалека ему откликнулся другой. Третьего еле дождалась. Мало, мало петухов в станице.

Чего это я сказала, что прокукарекал на счастье? Чему обрадовалась? Да ведь хоть что-то простое и знакомое. Могу представить, как взмахнул крыльями, взлетел на забор. И кукарекает не по-немецки — обыкновенный русский петух... В голову не пришло, что под немцами петухи как обычно кукарекают.

Этот рассказ потому такой получается длинный и подробный, что мне по сию пору первая моя ночь в Куцевке видится долгой, как смерть. Была напряжена, переживала малейший шорох. А как же иначе?! Но что же вдруг вышло — это мне и теперь непонятно, — я в сенях заснула. После солдата... Да ведь я его ждала, почти наверняка знала, что вернется. И в этом своем состоянии как в омут провалилась. Не помню даже, чтобы перед тем зевала. Нет, не зевнула ни разу.

Дед Тимофей отпер дверь — я не услышала, как отпирал, — и пропустил вперед гостя. А этот гость, солдат немецкий, с ходу меня придал и от неожиданности вскрикнул:

— О, майн гот!

Это я услышала. Вскочила. Выпучилась на солдата. Но старик меня скорей-скорей от него отвел и залопотал по-ихнему:

— Битте, битте!

То есть он солдата приглашал не стесняться моей ничтожной особы и проходить на кухню. А потом еще долго что-то объяснял, но безо всякого смущения и страха.

Позднее я узнала — он немцу мое поведение толковал так, что я, дескать, от горя сдурела. Мамка померла, а девчонка, мол, круглой осталась сиротой. Девчонка беззащитная, к самостоятельности не приученная...

Введя гостя в кухню, старик откинул тряпку с окна. Уже светало. Солдат был в шинели с поднятым воротником и в пилотке; через плечо винтовка на ремне. Обыкновенный фриц. Кажется, молодой, я не очень-то поняла. Дед усадил его за тот самый столик, где мы ужинали. Похлопал по плечу. Живо откуда-то добыл четверть с самогоном, налил полный стакан и подал прямо рукой пирожок. Солдат кочевряжиться не стал, а по-быстрому выпил, откусил пирожка и ходу. На прощание погрозил пальцем. Это я поняла: чтобы хозяин не капнул по начальству.

Не успели мы с дедом перемолвиться — тут как тут еще один посетитель. На этот раз гауптман, то есть капитан, кажется пехотинец. Все-таки чин. И немалый. Тощий, с длинной рожей, да еще и угреватый. Глаза оловянные.

Он меня сразу же приметил, строго что-то заговорил. Скинул с моей головы платок, прижал ко лбу руку; я доверчиво на него смотрела, не дичилась ничуть. Вижу, что дедушка не обнаруживает страха — значит, и я должна так.

Опять же дед добывает стакан, ставит перед офицером глиняную плошку с солеными огурчиками и помидорами, дал вилку... Гауптман стоя выпил, жадно. Показал, чтобы старик еще добавил полстаканчики. После чего сел, раскорячился и принялся во весь рот улыбаться. Похоже, что перехватил. Старик ему показал на кровать: мол, приляг,

отдохни. Нет, офицер кое-что соображал, замотал башкой и снова стал показывать на меня и болтать. Я одно только слово поняла: «Карантин!!!» Сама подумала — какой уж там карантин, если не удержался от опохмелки. И неужели у них собственного спирта нет или коньяку? Ну, оккупанты!

Этот офицер осоловелыми глазами довольно долго разглядывал мой аусвайс: старик ему специально принес показать. Немец и так крутил и эдак, кончил тем, что сказал:

— Гут!

Когда гауптман наконец ушел, дед заговорил:

— Боевой офицер! Много наших уложил, раньше чем попасть на нестроевую службу. Рад безмерно. Сейчас служит в комендатуре. Недели не проходит — отправляет в фатерланд посылочки... Что они посылают? Да ничем не брезгают. Птицу битую, сало, иногда в глублинке обнаружат неразграбленный кооперативный склад: ткани разные хватают — могут из-за них даже передрататься. Это хороший дядечка, ты ему, внучка, при встрече книксен делай: очень будет доволен. Приседай молча и с улыбочкой.

Как ни была я напугана, не смогла удержаться, спросила деда:

— Неужели все тут перед ним приседают? Вы-то как-нибудь не приседаете...

— Э, внученька, я хуже чем приседаю. Этого-то герра Штольца от смерти спас — вытащил утопшего. Он тяжело был ранен и тонул в Дону. Их там много плавало мертвых и полумертвых. Я себе именно данного немца выбрал — как-никак чин. Домой его приволок — это еще в Ростове было, — перебинтовал ногу, руку и голову, а то бы обязательно погиб от потери крови. Оправдались мои старанья: в благодарность пристроил меня возле своей офицерской особы. Всем, включая генерала, доложил, что такой-то и такой-то старик из бывших в прошлую войну пленных помог ему воскреснуть. Хорошо, мол, обьясняется по-нашему и показывает себя преданным идеям фюрера...

— Значит, вы нездешний, а с ним приехали?

— Отчасти и здешний, ты, внучка, твердо должна усвоить: рассказываю — слушай. Приказываю — подчиняйся бес-пре-кос-лов-но. Задавать вопросы я могу, тебе — не положено... Понятно?.. Вот и хорошо. Теперь докладывай, как в сенях очутилась... Ужли тут приятнее спать, чем на печке?.. — Вдруг закричал громко, зло: — Смотри-ка, неженка, жар ей не по нраву. Ты свой нрав пригни до полу, научись на карачках ползать!

Дверь нашего дома была открыта, и я увидела, что какая-то женщина стоит у калитки и прислушивается. Потом узнала: то была соседка, зловеднейшая баба.

* * *

Зарядили дожди. Улочка, где стоял наш курень, превратилась в непролазное болото. Кроме того, гитлеровцы нас не посещали из-за карантина. Дед был этим доволен. Он успел куда-то съездить, с кем-то повидаться; со мной не делился. Три раза в неделю я поддерживала радиосвязь со своими. У деда накопилось немало разнообразнейших сведений. Спросили бы меня в штабе: как этот Тимофей Васильевич, хороший ли товарищ, лажу ли с ним и что он из себя представляет? Откровенно говоря, пожала бы плечами. Смешно, правда? По рации плечами не пожмешь. А дурно отозваться о своем начальнике совесть бы не позволила. Да ведь меня никто и не спрашивал. Дело-то и не в совести. Что бы я могла сказать? Характера деда пока что не поняла. Скрытен, грубоват. Если и бывает дома, так больше в те часы, когда я выхожу на связь: стоит в сенях, меня охраняет.

А ко мне относится, будто я жучка или бобик: вдруг приласкает, а то и пнет. Не сапогом — словом. Ну, а то, что якшается с оккупантами — может, такая его обязанность. Недаром же носит черную шинель полицаая... Интересно, дед с самими полицаями и даже с их главным начальником почти не встречался и до себя не допускал. Он даже и форму носил не по-ихнему: шинель нараспашку, папаху насовывал на глаза. Полицаи не придирались. Понимали, видно, что он под особой опекой комендатуры.

Чем же я была недовольна? Задышалась. Мертвела. И давно уж не от страха. Нет, от невыразимой гнетущей тоски и пустоты душевной. Шесть раз я уже держала со штабом связь. Слышимость была достаточная, а мои сообщения занимали каждый раз от силы десять минут. Я горячим своим сердцем хотела радоваться успехам наших диверсантов, партизан, подпольщиков, но за шесть сеансов не было случая, чтобы «любимый мой дедушка» хоть взглядом дал понять, что хорошо и что плохо. Я к нему привыкла, давно уж не был он мне страшен. При встречах, случалось, обронит ласково: «золотко», «внученька», «Евгеньюшка». По моей просьбе добыл у немцев антитараканьей вонючей жидкости, и мы тараканов почти полностью истребили. Вернее, я сама занималась побоищем, а старик говорил:

— Давай, давай, прыскай. Вот еще и в тот угол. И между щелями пола тоже.

Но я видела: ему один черт — с тараканами или без тараканов. Развеселился, когда сказала ему, что папка мой сравнивал нашествие прусаков с нашествием гитлеровцев:

— Это точно... Ха-ха-ха!

Дня через три опять развеселился. Я ему пожаловалась, что когда, наполнив водой ведра, проходила мимо соседского плетня и остановилась передохнуть, соседка, та самая, что подслушивала, изловчилась плюнуть прямо в глаза.

— От молодец бабонька! Ненавистна, стало быть, ей моя внучка. Что ж, когда я холуй, выходит дело, и ты холуеньш. Ха-ха-ха! Правильная женщина. А ты что, неужли мне жалишься? Терпи, золотко. Хорошо хоть бомбу в нас не швыряют. А так-то и спалить народ может — это дело нехитрое... Эх-хе-хе, такая уж наша с тобой планида, Женюшка-Евгеньюшка.

Он понемногу привыкал к моему имени.

Кормил меня дед хорошо, как говорится — ешь не хочу. Рыбы всегда было полно. Он ее и варил, и жарил, и коптил, и пек. Но со мной за стол редко садился. Да он и дома почти не бывал. Уходил ночью, днем. И каждый раз по приходе внимательно вглядывался, как бы ожидая, что стану расспрашивать: откуда, мол, явился, где гостил? Но я тоже упрямая: молчала.

Как это молчание было тяжело...

Мороз пока не устанавливался. Погода держалась пасмурная. Рыба ловилась. У старика хорош был вентерь. Где-то в камышах особо прикомандирован был к нескольким лодкам солдат. Тот самый, что явился к нам в первое утро выпивать. Может, у него и сменщик существовал — не знаю. На реку за все время, что прожила в Куцевке, пойти не представилось случая.

Зато первого своего фашиста я скоро узнала ближе.

* * *

Теперь-то я понимаю — он был молодой, лет двадцати пяти, совершенно не приспособленный к службе солдат. Молодой, но старообразный, невыносимо скучный. А я, всегда веселая и подвижная, здесь

тоже от полного почти безделья захирела. Найти бы хоть книжку. А у старика только и была толстая старая Библия. И та на церковно-славянском языке.

Я все, что можно было переделать в доме, давно переделала. Постирала деду три его бельевые смены, одну-единственную холщовую простыню; одеяло его лоскутное, наволочку, байковые светомаскировочные тряпки, полотенца, портянки, рабочие порты, шерстяные носки — все-все у него сверкало чистотой. Полы подмыла, окна вылизала. Даже папаху дедову, когда он долго спал после двухдневного похода, я расчесала гребнем. Зачем? Да и сама не знаю. От одной лишь скуки.

Однажды после долгого перерыва пришел в отсутствие деда этот самый солдат, а дверь в доме как раз была распахнута. Я полы мыла. Он вошел тихо и сказал почти по-русски:

— Здравствуй, фройлен!

Тут-то я и увидела, что он молодой.

Не спросясь и больше ни слова не говоря, уселся против огня печи, вытащил из кармана губную гармошку и стал играть что-то печальное, мне совершенно непонятное.

Я стояла — он сидел. Как был — в шинели и в пилотке. Некрасивый, худой. Винтовку поставил рядом и выдувал из дуделки, будто усыпить меня вознамерился, свои немецкие слезы. Даже стало его жалко. Думаю: бедный ты бедный, забросила тебя судьба-индейка за тридевять земель от родины.

Так, значит, мы и находимся друг перед другом. Он изредка бросал из-под бровей взгляды. А что это должно было означать — неизвестно. Не призывные взгляды, не заигрывающие, а как бы сочувственные. И вдруг что ж он делает? Начинает играть русскую плясовую. Одну, другую, третью. А мне кричит:

— Плячи!

Я сперва решила — плакать мне велит. Что ж, плакать было от чего. Оказывается, он не плача от меня требовал, а чтобы я перед ним под его музыку выплясывала.

Показываю головой: плясать, дескать, не стану. Мотаю башкой, что отказываюсь. Тогда он останавливает музыку и тычет пальцем в стакан, что там пусто, а лучше бы налить. Что ж, я нашла четверть с самогоном и налила. Он пригубил и протягивает это зелье мне.

Думаю: вот номер. Как быть? Старик неизвестно когда придет. Судя по всему, поехал со своим свинцовоглазым гауптманом рыбалить. Вот гаденыш сюда и приполз. Мне его сперва жалко было, но сообразила: он гад и его бы надо тут же пришибить чем попадая. Но делать это запрещает моя должность. И бежать не могу -- ни в горенку, где в иконостасе рация, ни на улицу: во дворе и на улице он скандал может учинить, поднять крик. Тогда я отпиваю немного и делаю вид, что мне от самогона плохо, тошнит. Он выпил и опять взялся выдувать камаринского. Кричит, а сам уже красный:

— Плячи, плячи, деука!

Я стою — выдавливаю из себя смех. Он берет в руки винтовку, щелкает затвором и наставляет на меня дуло. И опять требует, чтобы плясала.

Это уже серьезно, шутками не отделаешься. Я его не боюсь — себя боюсь до смерти. Потому что могу войти в ярость и тогда нет мне остановки.

Вот где была душевная борьба. Я засмеялась и сказала:

— Музыка. Где музыка?

Он понял: «Мюзик, мюзик», отставил винтовку и взялся за свою губную гармошку. Я бы успела рвануть его оружие и, если не выстрелить, хватить прикладом. Такой был соблазн — передать не могу!

Мне же ясно — я его ловчее. Эта мысль-молния, я бы ей подчинилась, но башкой нарочно треснулась об печку, да так, что круги пошли. Этим способом опомнилась. И стала шевелить ногой, взяла платочек, пошла маленьким кругом.

Немец расплылся от радости: заставил, добился. Наверно, никогда еще никого подчинить себе не мог. А тут девчонка пляшет под его дуду.

Был вечер, восьмой час, сумерки. Я два круга сделала — является в двери дед Тимофей и с ним тот самый офицер. Они оба нас видят, и офицер герр Штольц не отходя от кассы выдает своему солдатику плюху, а вслед за ним три или четыре плюхи получаю я. Но не от офицера, не от фашиста, — от собственного начальника, товарища по разведке, дедушки, черт бы его примял.

Солдат молчит, я молчу. А эти два притомились с рыбалки, тяжело дышат.

Вот как бывает.

И очень хорошо. Потому как дальше пошло совсем по-иному.

* * *

В ночь после мордобоя — а было это, по моим подсчетам, в первых числах ноября — подул буревой ветер со стороны Азовского моря. Река Ея пошла вспять и разлилась. К тому же трое суток лил дождь. Наш порядок оказался как бы на острове. Говорю «порядок», а это означает одна сторона улицы. Вы уже знаете — наша улочка была крайней, а дедовский курень, или, все равно, домик, фасадом выходил на проезжую часть. Кухонное окошко глядело во двор, по-тутошнему баз; с задней же стены, за которой находились грядки огорода, все было затянуто высоким плетнем. Через плетень — лаз и потом колхозная земля до самой лесополосы. Колхозная земля, часть которой захватил дед.

Что в тот вечер было дальше? Значит, дед мне морду набил, а после того свинцовоглазый гауптман вытолкал из нашего куреня своего солдата, а сам расселся. Свежий улов лещей и сазанов дед почистил и побросал на широченную глубокую сковороду, намешал теста с яйцами и еще бьющуюся рыбу залил клейкой мучной массой, чтобы так запечь. Стемнело. Завесили окошки и принялись пьянствовать. Вдвоем. Я среди них третья — больше никого нет. Свет сделали яркий — вроде прожектора. Фонарь принес с собой гауптман. Такого раньше видеть не приходилось: не электрический батарейный фонарик, а карбидный. Подобными светильниками пользуются шахтеры. Стало как днем. Подвесили фонарь под потолком, лица побелели.

Мне было страшно: как может наш советский человек, пусть подпольщик, дружески выпивать один на один с заместителем коменданта? А то, что стол был именно дружеский, это я видела своими глазами. Дед раздобыл откуда-то скатерку и две рюмки. Пили и самогон и коньяк из красивой бутылки, которую приволок с собой гауптман герр Штольц. Сперва говорили исключительно по-немецки, я ничего не понимала. Меня заставляли убирать и подносить посуду, подавать в стаканах воду, и при этом то один, то другой изредка подмигивал. Меня гордость заедала — отворачивалась. Хотела бы уйти, да не пускали.

Правда ли, что я была гордой? Но шла-то ведь я бороться за народ и чувствовала себя не Дусей и не Женей — девочкой при старших, — а бойцом Красной Армии. Не денщик же я для господ. Может быть, даже и заметно было по моему лицу, что хожу и действую через силу, переламывая себя. В самом деле — подмигивают! Хотите что сказать — говорите, постараюсь выполнить. А то сперва бьют, потом подмигивают...

...Интересно. Я уже раньше говорила, что Штольц, а иногда и другие офицеры комендатуры заходили по одному и по двое, большей частью ранним утром, выпить втихомолку самогону. Где старик его доставал — не знаю. Дома не варил — это точно. Приносил четвертями. Сыпал перец и сушеную траву — иногда зверобой, иногда лапчатку, — делал настой. Мне потом дед объяснял. Эти, мол, вражеские офицеры — они пресыщенные. Желается им испробовать новенького. А самогонный травяной настой и бодрит и от чего-то такого лечит. Может, от перепоя?

В тот вечер понемногу пили. Одно, другое. Закусывали рыбкой, огурчиками, помидорчиками — не торопились. Я чего только не передумала. Надеялась, например: вдруг гауптман — тоже наш разведчик, разве не бывает? Тогда мне за него становилось боязно. Не могут же не заметить в комендатуре, что он на такой долгий срок исчез из своей компании. У офицеров германских, при всей свободе передвижения, тоже своя дисциплина...

Не скрою: приходило на ум, что дедушка Тимофей ведет двойную игру — и нашим и вашим. Тоже бывает на войне. Сколько ни раздумывала — разрешить свои загадки не смогла. Меж тем и гость и хозяин разгорячились, поскидали шинели. Мне, правда, казалось, что мой хозяин хоть немного, а трезвее.

Вдруг дед обращается ко мне по-русски:

— Рассуди нас, Женюшка, мы вошли в спор. Дело касается тебя и таких, как ты.

Гауптман достал из карманчика стеклышко, зажал в глазу и стал на меня смотреть с трезвым вниманием. Будто и не пил. Будто один глаз, который он закрыл, мог быть пьяным, а этот, за стеклышком, деловой и серьезный, существует как бы отдельно.

— Будьте умной, девושька. Прошу.

Вот так раз, он по-русски может!

Я кивнула: дескать, слушаю.

Дед говорит:

— Ты заметила, что из Куцевки и ближайших станиц не вывозят девушек в Германию?

Отвечаю:

— Как я могла заметить, если была на карантине и никуда не выходила.

— Натюрлих, натюрлих! — подхватывает гауптман. — Фройлен замечайт не могла. Но ты, старик, не то произносишь, не тот вопрос. Мольши. Спрашивайт буду сам. Отвечайт, девושька, открыто, без боязнь. За это буду платить.

Я замотала было башкой, но старик нахмурился, и я сделала гауптману книксен. Он продолжал:

— Перед вами найн офицер, нет. Понимайт? Конец война, долой форма, и я есть коммерсант. Так? В форме тоже я коммерсант. Здесь! — Он ткнул себя пальцем в грудь. — Я есть представитель фирма «Штольц и сын». Отец имеет, я — сын-наследник. Живу не прошлым. Весь рейх смотрит вперед, я тоже. Хочу говорить свой фатер, отец: вот такая девושька — тысяша, два, три. Мужчины побиты — отцы, братья в могиле. Так?

Я кивнула. Дед поспешил сказать:

— Она умница, соображает.

Теперь и он заговорил по-русски. Успел мне под столом ногу придать.

Я сказала:

— Понимаю. Мужчины погибнут, а мы останемся.

— О! — воскликнул гауптман. — Я не скажайль, какой мой отец

имеет дело. Прогресс! Рыбная разводка... Здесь Азовское теплое море. Хотчу делайт золото. Много-много: осетр, белуга, стерлядь. Весь восточный берег хотчу делайт рыбопроизводный плантацияй. Нужно работниц — женщин, девושьек. Дайте руку...

Я не могла не подчиниться — протянула. Он заговорил:

— Эта рука есть германски золото. Сильный, крепкий у маленькой. У вас, фройлен, богатство — рука. Я видель, какая была дом, какая грязь. Две недель — превратился аметист, брильянт... Я ценью труд... Для кой черт пришель германский армий? Кровь лить? Нет! Найн, найн! Земля делайт, вода делайт, река делайт. Рыба! Год — и такая девושька работник. Веселий, крепкий. Тысяша, два тысяши, четыре... Как йапон — японц. За жемчуг девושька ныряйт. Общее житие, казарма, деньги на рост в банк. Тут так будет. Пять льет арбайтен, дальше — замуж, детки. Такая девושька дойтч бауэр жен возьмет...

Он, хоть с виду и тоскливый, разжегся. Стеклышко с глаза отбросил — так смотрит. Впился взглядом.

Дед мне дополнительно объясняет:

— Ты, внучка, вникни: этот господин, хоть он и носит погоны, кроме того, имеет свой интерес. Не баклуши бить сюда прибыл. Держава германская — это служба. И армия — служба. Но у них, ты знаешь, частники, капиталисты. Герр Штольц имеет коммерческую мысль обосновать именно здесь, в устье реки Еи и по ее притокам, огромное рыбопроизводное дело. Мы с ним для чего на лодке плаваем?.. — Он вопросительно глянул на Штольца.

Тот кивнул:

— Гут. Можно, можно!

— Хотчу обрисовать ей ваше начинание. Внучка стеснительная верлеген. Расположите к себе, объясните — и увидите: наилучшей станет вам слугой...

Штольц размяк. Благосклонно кивнул.

Старик принялся мне втолковывать дальше:

— Я, Женюшка, знаешь, еще в ту войну находился под Кенигсбергом в плену, где и привлечен был к рыбному делу, может даже, что и у их батюшки. Но это так, к слову. Здесь же мы с господином не только рыбку ловим, я по их поручению катаю по ерикам и заводям, где они надеются в недалеком будущем расставить свои, а значит, и отцовские сети. Потом рыть пруды для карпа: агромаднейшую намелит территорию. Мы с ними, с энтим вот господином, являемся как бы разведчиками-поисковиками фирмы. Ставим вешки, столбики, где на табличках: Штольц, Штольц, Штольц... Дошло? А тепер слушай наш спор. Господин гауптман рассчитывает на женские, девичьи руки. А я им говорю — выходит дело, спорю, — что женщины-казачки к рыбному делу и к воде нисколько не приспособлены и, ежли самостоятельно, только наведут порчу. Но в сопровождении парней их можно будет научить...

Гауптман перебил:

— Айн момент! Не ловля — разведение! Мужчин не нужен!

Старик упрямо гнул свое:

— Эк вы тоже! А где икру брать? С чего будем ваше фирменное богатство начинать? Сперва надо ловить рыбку, правильно? Давить из нее икру, делать садки... Все это мое дело, я в нем малость кумекаю. Но спор главный такой: спросите девчонку, и она вам подтвердит — девушки без руководства парней в воду нипочем не полезут. А вы должны как заместитель коменданта заранее обеспокоиться, чтобы молодые парнишки всей этой округи не схвачены были и не отпавлены в Германию, равно как и девушки. Таких-то, как она,

четырнадцатилетних, пока не мобилизуют. Но смотрите-ка, уже списки на парней и девушек от семнадцати до двадцати ваш начальник составляет. С чем же вы тогда останетесь? Где будут ваши кадры?

— Кад-ры? Что такое?

— Работники, значит. Эти самые, которые молодежь. Они вам нужны, а вы их из своих рук отдаете. С кем же вы станете работать?..

Я, конечно, взяла сторону деда. Ох и хитер старик! Хочет через этого спасенного им коммерсанта воздействовать на комендатуру, добиться освобождения мальчишек и девчонок от мобилизации и отправки в Германию. У меня дух захватило от такой его дерзости. Совсем для себя неожиданно я проникла в то, о чем никто мне не говорил. Не один же Штольц имеет здесь интересы. Фашисты земли захватывают, чтобы тут расположиться хозяевами, а нас запрячь наподобие скотов. Это понять надо, прочувствовать.

И подумать только, где разговор ведет. Прямо под нами лежат мины и бруски тола, которыми можно не только кущевскую комендатуру поднять на воздух, но и железнодорожную станцию, и склады ихние, и казарму...

...Вскоре гауптман стал собираться. Он пьян был, но держался молодцевато, сильно раскраснелся. Это у немцев обычно. На дворе разгулялась буря. Так завывало в окнах, что маскировочные тряпки, хотя окошко было замазано, а фортки и совсем не существовало, раздувались подобно парусам.

Гауптман загасил свой светильник, и мы как ослепли. Я побежала открывать, однако гость меня оттолкнул и двинулся сам. Смело шагнул в темноту да вдруг ка-ак заорет:

— О, вельтфельт, холлишь! Черт, дьявол!

Булькнула вода, слышно было, как хлупает и бьется — ни дать ни взять белорыбица на мели.

Вы б видели, как дед побежал. Сколько прыти открылось в нем и рвения. Не скидая сапог, прыгнул с разгона в воду и — айн, цвай, драй — вытянул гауптмана живого и здорового. Второй раз вырубил из воды.

Ну, гауптман орать стал. Со злости старику по уху влепил — вообразил, что тот в воде у него шарил по карманам.

— Господь с вами, — по-русски обижается дед. — Зачем мне ваши карманы... Лучше поскорей тут, на кухонке, разденьтесь, просушитесь ради бога. А мы с внучкой уйдем в горенку.

Однако гауптман распорядился по-другому. Велел деду идти искать лодку. Как идти по такой воде? Поднялась выше пояса. Да еще гнет ветер. И тут мы услышали крики:

— Гауптман, герр Штольц!

Оказалось, что приплыл на лодке тот самый солдатик. Он решил старательность проявить, загладить прежний свой проступок.

Гауптман был доволен. Даже извинялся перед моим дедом, что глупо его заподозрил. Это, мол, от раздражительности.

Свои извинения герр Штольц произносил по-немецки. Дед мне потом перевел. Он в ту ночь имел со мной продолжительный разговор.

(Продолжение следует)



ИЗ ТУДОРА АРГЕЗИ

Предлагаемая подборка стихов принадлежит перу выдающегося поэта Румынии Тудора Аргези (1880—1967).

В 1930 году за разоблачительные памфлеты против правящей клики Румынии поэт был брошен в тюрьму, а во время второй мировой войны за выступление против посла фашистской Германии был схвачен и посажен в концентрационный лагерь. Когда Румыния встала на путь социализма, Аргези приветствовал новый строй и с первых же дней стал активно выступать в партийной печати.

Т. Аргези — автор многих стихотворных сборников: «Нужные слова» (1927), «Цветы плесени» (1931), «Вечерняя книжечка» (1935), «Другие нужные слова» (1936), «Весенние медальоны» (1936), «Семь песен с закрытым ртом» (1939), а также романов «Глаза божьей матери» (1934), «Кладбище Благовещенья» (1936) и др.

Советскому читателю Т. Аргези известен по сборникам «Избранные стихи» (Гослитиздат. 1960), «Лирика» («Художественная литература». 1971), по публикациям в антологии румынской поэзии, в сборнике «Голоса поэтов» и в периодической печати.

ТВОИ ЛИСТЬЯ

Как ты, о тополь с пышнолистой кроной,
Хочу прохлады влажной и зеленой.
Лист, сплюснутый трепещущей сенью,
Ты моему подобен ощущенью.
Да, чувство — лист, чудесно шелестящий,
Что правит властно деревом и чащей.

Как много веток у тебя и листьев,
И у меня их много, незаметных...
Как много листьев и как много веток!
Когда сомненьем я томим и мучим,
Струится жажда по ветвям и сучьям.
Родятся почки, рвутся все упорней,
И через них стремятся к свету корни.

КОЛЮЧИЙ КУСТАРНИК

Ты так искал, кустарник мой колючий,
Единственный, невероятный случай
Извлечь цветок из сучьев косолапых.
Храня твой стебель от лопат и тяпок,
Я ждал тебя и год, и два, и пять...
Мне предлагали прекратить старанья,
Забить надежды. Лето шло за летом.
И ты вознаградил все ожидания
Прекраснейшим и невозможным цветом.

ДВЕ ДУШИ

Душа моя — канатоходец.
 А впрочем, две души имею.
 Одна ведет через колодец
 Витой канат, подобный змею,
 Дает команду, а другая
 Ей улыбается, шагая.
 В глазах ее — огонь звериный,
 Что сжег бы твердь до сердцевины,
 Всю выпил влагу, срезал птицу,
 Что в небе розовом кружится.

Арапник гонит акробата
 По шелку тонкого каната.
 С крылатым ветром в страшной схватке
 Ступают каменные пятки...
 Замрет. Зубами заскрежещет.
 Пощады нет. Арапник хлещет,
 Сечет колени и ключицы.
 Бедняге хочется спуститься.

Не трусь, не стой, не знай покоя,
 В ничто извечно роковое
 Бросайся и, вращаясь в безднах,
 Разбей замки цепей железных.

ДЛЯ ГРЯДУЩЕГО

Тепла волна приязни, а ты спустился в бездну,
 Расти лишь начинаешь, в неведомом исчезнув.
 Предусмотри все это, старайся и заранее,
 Чтоб не хулили прах твой за гибельною гранью.
 И отличен судьбою, ее отмечен знаком,
 Оставь хоть красный уголь в печи, забитой мраком.
 Всю жизнь ты был мне другом и тайно был
 враждебен,
 Исполни все как должно, свой отслужи молебен.
 Молениями твоими, и мыслями твоими,
 И добрыми делами, деяньями благими,
 Мое бессмертно сердце, мое бессмертно имя.
 Без жертвы состраданья, всем на земле присущей,
 Ты — словно червь забытый, в пустых пластах
 ползущий.

И время возродится в живущем человеке,
 Когда твой свет погаснет, уйдет от нас навеки.

Перевел МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ.



О Ч И Е Р К И Ж А Ш И Х Д Ж Е Й

ГАИБ КАЛАНДАРОВ,
АНАТОЛИЙ ПОКРОВСКИЙ

★

С ПАМИРА ДАЛЕКО ВИДНО

Самолет прорывается на Памир по ущелью, словно поезд по тоннелю. То справа, то слева над нашим «ЯКом» вспыхивают белые солнца ледников и наконец вытягиваются по сторонам самолета в две ослепительные линии. Человеку, еще не остывшему от зноя душанбинского аэропорта, кажутся просто не-реальными эти девственно-чистые скопления снега. Ощущение такое, будто ле-тишь сквозь заиндевший испаритель гигантского холодильника, сработанного технически подкованными джинами.

Это первый сигнал о предстоящих впечатлениях. И сколько потом ни коле-сишь по горным дорогам, то угрюмый склон горы, буквально подпирающей небо, то отчаянно глубокий речной каньон, а то сад, разбитый прямо среди камней, постоянно напоминают — это Памир. Да и сами дороги не дают позабыть о своем географическом положении. Даже выдавшие виды здешние дорожники предусмотрительно ставят у поворотов лаконичные надписи: «Водитель, проверь тормоза!» Не знаем, как шоферов, а нас краткая выразительность предостережений весьма охлаждала жаркими июльскими днями. Очень уж узкой казалась тогда дорога, проложенная над крутым обрывом. И только позже, когда на машине пришлось преодолевать перевал, все наши прежние пути показались чем-то вроде шоссе между Адлером и Сочи. Но на перевале никаких надписей уже не стояло. Не требовалось.

Как раз с памирских дорог и началась наша беседа с начальником Памир-ской геологоразведочной экспедиции Э. З. Таировым.

Над Хорогом опустилась непривычно душная ночь, и даже Гунт, сердито воевавший в темноте с камнями, не давал прохлады. А звезды, по-горному круп-ные, прижались к самым вершинам, словно тоже устали от жары.

— Каково же в такие дни геологам, — начали мы разговор с банальной фра-зы о погоде.

И услышали неожиданный ответ:

— Знаете, в маршруте жара почему-то не так замечается. То ли ветерок в горах постоянно тянет, то ли заботы отвлекают. И главное, пить надо днем по-меньше. Зато вечером уж обязательно выпьешь пару пол-литровых банок сладко-го чая. И утром снова готов шагать.

Таиров крепко потер коротко остриженную голову, повернулся к нам всем своим плотно сбитым корпусом.

— А вам не приходилось бывать в геологических партиях?

— Увы, нет.

— Хотите, поедem завтра?

Утром наша машина побегала по горной дороге вверх по течению Пянджа. Отсюда вот она — рукой достать можно — вершина, к которой мы стремимся. Но машина крутит и час и другой по горным спиралям, а наша цель только дразнит кажущейся близостью. И с каждым новым виражом все понятнее становится лукавое присловие памирцев: «Далеко ли соседний кишлак?» — «Да нет, рядом,

сразу за ущельем». — «А как пройти туда?» — «В первый день обогнете первую гору, во второй — вторую, а там и кишлак увидите».

Мы обогнули положенное нам число гор и наконец оказались в кишлаке Лал. Отсюда уже видны черные норы старинных выработок, а чуть выше курится легкая дымка — это геологи Горанской поисково-разведочной партии на высоте трех тысяч метров пробивают дорогу к сокровищам недр. Чтобы попасть к ним, осталось сделать последний бросок по склону, который много веков назад был искожен древними рудознатцами. И тут наш «газик» неожиданно решил не вступать с ними в соперничество, отказался лезть выше — закипела вода в радиаторе. Вот уж действительно памирское понятие «близко» весьма относительно! Пришлось конец маршрута, как истым геологам, проделать пешком. Должны признаться сразу: доброму совету Таирова мы не последовали, а добравшись до партии, усердно навалились на чай, радушно предложенный гостеприимными геологами.

А они расположились на уступе горы со всеми мыслимыми удобствами. Здесь в подтверждение слов Таирова тянул освежающий ветерок, и в палатках было сравнительно прохладно. Начальник партии Ю. Д. Шалин выложил на грубо сколоченный деревянный стол куски камня, некогда бывшего предметом зависти знатных красавиц, служившего изысканным поэтическим образом в цветистых сравнениях восточных сочинителей. Так вот он, лал, к научному названию которого — шпинель — геологи добавили эмоционально окрашенный эпитет — благородная. Но пока он лишь тускло поблескивает в окружающей белой породе. Увы, полностью оценить его красоту сейчас может только глаз специалиста. И тогда Таиров кладет рядом уже ограненный московскими ювелирами самоцвет. Оказывается, геологи отобрали 500 граммов добытой шпинели и отправили ее в Москву. Там примерно 50 граммов сумели использовать для обработки. И — этот жест очень тронул геологов — послали образцы своей продукции обратно в горы, чтобы их могли оценить и те, кто добывал камень.

Вот что значит уметь заставить свет заискриться в гранях! Теперь мы понастоящему видим, каков он, этот сказочный лал. В голове вертится знакомая с детства поговорка «Ал лал, бел алмаз, зелен изумруд». Правда, бадахшанский лал скорее переливает всеми оттенками сиреневого цвета. Впрочем, кто возьмется описывать игру солнечных лучей в гранях самоцвета! Такой знаток, как Бируни, в своем «Собрании сведений для познания драгоценностей» посвятив целую главу бадахшанскому лалу, называет несколько его оттенков.

Народная поговорка ставит лал в один ряд с самыми ценными камнями, и позже наука подтвердила это. Академик Ферсман относит памирское сокровище к самоцветам первого порядка, соседи лала по классификации — алмаз, рубин, сапфир, александрит. Вот только судьба его более сложная.

Если добыча других драгоценных камней практически не прерывалась, а технология постоянно совершенствовалась, то памирский лал несколько столетий не добывался и, по существу, исчез с мирового рынка. Пока мы не знаем, почему примерно двести лет назад замерли разработки в отрогах Ваханского хребта. Лишь несколько лет назад геологи снова начали здесь поисковые работы. И сразу столкнулись с новой загадкой. Как удавалось древним рудокопам пробивать в диком камне огромные выработки в несколько сот метров? Геологи партии, спускаясь в них, кроме фонаря, брали с собой компас: в разветвлении ходов не мудрено заблудиться. И все-таки способ разработки остался неясен. А он важен не только для знакомства с древней техникой горного дела. По мере опытных изысканий геологи добывают пока так называемый «технический лал». Этот камень, испещренный трещинами, мало пригоден для ювелирных работ. А ведь, скажем, в Алмазном фонде можно увидеть лал внушительных размеров.

Так в чем же дело? То ли на качество камня влияют взрывы, которыми геологи прокладывают себе дорогу в недра гор, то ли это естественное его состояние и просто надо тщательнее искать залежи подходящих кристаллов? А с другой стороны, ювелиры знают крупные обработанные лалы с трещиной. И дело, возможно, еще и в умении ограничивать камень?

Конечно, за несколько веков перерыва люди утратили значительную часть

опыта добычи и отделки лала, но эта утрата восполнима. Во всяком случае, начальник отряда И. П. Юшин настроен оптимистически. А он большой знаток сокровищ Памира, удачно проработал здесь более двух десятков лет, последняя его находка — залежи лазурита в ущелье Шах-Дара. И вот теперь на очереди лал. Что ж, набираются опыта геологи, набираются опыта ювелиры, и бадахшанский лал начинает пробовать себе дорогу на мировой рынок.

Возвращались мы тем же путем, но, странное дело, все окружавшее начали видеть как бы наново. Горы, как человек, с которым ближе познакомился, стали охотнее показывать свои ранее неприметные особенности. Ледники, прозрачные ручьи, маленькие пятячки полей, огражденных камнями, постепенно выстраивались в стройную, строго согласованную систему. И чем дальше мы забирались в горы, тем больше убеждались, что памирская крыша вознесена над миром словно мудрое техническое сооружение.

Уже сам памирский принцип расположения запасов воды способен вызвать восхищение. Вспомните, как хлопочут дачники, пристраивая над крышей своего домика бак, чтобы в жару принимать освежающий душ. А тут природа догадливо поместила в виде резервуара настоящий «твердый океан» — тысячи квадратных километров ледников, — иначе как в твердом состоянии влагу для припамирских знойных долин не сохранить. И «душ» устроен соответствующих размеров — свыше трехсот рек и речушек берут начало на плоскогорье. Они несут в долины не только воду своих родителей-ледников. Они несут туда жизнь. Ибо без влаги цветущие поля под южным солнцем давно превратились бы в бесплодные пустыни.

Словом, одно из величайших плоскогорий на свете стало поильцем, а значит, и кормильцем огромных территорий Средней Азии. Но, как показали научные исследования, слово «кормилец» применительно к Памиру следует трактовать значительно шире.

Человеческая цивилизация, гордящаяся своими древними очагами в районах с благодатным морским климатом, долгое время довольствовалась смутными слухами о Памире. С конца XIII века и почти до XX столетия для европейцев самым исчерпывающим было описание, сделанное знаменитым Марко Поло: «Двенадцать дней едешь по той равнине, называется она Памиром; и во все время нет ни жилья, ни травы, еду нужно нести с собою. Птиц тут нет, оттого что высоко и холодно. От великого холода и огонь не так светел и не того цвета, как в других местах, и пища не так хорошо варится...»

С высоты сегодняшнего уровня знаний мы спокойно можем отметить неточности в описаниях прославленного венецианца. Его острая наблюдательность (чего стоит одно упоминание, что «пища не так хорошо варится»: ведь теперь известно, вода на высоте кипит при более низкой температуре) была притуплена рядом обстоятельств. Это скорее передача эмоционального состояния человека, почувствовавшего себя затерянным в огромном горном крае, чем строгое научное свидетельство. Да и сделано оно спустя десятилетия, в камере генуэзской тюрьмы, так что потери в точности были неизбежны. Нам сейчас важно другое — это мнение о Памире как о мрачном и пустынном плоскогорье столетиями господствовало не только в обывательских, но и в научных кругах. И не мудрено. Даже великий Александр Гумбольдт, совершивший путешествие по России вплоть до китайской границы, упоминая в своих работах Памир, вынужден был опираться на свидетельства случайных путешественников. Ничего другого в распоряжении науки не было.

Положение изменилось сто лет назад — можно назвать точную дату начала систематического научного изучения Памира. Летом 1871 года в его северных предгорьях появилась экспедиция А. П. Федченко, которая ввела в научный обиход первые точные данные о «крыше мира». А затем знаменитые экспедиции Н. И. Вавилова привлекли особое внимание биологов к этому горному краю.

Все началось с, казалось бы, не очень значительного факта — Вавилов обнаружил здесь неизвестную ранее разновидность ржи, так называемую безлигульную. Но «ради нее одной надо было быть на Памире!» — воскликнет позже уче-

ный. Эту находку можно считать первым звеном в цепи научных открытий Вавилова, приведших его к идее географических центров происхождения культурных растений и закону гомологических рядов наследственной изменчивости. Суть этого закона в том, что генетически близкие виды характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости, и, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предсказать наличие аналогичных форм у других видов и рядов растений. Не случайно закон гомологических рядов назван периодической системой в биологии.

В ходе этих исследований впервые удалось выяснить, что Памир и другие изолированные горные районы земного шара играют роль изначальных поставщиков культурных растений для человечества. Механизм их распространения Н. И. Вавилов рассмотрел именно на примере ржи. Обнаружив много ее разновидностей на Памире, он заметил, что в низменных, теплых районах она считается лишь сорняком пшеницы. И только по мере продвижения вверх, в более суровые для земледелия условия, рожь постепенно начинает использоваться как хлебная культура.

Законы горизонтального распространения растений должны быть аналогичны тем, по которым происходит их вертикальное распространение. Ведь продвигаясь в сторону высоких широт, растения тоже постепенно попадают все в более суровые условия. От подножия горных изолированных районов, которые в силу особых природных условий несут в себе всю амплитуду сортовой изменчивости культурных растений, наши кормильцы и заселили огромные территории от Месопотамии до сибирской тайги и северных районов Европы. Нет, не стоит известным нам древним центрам цивилизации кичиться перед считавшимися ранее пустынными нагромождениями гор. В докладе по сельскохозяйственному освоению Памира Н. И. Вавилов говорил: «Величайших достижений в земледельческом промысле, так же как и в искусстве, человечество в прошлом достигло не в богатейших по природным ресурсам низменных субтропических и тропических районах с их могучей растительностью, а, наоборот, на границе пустынь, в горах, преодолевая огромные препятствия, завоевывая каждый клочок земли».

Кстати сказать, современная экология особый интерес проявляет к исследованиям условий, «крайних для жизни», — высокогорий, пустынь, Арктики. Здесь жизнедеятельность растений приобретает ряд характерных черт, обеспечивающих высокую стойкость к неблагоприятным влияниям среды. А раскрыть и использовать резервы живого организма — что может быть заманчивее для селекционера!

Как раз размышляя о возможностях селекции, Н. И. Вавилов снова обращал свое внимание к тем районам, откуда человечество получило культурные растения. Он подчеркивал: «...только подойдя вплотную к географическим центрам формообразования, установив все звенья, связующие виды, можно, как нам кажется, искать путей овладения синтезом линнеевских видов... Только владея систематико-географическими знаниями, генетик сможет сознательно подойти к подбору исходных форм для скрещивания...»

Таковы научные последствия, казалось бы, рядового ботанического факта — находки на «крыше мира» неизвестной ранее формы ржи. Но история о том, как по отдельным уликам восстанавливается истинная роль Памира в жизни растений, еще не кончилась.

Каждый, кто бывал в Хороге, конечно же, задирая голову, любовался здешними неправдоподобно высокими тополями. А можно сказать, что незаконно высокими. Дело в том, что французский ученый Г. Боннье, высаживая в Альпах и Пиренеях различные растения, вывел совершенно четкую закономерность. Чем выше в горы — тем ниже становились его подопытные, зачастую принимая стелющиеся формы. Так и было записано во всех учебниках ботаники. А тут на высоте около двух тысяч метров вопреки геории вымахали такие красавцы.

Стали разбираться. За этой короткой фразой стоят многие экспедиции, организованные виднейшими учеными на протяжении десятилетий. Советское правительство не жалело средств для сельскохозяйственного освоения и изучения высокогорных районов. Уже в 1928 году на Памире была проведена экспедиция,

одним из руководителей которой стал управляющий делами СНК СССР академик Горбунов. Следующий крупный этап совершен в 1934 году, когда началась экспедиция Средне-Азиатского университета имени В. И. Ленина. За три года ее деятельности было положено начало ряду фундаментальных исследований природных богатств Памира. И что особенно важно, экспедиция оставила после себя постоянные научные учреждения — Биологическую станцию на Восточном Памире и Ботанический сад на Западном. Ими руководили люди, чьи имена навсегда остались связанными с научным изучением этого края, — профессора П. А. Баранов, И. А. Райкова, А. В. Гурский. Имя Гурского, который двадцать шесть лет был директором Ботанического сада, и носит теперь это уникальное учреждение.

В 1946 году методом народной стройки к нему был проложен восьмиклометровый канал Ханиф, позволивший начать орошение территории сада. Колхозники понимали что делали, когда помогли ученым в строительстве канала. Они уже успели почувствовать, что значит дружить с наукой. Именно здесь был создан первый в Горном Бадахшане плодовой питомник, где для колхозов области выращены сотни тысяч плодово-ягодных и виноградных саженцев.

Чудеса в саду начинаются с первого же знакомства. На высоте от 2100 до 3800 метров прижились растения Средней Азии, Восточной Азии, Европы, Крыма и Кавказа, Северной Америки. И не по одному-двум представителям, а по 130—200 видов в каждом разделе. Рядом растут бархат амурский и пенсильванская черемуха, дуб Гартвиса и ясень бархатистый из Калифорнии, дальневосточные аралии и сибирская лиственница. В саду можно насчитать 90 сортов яблонь, 38 — абрикоса, 15 — персика, 14 — груши, 20 — сливы, 5 — алычи.

Уже сами по себе эти цифры для «пустынного» Памира просто сказочны. Но как и говорится в сказках, «это чудо — все не чудо». Мы не совсем точно выразили мысль, когда сказали, что здесь «прижились» представители разных континентов. Они показали на Памире неизведанные свойства. Просто не приходит в голову, что дуб может вырастать за год на три метра и на четвертом году жизни дать желуди. А урожай помидоров по 11,5 килограмма с куста? А клубни картофеля в два килограмма весом? Мы стоим у подсолнуха и не верим глазам — растение во все стороны раскинуло желтые свои шляпки. Пятьдесят крупных цветов на одном стебле...

Но пока речь идет о саде, где человек влияет на растения, помогает им выжить. А что же происходит в самой природе? Пожалуй, наиболее показательна в этом смысле судьба грецкого ореха. До последнего времени на Памире его никто не разводил — существовало поверье, что человек, посадивший такое дерево, должен умереть. И все же здесь есть растения, превосходящие по выходу зерна и содержанию масел самые высокие мировые стандарты, а урожай с одного дерева нередко достигает 200—300 килограммов. Все это результат естественного отбора, ибо на Памире полиморфизм грецкого ореха развит необычайно. Примерно то же самое можно сказать и о яблонях. По данным А. В. Гурского, примерно 90 процентов используемых человеком яблонь приходится на долю дикорастущих деревьев.

И еще один не совсем обычный факт. На перевале Хабурабат был найден ранее неизвестный вид тополя. Так пока и не установлено — то ли это межвидовой гибрид, то ли спонтанный пилоплоид, но деревья обладают колоссальной энергией роста и непривычно крупными листьями. К сказанному надо добавить, что среди главных культурных растений как раз и преобладают спонтанные пилоплоиды. Значит, Памир не только был, но и остался одним из центров формообразования растений? Ученые начали тянуть эту ниточку, и клубок удивительных фактов стал понемногу разматываться.

Директор Памирского биологического института Х. Юсуфбеков рассказал, что недавно в одном из кишлаков ученые института нашли яблоню, которая за короткое памирское лето успевает плодоносить дважды. Дереву сто шестьдесят лет, под ним отдыхали члены весьма авторитетных научных экспедиций, но, как любил повторять Луи Пастер, случай помогает подготовленному уму.

Конечно, планомерно искомые «случаи» — вещь в науке необходимая. И прошлым летом заведующий сектором генетики и селекции института Ф. Нигматуллин вернулся из экспедиции с ценными находками — неизвестными доселе формами реликтовой пшеницы. Они могли сохраниться только в таком замкнутом, хорошо изолированном горном крае, как Памир. Находка обогатит наши знания о развитии культурной пшеницы. Этот рядовой ботанический факт связывается воедино с крупнейшими проблемами современной генетики и селекции.

В последнее время на страницах печати все чаще появляются сообщения о так называемой «зеленой революции». Разумеется, можно спорить о том, насколько удачен сам термин. Но прежде всего и важнее всего разобраться в правомерности его появления. Что послужило для него фундаментом — суетное желание блеснуть красным словом или стремление как-то выделить, окрестить новое явление в нашей действительности?

Давайте припомним — еще в прошлом веке с развитием промышленной революции обозначились ножницы между ростом населения, в особенности городского, и неуклонным уменьшением количества пахотной земли. А в ходе научно-технической революции расстояние между концами этих ножниц все увеличивается. И если подходить со старыми мерками, то может показаться, что оправдываются самые мрачные прогнозы мальтузианцев: земля уже не сможет прокормить населяющее ее человечество. Но в том-то все и дело, что и просто мальтузианцы, и неомальтузианцы не в ладах с диалектикой. Ведь научно-техническая революция дала людям новые орудия сельскохозяйственного производства, более совершенную технологию и, главное, резко повысила возможности селекционной работы. Успехи биологии позволяют говорить сейчас о выведении таких сортов, которые помогут резко поднять урожайность. И прежде всего, конечно, зерновых культур. На недавнем съезде генетиков и селекционеров академик ВАСХНИЛ Д. Д. Брежнев прямо заявил: «Современная селекция стремится к созданию идеального сорта».

Какие же качества, по его оценке, составляют это понятие для хлебных культур? Получается довольно длинный и сложный список: урожайность — примерно 100 центнеров с гектара; устойчивость к полеганию; иммунитет против основных болезней, устойчивость к неблагоприятным факторам среды; скороспелость; высокое качество зерна; повышенное содержание белка и незаменимых аминокислот.

Перед селекционерами сегодня стоит задача — подобрать растения, способные внести свою лепту в создание идеального сорта. Об этом хорошо сказал один из сподвижников Н. И. Вавилова, академик ВАСХНИЛ П. М. Жуковский: «Как инженеру-строителю необходим надежный и отличный по качеству строительный материал, так и селекционеру необходим надежный, разнообразный и многокачественный исходный ботанико-географический и генетический материал».

Казалось, чего бы проще. Берите исходный материал, благо только в ВИРе собрано свыше 200 тысяч образцов со всех концов земного шара, и соединяйте нужные свойства одно с другим. Увы, есть в науке такое понятие «генетический потенциал». Так вот, при использовании известных нам культурных растений он позволяет поднять урожайность максимально на несколько центнеров. Само по себе это, конечно, совсем не плохо, но слишком далеко от качественного скачка к «идеальному сорту».

Дело в том, что почти все современные культурные растения были одомашнены еще за несколько тысячелетий до нашей эры. Древность некоторых из них настолько велика, что мы даже не знаем их предшественников, — это относится, например, и к кукурузе. В то же время еще в глубокой древности из совокупности множества видов был отобран и приобрел важное значение для человека только какой-то один. «Надо удивляться, — пишет по этому поводу П. М. Жуковский, — как древнее человечество сумело из столь обширного родового потенциала отобрать отдельные самородки генотипов... Древнее человечество подхватило когда-то этих младенцев природного синтеза и вырастило их в ценнейшие культурные виды».

Итак, мы получили в наследство от своих предков богатый набор культурных растений, которые нас выкормили. Но по мере распространения возделываемых человеком земель все более вытесняются другие растения, а ведь в них-то и сохраняются резервы генетической изменчивости. Вот почему Д. Д. Брежнев подчеркивает, что сейчас «...значительно возрастает роль исходного материала для селекции, а также значение наиболее полной мобилизации мировых растительных ресурсов. Значение мобилизации растительных ресурсов возрастает еще и потому, что на земном шаре происходит (по разным причинам) исчезновение видов. Это вызывает огромную озабоченность мировой научной общественности, и сама проблема сохранения генетических богатств перерастает в глобальную проблему».

И если теперь мы вспомним, что Н. И. Вавилов установил: центры происхождения культурных растений являются вместе с тем центром их разнообразия, богатейшим источником исходного материала, — нам станет понятнее место Памира в современных исследованиях и радость сотрудников биологического института, когда им удается обнаружить неизвестную ранее разновидность злаков.

Такие поисковые экспедиции проводятся регулярно. Еще не до конца систематизированы богатейшие флора и фауна Памира, еще не все ясно в процессах формообразования растительного и животного мира. А дорог для биологов, так же как и для геологов, никто в этом горном крае не прокладывал. Да они и сами стараются забраться подальше от торных путей, и потому каждая экспедиция — путешествие не из легких.

Вы знаете, что такое овринги? Это памирская тропа, проложенная по склону горы над пропастью. Для удобства путников ее устилают фашинником, несколько скрадывающим наклон тропы. Ходить по оврингу — настоящее горское искусство. Так вот сотрудники Биологического института прошли по ним многие десятки километров. Не случайно здесь работают в основном молодые, сильные и выносливые люди. Им нужны знания ученых и опыт альпинистов.

За острыми ощущениями здесь далеко путешествовать не приходится. На условленную заранее встречу с нами Х. Юсуфбеков и его заместитель А. А. Коннов пришли с небольшим опозданием.

— Непредвиденная задержка получилась, — извинились они. — С утра решили еще раз обойти Ботанический сад по внешней границе и в самом узком месте повстречались с гюрзой. Лежит, понимаете, посредине тропинки, голову приподняла, холодно смотрит, а дороги уступать не собирается. А у нас даже хлыстика в руках нет. Пришлось карабкаться по склону вверх, обходить гостью.

— И много в саду змей? — осторожно поинтересовались мы.

— Нет, пока мало, — с непонятным нам сожалением вздохнул Юсуфбеков. И мечтательно добавил: — Вот когда мы засадим горные склоны да оросим их, там станет попрохладнее, тогда и гюрзы к нам пожалуют.

Коннов, уловив недоумение на наших лицах, поспешил пояснить лирическое отступление директора:

— Рассказы о коварстве гюрз сильно преувеличены. Сами они никогда не нападают на человека, а вот пользу приносят немалую — уничтожают грызунов.

Но, конечно, на одних «вольных поисках» экспедиций не может строиться работа института. Настала пора осмысления накопленных биологами фактов, систематического изучения памирских «случайностей», с тем чтобы уверенно вывести их закономерности.

Найти разгадку оказалось не так просто, как представлялось в первое время после создания Ботанического сада. И потому-то несколько лет назад начался новый этап изучения Памира — здесь был образован Биологический институт. Одна из первых его задач, по выражению его директора, — «облагородить Памир».

О важности этой стороны деятельности института нам рассказывал местный уроженец, первый секретарь Горно-Бадахшанского обкома партии Хушкадам Давлякдамов. Человек глубокообразованный, кандидат философских наук, он умеет мыслить масштабно и не упускать из поля зрения отдельные подробности, если они касаются жизни памирцев.

— Посмотрите, — говорит Х. Давляткадамов, — как природа распределила земельные угодья области: бросовые земли — ледники, скалы, крутые склоны — занимают девяносто пять и девять сотых процента ее территории, пастбища — четыре с половиной, сенокосы — шесть сотых, леса, заросли кустарников — семнадцать сотых и продуктивные земли — восемнадцать сотых процента. По-моему, для такого богатого края это просто несправедливо. И если раньше мы старались исправить несправедливость природы, так сказать, стихийно, то теперь нам здорово помогает наука. В Биологическом институте хорошо понимают эти проблемы.

Да, мы убедились сами: сын чабана и сам в прошлом чабан, член-корреспондент Академии наук Таджикской ССР Худоёр Юсуфбеков особенно ревниво следит за тем, чтобы менялось неблагоприятное соотношение цифр. Он знает возможности Памира и верит в них. За недолгий период своей научной деятельности институт уже немало сделал для горного края. По созданному в институте методу залужения и повышения продуктивности пастбищ освоено более 900 гектаров, а за пятилетку эта цифра почти удвоится. Мелиоративные работы позволили включить в сельскохозяйственный оборот 1600 гектаров. В 1971 году с этих полей снят первый урожай табака и зерновых. По рекомендации ученых памирские колхозы начали заниматься новыми для себя отраслями — бахчеводством и овощеводством. Раньше все овощи завозились сюда из других районов Средней Азии. Одновременно с решением практических задач в институте создан большой теоретический задел, посвященный пока еще не разгаданным особенностям местного растительного мира.

Мы с Х. Юсуфбековым и его заместителем кандидатом биологических наук А. А. Конновым забрались в самый тенистый уголок сада, скрываясь от пронзительных лучей памирского солнца. Они удивительно хорошо дополняют друг друга — Юсуфбеков и Коннов. Оба молоды и полны творческих планов, только один по-южному горяч и порывист, а другой подчеркнуто сдержан и даже медлителен. Но каждый из них без затруднений продолжает мысль другого, восполняя ее своими, только ему присущими особенностями.

Доктор сельскохозяйственных наук Юсуфбеков среди множества дел, которые легли на его плечи, сохранил пристрастие юных лет — заботу о расширении и улучшении пастбищ. Коннов как геоботаник больше занят проблемами содружества растений, и оба мечтают увидеть свой сад обогащенным, многое делают, чтобы он стал, как и мечтал его создатель А. В. Гурский, образцовым научным учреждением. Да и не только научным. Вместе с хлопотами о его экспозиции руководители института взяли на себя заботу о пешеходных дорожках и гостинице для приезжающих — сад видится им центром пропаганды богатств и особенностей местного растительного мира.

Итак, что же достоверно известно об этих особенностях? Деревья и кустарники быстро растут и дают большие урожаи потому, что почек на них закладывается в два-три раза больше, чем на равнинах. Кроме того, нередко сращиваются соседние побеги, цветы и плоды — происходит так называемая фасциация. Опытами установлено, что зона самого активного роста и плодоношения расположена на высоте 2000—2500 метров. А вот как и почему это происходит, пытаются понять ученые.

Сначала сам собой напрашивается простой вывод: раз на Памире интенсивность ультрафиолетового излучения в полтора раза больше обычного, значит, оно и влияет на развитие растений. В секторе экспериментальной экологии профессор Е. К. Кардо-Сысоева провела серию опытов по отсечению коротковолновой части солнечного спектра.

Их результаты показали, что «виноват» не только ультрафиолет. Видимо, дело в механизме воздействия на растения в целом горного света — на Памире высокая прозрачность и сухость воздуха приводит к повышенной солнечной радиации.

Но и это еще не все. Содержание углекислого газа в высокогорьях примерно вдвое меньше, чем на равнинах. Как это влияет на растения? И почему они выдерживают такой огромный перепад температур: от минус 30 в ноябре —

марте до плюс 35 градусов в июле? А ведь к этому надо добавить, что в тихие памирские ночи холодный воздух опускается в низины и создает так называемые морозобойные ямы.

Завесу тайны несколько приоткрыли все те же опыты с отсечением ультрафиолета. Оказалось, что жесткое облучение повышает стойкость растений к низким температурам. И сейчас ученые все больше склоняются к мысли, что не какой-то один фактор, а весь комплекс своеобразных памирских условий создает то неповторимое сочетание, которое позволяет растениям раскрыть свои подспудные силы. Словом, еще раз подтвердилось высказывание великого русского ученого И. М. Сеченова: «Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него». А раз так, резко расширяются задачи памирских биологов. Но вместе с этим возрастает и значение их работы для всего сельского хозяйства — раскрытие секрета бурного роста растений и высоких урожаев позволит людям уверенно управлять продуктивностью своих полей.

А эта проблема уже поистине памирских масштабов. И кажется очень показательным для размаха исследований, что здесь на помощь земной науке приходит наука «небесная» — биологи института начали вести измерения солнечной радиации в содружестве с физиками.

Человеку, незнакомому с историей этого содружества, ничего не скажет и сообщение о том, что в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова действует установка под названием «Памир». Ну, «Памир» так «Памир», мало ли слышали мы названий от скучно-технических до поэтически-возвышенных! Да и какая связь между исследованием структуры уровней атома водорода и экспериментами памирских биологов? А между тем название это выбрано не случайно и такая связь существует.

Во-первых, чисто человеческая. Руководитель работ на московском «Памире» Ю. Л. Соколов около четырнадцати лет провел на «крыше мира». Приехал как ловец космических лучей, идущих из глубин неба, а стал одним из исследователей ловушек солнечного света, поднявшихся из недр земных.

К тому времени профессор А. В. Гурский высказал первые догадки о влиянии ультрафиолетовой радиации на развитие растений. Но точными выкладками подтвердить этого пока не мог -- биологи еще не владели достаточно надежными методами физических измерений. Это обстоятельство и явилось толчком к переходу отношений Гурского и Соколова от простого знакомства к тесному сотрудничеству. Юрий Лукич вспоминает, что рассказал о работах памирских биологов И. В. Курчатову. Тот не только живо заинтересовался ими, но просил оказать биологам возможную помощь. В результате в 1957 году в Памирском ботаническом саду оказался первый сложный физический прибор — переносный спектрометр, изготовленный в Институте атомной энергии специально для памирцев. Следом там же был создан кварцевый монохроматор для исследования энергетического распределения солнечного излучения по всему спектру. Так все больше стали сближаться исследования людей, мечтающих зажечь на земле прирученное термоядерное солнце, и людей, изучающих загадки превращения солнечного света в зеленой фабрике растений.

В природной лаборатории, которой по праву считается Памир, люди вооружаются современной техникой. Она помогает им проникнуть в тысячелетние тайны растительного мира.

Он еще молод, этот древний Памир. Как всякий молодой организм, горы здесь продолжают расти. И вместе с ними на новый уровень поднимается человеческое знание об окружающем нас мире. Словом, с Памира далеко видно.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. И. МИКОЯН

★

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ*

НА ГУБЕРНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРиблизжалась XII губернская партийная конференция. Много, конечно, изменилось за минувшие полгода, и нам не хотелось бы повторения прошлой конференции. Придавало силы и уверенности то, что уездные и районные организации высоко оценивали усилия бюро и всего губкома. Помню, как в Семёнове коммунисты уезда приняли резолюцию, в которой приветствовали губком «как высший партийный орган за его колоссально проделанную работу за период короткого времени...»¹.

XII губернская партийная конференция состоялась 19—21 августа 1921 года.

При открытии конференции я выступил с речью, в которой отметил, что «XI конференция проходила в совершенно иной внутривнутрипартийной обстановке. Тогда у нас был как бы партийный кризис и ряд болезненных явлений. Нижегородская организация переживала период обостренной фракционной борьбы, когда усилия партийных работников и их умы были направлены не на указание правильных путей местным работникам в партийном строительстве, не на работу по общему укреплению партии, а на борьбу между группами и фракциями...

...В этом отношении XII конференция собирается в иной обстановке. Сейчас мы не видим фракционности, не видим разного рода группировок, наоборот, мы видим сплоченную массу работников мест и всех коммунистов... Наше единодушие есть залог того, что после XII конференции наша организация станет еще более крепкой и сильной, объединенной, спаянной общей работой и общей целью и достигнет всех намеченных целей... Единство — это залог всех наших успехов в революционной борьбе и в деле победы нашей партии...»².

Конференция со вниманием выслушала приветственную речь представителя ЦК партии Залуцкого. В ней он дал краткий и деловой обзор общего положения в стране, рассказал о характере трудностей, которые пережила партия в гражданскую войну и переживает теперь, в мирных условиях — при переходе к новой экономической политике, а также о новых методах партийной работы, которые должны обеспечить нам скорейшую победу.

После выступления представителя ЦК я по поручению президиума конференции предложил послать приветственную телеграмму ЦК РКП, осуществляющему руководство «...нами на всех фронтах, как на фронте гражданской войны,

* Продолжение Начало см. «Новый мир» №№ 9 и 10 с. г.

¹ ПАГО, ф. 11, оп. 1, д. 160, л. 11.

² «Известия Нижегородского губернского комитета РКП». Н. Новгород, 1921, № 8-9-10, стр. 5—6.

так и на фронте борьбы с голодом и разрухой», и заверить Центральный Комитет, что он может спокойно и уверенно «...опираться на нашу Нижегородскую организацию как на прочную, дружную и непобедимую крепость, которая выстоит не только сама, но еще и окажет помощь другим, кто в ней нуждается...».

Это предложение было единодушно поддержано всеми делегатами конференции.

Надо сказать, что еще до открытия XII партийной конференции наш губком решил обратиться к комитетам партии ряда соседних губерний с предложением принять участие в нашей конференции.

Говоря об этом при открытии конференции и приветствуя приехавших к нам гостей, я внес предложение заслушать их выступления в самом начале работы конференции, до отчета нашего губкома. «Мы должны обменяться опытом, оценить взаимные успехи и ошибки, поучиться тому хорошему, что сделано в соседних губерниях, чтобы избежать имевшихся у них ошибок. Такой взаимный обмен опытом между нашими губкомами тем более важен, поскольку на всероссийских конференциях и съездах обычно мало можно узнать о конкретном опыте отдельных партийных организаций».

Последовали интересные и содержательные выступления представителей Иваново-Вознесенского, Костромского и Рыбинского губкомов партии. От Петроградского губкома нашу конференцию приветствовал Крайнев, который приехал к нам из Питера незадолго до этого в качестве председателя губернской комиссии по чистке партии.

Возможно, представляет интерес хотя бы простое перечисление тех вопросов, которые обсуждались тогда на нашей партийной конференции: сами по себе они достаточно убедительно свидетельствуют о широком круге проблем, волновавших тогда губернскую партийную организацию.

Помимо отчетного доклада губкома (о котором скажу несколько слов дальше), конференция заслушала и обсудила доклады: о деятельности ревизионной комиссии губкома, о работе губернской контрольной комиссии, о хозяйственной политике и организации промышленности в губернии, о сборе продналога и товарообмене, о промысловой (кустарной) и сельскохозяйственной кооперации, о партийной работе в деревне в связи с новой экономической политикой Советской власти, о ходе чистки партии, о помощи голодающим. Кроме того, на конференции были проведены выборы руководящих партийных органов губернии.

Не буду пересказывать содержание отчетного доклада губкома, с которым я выступал на этой конференции. Сошлюсь только на несколько конкретных фактов, приведенных в нем как свидетельство характера и общего масштаба работы, проделанной за шесть месяцев после последней партконференции.

В ту пору одной из важнейших государственных задач была борьба с контрреволюцией. И надо сказать, что нижегородцы внесли достойную лепту в это большое дело. «По призыву X партийного съезда, — докладывал я делегатам конференции, — менее чем за 24 часа губкомом было мобилизовано и послано в Питер для подавления мятежа в Кронштадте 25 руководящих губернских работников... Из состава Нижегородской делегации X съезда постановлением делегации было отправлено под Кронштадт четыре коммуниста вместо требуемых двух, причем нужно отметить, что сначала почти вся делегация хотела добровольно отправиться на фронт, но лишь необходимость вернуться немедленно в Нижний, чтобы сохранить там устойчивое положение, заставила делегацию ограничиться четырьмя делегатами.

Мы с гордостью можем отметить, что все без исключения нижегородцы в огне сражений под Кронштадтом проявили необходимую стойкость и неустрашимость и вернулись к нам обратно только после окончательной ликвидации мятежа...

Боевой дух нижегородцев был в те дни очень высок, желающих ехать под Кронштадт оказалось очень много. Достаточно сказать, что один только комсомол и моряки организовали отряд около ста человек...»

Ведя повседневно большую работу по преодолению мелкобуржуазной стихии в своей губернии, мы крепко помогли тогда некоторым другим губерниям в борьбе с бандитизмом и в укреплении руководства их партийных организаций, откомандировав свыше ста своих опытных руководящих партийных работников в Тамбовскую, Тюменскую и Саратовскую губернии, а также в распоряжение ВЧК.

Говоря об общем направлении работы губкома, я заявил, что «...через всю деятельность нашего губкома красной нитью проходит линия на всемерное приближение органов Советской власти и всей нашей партии к нуждам и заботам беспартийных рабоче-крестьянских масс, укрепление влияния партии среди них... Поэтому губком уделял много внимания руководству советской, профессиональной и хозяйственной работой в губернии».

Помню, что мы очень много занимались в то время вопросами выдвижения и воспитания новых руководящих партийных кадров, что имело особый смысл, поскольку от нас постоянно забирали на руководящую работу в другие губернии многих ценных работников. Как правило, мы этому не очень противились, понимая необходимость укрепления партийной работы не только у себя «дома», но и в других губерниях. Поэтому процесс выдвижения на руководящую работу губернского масштаба все новых и новых рабочих, а также уездных и районных работников проходил у нас в те годы очень активно. «Из пяти членов президиума губисполкома четыре были взяты нами за это время непосредственно с уездной и районной работы. Полностью обновлено за счет уездных работников руководство губженотдела, в коллегии губпродкома введены два рабочих. То же самое сделано в губернском отделе социального обеспечения, в коммунальном и других отделах губисполкома...»

Подробно и обстоятельно доложил я партийной конференции о работе только что возникшего тогда у нас губернского экономического совещания (ГУВЭКО-СО), губпосевкома, рассказал о руководстве проведением в губернии новой экономической политики (тогда это была центральная наша задача), о сборе продналога и товарообмене, о руководстве работой Советов и широком вовлечении в них беспартийных рабочих и крестьян, о состоянии нашей кооперации, о работе в армии, в профсоюзах, в комсомоле, среди женщин и национальных меньшинств, о массовой политико-воспитательной работе, о нашей связи с местами и о многом другом...

А в заключение доклада сказал, что «Нижегородская партийная организация достигла сплоченности, необходимой для деловой и успешной работы. Мы многое сделали в смысле оздоровления нашей организации... Все болезненные явления, нарушавшие единодушие в нашей работе, судя по всему, изжиты... Мы надеемся, — заявил я, — что наше стремление быть единодушными восторжествует и мы создадим из нашей организации крепкую опору для рабочего класса — мощную и единую, сплоченную коммунистическую организацию рабочих и крестьян нашей губернии».

С докладом о задачах начавшейся проверки рядов партии на конференции выступил Залуцкий — председатель Центральной комиссии по проверке, пересмотру и очистке партии, а с содокладом по этому же вопросу — председатель Нижегородской губернской комиссии Крайнев. Указав, что проверка началась у нас несколько раньше, чем в других губерниях, и что поэтому мы не смогли воспользоваться их опытом, он доложил о самых первых результатах работы губернской комиссии.

Вопрос о проверке, пересмотре и очистке рядов партии обсуждался еще во время X партийного съезда.

Уже тогда становилось ясным, что в результате разложения среди старой интеллигенции, а также среди меньшевиков и эсеров произошел немалый приток в нашу партию «негодных элементов» из этой среды. В партию, как отмечал X съезд, «...вошла некоторая часть мелкобуржуазных и не обработанных в коммунистическом духе мещански-интеллигентских и полуинтеллигентских элемен-

тов»³. Они пришли к нам с багажом прошлого — со своими старыми, неизжитыми еще взглядами и убеждениями, навыками и методами работы, с мелкобуржуазными привычками и замашками...

Вообще надо сказать, что с того времени, как наша партия стала правительственной и одержала большие победы в годы гражданской войны, к ней больше и больше стали примазываться чуждые, карьеристские элементы.

Не случайно, что уже в самом начальном периоде нэпа среди «случайных» партийцев, не понявших новой экономической политики, а вернее, усмотревших в ней «возврат» к частной собственности, довольно широко стали проявляться такие отвратительные явления, как стяжательство, торгашество, карьеризм, отрыв от масс и пренебрежение к интересам и запросам трудящихся. Развилась погоня за личным обогащением и благополучием с неизбежно сопутствующими этому злоупотреблениями и моральным разложением...

Вот почему уже в решениях X партийного съезда была поставлена задача «...очищения партии от некоммунистических элементов»⁴ и «...предохранения партии от засорения ее негодными элементами»⁵.

Летом 1921 года была создана Центральная комиссия по проверке, пересмотру и очистке партии, а также аналогичные ей губернские комиссии, независимые от местных партийных органов. Губернские комиссии назначались Центральной комиссией и подчинялись непосредственно ей. Губкомы партии имели право лишь периодически заслушивать доклады этих комиссий о ходе проверки, не вмешиваясь, однако, в их оперативную деятельность. Четко определялись требования, которыми должны руководствоваться в своей работе все эти проверочные комиссии.

В обращении ЦК РКП(б) ко всем партийным организациям «Об очистке партии», опубликованном в июле 1921 года, говорилось: «Нет звания выше, чем звание революционера-коммуниста, члена Российской коммунистической партии. Добьемся того, чтобы это звание носили лишь те, кто его действительно заслужил»⁶.

Работа по проверке рядов партии заняла всю вторую половину 1921 года.

ЦК партии и лично Ленин внимательно следили за ходом этой работы, не раз предотвращая возможные перегибы в деятельности местных комиссий, добываясь от них максимальной объективности и подлинной партийности при решении вопроса о судьбе каждого коммуниста.

Особое значение придавал Ленин активному участию в чистке широких масс трудящихся. В статье «О чистке партии» (сентябрь 1921 года) он специально подчеркнул, как важно при проведении проверки рядов партии опираться на беспартийные рабочие массы, на их высказывания о коммунистах. Они могут, конечно, и ошибаться, писал Ленин, «но в оценке людей, в отрицательном отношении к «примазавшимся», к «закомиссарившимся», к «обюрократившимся» указания беспартийной пролетарской массы, а во многих случаях и указания беспартийной крестьянской массы, в высшей степени ценны»⁷.

...Возвращаясь к нашей конференции, хочу сказать, что на ней высказывалось много добрых слов о работе губкома. Конечно, нас основательно критиковали, критиковали по-деловому, но общий тон всех, даже самых критических, выступлений носил благожелательный характер.

Дружно прошли и выборы нового состава губкома. В него вошли 20 рабочих, 4 интеллигента и один крестьянин. Костяк губкома составили представители наиболее крупных районов и уездных организаций.

³ «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». М. 1970. Изд. 8-е, т. 2, стр. 211.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же, стр. 277.

⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 123.

НЕМНОГО ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Гостем нашей конференции был один из старейших членов партии Сергей Иванович Мицкевич⁸. Он рассказал делегатам многое такое, о чем мы не имели тогда никакого представления. Мицкевич вспомнил, например, о своей первой встрече с Лениным, — здесь, в Нижнем Новгороде, летом 1893 года, — о деятельности местных социал-демократов в конце прошлого века.

Все мы слушали его с огромным вниманием. Наверное, каждый делегат конференции чувствовал себя в те минуты как бы участником переключки между поколениями первых социал-демократов и нынешних коммунистов, которым выпало счастье претворять мечты о социализме в действительность.

После взволновавшего всех выступления Мицкевича я предложил в память тридцатилетия существования Нижегородской партийной организации соорудить в городе памятник погибшим жертвам революционной борьбы, а также собрать документы, материалы и издать сборник по истории нашей организации.

..Я был счастлив, когда много лет спустя, побывав в Горьком, увидел и этот чудесный памятник на площади Свободы и узнал о том, что горьковчане издали обстоятельный сборник «30 лет Нижегородской организации ВКП».

Хорошо помню, что выступление Мицкевича на партконференции дало вообще сильный толчок развитию работы по созданию истории нашей партийной организации, имевшей славные революционные традиции.

Для этого имелись все необходимые условия.

Прошло всего несколько лет после Октябрьской революции. Еще живы были участники первых марксистских кружков, участники встреч с Лениным в годы подполья, баррикадных боев 1905 года, революционной борьбы 1917 года. Важно сохранить для будущих поколений воспоминания всех этих людей — подлинных героев истории.

Встал вопрос о том, чтобы создать бюро Истпарта. Помнится, на первых порах все это бюро состояло, по существу, из одного молодого журналиста «Нижегородской коммуны» Илларионова, взявшегося за дело довольно энергично.

Самое сложное в ту пору заключалось в том, чтобы убедить занятых людей в необходимости засесть за воспоминания. И все же Илларионову это удалось. Он начал собирать материалы, связанные с революционным движением в Нижегородской губернии еще в 1918 году, во время своей работы в Сормовском Совете рабочих депутатов.

Среди тех, от кого ему удалось получить воспоминания, были такие видные деятели партии, как Н. А. Семашко, М. Н. Лядов, С. И. Мицкевич, Б. М. Волин и некоторые другие. Руководитель первого Нижегородского комитета РСДРП, созданного в 1901 году, Александр Иванович Пискунов поделился воспоминаниями о встречах с Лениным и о его влиянии на социал-демократическое движение в Нижнем Новгороде, о прочных связях нижегородцев с ленинской «Искрой».

Во время работы XII губернской конференции в августе 1921 года нам удалось как-то вечером собрать многих деятелей Нижегородского подполья, воспользовавшись присутствием на нашей конференции Сергея Ивановича Мицкевича. Как говорил потом Илларионов, все выступления на этом вечере записали и позднее использовали в изданиях местного Истпарта.

Благодаря энергии и настойчивости Илларионова в 1920—1922 годах под его редакцией в Нижнем издали четыре тома «Материалов по истории революционного движения», в которые вошли статьи и воспоминания 80 активных деятелей.

⁸ Мицкевич С. И. (1869—1944) — один из старейших деятелей революционного движения в России, врач по профессии. Вел пропагандистскую работу в марксистских кружках еще в 1893—1894 годах, подвергался арестам, был в ссылке. В 1906—1914 годах находился в Нижнем Новгороде, где вел революционную работу. После Октябрьской революции — на руководящей советской и военно-политической работе. Организатор и директор Центрального музея революции. Последние годы занимался литературной деятельностью.

лей нижегородского большевистского подполья и другие ценные исторические документы. Интересно отметить, что Илларионов отправил все эти четыре тома в Москву — Ленину, и Владимир Ильич оставил их в своей личной библиотеке. Эти самые тома и сейчас можно видеть на полках в комнате, расположенной рядом с кабинетом Ленина в Кремле.

Помнится, среди циркулярных писем, разосланных в ту пору губкомом в уездные и районные организации, было и письмо «О содействии работе истпарта». Желая шире привлечь внимание партийных организаций и отдельных коммунистов к делу собирания и сохранения документов, связанных с историей Нижегородской партийной организации, письмо это опубликовали также и в «Нижегородской коммуне».

Прочтя превосходный роман М. С. Шагинян «Первая Всероссийская», а главное, перечитав переписку семьи Ульяновых, опубликованную в сборнике Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, я узнал много для себя нового о родителях и вообще о семье Ленина, в том числе и за те годы, когда Ульяновы жили в Нижнем Новгороде, где родились их старшие дети Александр и Анна.

Из книги нашей талантливой писательницы и в особенности из этой интересной, волнующей и сердечной переписки Ульяновых как живой встал передо мной яркий образ отца Ленина — благородного и умного человека, мудрого педагога, а также полный обаяния, удивительно женственный и совершенно неповторимый облик Марии Александровны — мужественной женщины, верного друга Ильи Николаевича и нежной, заботливой матери...

...А совсем недавно я узнал еще некоторые интересные подробности о связях и самого Ленина с Нижним Новгородом⁹. Как известно, молодой Ленин еще в 90-х годах проявлял большой интерес к социал-демократическим организациям, возникшим в Нижнем Новгороде на рубеже 80 — 90-х годов.

Оказывается, на протяжении 1893—1900 годов Ленин пять раз побывал в Нижнем Новгороде, встречаясь там с местными социал-демократами.

Каждый такой приезд и встречи Ленина с нижегородскими революционерами способствовали их идейному росту и организационному сплочению.

Уже после первой встречи с Лениным (1893) начался переход от работы в кружках молодежи из интеллигенции к систематической пропагандистской деятельности среди рабочих.

Со вторым приездом Ленина (1894) связан новый рост сознания нижегородских социал-демократов, услышавших непосредственно от Ленина аргументированную критику народнической идеологии и научное объяснение закономерностей капиталистического развития России, а также обоснование исторической роли русского пролетариата в предстоящей революции.

Третий приезд Ленина в Нижний оказал решающее влияние на переход от кружковой нелегальной пропаганды революционных идей марксизма к массовой агитации среди нижегородских рабочих, обеспечившей рост местной социал-демократической организации.

Нижегородская организация социал-демократов была связана и с созданным Лениным в 1895 году петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». Проживавшие в Петербурге нижегородцы-марксисты (студенты А. Ванев, М. Сильвин и сестры Невзоровы) были соратниками Ленина по этому «Союзу» и осуществляли непосредственно влияние на Нижегородскую организацию.

В 1900 году, объезжая ряд городов России, Ленин дважды побывал в Нижнем Новгороде. Очевидцы указывают, что встречи с Лениным сыграли решающую роль в деле преодоления оппортунистических идей экономистов, имевших тогда довольно широкое распространение среди нижегородских социал-демо-

⁹ См. брошюру А. Лугинина «По ленинским местам». Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1971; а также статью Н. М. Добротвора и В. П. Фадеева «В. И. Ленин в Нижнем Новгороде». «Вопросы истории КПСС», 1960, № 2, стр. 156—165.

кратов, чему немало способствовала проживавшая здесь в 1893—1895 годах Е. Кускова — одна из авторов «Кредо» экономистов. А. И. Пискунов писал в своих воспоминаниях, что эта встреча «...закончила наше идейное обращение и сделала нас его (то есть Ленина.— А. М.) верными последователями на все последующее время».

Таким образом, мы видим, что с момента возникновения в Нижнем социал-демократической организации Ленин оказывал на нее непосредственное и постоянное влияние, всячески помогал ей стать на правильные, марксистские позиции. Видимо, это и обусловило то обстоятельство, что революционная работа, которую вели нижегородские социал-демократы, по своему уровню, характеру и темпам имела много общего с деятельностью самых передовых социал-демократических организаций России.

Несомненно, что все эти старые революционные традиции во многом определили и последующее развитие политической жизни в Нижнем Новгороде.

Во всяком случае, когда в 20-х годах, работая здесь, я поближе узнал Нижегородскую партийную организацию, познакомился со многими замечательными старыми большевиками-нижегородцами, с передовыми сормовскими, канавинскими — старыми и молодыми — рабочими, то понял, что в этой среде господствует в основном здоровая, партийная атмосфера и что, несмотря ни на какие трудности и антиленинские влияния, нижегородские большевики с честью перенесут все эти испытания и останутся верными тому пути, основы которого были намечены и проложены здесь много лет назад еще самим Лениным...

ОППОЗИЦИОНЕРЫ НЕ УНИМАЮТСЯ

Несмотря на то, что XII губернская партийная конференция прошла очень дружно и сама партийная организация никогда еще не была такой единой и сплоченной, оппортунисты не успокаивались.

К Ленину и в ЦК партии продолжали поступать жалобы на «притеснения», которым якобы подвергаются в Нижнем Новгороде все те, кто не хочет «подчиняться» местному губкому.

Я уже говорил, что в августе 1921 года в Нижний приезжал из ЦК партии Залуцкий, принявший участие и в работе нашей XII партийной конференции.

Одновременно он занимался и расследованием жалобы директора Сормовского завода Чернова, который на заседании Оргбюро ЦК при обсуждении поставленного по его просьбе вопроса о положении в Сормове заявил в моем присутствии о якобы больших «непорядках» в Нижегородской партийной организации. В своем выступлении он говорил, в частности, что наш губком не руководит Сормовским райкомом партии.

Оргбюро поручило Залуцкому выехать в Нижний Новгород, принять участие в работе предстоящей у нас губпартконференции, а кроме того, совместно с губкомом разобраться в жалобе Чернова и результаты доложить в ЦК.

После обсуждения этого вопроса на бюро губкома (конечно, с участием Чернова и актива) Залуцкий признал жалобу Чернова необоснованной.

Возвратившись в Москву, Залуцкий дал в ЦК положительную оценку как работы губкома, так и хода XII губпартконференции, которая, как он заявил, продемонстрировала сплоченность и идейное единство организации, несмотря на выступления отдельных сторонников Шляпникова. Доложил он и результаты проверки жалобы Чернова; с его выводами ЦК согласился.

Дважды приезжал в Нижний по заданию ЦК Сольц (из ЦКК): в августе и ноябре 1921 года. Оба его приезда были связаны тоже с жалобами в ЦК и ЦКК на решения губернской комиссии по проверке и очистке Нижегородской партийной организации. В жалобах писали, что комиссия якобы огульно и необоснованно исключает из партии механически всех тех, кто прежде принадлежал к «рабочей оппозиции», и допускает при этом групповое исключение.

Оба раза со свойственной ему скрупулезностью и глубиной Сольц детально изучал все материалы губернской комиссии, прежде всего, конечно, в отношении лиц, подавших жалобы. Подробно беседовал с каждым из них. Перепроверял обоснованность предъявленных им обвинений. Присутствовал на заводских собраниях коммунистов и рабочих (в Сормове и других районах), где шла проверка коммунистов. Выступал на этих собраниях, задавал вопросы, делал все, чтобы вовлечь в обсуждение проверяемых коммунистов как можно больше рядовых партийцев, рабочих от станка...

Выступая потом на заседании бюро губкома партии, Сольц заявил, что общее впечатление у него от проделанной у нас работы неплохое: «Видно, что отнеслись к делу вдумчиво и серьезно. Были, конечно, и личные отношения, но редко. Особенно хорошо, — отметил он, — прошла работа в рабочих районах».

Примерно так же докладывал он и в ЦК партии и ЦКК о результатах своей поездки в Нижний.

ЦК и ЦКК приняли доклад Сольца к сведению, а решения нижегородской губернской комиссии по проверке и очистке нашей организации утвердили.

НА XI ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

19 декабря 1921 года открылась XI Всероссийская партийная конференция, на которой я присутствовал как делегат от Нижегородской организации.

Все мы были уверены, что вновь увидим и услышим Ленина, который действительно собирался быть на этой конференции: нам стало известно, что он даже заполнил делегатскую анкету...

Однако в день открытия конференции мы узнали, что из-за болезни Ленина на конференции не будет.

Поэтому решили снять с повестки дня конференции ранее намечавшийся общеполитический отчет ЦК партии, с которым должен был выступать Ленин: деятельность ЦК могла быть обсуждена в связи с другими вопросами, поставленными на конференции, — о хозяйственном строительстве, об итогах чистки рядов партии и о тактике Коминтерна.

...И все же список 13 коммунистов, избранных в президиум конференции, по-прежнему возглавлял Ленин...

...Все, что услышал я на этой конференции, было ново и интересно.

Работая до этого на Кавказе, я плохо еще знал условия, в которых приходилось трудиться коммунистам Советской России. Поэтому знания, которые я почерпнул из выступлений на конференции, не только значительно расширили мой общий кругозор, но и дали возможность более правильно сориентироваться в области многих важных проблем хозяйственной жизни и руководства экономикой.

К тому же я был избран одним из пяти членов секретариата XI партконференции, внимательно все слушал, хотя сам и не выступал, считая, что еще недостаточно подготовлен, чтобы внести свою лепту в обсуждение всех этих новых для меня сложных экономических проблем...

С докладом об очередных задачах партии в связи с восстановлением хозяйства выступил Каменев, о промышленности — председатель ВСНХ Богданов, о сельском хозяйстве — заместитель наркома земледелия Осинский и о кооперации — председатель Центросоюза Хинчук.

По всем этим хозяйственным вопросам на конференции развернулась оживленная дискуссия.

Справедливой критике подвергли попытку Каменева весьма «пространно» и к тому же довольно туманно рассказать о хозяйственной политике партии в период военного коммунизма. Подчеркивая, что национализация предприятий происходила тогда в большинстве случаев не по единому плану, а стихийно, главным образом по решениям местных органов в силу создавшихся у них сложных условий, он сперва очень долго говорил о том, как много при этом допущено

ошибок, а потом доказывал необходимость и правильность перехода к продналогу...

Все это заняло у него почти половину доклада. К тому же было и очень неуместно, поскольку Ленин в своих недавних выступлениях уже подробно разъяснил, что политика военного коммунизма навязана военной обстановкой и что при ее проведении были, конечно, допущены и определенные ошибки...¹⁰

Касаясь опыта последнего полугодия, докладчик подробно остановился на развитии рыночных отношений.

На предыдущей, майской партийной конференции было признано, что основным рычагом новой экономической политики должен стать товарообмен между государственной промышленностью и сельским хозяйством, организуемый на правах монополии — через кооперацию — в пределах свободы местного оборота.

Однако на деле такой товарообмен сорвался, и в августе 1921 года Советское правительство было вынуждено снять это ограничение. К тому времени в результате отмены продразверстки в стране широко развился внутренний рынок.

В ряде городов возникли товарные биржи. Не обладая достаточным фондом промышленных товаров для выступления на рынке, мы еще не сумели взять рынок под контроль государства. С другой стороны, промышленность из-за отсутствия продовольствия и сырья восстанавливалась очень медленно. Дальнейшее развитие рыночных отношений остро поставило вопрос о деньгах. Бедность государства в условиях военной разрухи и голода, вызванного засухой, вынуждала правительство всемерно сокращать расходы на содержание советских учреждений в целях экономии госбюджета. Необходимо было подчинить рынок государственному контролю и руководству, развить деятельность Госбанка, а также кредитных товариществ, коопераций и государственных торговых организаций. Остро встал вопрос об уменьшении выпуска бумажных денег, которые продолжали обесцениваться.

О многом говорилось на конференции в связи с обсуждением докладов по хозяйственным вопросам, и в первую очередь по вопросу о промышленности: ведь речь шла фактически о возрождении промышленности в труднейших условиях «разорения, переутомления и истощения главных производительных сил, крестьян и рабочих...»¹¹.

Приняли решение в первую очередь наладить производство на важнейших государственных промышленных предприятиях страны, которые перешли в непосредственное ведение центра (ВСНХ). Наша промышленность должна, как это сказано в решениях XI партконференции, «...применяясь к условиям рынка и методам состязания на нем, завоевать свое решительное господство»¹².

...На конференции шла речь о том, чтобы, борясь с распылением весьма ограниченных сил, средств и квалифицированных кадров по отдельным предприятиям, провести рестрирование основных отраслей государственной промышленности и не допустить возрождения отвергнутой системы «главкизма». Говорилось о правах центра и методах работы Советов по управлению предприятиями, о поддержке инициативы мест и коллективов предприятий, а также о внедрении хозрасчета в их работу, о роли и значении профсоюзов в восстановлении промышленности и о многом, многом другом...

Обсуждение докладов шло на конференции очень активно, конкретно, остро и на этот раз без налета фракционности или оппозиции к линии Центрального Комитета партии, хотя в выступлениях было немало и разнобоя...

Но в целом конференция проходила деловито: она носила характер подготовительный к IX Всероссийскому съезду Советов, который должен был собраться через несколько дней, чтобы принять решения по наиболее значительным вопросам дальнейшего хозяйственного строительства.

¹⁰ См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 157, 159, 165, 194, 204, 212.

¹¹ Там же, т. 43, стр. 79.

¹² «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», т. 2, стр. 307.

Считаю нужным несколько подробнее остановиться на высказываниях ряда делегатов относительно монополии внешней торговли.

Вопрос о внешней торговле возник на конференции в связи с тем, что интересы восстановления народного хозяйства настоятельно требовали установления и всяческого развития наиболее выгодных для нас торговых, промышленных и кредитных отношений с зарубежным рынком.

Тогда я не был еще в курсе этого вопроса и многое понял лишь позднее, когда споры о монополии внешней торговли среди руководителей партии приобрели характер острых разногласий.

Выступая на XI партконференции Каменев указывал, что нам надо сохранить за собой все основные «командные высоты» социализма, в том числе и монополию внешней торговли. Никаких предложений или даже намеков на ослабление монополии у него тогда не было.

Некоторые же другие делегаты конференции высказывались не только за ослабление, но даже и за фактическую ликвидацию монополии внешней торговли. Например, член президиума ВСНХ В. Милютин заявил, что «...в отношении внешней торговли я здесь не боюсь сказать, и конференция может прямо заявить о необходимости предоставления некоторой свободы частной инициативы»¹³.

Другой руководящий работник ВСНХ, Смилга, пошел еще дальше, заявив, что «...наша политика удержания монополии внешней торговли является ошибкой»¹⁴, и потребовал, чтобы резолюция конференции в этом вопросе была уточнена.

Даже осторожный обычно Чубарь, тогда хозяйственный руководитель Донбасса, сказал в своей речи, что «в области внешней торговли должен быть применен разносторонний подход»¹⁵, как мы и делаем в ряде других экономических вопросов.

Тогда замнаркома финансов Сокольников тоже настаивал на изменении форм внешней торговли. Но дальше всех пошел Осинский, откровенно заявивший, что «...надо сейчас решительно выступить против национализации внешней торговли, не останавливаясь на двусмысленной позиции»¹⁶. Он утверждал, что государственная монополия на торговлю вообще не нужна, а нужна конкуренция — «...иначе все будут спать и Внешторг ничего не будет делать. Необходимо монополию уничтожить, создать высокий таможенный барьер, который создаст то же самое, что монополия внешняя торговля»¹⁷. Это была откровенно ликвидаторская позиция в отношении одной из важных командных высот диктатуры пролетариата.

В заключительном слове докладчик отверг предложения о денационализации внешней торговли, заявив, однако, что в связи с тяжелым периодом, который сейчас переживает наша страна, мы открываем двери во внешнюю торговлю только для кооперативных центров и губэкономсовещаний. «Будем ли мы для частного капитала открывать дверь или нет? — сказал Каменев. — Сейчас не будем, а будем ли мы в дальнейшем вынуждены ее открыть? Не знаю. Это будет зависеть от борьбы. Борьба решит, на сколько мы эту дверь больше приоткроем, или меньше. Во всяком случае, эту дверь надо держать в руках пролетариата, и это и есть национализация торговли»¹⁸.

Со свойственным ему оппортунизмом Каменев, как мы видим, с одной стороны, вроде бы и защищал монополию внешней торговли, но, с другой стороны, допускал возможность отступления от такой монополии в дальнейшем, считая, что в зависимости от обстановки «двери во внешнюю торговлю» могут быть открыты и для частного капитала.

¹³ «Всероссийская конференция РКП(б) (19—22 декабря 1921 г.)». Стенографический отчет. Ростов-на-Дону. 1922, стр. 42.

¹⁴ Там же, стр. 46.

¹⁵ Там же, стр. 53.

¹⁶ Там же, стр. 59.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же, стр. 85.

Судя по последующим событиям, можно сделать вывод, что все эти высказывания о монополии внешней торговли остались неизвестными Ленину. Это видно хотя бы из того, что в своих записках о внешней торговле, написанных уже после конференции, об этих высказываниях он нигде не упоминает, хотя известно, что Ленин не оставлял без отпора доходящие до него высказывания руководящих работников в пользу ликвидации или ослабления монополии внешней торговли.

Доклад председателя Центральной комиссии по проверке и чистке партии Залуцкого опирался на предварительные данные: наиболее полные сведения имелись у него только по основным промышленным центрам. Из доклада мы узнали, например, что по Московской организации исключены из партии свыше 16 процентов; по Иваново-Вознесенской — 8,3 процента. В Петрограде исключили около 17 процентов. По нашей Нижегородской партийной организации вне рядов партии оказались 16 процентов. А вот данные о неявившихся на чистку, то есть добровольно ушедших из партии. В Иваново-Вознесенской губернии не явились для проверки 141, а в Питере (с губернией) — 900 с лишним человек.

Доклад Залуцкого не вызвал широкого обсуждения: выступили всего два делегата, которые дали в основном положительную оценку проделанной работы по проверке рядов партии, после чего приняли резолюцию «Об укреплении партии, в связи с учетом опыта проверки личного состава ее», утвержденную позднее ЦК и XI съездом партии¹⁹.

Забегая несколько вперед, хочу сказать, что XI партийный съезд признал, что «первая чистка партии, проведенная во всероссийском масштабе, в общем прошла удовлетворительно». Она освободила партию от «карьеристских и шкурнических элементов»²⁰, удалила из партии «негодный элемент»²¹.

Два заседания Всероссийской конференции заняло обсуждение вопросов Коминтерна. Выступили почти все присутствующие руководящие работники, связанные с деятельностью Коминтерна. Споры шли такие горячие, что некоторым из них довелось выступать по два раза. С большим вниманием и напряжением слушали мы, делегаты конференции, все эти выступления. Такое подробное и всестороннее обсуждение актуальных проблем международного коммунистического движения для большинства делегатов было, что называется, в новинку.

Предложения ИККИ предусматривали переход к новой тактике в работе Коминтерна — тактике единого фронта в борьбе с капиталом, который перешел в наступление на рабочий класс. Эта тактическая линия никем из выступавших не оспаривалась.

Спор возник в связи с длинной речью Троцкого, фактически превратившейся в содоклад.

Поддерживая предложенный проект резолюции, Троцкий давал иную оценку современного состояния капитализма. Опираясь на материалы журнала Коминтерна, он утверждал, что за последнее время наметился подъем экономики капиталистических стран. Этим он пытался объяснить и наступательную тактику буржуазии. Докладчик же и другие выступавшие товарищи, споря с ним, доказывали, что кризисное состояние капитализма продолжается и что отдельные факты подъема капиталистической экономики не меняют общей картины.

XI партконференция присоединилась к тезисам исполкома Коминтерна по вопросу о едином рабочем фронте, выразив твердую уверенность, что тактика, предлагаемая Коминтерном, «...поможет коммунистическим партиям Европы и Америки собрать самые широкие рабочие массы под знамя коммунизма и на основе собственного революционного опыта этих масс с полной наглядностью разоблачить предательство вождей соглашателей и центристов».

¹⁹ «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», т. 2, стр. 308—312.

²⁰ Там же, стр. 338.

²¹ Там же, стр. 345.

Как остро чувствовали мы отсутствие на этой конференции Ленина! Будь он с нами, куда больше ясности было бы внесено в сложные вопросы международной и внутренней политики.

Нас всех тогда больше всего волновало состояние здоровья Ильича.

И как мы были счастливы, когда буквально через несколько дней вновь увидели Ленина на IX Всероссийском съезде Советов, где он выступал с отчетным докладом ВЦИК и Совнаркома²².

...Последний съезд Советов, на котором присутствовал Ленин.

ВЫЗОВ В ЦК И ПОЕЗДКА В СИБИРЬ

В начале января 1922 года меня вызвали из Нижнего Новгорода в ЦК, не сообщив о причине. Когда я прибыл в Москву, то в ЦК сказали, что меня хочет видеть Сталин и что мне следует пойти к нему на квартиру в Кремле. Он жил в здании, на месте которого теперь стоит Дворец съездов. Я поднялся на второй этаж. Сталин занимал две комнаты с узким коридором.

Принял он меня приветливо. Сказал, что вызвал и беседует со мной по поручению Ленина. Речь идет о работе по подготовке к очередному, XI съезду партии. Начал с вопроса: как обстоит с этой точки зрения положение у нас, в Нижегородской организации? Я коротко сообщил, что после длительной борьбы наша организация оздоровилась, сплотилась вокруг ленинских идей и уверенно идет к предстоящему съезду. Отдельные группки и лица, связанные со Шляпниковым, есть, но они уже не имеют особого значения.

Видимо, Сталин задал этот вопрос, чтобы как-то начать беседу, ибо в ЦК хорошо знали о положении в нашей организации. Поэтому он сразу перешел к делу.

Условия, сказал Сталин, в которых идет подготовка к XI съезду, коренным образом отличаются от тех, которые были накануне X съезда. На горизонте не видно никаких разногласий и открытых группировок или политических платформ. ЦК не придает большого значения тому, что Шляпников с узкой группой своих сторонников, оторванный от масс, скрытно ведет групповую работу. Теперь уже он и его группа не представляют серьезной опасности, и если что-нибудь антипартийное возникнет, то быстро провалится.

Главная опасность может идти от Троцкого и его сторонников. Но пока они ведут себя тихо. Никаких заметных разногласий, могущих отразиться на партии, нет. Конечно, от Троцкого можно всего всего ожидать. До съезда остается еще два месяца. Он может выкинуть какой-нибудь политический трюк, но, по всему судя, это теперь маловероятно. Надо полагать, что скорее всего он, проученный горьким опытом X съезда, изберет другую тактику: пойдет на съезд без разногласий, без платформ, демонстрируя полное единство. Этим он рассчитывает усыпить бдительность партии, восстановить свой авторитет, провести побольше своих сторонников в Центральный Комитет. При отсутствии платформ и разногласий делегаты будут отдавать свои голоса за кандидатов в центральные органы партии по соображениям только их персональных достоинств, предавая забвению прошлые принципиальные разногласия. И если в таких условиях в ЦК будет избрано относительно много бывших троцкистов, то это представит опасность для работы ЦК, после того как съезд разойдется. Потом Троцкий может поднять голову, вызвать разногласия в ЦК и, опираясь на своих сторонников, всячески затруднять работу ЦК, мешать тому, чтобы партия под руководством Ленина сосредоточилась целиком на положительной работе, может начать борьбу против Центрального Комитета, как это уже было осенью 1920 года.

Поэтому, сказал Сталин, мы озабочены тем, какие делегаты приедут на предстоящий партийный съезд и много ли среди них троцкистов.

²² Подробнее об этом выступлении см. в моей книге «Мысли и воспоминания о Ленине», стр. 188—194.

В этом отношении нас беспокоит Сибирь. Там еще довольно много троцкистов, они пользуются определенным доверием и влиянием в своих организациях, и поэтому есть опасность, что многие из них окажутся в числе избранных делегатов съезда.

— Вот почему, — сказал он в заключение, — Ленин поручил мне вызвать вас, рассказать об этой обстановке, и если вы разделяете такой взгляд на положение дел в партии, то попросить вас съездить в Ново-Николаевск²³ к Лашевичу²⁴, чтобы передать ему от имени Ленина все, что я вам здесь сказал...

Я без колебаний заявил, что согласен, готов поехать в Сибирь с этим поручением, но мне надо хотя бы на один день заехать в Нижний Новгород. Сталин согласился. Кроме того, он сказал, что ехать в Сибирь мне следует как бы по личным, семейным делам, и особо предупредил, что обо всем, сказанном им, следует передать только лично Лашевичу.

— Дело в том, — сказал Сталин, — что секретарем Сибирского бюро ЦК сейчас работает Емельян Ярославский. Во время профсоюзной дискуссии он выступал против Троцкого, занимая правильные, ленинские позиции. После X съезда он работал некоторое время секретарем ЦК партии, но работал недостаточно удовлетворительно, и мы решили перевести его на должность секретаря Сиббюро ЦК. Его нынешние настроения и позиции нам пока неизвестны. Поэтому, — сказал Сталин, — передайте поручение ЦК только Лашевичу: он сообщит кому найдет нужным и сделает практические выводы, чтобы среди сибирских делегатов оказалось поменьше троцкистов...

Беседу со Сталиным я не записывал, но содержание ее хорошо сохранилось в моей памяти.

...Я собрался было уходить, как вдруг тихо открылась дверь (это было вечером, уже темнело) — и вошел Ленин в пальто и кепке. Поздоровался и, улыбаясь, смотря на Сталина и на меня с присущим ему одному прищуром глаз, в шутку сказал:

— Вы что, всё свои кавказские разногласия обсуждаете?

Сталин ответил, что передал мне все, о чем было условлено, что я согласен и поеду через день к Лашевичу.

Я был смущен этой неожиданной встречей с Лениным и поторопился уйти, попрощавшись с Лениным и Сталиным²⁵.

Думая о фразе Ленина, я понял, что он, видимо, произнес ее, вспомнив о наших со Сталиным отношениях в связи с национальным вопросом.

Надо сказать, что в эту встречу Сталин оставил о себе хорошее впечатление.

Дело в том, что когда я шел к нему на квартиру, то невольно вспомнил, как в 1919 году, когда я приехал в Москву к Ленину по кавказским партийным делам, Сталин дважды получал от ЦК задание дать заключение по поводу моих предложений об объединении существовавших тогда в Азербайджане наряду с Российской компартией двух организаций «Гуммет» и «Аделят» — в единую Коммунистическую партию Азербайджана, входящую в состав РКП(б), а также о превращении независимой Азербайджанской буржуазной республики в советскую республику, тесно связанную с Советской Россией.

Но оба раза Сталину как-то удавалось уклониться от выполнения этих поручений ЦК и тем самым задержать рассмотрение и принятие решения ЦК по поднятым мною вопросам (это не помешало, правда, тому, что несколько месяцев спустя ЦК все же принял решения по обоим этим вопросам, и именно те, что я и предлагал).

²³ Тогда краевой центр Сибири. Ныне это областной город Новосибирск.

²⁴ Л а ш е в и ч М. М. — член партии с 1901 года. В то время член Сибирского бюро ЦК РКП(б), председатель Сибирского ревкома. Позднее, в 1925—1926 годах, активный деятель зиновьевской оппозиции. За участие в оппозиции XV съездом ВКП(б) исключался из партии, но впоследствии был восстановлен.

²⁵ О некоторых событиях этого периода я рассказывал в своей книге «Мысли и воспоминания о Ленине», изданной в 1970 году.

Однако такое отношение к моим предложениям тогда со стороны Сталина не могло не оставить во мне чувства определенной досады и недовольства.

Кроме того, какой-то неприятный осадок сохранился у меня и от заключительного слова Сталина на X съезде партии по национальному вопросу, когда он отвечал на мои и некоторых других ораторов критические замечания по его докладу. Его выступление показалось мне тогда излишне резким.

Но с тех пор сработало время. А эта последняя встреча, наша беседа и спокойный, доброжелательный тон, в котором она проходила, а главное, конечно, что проведение этой беседы поручено Лениным именно Сталину, а не кому-либо из секретарей ЦК (в то время Сталин не был еще секретарем ЦК), — все это как-то расположило меня к нему и сняло старый неприятный осадок.

Заехав на день в Нижний, я вернулся обратно в Москву, получил в ЦК соответствующую экипировку для защиты от сибирских холодов и в тот же день уехал поездом в Ново-Николаевск.

...В Москве тогда стояли довольно крепкие морозы, но я еще мог их как-то переносить. Однако чем дальше на северо-восток, морозы становились все сильнее и сильнее. К счастью, вагоны отапливались хорошо — дрова для паровоза под рукой: ехали мы через дремучие леса Урала.

Я смотрел в окно вагона на эти леса, покрытые снегом. Таких больших лесных массивов, казавшихся бесконечными, раньше я никогда не видел. Смотрел и думал: «Вот она какая, Россия!»

Не привыкший к морозам, я боялся выходить на станциях. Только на больших остановках в Перми, Свердловске, а затем в Омске и Барабинске я выходил из вагона, чтобы посмотреть на эти станции.

Всюду большая запущенность. Только в буфетах и на вокзальных базарах чувствовалось как бы первое дыхание нэпа...

Когда поезд стал идти по сибирским равнинам, пейзажи изменились. За окном мелькали уже не леса, а бескрайние равнины, покрытые снегом. Редко встречались деревни, тонущие в снегу. Густой дым, идущий из деревенских хат, расстилался на фоне белого снега, придавал всему какой-то особый колорит...

До Ново-Николаевска ехали восемь-девять дней. Выйдя из вагона, я был поражен тем, что в отличие от других железнодорожных станций, имевших, как правило, большие каменные вокзалы, здесь, в Ново-Николаевске, вокзал деревянный — довольно невзрачное двухэтажное сооружение.

Конечно, никто меня не встречал. Около вокзала — никакого транспорта, ни одного извозчика. Надо идти пешком. При другой, более привычной температуре такая прогулка могла бы доставить известное удовольствие. Но сорокапятиградусный сибирский мороз пронизывал насквозь, никакая «цекистская экипировка» тут не помогала...

Небо на редкость ясное, ветра нет, а дышать становилось все труднее.

Я шел быстрым шагом, потом бежал, чтобы хоть как-нибудь согреться... Через каждые пять-шесть минут забегал в первую попадающуюся лавчонку отдышаться и хотя бы немного отогреться...

На вокзале мне сказали, что, идя «прямо по этой дороге», можно выйти на площадь к двухэтажному каменному зданию Сибревкома, где помещалось и Сиббюро ЦК.

Через некоторое время я добрался наконец до площади и до здания Сибревкома. Кстати, это было первое каменное здание на всем пути от вокзала.

Зашел к работнику Сиббюро ЦК, ведающему делами командировочных, показал свое удостоверение секретаря Нижегородского губкома и, сказав, что приехал сюда по личным делам, попросил его устроить на несколько дней место в общезитии.

Лашевича на месте не оказалось — он был в отъезде. Я, понятно, решил ждать его возвращения.

Устроившись в общежитии, я никуда не выходил из дому из-за морозов. Не зная точно, когда вернется Лашевич, сидел дома, усердно читал книги, отдыхал и... скучал.

Дня через два вечером в общежитие зашел какой-то товарищ и сказал, что меня просит к себе домой Ходоровский. Мы не были тогда с ним знакомы, но я знал, что еще до революции он работал некоторое время на Кавказе. Это был видный работник. Здесь он тогда заведовал орготделом Сиббюро ЦК.

Узнав, что я нахожусь в городе, он решил пригласить меня и очень хорошо принял.

Комната, в которой состоялась наша встреча, большая, по-домашнему уютная. Горел камин, на полу лежали ковры. Было приятно, а главное... тепло.

В непринужденной беседе мы рассказали друг другу о положении дел в своих организациях: он о Сибири, я о Нижнем Новгороде. Вспоминали Кавказ, наших общих друзей и знакомых...

Я, понятно, не говорил ему о цели моего приезда. Сказал, что приехал сюда по личным, семейным делам. Любопытства он не проявил и разговор на эту тему продолжать не стал. В общем, мы хорошо провели тот вечер и тепло расстались.

Через несколько дней вернулся Лашевич. Я тут же с ним встретился и рассказал о поручении, которое мне дано для него от имени Ленина.

Внимательно выслушав меня, он очень обрадованно сказал:

— Хорошо, что вы приехали и привезли эти указания. Мы, как провинциалы, ничего подобного даже не предполагали, и наверняка немало бывших троцкистов было бы у нас избрано на съезд. Но теперь мы это учтем. Передайте в Москве, чтобы Ленин не беспокоился за Сибирь.

НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ГУБКОМА

Поездка в Сибирь заняла в общей сложности больше трех недель. Вернувшись, я снова побывал у Сталина, рассказал о выполнении данного мне поручения, об общем положении партийных организаций Сибири, о своих впечатлениях, о людях, с которыми пришлось познакомиться.

В конце беседы Сталин неожиданно сказал, что в ЦК есть мнение направить на работу в наш губком Угланова, работавшего до этого секретарем Петроградского губкома.

— Он не сработался там с Зиновьевым, пошли неприятности, и ЦК решил отозвать Угланова из Петрограда. Вместе с тем, — сказал Сталин, — Угланов — способный, растущий партийный работник. Сам он выходец из приказчиков, вступил в партию еще до революции. Имеет опыт руководящей партийной работы. Мы считаем целесообразным послать его к вам в Нижний. Он мог бы пока поработать у вас заведующим орготделом вместо Коршунова, а со временем, когда пустит корни в вашей организации, а вам подойдет время перейти на другую работу, Угланов сможет вас и заменить. Что же касается Коршунова, то мы направим его на работу в другую губернию...

Предложение об Угланове оказалось для меня, повторяю, неожиданным. Дело в том, что с Углановым лично я знаком не был. Но Сталин так убедительно его рекомендовал, что у меня не могло возникнуть никаких возражений против его предложения. К тому же я понимал, что, переходя к нам с поста секретаря одной из самых крупных партийных организаций страны, с работой у нас Угланов, конечно, справится.

На том мы и порешили. Я вернулся в Нижний, а через несколько дней приехал и Угланов. Мы сразу же включили его в практическую работу губкома: назначили заведующим орготделом, кооптировали в состав губкома и бюро. Кроме того, желая поскорее и основательнее познакомить Угланова с нашей парторганизацией, мы организовали несколько его докладов на районных партийных собраниях. Так, на собрании коммунистов Берегового района после моего

доклада о международном положении Угланов выступил с докладом «Новое постановление ЦК РКП о задачах профсоюзов».

В другой раз он сделал доклад об очередных задачах партийного строительства. Я присутствовал на его докладе и выступал на этом собрании.

Должен сказать, что Угланов не обладал особым ораторским талантом. Но доклады у него получались хорошие, толковые, понятные. Судя по тому, как проходили обсуждения его докладов, и вообще по отношению к нему партийцев, я видел, что он производит на людей хорошее впечатление и радовался этому.

Я имел возможность присмотреться и к стилю его работы и к его характеру и увидел, что он умеет держать себя в коллективе и общаться с товарищами. Не отличаясь большой теоретической подготовкой, он вполне свободно разбирался в текущей политике партии.

Работал он не покладая рук. У нас установились отношения хорошие, товарищеские, но никогда они не были особенно близкими.

Возможно, это объяснялось некоторыми особенностями характера Угланова. На работе, да и в личном общении он вел себя всегда как-то очень несвободно, а скорее даже напряженно. Кроме того, он был лишен чувства юмора, не понимал самых простых шуток, а порой и обижался на них, даже на шутки вполне безобидные.

На XIII губернской партийной конференции его и меня избрали в состав губкома. Пленум нового состава губкома избрал меня секретарем, а Угланова — заместителем секретаря губкома.

Когда мы ближе познакомились, Угланов как-то на мой вопрос рассказал более подробно о той обстановке в Петрограде, которая вынудила ЦК отозвать его из Питера.

...Весной 1921 года, после ликвидации кронштадтского мятежа, в целях улучшения практической работы ЦК освободил секретаря губкома Зорина и затем отозвал из Питера.

Секретарем губкома избрали Угланова. Одновременно по решению нового бюро губкома произвели замену ряда руководящих губернских работников (председателя губернской ЧК, заведующих отделами губисполкома и др.). Эти кадровые перемещения провели при возражениях Зиновьева, являвшегося председателем губисполкома и одновременно фактическим руководителем Питерской партийной организации, потому что функции секретаря губкома сводились тогда там главным образом к организационным делам.

В сентябре 1921 года в Петрограде предстояла очередная губернская партконференция. Зиновьев, не примирившись с происшедшими изменениями в кадрах, через близких ему членов бюро губкома организовал их выступления против губкома на двух районных партийных конференциях, где приняли решения, не одобряющие деятельность губкома.

В связи с этим созвали пленум губкома, на котором Зиновьев взял под защиту выступления своих «подопечных». Пленум решил провести собрание партактива. На этом собрании, состоявшемся в середине сентября, докладчиком выступал Зиновьев, а содокладчиком Угланов. Более двух третей голосов актива было подано за резолюцию, предложенную Углановым. Неожиданно для себя Зиновьев оказался в явном меньшинстве.

После этого собрания ЦК вызвал в Москву для обсуждения создавшейся обстановки Зиновьева, его сторонника Куклина — видного петроградского политического работника из рабочих, а также Угланова и члена ЦК партии Комарова, работавшего тогда в Питере. Ленин, придавая большое значение деловой сработанности в руководстве такой ведущей организации, как Питерская, счел нужным самому вмешаться в это дело.

Вопрос разбирался в комиссии Политбюро ЦК под председательством Ленина. Шла речь о расстановке руководящих кадров и о предполагаемом новом

составе губкома. В основном одобрили список, подготовленный большинством членов бюро губкома. Ленин поставил только вопрос об изъятии из этого списка двух работников — «сторонников» Угланова, против которых особенно возражал Зиновьев. Угланов и Комаров согласились снять их из списка и вместо них включить двух других коммунистов, «принимаемых» Зиновьевым.

Секретариат губкома был намечен в составе Угланова, Москвина и Харитонова (последний — ярый сторонник Зиновьева).

На этом же заседании в ЦК Зиновьев, являясь одновременно председателем исполкома Коминтерна, поставил вопрос о переводе исполкома Коминтерна с его аппаратом из Москвы в Питер, мотивируя такой перевод интересами практической работы. Это предложение Ленин сразу отвел. Зиновьев вынужден был примириться.

Видя, что никаких политических разногласий у питерских руководителей нет, Ленин в интересах обеспечения сработанности в основном руководстве Питерской организации согласился на замену некоторых второстепенных работников другими, приемлемыми для обеих сторон. Так перед губернской партконференцией с помощью Ленина были отрегулированы возникшие трения между питерскими руководителями.

Однако после конференции обнаружилось, что трения возникли вновь. Для их устранения ЦК прислал в Питер комиссию в составе Каменева, Орджоникидзе и Залуцкого. Но и после работы этой комиссии обстановка не изменилась. Чтобы разрядить ее, ЦК партии решил тогда отозвать из Питера двух секретарей губкома (из трех) — Угланова и Харитонова, занимавших во всех спорах крайние позиции.

Так выглядела «история» с отзывом Угланова из Питера, по словам самого Угланова.

Вся эта «история» заинтересовала меня главным образом потому, что я увидел за ней еще одно, новое для себя проявление ленинского умения политически и правильно разрешать, казалось бы, чисто организационный вопрос.

НОВАЯ ОППОЗИЦИОННАЯ ВЫЛАЗКА

В начале марта 1922 года, не успокоившись после развала «рабочей оппозиции», Шляпников в нарушение постановления X съезда «О единстве партии» собрал новую группу (из 22 человек), которая состреляла против ленинской партии клеветническое заявление в исполком Коминтерна. В этом документе, получившем название «Заявление 22-х», содержались огульные, бездоказательные обвинения нашей партии в том, что она перестала быть пролетарской.

Это заявление вызвало возмущение во всех партийных организациях, в том числе и в нашей Нижегородской. «Заявление 22-х» обсуждалось у нас на собраниях заводских ячеек, на уездных и районных партийных конференциях. Нижегородские коммунисты осуждали клеветников. Во многих резолюциях коммунисты требовали изгнания дезорганизаторов из партии.

И только железнодорожники из Канавинского района продолжали упорно поддерживать шляпниковцев, имевших среди них свою тайную группировку.

Собрание на железнодорожном участке проходило в крайне нервной, возбужденной обстановке; для участия в собрании группировщики мобилизовали даже исключенных из партии во время чистки.

С докладом, осуждающим «Заявление 22-х», выступил здесь член губкома Сенцов. Но потом начались прения, которые продолжались с семи часов вечера до трех часов ночи. Произносились длинные речи. Проект резолюции, который предложил Сенцов, сразу же провалили и приняли «свою» резолюцию, поддерживающую «Заявление 22-х», содержащую старые нападки и на ЦК партии и новые — на нашу губернскую партийную организацию.

«Отвергая всякое сочувствие каким-либо анархо-синдикалистским настрое-

ниям в нашей среде,— говорилось в этой резолюции,— мы в то же время не можем не констатировать с болью в душе, что все болезненные явления в нашей партии, изложенные в письме 22 товарищей, действительно существуют. Особенно это можно показать на примере нашей Нижегородской организации, где эти недуги приняли хроническую форму. Сам ЦК своим постановлением, бестактной передовицей в газете «Правда» от 7 марта 1922 года, не разбирая письма по существу, называет подписавшихся анархо-синдикалистами и рабочей оппозицией и в первую голову подтверждает заявление авторов письма».

Чувствовалось, что этот текст написан опытной рукой. За этой резолюцией стояли, конечно, не столько канавинские железнодорожники, сколько люди из шляпниковского центра в Москве. Характерно, что даже после осуждения раскольнического «Заявления 22-х» Центральным Комитетом партии и Коминтерном в резолюции железнодорожников предпринимаются новые нападки на ЦК. Таким образом, происходило не только присоединение к «Заявлению 22-х», но и выступление против решений ЦК и Коминтерна.

Железнодорожники вроде бы отмежевывались от обвинений в анархо-синдикализме. Но это ни о чем еще не говорило, потому что и Шляпников тоже никогда не признавал себя анархо-синдикалистом, хотя Ленин прекрасно доказал, а X съезд подтвердил это в своем решении.

...Я сознательно не пошел на собрание к железнодорожникам: знал, что они критикуют губком, и не хотел, чтобы создавалось впечатление, будто мы на них давим. На собрание был направлен Угланов — человек в нашей организации свежий.

Против «своей» резолюции голосовали только 7 человек, двое воздержались. Все остальные (а в ячейке состояло около 90 человек) поддержали «Заявление 22-х».

Мы готовились тогда к XIII губернской партийной конференции, и было, конечно, очень больно от сознания, что одна партийная ячейка шагала не в ногу в общей колонне Нижегородской организации.

Что же делать?

...Мы решили провести авторитетное собрание членов партии с дореволюционных лет.

Волнующее собрание! После моего сообщения о «Заявлении 22-х» слово взял Иван Чугурин — старый сормович, которому довелось учиться в ленинской партийной школе в Лонжюмо (под Парижем), а позднее — в 1917 году — принимать активное участие в Февральской и Октябрьской революциях. В апреле 1917 года он как секретарь Выборгского райкома партии встречал Ленина на Финляндском вокзале и вручал ему партийный билет...

«...По характеру деятельности «рабочей оппозиции», которая нашла свое яркое выражение в «Заявлении 22-х», — говорил Чугурин, — все товарищи из их числа подлежат исключению, но, — заметил он, — по тактическим соображениям исключать их сейчас не следует: исключая их, мы можем им способствовать на время сплестить вокруг себя группировку»²⁶.

После Чугурина выступил Петров — член партии с 1905 года, активный партийный работник. Он предложил железнодорожникам высказаться самим. От них выступили Баландин и Курышев. Доводы их подвергли серьезной критике в своих выступлениях старые большевики Писарев, Таганов, Петров, Полонский и другие.

Такое авторитетное собрание приняло решение, осуждающее «Заявление 22-х». При голосовании только один был против (Баландин) и один воздержался (Курышев).

По вопросу о партийной организации железнодорожников собрание решило, что «губернский комитет должен сделать соответствующие выводы из существующих

²⁶ ПАГО.

ющего положения железнодорожной организации. Предложить товарищам железнодорожникам продумать и пересмотреть свое решение»²⁷.

Губком сразу же обсудил вопрос о положении в партийной организации железнодорожников и сообщил об этом в ЦК партии, откуда вскоре к нам прислали члена ЦК партии Томского (ЦК поручил ему одновременно принять участие и в работе нашей XIII губернской партийной конференции).

Может возникнуть вопрос: почему так много внимания мы уделяли тогда одной ячейке? Почему бы не ограничиться принятием уставных организационных мер?

Но ведь мы вели борьбу за души, за сознание коммунистов. Нам хотелось удержаться в организации заблуждающихся рабочих.

К сожалению, железнодорожники поняли заботу о них как нашу слабость и даже после закончившейся партконференции, осудившей «Заявление 22-х», продолжали упрямо стоять на своем. Мы вновь создали собрание коммунистов-железнодорожников, на котором с докладом выступил Томский, призывая собравшихся пересмотреть принятое ими ранее решение по поводу «Заявления 22-х». После его доклада член губкома Сенцов внес предложение присоединиться к резолюции, принятой собранием коммунистов-подпольщиков и XIII губернской партийной конференцией. Однако выступивший от железнодорожников Ефимов предложил не изменять решения прошлого собрания.

Что же показало голосование? Решение губернской партконференции на этот раз поддержали 27 коммунистов (в первый раз за такое решение голосовали только 7 человек). За резолюцию Ефимова было подано 42 голоса.

Однако, видимо, по подсказке кого-то из «22-х», чтобы отвести упреки в антипартийности и как бы смягчить свою позицию, в резолюцию, предложенную Ефимовым, внесли такое добавление: «...Еще раз подтверждаем свою резолюцию по этому вопросу от 13 марта 1922 года и добавляем, что мы, как верные солдаты Коммунистической партии всего мира, сумеем подчиниться решению нашего XI Всероссийского съезда, каково бы это решение ни было»²⁸.

Это был единственный случай, когда оппозиционерам удалось в то время получить поддержку среди партийных ячеек Нижегородской губернии. Хотя и здесь эта поддержка оказалась временной. Тактика, которую мы проводили по отношению к заблуждавшимся коммунистам-железнодорожникам, вполне себя оправдала.

Постепенно, уже после XI съезда партии, обстановка в их ячейке в корне изменилась. Коммунисты, поняв свои заблуждения, стали на правильные партийные позиции.

...Накануне XIII губернской партийной конференции мы, как это уже стало традицией, выступали с отчетными докладами о деятельности губкома на районных собраниях. Коммунисты Городского района признали, что «благодаря бдительности губкома политическое положение губернии можно считать вполне устойчивым. Губкому удалось преодолеть внутрипартийный и советский кризис, возникший в связи с кампанией по чистке»²⁹.

Сормовичи довольно единодушно признали «деятельность губкома во всех областях вполне правильной и удовлетворительной», хотя справедливости ради надо сказать, что голосовалось и другое предложение: «...ради осторожности не авансировать губком оценкой и вотумом доверия»³⁰ (за это предложение проголосовали только несколько человек).

Зная мнение многих других уездных и районных организаций, мы уверенно шли на губернскую партконференцию, которая единодушно закрепила достигнутые результаты и определила наши новые задачи.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же.

²⁹ МПА ИМЛ, ф. 17, оп. 14, д. 492, л. 7.

³⁰ Там же.

По вопросу о «Заявлении 22-х» конференция приняла резолюцию, в которой осудила позицию этой группы, продолжающей вопреки решениям X съезда партии вести скрытую работу против ленинской партии и ее единства.

Конференция отвергла как клеветническое обвинение, брошенное группой «22-х» нашей партии, в том, что она якобы «преследует пролетариев-коммунистов и не допускает их в руководящие органы Советов», а также безответственное заявление, будто «неизбежное наличие в нашей партии значительного крестьянского слоя меняет ее пролетарский характер».

В резолюции, принятой подавляющим большинством делегатов (при двух голосах против и одном воздержавшемся), прямо было сказано, что «выступление «22-х» является преступлением против партии и революции» и поэтому на предстоящем XI Всероссийском съезде партии должен быть поставлен вопрос «об исключении из партии неисправимых членов группы «22-х»³¹.

Дружно избран новый состав губкома (25 членов и 17 кандидатов), губернскую контрольную комиссию, ревизионную комиссию и делегатов на XI Всероссийский съезд РКП (с решающим голосом — 8 и с совещательным — 3 делегата), XIII Нижегородская губернская партийная конференция закончила свою работу под пение «Интернационала» — нашего боевого пролетарского гимна³².

...Помню, я сидел на этой конференции, слушал выступающих и думал: ведь, собственно, не прошло и полутора лет, а в каких только острых переделках не пришлось нам побывать! Тревожная осень двадцатого года, борьба с местнической группировкой, отстаивание ленинской линии...

Вот выступают мои товарищи по партийной работе... С некоторыми я уже крепко сдружился. А вот сидят работники из уездов — Комиссаров, Карклин, Шмонин, Михаил Каганович...

Мы уже, как говорится, притерлись друг к другу, знаем, в чем наша сила и где наши слабости. Вон сидит Иван Васильевич Петров, прекрасный партийный работник, чуткий человек, который ищет выход своему высокому настрою в стихах. Это он публикует в «Нижегородской коммуне» стихи за подписью «Рабочий Петров». Конечно, они слабее, чем стихи нашего звонкого нижегородского поэта-коммуниста Сергея Малашкина, но Петров всегда восхищает меня своей вдохновенностью...

Да, интересные здесь люди!.. Многому они научили меня. Наверное, я и сам оставляю здесь, в Нижнем, немалую частицу своей души, когда придется покидать этот славный древнерусский город, с которым так много у меня теперь связано!

К ВОПРОСУ О ЛЕНИНСКОМ СТИЛЕ РАБОТЫ³³

Не может изгладиться из памяти заседание Пленума Центрального Комитета партии в середине мая 1922 года, на котором председательствовал Ленин. Я участвовал в этом Пленуме, поскольку был избран на XI съезде кандидатом в члены ЦК.

Пленум проходил в зале заседаний Совнаркома. Члены и кандидаты в члены ЦК сидели за длинным столом, а Ленин занимал председательское место и был виден всем. Ленин держал в руках карманные часы и строго следил за соблюдением регламента выступавшими. Обстановка строго деловая, никаких посторонних разговоров, которые могли бы помешать ведению собрания. Для докладов Ленин давал, как помнится, три минуты, в особых случаях семь минут,

³¹ ПАГО, ф. 1, оп. 1, д. 1273, лл. 4—4 об.

³² Воспоминания об XI Всероссийском съезде партии (27 марта — 2 апреля 1922 года) — последнем съезде партии, в котором лично участвовал Ленин, — см. в моей книге «Мысли и воспоминания о Ленине», стр. 197—219.

³³ Эта глава в сокращенном виде вошла в мою книгу «Мысли и воспоминания о Ленине».

как, например, Рудзутаку, который докладывал о Генуэзской конференции; выступавшим в прениях — одну-две минуты. Докладчики опытные: умея объяснить суть вопроса в короткой фразе и понимая друг друга с полуслова, они вполне укладывались в установленный Лениным жесткий регламент.

Орджоникидзе и Киров на этом Пленуме отсутствовали. Обстоятельства работы не позволили им в тот момент отлучиться с Кавказа. Не приехали по разным причинам и некоторые другие члены и кандидаты в члены ЦК. Поэтому на Пленуме собрались всего 18 членов ЦК (из 27) и 4 кандидата в члены ЦК (из 19).

Первым обсуждался доклад Рудзутака, который входил в состав нашей делегации на Генуэзской конференции. Он критически отнесся к некоторым сторонам работы делегации, считая, например, что Чичерин и Красин идут при переговорах на большие уступки, чем это следует, и критиковал их за это. Потом изложил вопросы, выдвигаемые для дальнейших переговоров перед нашей делегацией в Генуе.

Ленин, конечно, был полностью в курсе дела, поскольку сам осуществлял практическое руководство делегацией, к тому же он был официально ее председателем (без выезда в Геную). Он не стал говорить, в чем не прав в своей критике Рудзутак, указав лишь, что до последнего времени делегация правильно выполняла свои задачи. Ленин предложил дать Чичерину директиву по практическим вопросам, которые были поставлены перед ЦК в докладе Рудзутака. Во-первых, считать недопустимым предполагаемое перенесение работы комиссии из Гааги в Россию. Если это окажется невозможным, то согласиться на проведение работы комиссии в Сочи или в Ливадии (Крым). Во-вторых, всемерно протестовать против запрещения сепаратных договоров отдельных держав с Советской страной, добавив при этом, что мы не подчинимся этому ни в коем случае.

Не лишена интереса история посылки нашей делегации на Генуэзскую конференцию. Формирование делегации происходило еще до образования СССР, когда каждая советская республика имела право послать на конференцию свою делегацию.

Однако все произошло иначе. Сохранился протокол специального совещания, проведенного 22 февраля 1922 года у председателя ВЦИК М. И. Калинина. На этом совещании присутствовали полномочные представители восьми советских республик (Азербайджан, Грузия, Армения, Белоруссия, Украина, Хорезм, Бухара и Дальневосточная республика).

Обсудив вопрос о Генуэзской общеевропейской конференции 28 капиталистических стран и Советского государства, созываемой по ряду экономических и финансовых вопросов, собравшиеся у Калинина представители советских республик приняли решение «поручить РСФСР представлять и защищать на этой конференции интересы указанных восьми республик и заключить и подписать от их имени как могущие быть выработанные на этой конференции акты, так и всякого рода связанные прямо или косвенно с этой конференцией отдельные международные договоры и соглашения с государствами, как представленными на указанной конференции, так и со всякими другими, и принимать все вытекающие из сего шаги».

Выступая с заявлением на этом совещании, председатель ВЦИК М. И. Калинин сказал, что, действуя на основании полномочий, данных ему ВЦИК, он с удовлетворением принимает от имени РСФСР это поручение союзных и братских республик, «всцело соответствующее интересам и видам Российской Республики».

Он заявил, что «правительство Российской Республики примет меры к тому, чтобы интересы всех связанных с ней неразрывными братскими и союзными связями государств были в должной мере защищены на конференции. Оно будет зорко следить за тем, чтобы делегация, уполномоченная правительством Российской Республики представлять Россию и ее союзников на общеевропейской кон-

ференции, стойко защищала их интересы, и неукоснительно будет уведомлять правительства союзных и братских республик о ходе работ конференции».

Советским правительством была утверждена облеченная чрезвычайными полномочиями единая советская делегация на Генуэзскую конференцию в составе: Ленин (председатель делегации), Чичерин (заместитель председателя), Рудзутак, Красин, Литвинов, Раковский, Воровский, Иоффе, Нариманов, Мдивани, Бекзадьян, Ф. Ходжаев, Янсон, Шляпников и Сапронов.

Как известно, капиталистические государства пытались на Генуэзской конференции добиться от нас признания царских долгов, возврата иностранцам национализированных у них предприятий, ликвидации монополии внешней торговли и т. п.

Наша делегация решительно отвергла все эти требования, выдвинув свои контрпредложения, в частности о возмещении убытков, нанесенных Советской России иностранной интервенцией и блокадой, что в сумме превышало предъявленные нам претензии капиталистических стран.

Однако желая найти почву для деловых соглашений с капиталистическими государствами, наша делегация по указанию Советского правительства заявила, что Советская Россия согласна пойти на определенные экономические уступки (признание довоенных долгов и пр.) при условии признания Советского государства, оказания ему финансовой помощи и аннулирования всех военных долгов. Одновременно наша делегация внесла предложение о всеобщем разоружении, выражающее, как это признала III сессия ВЦИК (май 1922 года), «интересы и желания не только трудящихся масс России, но и кровные интересы трудящихся всего мира и всех угнетенных и поработанных народов и наций».

По вине капиталистических государств вопросы, стоявшие на конференции, разрешены не были: часть их либо вообще снята с обсуждения (вопрос о всеобщем разоружении и др.), либо перенесена на рассмотрение последующей международной конференции в Гааге.

Однако в ходе Генуэзской конференции нашим дипломатам все же удалось прорвать единый империалистический фронт и заключить принципиально очень важный для последующего развития международных отношений договор с Германией, известный как Рапалльский (название — от итальянского города Рапалло, где этот договор подписан 16 апреля 1922 года). По этому договору Германия признавала национализацию предприятий, отказывалась от всяких финансовых претензий к нам, а мы, со своей стороны, отказывались от своего права на репарации с Германии.

Надо сказать, что переговоры по этому договору велись и раньше, но представители Германии колебались с его подписанием. Поняв на Генуэзской конференции свое незавидное положение изоляции среди западных держав, немцы неожиданно для других подписали этот договор, что прозвучало для Антанты как гром среди ясного неба.

Это первый по-настоящему равноправный и взаимовыгодный договор между двумя великими державами, явившийся практическим претворением в жизнь ленинской идеи о мирном сосуществовании — на определенном этапе исторического развития — двух систем собственности, коммунистической и буржуазной.

Не случайно III сессия ВЦИК, приветствуя подписание Рапалльского договора, давшего «единственный правильный выход из затруднений, хаоса и опасности войн...», признала нормальным для отношений РСФСР с капиталистическими государствами «лишь такого рода договоры» и поручила Советскому правительству и дальше вести политику в духе такого рода договоров, допуская отступления «лишь в тех исключительных случаях, когда эти отступления будут компенсироваться совершенно особыми выгодами для трудящихся масс РСФСР и союзных Советских Республик».

Второй вопрос, по которому докладывали Бухарин и Зиновьев, — проект директивы, который представитель нашей партии в Коминтерне должен был внести

в ИККИ в связи с проходившими тогда заседаниями представителей трех Интернационалов (II, II^{1/2} и III).

В то время на страницах зарубежной рабочей печати широко обсуждалась идея создания единого рабочего фронта, выдвинутая Коминтерном, и в связи с этим предложение о подготовке Всемирной конференции рабочих организаций, которая должна «организовать оборонительную борьбу рабочего класса против международного капитала»³⁴.

Зиновьев прочитал короткий проект директивы, видимо, заранее согласованный им с Лениным. Суть этой директивы сводилась к тому, чтобы делегация Коминтерна в переговорах на заседаниях «комиссии девяти» ультимативно потребовала быстрейшего созыва всемирного рабочего съезда в минимально короткий срок, который должен быть сразу же определен по согласованию сторон.

В случае саботажа со стороны II Интернационала Коминтерн отзывает своих представителей из «девятки» и продолжает агитацию за единый пролетарский фронт.

В качестве уступки представителям II Интернационала допускалось, что представители РКП(б) заявят о готовности «...вычеркнуть из общей платформы обещание защиты Советской России, сосредоточив всю борьбу на защите 8-часового рабочего дня, борьбы против безработицы и т. п.»³⁵.

Если представители двух Интернационалов изъявят готовность не на словах, а на деле созвать Всемирную конференцию рабочих организаций, то мы согласимся снова послать наших делегатов в «девятку».

Кроме того, представителям нашей партии в исполкоме Коминтерна дали поручение издать брошюру об опыте большевистской партии для иллюстрации тактики единого фронта. Все это приняли без дискуссии.

После Пленума ЦК предстояла сессия ВЦИК, поэтому на Пленуме обсуждались некоторые вопросы ее повестки.

Почему-то запечатлелось обсуждение вопроса о кампании по извлечению ценностей. Докладчиком по этому вопросу выступал Троцкий. Речь шла о том, чтобы извлечь из государственных учреждений и музеев ценности, не представляющие исторического или научного интереса, но могущие быть проданными за валюту за границу. Я так и не понял, почему именно Троцкий занимался этим вопросом и был по нему докладчиком на Пленуме. Бесспорным для всех было предложение признать необходимым максимально ускорить реализацию уже собранных ценностей. Для осуществления этой задачи решили образовать комиссию, обязав ее два раза в месяц представлять в ЦК информацию о ходе реализации ценностей.

Спор вызвало предложение Троцкого о передаче 5 процентов сумм, вырученных от реализации ценностей, в распоряжение Реввоенсовета Республики.

Сталин, который сидел рядом с Троцким, выступил только по этому вопросу с возражением против предложения Троцкого. Он говорил, как обычно, тихо и спокойно, заняв своим выступлением не более одной минуты.

Троцкий, который был очень вспыльчив, тут же, что называется, вскипел и стал горячо спорить со Сталиным, доказывая правильность своего предложения, заняв этим спором более трех минут. Тогда Ленин, показав на часы, сказал:

— Предлагаю соблюдать регламент.

Троцкий подчинился. Сталин вновь попросил слова и опять, заняв не более минуты, спокойно сказал, что не надо определять твердый процент таких отчислений армии на все время, а надо решать этот вопрос по мере необходимости, смотря на какие цели эти средства потребуются. Вся же сумма выручки должна поступать в распоряжение правительства.

Троцкий, еще более разгорячившись, вновь взял слово. После сказанных им

³⁴ «Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919—1932». М. 1933, стр. 269.

³⁵ ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 79, л. 2.

нескольких фраз стало ясно, что спор разгорится еще более жаркий и займет слишком много времени. По существу, Сталин был прав, это чувствовалось и по настроению членов ЦК, которые понимали, что предложение Троцкого «ведомственное», неправильное. Тогда Ленин решил прекратить дальнейшее обсуждение и внес предложение рассмотреть этот вопрос в специальной комиссии, обязав ее в двухдневный срок представить свои предложения в Политбюро, а в случае разногласий в Политбюро вновь обсудить вопрос на Пленуме ЦК. Это предложение приняли.

Поразительное умение Ленина никогда не допускать возникновения излишних разногласий между членами ЦК, не давать разрастаться возникающим разногласиям очень ярко проявилось при решении этого вопроса. Предложение Ленина не означало его согласия ни с Троцким, ни со Сталиным и поэтому не могло задеть их самолюбия. С другой стороны, дело передавалось в комиссию, которая в спокойной, деловой обстановке могла подготовить правильное решение.

Обсуждался также вопрос о так называемом «Московском комбинированном кусте» — вновь по предложению Троцкого. Речь шла о некоторых сторонах деятельности нескольких совхозов и предприятий, организованных военными, над которыми осуществлял шефство Реввоенсовет, возглавляемый Троцким. Он оспаривал какие-то решения местных советских органов и выдвигал какие-то требования, которые даже и не нужно было ставить на обсуждение Пленума ЦК. Ленин тут же предложил рассмотреть этот вопрос в советском порядке, не связывая местные органы решениями ЦК, а Секретариату поручили разослать все документы по этому вопросу членам ЦК для ознакомления с существом вопроса. По сути, предложение Троцкого отклонялось, но сделано это было в очень тактичной и мягкой форме.

...Запомнился забавный эпизод, который произошел во время этого Пленума.

Я сидел рядом с Дзержинским, в самом конце стола.

Надо сказать, что Дзержинский был заядлым курильщиком. Однако все мы хорошо знали, что по предложению Ленина на заседаниях курение категорически запрещалось.

Дзержинскому же хотелось слушать выступления не покидая заседания. Но он не мог долго выдержать без курения. Тогда он решил, видимо, схитрить. Недалеко от того места, где мы сидели, находилась голландская печь. Выждав удобный момент, Дзержинский встал, подошел к этой печке так, чтобы другие не видели, и всласть закурил, незаметно выпуская дым в печную отдушину. Потом как ни в чем не бывало спокойно вернулся на свое место.

Я наблюдал за всей этой сценой и запомнил довольное, по-мальчишески лукаво улыбающееся лицо виновника этой «проказы»: он был явно доволен своей «операцией»...

...Сидя на заседании (и не только, конечно, в тот раз), я видел, что, несмотря на трения, которые имели место при обсуждении вопросов, Ленин никогда не повышал голоса, не делал резких замечаний, избегал даже иной раз высказываться, лишь бы сохранить более спокойную обстановку. Это, конечно, на меня, тогда еще новичка в ЦК, производило большое впечатление.

И тогда и позже я убедился, как важно для политического руководителя ценить время, не говорить лишнего, уметь коротко излагать самую суть дела. И если вопрос нельзя решить на данном заседании, то, не допуская пустопорожних прений, уметь вовремя передать его в деловую комиссию, назначив короткий срок для ее работы и представления проектов решений. Только этим и можно, пожалуй, объяснить, почему так много самых разных вопросов рассматривал Ленин за самые короткие сроки. И когда теперь читаешь протоколы заседаний, задания, записки, поручения, запросы Ленина, поражаешься огромному объему выполняемой им работы, многообразию и глубокому содержанию проблем, его волновавших, будь то в области теоретических, политических или повседневных

практических дел, самых узких, казалось бы, и даже не имеющих большого значения!..

Я всегда поражался, с каким вниманием относился Ленин к «мелким» вопросам, которые возникали «в низах».

Вначале, возможно еще по неопытности в государственных делах, мне казалось, что, руководя огромным и сложным государством, Ленин занят решением только важнейших проблем международной и внутренней политики и поэтому не может, да и не должен заниматься «мелкими» вопросами, которые постоянно возникали у нас на местах. Но потом я понял, что бывают разные вопросы, а при определенных обстоятельствах иные, казалось бы, «мелкие» дела вырастают или могут вырасти до уровня таких «крупных» общегосударственных дел, когда ими надо уже вплотную заниматься самим руководителям правительства. И Ленин в этом отношении дал нам немало наглядных и убедительных уроков.

Хочу рассказать о некоторых фактах, которые в свое время произвели на меня огромное впечатление.

В конце 1920 года мы получили в Нижнем телеграмму от Ленина. Телеграмма циркулярная и относилась к ряду губерний. В ней говорилось, что Красной Армии не хватает обуви, что в армии нет даже лаптей...

В связи с этим Ленин предлагал срочно организовать при губисполкомах чрезвычайные комиссии по заготовке лаптей для Красной Армии.

На первый взгляд это задание показалось нам даже несколько странным: Ленин требует наладить производство... лаптей! Честно говоря, я гоже на первых порах как-то невольно растерялся от такого неожиданного поручения, но потом понял, что раз Ленин требует — значит, дело очень важное и срочное. (Позднее я узнал, что Чрезвычайная комиссия по заготовке валенок, лаптей и полшубков — сокращенно ЧЕКВАЛАП — создана по предложению Ленина и в центре специальным постановлением Совета Труда и Оборона.)

Мы немедленно создали у себя такую комиссию. Поняв большую ответственность за это дело, я решил взять на себя непосредственное руководство ее работой, хотя, по совести говоря, не имел почти никакого представления о лаптях, а тем более об их производстве: у нас на Кавказе, как известно, лапти никогда не носили. Однако я надеялся, что, вплотную занявшись этим делом, с помощью местных хозяйственников смогу преодолеть эту «науку» и добиться необходимых результатов.

И действительно, мы заключили несколько договоров с местным Кустоюзом и в сравнительно короткий срок обеспечили производство 1,5 миллиона пар лаптей для армии. Оказалось, что выполнить это задание не так уж и трудно, поскольку нижегородские крестьяне имели большой опыт в изготовлении лаптей, а нужное для этого сырье имелось у нас в губернии в достаточном количестве.

Однако хорошо помню, как все мы, работники губисполкома, были тогда поражены, воочию убедившись, что Ленин занимается и такими «мелочами», как заготовка лаптей. Но Ленин действительно умел, как хорошо сказал поэт, «за каждой мелочью революцию мировую найти...».

Вспоминается и такой случай.

Осенью 1921 года мы получили телеграмму, подписанную Лениным, в которой говорилось, что в связи с ожидающимся у нас ранним закрытием навигации и ледоставом на Волге может погибнуть большое количество лесной древесины, идущей сплавом по реке.

В связи с этим Ленин предлагал в самый кратчайший срок до начала ледостава собрать эту древесину в затонах.

Надо сказать, что до получения ленинской телеграммы мы по халатности местных работников, не поднявших тревоги перед губернским руководством, даже и не представляли себе, сколь тревожно положение с лесосплавом. Теле-

грамма Ленина вовремя всех нас «встрянула». Приняли нужные меры для обеспечения нужд лесосплава необходимой рабочей силой, продовольствием и фуражом. В результате лес спасли. А не будь энергичного вмешательства Ленина — и положение с лесосплавом могло стать катастрофическим...

Зимой того же года к нам в губисполком поступила от Ленина еще одна телеграмма, в которой он указывал на плохую работу Решетихинской сетеваяльной фабрики в Канавине, систематически срывающей выполнение программы производства сетеснастей, остро необходимых астраханским рыбакам, готовящимся к весенней путине, во время которой обычно происходит основной, решающий лов рыбы.

Получив эту телеграмму, мы вместе с председателем губсовнархоза отправились на канавинскую фабрику и, разобравшись, в чем дело, установили, что, помимо упущений и недостатков, зависящих от самой фабрики, производство сетей тормозится из-за несвоевременного получения пряжи из Костромы.

Приняв необходимые меры к улучшению работы на самой фабрике, мы тут же связались с Костромой. Вскоре пряжа оттуда пришла, и нам удалось наладить производство снастей и вовремя обеспечить ими астраханских рыбаков.

Вспоминаю, как детально вникал Ленин в «мелкие» производственные вопросы, связанные с обеспечением нашей торфяной промышленности оборудованием, производимым частично и на нижегородских заводах.

В январе 1921 года мы получили от Ленина такую телеграмму: «Сормовский завод изготовляет гусеничный кран для Гидроторфа, но изготовление его идет чрезвычайно медленно. ...Прошу приложить все усилия к тому, чтобы этот кран был вполне закончен в апреле месяце, с тем чтобы в начале мая он мог быть доставлен на «Электропередачу», где он будет подвергнут всестороннему испытанию, с тем чтобы по выяснении всех необходимых усовершенствований по этому образцу можно было приступить к массовому изготовлению кранов. Ленин»³⁶.

Страна в ту пору бедствовала из-за нехватки топлива, и торф служил большим подспорьем, поскольку он находился под рукой.

Нетрудно понять, что мы сделали тогда все необходимое, чтобы изготовление и доставку этого крана на «Электропередачу» выполнить точно в установленные Лениным сроки.

Крепко запало в память, до какой степени Ленин был строг к соблюдению дисциплины, четкости работы государственного аппарата, нетерпим к волоките, расхлябанности, бюрократизму.

Управление делами Совета Труда и Оборона телеграфно запросило 7 мая 1921 года Нижегородское экономическое совещание (ГУБЭКОСО) о том, верно ли, что оно наметило добычу в 1921 году 6,7 миллиона пудов торфа. Не получив ответа, управление прислало повторный запрос 26 мая.

2 июня в адрес ГУБЭКОСО и в копии ВЧК поступила телеграмма Ленина, в которой он, приводя дословно присланные ранее телеграммы, пишет: «Ввиду неполучения до сих пор ответа на обе эти телеграммы предлагаю немедленно представить объяснения причины волокиты и ответ по существу запроса, а ВЧК предлагаю расследовать причины волокиты и наказать виновных, сообщив их фамилии и занимаемые должности в Управление делами Совета Труда и Оборона. Председатель Совета Труда и Оборона В. Ульянов (Ленин)»³⁷.

В этой телеграмме как в зеркале отразилась страстная непримиримость Ленина к проявлению канцелярской волокиты и бюрократизма, строжайшая требовательность к налаживанию четкой работы органов управления государством.

³⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 52, стр. 55.

³⁷ Там же, стр. 328.

В то время я уже работал в губкоме партии. Помню, как, получив эту ленинскую телеграмму и детально проверив все обстоятельства дела, мы устроили на бюро губкома разнос работникам, виновным во всей этой возмутительной волюките!

Этот конкретный случай очень помог нам укрепить дисциплину, общий порядок и ответственность среди работников ГУБЭКОСО.

Вместе с тем хотелось бы особо подчеркнуть, что Ленин умел не только критиковать и «разносить» за упущения и недостатки, но и поддерживать людей в их хороших начинаниях.

Узнав, что мы действительно приняли план по добыче торфа в 6,7 миллиона пудов, Ленин, как нам рассказывали, был приятно удивлен, что мы взяли на себя выполнение такого большого по тем временам задания. Угля тогда почти не добывали, и наш «вклад» в решение общей топливной проблемы был довольно значительным.

Ленин указывал в беседах на этот пример из нашей практики, желая привлечь к нему внимание работников и других губерний...

Совершенно особо хочется рассказать о рождении у нас радио, которое тесно связано с деятельностью Нижегородской радиолaborатории, организованной тоже по указанию Ленина еще в 1918 году.

В первые же дни своей жизни в Нижнем Новгороде я заметил на Откосе трехэтажное здание, на крыше которого торчали какие-то металлические стержни с натянутыми между ними проводами.

Сейчас любой дошкольник, взглянув на эту несложную «технику», без особого труда объяснит, что это антенны. А тогда все это казалось чем-то очень непонятным и даже «таинственным».

В здании на Откосе располагалась Нижегородская радиолaborатория, ставшая вскоре знаменитой на весь мир.

Работали в ней удивительные люди — страстные, неистовые энтузиасты, для которых радио было делом и смыслом всей жизни. Душой лаборатории являлся ее руководитель — известный ученый Михаил Александрович Бонч-Бруевич.

Боюсь утверждать определенно, но, по моим наблюдениям, кроме самих работников лаборатории, мало кто тогда в Нижнем конкретно представлял себе реальные перспективы этого дела. И тем не менее все испытывали к лаборатории чувство особого уважения, зная, как внимательно следит за ее успехами Ленин, какой заботой он всегда ее окружает...

При всей нашей занятости текущей политической работой, и мы время от времени проявляли интерес к «чудесам», создаваемым в бывшем общежитии семинаристов на Откосе.

Особенно памятным осталось первое посещение лаборатории. Нас, работников губкома и губисполкома, пригласили присутствовать при уникальном эксперименте³⁸.

Время морозное, все кутались в шубы, пальто и полушубки. Собрались в какой-то большой комнате. В центре стоял громоздкий ящик, в котором что-то мигало и трещало...

Забудьте хотя бы на минуту все, что вы знаете о современном радио, и тогда вы поймете, как пятьдесят лет назад мы смотрели на этот «таинственный» ящик, с нетерпением ожидая «чуда».

И «чудо» свершилось: ящик заговорил!

«Алло, алло, говорит Москва! Говорит Москва! Вызываем Берлин!» — слышали мы из ящика.

Это в Москве заработал радиотелефонный передатчик, собранный в нашей Нижегородской радиолaborатории.

³⁸ «Нижегородская коммуна» от 23 декабря 1920 года.

А мы в Нижнем слышали голос Москвы! Началась переключка Москвы с Берлином. Говорили по-русски, по-немецки, читали новости из газет...

Восторгу нашему не было границ! Каждый ощущал себя свидетелем рождения новой эпохи в области отечественной техники (и не только, конечно, техники!) — эпохи беспроводного телефона.

Так впервые в своей жизни я услышал радио...

Только в последние годы нам довелось прочитать в Полном собрании сочинений Ленина около двух десятков писем, записок и распоряжений Владимира Ильича, относящихся к Нижегородской радиолaborатории.

Читая эти ленинские документы, поражаешься (в который раз!), какой гениальной прозорливостью надо обладать, чтобы за очень скромными и тогда самыми еще первыми экспериментальными работами небольшой группы энтузиастов Нижегородской радиолaborатории увидеть великое будущее радио!

Я помню, как-то в разговоре, происходившем в Нижнем, М. А. Бонч-Бруевич привел ленинские слова из письма к нему, которые теперь уже стали широко известны: «Газета без бумаги и «без расстояний», которую Вы создаете, будет великим делом»³⁹.

Видимо, Ленина особенно увлекала главная идея этого, как он говорил, «гигантски важного» дела, заключающаяся в том, что «вся Россия будет слышать газету, читаемую в Москве».

И конечно, Ленин был прав, если учесть, что в те годы более половины населения нашей страны было неграмотным, а для грамотных не хватало бумаги, чтобы издавать нужные газеты, журналы и книги.

А каким великим счастьем была бы широкая радиофикация нашей страны в те годы! Ведь тогда живой голос Ленина смогли бы слушать не сотни и тысячи, а миллионы людей, живших в самых отдаленных уголках страны!..

Забегая несколько вперед, хочу рассказать еще об одном факте, связанном с Лениным. Относится это уже к тому периоду, когда я работал в Ростове секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б).

К нам поступила телеграмма Ленина, в которой он с возмущением сообщал, что в низовьях Дона происходит безобразный, хищнический, преступный лов рыбы на ее нерестилищах, в то время когда именно там-то и должна быть особо строго организована охрана рыболовства.

Ленин предлагал немедленно разобраться в этом вопросе, привлечь виновных в нарушении правил рыболовства к строжайшей судебной ответственности и строго наказать (вплоть до расстрела), обеспечив на будущее строжайшую охрану рыбных нерестилищ.

Видимо, обо всем этом к Ленину поступил тревожный сигнал непосредственно из тех мест, где процветало браконьерство, потому что мы в Ростове ничего об этом не знали.

Дело нешуточное. Мы, естественно, очень встревожились, послали в заповедник — в устье Дона — авторитетную комиссию, проверили самый факт массового браконьерства и установили, что у Ленина правильная информация.

Мы подробно обсуждали этот вопрос на бюро ЦК, очень строго наказали виновных лиц, некоторых — наиболее злостных браконьеров и их пособников — даже арестовали.

Одним словом, порядок установили, хотя все это отняло у нас много сил и нервов. До последних лет, встречаясь с ныне уже покойным К. Е. Ворошиловым, работавшим в те годы в Ростове командующим Северо-Кавказским военным округом, мы частенько вспоминали этот случай и никак не могли простить себе, что Ленин заставил нас у себя же «дома» наводить порядок с рыбой...

Я сознательно привел отдельные факты из своей личной практики, чтобы показать, что для Ленина не существовало «мелочей». Когда я прочитал в по-

³⁹ В И Лени н. Полное собрание сочинений, т 51, стр. 130.

следнем издании его собрания сочинений великое множество различных распоряжений, писем, телеграмм и записок по всевозможным практическим вопросам (подчас кажущимся тоже «мелкими»), исполнение заданий по которым всегда очень тщательно проверялось Лениным (это его характерная особенность как руководителя правительства!), то был поражен, какую грандиозную дополнительную работу взвалил на свои плечи Ильич, работу к тому же невидимую для всех!

Но таков ленинский стиль государственной и партийной работы! И он не уставал учить всех нас следовать этому правильному стилю.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О НОВОЙ РАБОТЕ

В конце апреля 1922 года у меня состоялась еще одна встреча со Сталиным. На этот раз шла речь о моей новой работе.

Сталин сказал, что в ЦК есть намерение выдвинуть меня на работу в качестве секретаря Юго-Восточного бюро ЦК РКП.

Такое предложение было для меня неожиданным и нарушало все мои личные планы. Я, конечно, понимал, что у ЦК есть свои основания, чтобы перебросить меня на другое место.

Но мне самому тогда не хотелось уезжать из Нижнего. Я только что начал по-настоящему «влезать» во все нижегородские дела, меня узнали коммунисты и беспартийные рабочие, на последней партийной конференции мне выразили полное доверие... К тому же работал я с большим увлечением, да и дела у нас пошли как будто неплохо. В этих условиях «срывать» меня с места и посылать на совершенно новую, притом очень большую работу, с которой я к тому же мог и не справиться, — все это казалось мне делом несвоевременным.

Поэтому, подумав, я сказал Сталину, что, конечно, ЦК вправе меня перебросить на другое место, тем более что Угланов вполне может справиться с обязанностями секретаря губкома.

— Я не могу возражать против своего перевода, но, откровенно говоря, мне хотелось бы еще некоторое время поработать в Нижнем. Это принесет мне как партийному работнику только пользу. Хотя за это время я и успел вникнуть во многие вопросы партийного руководства промышленностью, сельским хозяйством и советским строительством, тем не менее еще не чувствую себя в этом отношении достаточно сильным и мне полезно набрать еще нужного опыта.

Сталин слушал меня очень внимательно, а потом сказал:

— Вы только не прибедняйтесь! В Нижнем уже проделана большая работа. Организация заметно выправилась, идейно и организационно окрепла, стала более сплоченной. Значит, главное сделано и вы можете спокойно перейти на новое место, которое предлагает ЦК.

Тогда я высказал свои доводы против назначения меня секретарем именно Юго-Восточного бюро ЦК партии.

— Это очень большая и ответственная работа, — сказал я, — к которой я не чувствую себя пока еще подготовленным. Северный Кавказ — огромный и сложный край. Там много еще нерешенных и не очень ясных для меня проблем, связанных, скажем, с казачеством, с горскими национальностями и их взаимоотношениями между собой. Кроме того, это огромный сельскохозяйственный край, а у меня как раз опыта сельскохозяйственной работы очень пока мало. Словом, я боюсь провалить эту работу и не оправдать надежд ЦК.

Сталин на это ответил:

— Не преувеличайте трудностей. Конечно, они там есть. Секретарем бюро ЦК работает сейчас Виктор Нанейшвили, которого вы должны хорошо знать еще по Баку. Он старый большевик, бывший учитель. Но в работе он сохранил характер и навыки учителя: больше поучает и разъясняет. Организационно объединить и сплотить людей ему не удалось. Кроме Ставропольской губернии, все остальные местные организации не поддерживают бюро ЦК,

считая его излишним звеном, средостением между ними и ЦК. Мы же считаем, что при существующих пока еще плохих средствах связи и неокрепшем аппарате в самом ЦК из Москвы трудно еще руководить и решать специфические и действительно порой очень сложные вопросы этого края. Бюро ЦК не лишнее звено, а пока что необходимый орган ЦК партии в крае. На первых порах главная задача там — укрепление политической, партийной, организаторской работы. С этой работой вы вполне можете справиться. Что же касается хозяйственных дел, то ЦК готов дать крупных и сильных работников-специалистов из Москвы. После ознакомления с делами на месте вам станет ясно, каких работников нужно направить в этот край. Во всяком случае, жалеть людей для этого края ЦК не будет.

Опровергнуть эти доводы Сталина я, конечно, не мог и не стал: они были довольно убедительны. Я только высказал ему еще одно соображение.

— В состав Югвостбюро, — сказал я, — сейчас входит командующий Северо-Кавказским военным округом Ворошилов. Я с ним никогда вместе не работал и лично его не знаю. Он известный политический деятель. Как большевик и член ЦК партии намного старше меня. У него, наверное, уже сложилось свое твердое мнение по всем местным вопросам, и он, естественно, будет защищать свои позиции. В чем-то мы можем ведь и разойтись... На этой почве у нас могут возникнуть конфликты. Я его уважаю, и мне бы не хотелось вступать с ним в столкновения, а приспособливаться я не могу...

Сталин стал заверять меня, что ничего этого не случится.

— Можете действовать вполне самостоятельно и ничего не опасаться. Я хорошо знаю Ворошилова как толкового и умного человека. Он хороший товарищ и не будет мешать вам в работе по укреплению края. Наоборот, всячески вам поможет. Кроме того, я обещаю лично поговорить с Ворошиловым.

После этого мне уже ничего не оставалось делать, как дать согласие на предложение ЦК.

В конце беседы Сталин обратил внимание, что я крайне исхудал и что у меня вообще довольно болезненный вид. Действительно, вид у меня был неважный, видно, сказалась жизнь на тогдашнем полуголодном пайке. Однако я сказал лишь о том, что месяц назад около двух недель болел воспалением легких и лежал в постели с высокой температурой. Видимо, это и отразилось...

Тогда он предложил мне поехать в дом отдыха ЦК недалеко от Риги, на берегу Балтийского моря.

— Там хорошие условия, и вы сумеете быстро подкрепиться.

Я согласился, тем более что после 1917 года я еще ни разу не был в отпуске.

Прощаясь со мной, Сталин сказал:

— Поезжайте в Нижний, можете проинформировать членов бюро губкома о намерении ЦК отозвать вас из Нижнего и ждите решения ЦК.

Я вернулся в Нижний, рассказал членам бюро о своей беседе в ЦК и в ожидании дальнейших указаний ЦК продолжал работать.

Через несколько дней неожиданно для нас возникло серьезное осложнение на Сормовском заводе.

Дело в том, что рабочие этого завода уже не раз высказывали недовольство существующим разрывом в зарплате, получаемой ими и рабочими столичных заводов.

Как мы ни старались добиться в руководящих хозяйственных и советских органах ликвидации этого разрыва, ничего у нас пока не получалось.

А тут еще как нарочно основной заказчик Сормовского завода — НКПС из-за отсутствия средств задержал перечисление заводу денег за изготовленные им паровозы.

В связи с этим на заводе возникли финансовые затруднения, и директор завода Данилов долго не мог погасить задолженность рабочим по зарплате.

Рабочие терпеливо ждали, а потом пришли к Данилову с запросом: когда же

все-таки они получают деньги? Но тот не смог назвать им конкретного срока и лишь опять сослался на НКПС.

Такая неопределенность еще больше взвинтила рабочих.

Надо сказать, что в сложившейся тогда весьма напряженной обстановке не на уровне оказались руководители сормовской партийной и профсоюзной организаций.

В результате на заводе стихийно возникла однодневная забастовка рабочих.

Вопрос этот немедленно был поставлен мною на обсуждение бюро губкома, не говоря уже, конечно, о том, что мы стали оперативно принимать все необходимые меры к ликвидации возникшего конфликта.

Убедившись, что все наши возможности кардинально решить возникшие вопросы на месте в обычном советском порядке исчерпаны, бюро губкома постановило обратиться за помощью в Оргбюро ЦК партии. С этой целью создали комиссию в составе директора завода Данилова, секретаря Сормовского райкома партии Писарева и меня, которой бюро поручило срочно выехать в Москву и доложить Оргбюро о всех вопросах, связанных с положением на Сормовском заводе.

9 мая вопрос о Сормове подробно обсуждался на Оргбюро ЦК партии, где и приняли развернутое решение.

Соответствующим наркоматам поручили обеспечить не только немедленное оздоровление общего финансового положения на Сормовском заводе, но в соответствии с недавним принятым решением вообще уменьшить разрыв в уровне зарплаты таких крупных районов, как Сормово, по сравнению с рабочими столичных заводов.

Вопрос о забастовке на заводе и о причинах ее возникновения решили доложить в Политбюро ЦК партии⁴⁰.

Такое решение, а также проведенное вскоре с помощью ЦК укрепление руководства партийной и профсоюзной организации Сормова вполне нас устраивало.

Конечно, нам пришлось тогда, находясь в Москве, немало еще похлопотать, походить по разным ведомствам, чтобы добиться скорейшей реализации принятых решений по Сормову, но главное было сделано. Как потом мне стало известно, все это внесло общее оздоровление в жизнь и работу сормовского рабочего коллектива.

Находясь в Москве, я узнал, что решение о моем отзыве из Нижнего и назначении секретарем Юго-Восточного бюро ЦК партии состоялось 2 мая 1922 года, но его еще не послали ни мне, ни в Нижегородский губком.

Так сложилась обстановка, что мне пришлось тогда задержаться в Москве для участия в работе очередной, III сессии ВЦИК, которая растянулась на очень большой срок (с 12 по 26 мая). Кроме того, в дни сессии проходил Пленум ЦК партии, а после окончания сессии — совещание группы членов ВЦИК по вопросу о районировании РСФСР.

Говоря о сессии, хотелось бы отметить большую содержательность и плодотворность ее работы. На обсуждение сессии было внесено более пятнадцати важнейших вопросов большого государственного значения: о трудовом землепользовании, об основных имущественных правах, о прокурорском надзоре, об адвокатуре, об уголовном кодексе, об уголовно-процессуальном кодексе, об изменении управления народной связью, о Генуэзской конференции, о налоговом законодательстве, об областных экономических совещаниях, о земельных судах, о ходе строительства Волховской электростанции, о хлебном займе, о едином натуральном налоге, о мероприятиях по восстановлению коммунального хозяйства и другие. Обсуждение всех этих вопросов проходило очень активно, по-деловому.

Закрывая сессию, Калинин указал, что главное ее отличие от всех предыдущих состоит в том, что на ней приняты не только «общие постановления и ди-

⁴⁰ ПАГО, ф. 1, оп. 1, д. 1290, л. 73.

рективы для органов власти», но и «точно определенные, выработанные ею законы», в разработке и принятии которых огромную активность проявили работники с мест. «Если прежде,— говорил Калинин,— мы рабочих и крестьян увлекали непосредственной борьбой с противниками, то в настоящий момент мы рабочего и крестьянина... не привыкшего к законности за всю тысячелетнюю историю... стремимся сделать... творцом этой законности».

За время, когда шла сессия, постановление ЦК обо мне поступило в Нижегородский губком, на заседании бюро которого (16 мая) приняли решение: не возражать против моего отзыва в распоряжение ЦК.

Тем самым необходимость моего возвращения в Нижний отпала, и после окончания сессии я сразу же уехал, как мне и разрешили, отдыхать на Рижское море. Я был тогда один — жена находилась еще на Кавказе у своих родителей...

Дом отдыха ЦК находился недалеко от Риги.

Сосновый лес, высоченные красивые деревья, стволы которых испытали силу балтийских ветров. Смотришь на них и чувствуешь какую-то особую их мощь и силу...

Рядом с домом — песчаный пляж. Но купаться в море не пришлось: стояла холодная погода и о купании не могло быть и речи.

В ту пору дом отдыха принадлежал консульству РСФСР в буржуазной Латвии, с которой у нас установились тогда нормальные дипломатические и торговые отношения. Отдыхали в доме не больше двадцати работников из Москвы и Петрограда. Я убедился потом, что это были очень приятные и интересные люди...

Тишина и покой, мягкий климат, свежий воздух, обильная еда, крепкий сон, чтение книг и длительные прогулки по лесу и пляжу быстро сказались на мне: вскоре я почувствовал себя окрепшим...

Однажды по нашей просьбе консульство организовало для нас экскурсию в Ригу. Мы ходили по ее средневековым улицам, любовались памятниками старины, необыкновенной архитектурой городских построек — ничего подобного я нигде не видел... Эти узкие улочки с высокими домами, улочки, по которым можно ходить только пешком: для современного транспорта они совершенно непригодны.. Хотя, к слову сказать, автомобили в Риге (да и не только в Риге) были тогда большой редкостью...

Побывали мы и в знаменитом рижском порту, осмотрели причалы, проехали по мосту через Западную Двину, которая отделяет город от курорта...

Я пробыл в доме отдыха около трех недель и вернулся в Москву, хорошо отдохнув, физически здоровым и крепким.

Через два-три дня я уже подъезжал к Ростову...

(Продолжение следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

Х. Н. МОМДЖЯН

★

ФИЛОСОФИЯ РЕНЕГАТСТВА*

Развитие и усовершенствование марксистской философии на основе глубокого осмысления мирового революционного процесса, смелого обобщения выдающихся достижений науки нашего времени является делом первостепенной важности. В соответствии со своей революционно-критической природой марксизм, марксистско-ленинская философия не могут не стремиться познать новые явления и закономерности, обогатиться новыми истинами, обновить свой научно-понятийный аппарат, освободиться от тех выводов и констатаций, которые в силу изменившихся условий утратили свое значение.

Творческое развитие есть закон существования всякой науки, и в том числе марксистско-ленинской науки. Коллективными усилиями братских коммунистических партий революционная теория, преодолевая догматические заблуждения консерваторов и рутинеров, развивается по восходящей линии, без тени самоуспокоенности. Теоретические кадры коммунистических партий сосредоточили свои усилия на нерешенных или недостаточно полно решенных проблемах нашей величественной и вместе с тем сложной и противоречивой эпохи перехода человечества к коммунизму.

Когда же теоретики современного ревизионизма, такие, как Гароди, Фишер, Марек, многократно, шумно и нервозно говорят и пишут о необходимости творческого развития марксизма, марксистской философии, возникает необходимость выяснить, что они подразумевают под развитием и усовершенствованием марксизма. Какими идеями они желают обогатить сокровищницу революционной теории и какие выводы и обобщения они считают устаревшими, догматическими, недоказуемыми?

На словах идеологи современного ревизионизма в отличие от правых лидеров реформизма не отказываются ни от марксизма, ни даже от ленинизма. Если верить их заверениям, они только и вышли на арену, чтобы обогатить марксизм-ленинизм, привести его в соответствие с современными задачами, осветить сложные проблемы современного общественного развития. Искусство камуфляжа поднято на новую ступень. Если старый ревизионизм времен Бернштейна достаточно откровенно и примитивно звал «назад к Канту», то современный ревизионизм на словах зовет нас вернуться... к Марксу и Ленину! Авторитет марксистско-ленинской теории ныне так высок и непоколебим, что люди, вставшие на путь борьбы против нее, вынуждены прикрыться именем Маркса и Ленина.

Ряд вопросов, на которые теоретики современного правого ревизионизма пытаются ответить, например вопрос о социальных последствиях научно-технической революции в условиях государственно-монополистического капитализма, сам по себе является чрезвычайно важным. Но все дело в том, что предлагаемые ревизионистами ответы не проясняют истину, а запутывают ее коренным образом. Эти ответы чаще всего взяты из арсенала буржуазных и реформистских идей. От «марксистско-го» оформления эти идеи, конечно, не перестают быть ложными, но они обретают

* «Философия ренегатства» — первая публикация из цикла статей по критике современного ревизионизма, предоставленных редакции доктором философских наук, профессором Х. Н. Момджяном.

возможность легче проникнуть в среду рабочего класса, в среду коммунистических партий и дезориентировать политически и теоретически плохо закаленные элементы в рабочем и коммунистическом движении.

Вот почему невозможно вести сколько-нибудь действенную, результативную борьбу против идеологии империалистической буржуазии, ее ложных оценок современной действительности, ее фальшивых предсказаний, ее социально-политических мифов и реакционных утопий, не борясь одновременно против реформистских и ревизионистских «моделей» буржуазных идей, адаптированных и приспособленных для дезориентации рабочего класса и его союзников.

Господствующие классы буржуазного общества больше чем когда-нибудь раньше заинтересованы в поддержке ревизионистских концепций, заостренных против марксизма-ленинизма, против социализма в теории и на практике. Нужно отдать должное открытым идеологам буржуазии. С большой быстротой и точностью они распознают суть идей каждого очередного «обновителя марксизма», отмечают «глубину и проницательность» его мысли, его «отвагу и независимость», его призвание «осовременить и цивилизовать» марксизм. Можно подумать, что буржуазные теоретики только для того и существуют, чтобы оберегать «подлинный марксизм», содействовать его обновлению и усовершенствованию.

Для критического разбора идей современного правого ревизионизма мы решили остановиться на работах Роже Гароди. Этот выбор обусловлен отнюдь не основательностью и оригинальностью его писаний, но их типичностью для характеристики современного ренегатства. Мы будем иметь возможность видеть, с какой легкостью Гароди порой стирает грани между собственными и чужими идеями, с каким «творческим» пафосом он изрекает мысли Сартра, Фромма, Гейяр де Шардена, буржуазных теоретиков научно-технической революции, троцкистских и иных врагов КПСС, защитников модели «рыночного социализма» и, конечно же, модели «социализма с человеческим лицом».

«Большой поворот» в его политических и теоретических взглядах также характерен для поведения многих деятелей современного ревизионизма. Гароди, продолжающий называть себя марксистом, стал на путь пересмотра фундаментальных идей марксизма-ленинизма, на путь борьбы против политической линии Французской коммунистической партии и международного коммунистического движения. Он переметнулся в лагерь разнузданного антисоветизма и ныне чернит то, чем восторгался в своих многочисленных выступлениях, статьях и книгах.

Скажем во имя точности, что и в последних книгах Гароди можно встретить словословия в честь Октябрьской революции, советского народа и т. п. Но какова цена этим комплиментам, если в этих же книгах Гароди перечеркивает смысл и значение реально существующего в СССР и в других странах социализма? Обращаясь к «ищущей молодежи», Гароди произносит следующие кощунственные слова: «Отвергать можно не принцип коммунизма, а лишь те первые формы, какие он принял в других странах и в другое время — в исторических условиях, коренным образом отличающихся от наших (французских.— Х. М.)»¹.

Возникает вопрос: как мог Гароди совершить столь «большой поворот» от марксизма к оценкам и взглядам, которые вступают в резкое противоречие с научным социализмом, с диалектико-материалистической философией? В зарубежной литературе можно встретиться с попытками объяснить поведение Гароди его личными качествами: неустойчивостью и непоследовательностью во взглядах, частыми отклонениями от норм строго научного мышления, подменной последовательной логики эмоциональным восприятием вещей, погоней за новшествами без достаточной заботы о том, чтобы идеи были не просто новыми, но и правильными.

Что и говорить, для понимания того, что произошло с Гароди, знание черт его характера или особенностей его мышления не должно быть сброшено со счетов. И тем не менее вряд ли учет этих личностных качеств может нам объяснить основные причины той «мутации», которая произошла в его политических и теоретических взглядах.

¹ R. Garaudy. Pour un modèle français du socialisme. Paris. 1968, p. 385.

Раскрывая объективные основы возникновения ревизионизма, ревизионистских отступлений от коренных положений марксизма, Ленин писал: «...нельзя объяснять этих отступлений ни случайностями, ни ошибками отдельных лиц или групп, ни даже влиянием национальных особенностей или традиций и т. п. Должны быть коренные причины, лежащие в экономическом строе и в характере развития всех капиталистических стран и постоянно порождающие эти отступления»².

Какие же причины оказались способными породить ту мешанину буржуазных, реформистских взглядов, которую Гароди, Фишер, Марек и другие правые ревизионисты пытаются ныне преподнести как последнее слово марксизма, как творческое осмысление новой исторической реальности?

Здесь в первую очередь сказалась, очевидно, переоценка «запаса прочности» капиталистической системы, вера в обретение ею «второго дыхания» в результате научно-технической революции. Сказалось и неверие в силы социализма, раздувание его противоречий и трудностей развития, возникших разногласий внутри мировой системы социализма.

Теснимый революционными силами современности, капитализм действительно пытается мобилизовать все свои резервы, чтобы устоять. Он становится более агрессивным, переходит к контратакам против социализма и национально-освободительного движения народов, желая изменить соотношение сил на мировой арене в свою пользу. Наиболее безответственные и воинственные круги империализма сколачивают агрессивные блоки во всех частях мира, расходуют баснословные суммы на создание средств уничтожения, бряцают термоядерным оружием.

Все эти и сходные явления, порожденные глубоким и неодолимым общим кризисом капиталистической системы, могут быть восприняты и воспринимаются определенными мелкобуржуазными кругами как проявление силы и могущества империализма. Так же оцениваются рост производства в развитых капиталистических странах, отсутствие «великих кризисов» типа 1929—1932 годов, кажущийся порядок и организованность, которую вносят в экономическую жизнь буржуазные государства.

В этих условиях мелкобуржуазное сознание, не без помощи, конечно, буржуазных идеологов и повседневной буржуазной пропаганды, задается вопросом: не удалось ли государственно-монополистическому капитализму прочно оседлать научно-техническую революцию, стать на путь создания обилия благ для всех, погасить все и всяческие антагонизмы, сделать беспредметной классово-политическую борьбу и социальную революцию?

Отсюда уже нетрудно сделать фальшивые выводы о «непригодности и устарелости» марксистского идеала и путей его реализации. Более «осторожные» предпочитают говорить о необходимости коренной модернизации марксизма, решительной переоценке его ценности, приспособления его к веку атомной энергии и кибернетических машин, освобождения марксистской теории от «классовой психологии» XIX и начала XX века.

Таким образом, если революционный пролетариат, его марксистско-ленинские партии смело идут на преодоление трудностей, стоящих на путях к социализму, то обострение классовой борьбы в современном мире иначе воспринимается значительными массами мелкой буржуазии в развитых капиталистических странах. Переоценка сил капитализма и недооценка неисчерпаемых возможностей сил социализма порождает и укрепляет в этой среде чувство страха и растерянности, ориентирует на примиренчество, на поиски легких путей к «царству благоденствия».

Эти идеи и чувства, рожденные в мелкобуржуазной среде, находят отклик и среди части пролетариата, которая не прошла еще школы классовой борьбы, не приобщилась еще к идеологии и психологии революционного рабочего класса. Проникновению в среду пролетариата примиренческих, реформистских идей содействует наличие слоев рабочего класса, которые лучше оплачиваются за счет части сверхприбылей, получаемых ценой чрезмерной интенсификации труда и ограбления экономически развитых стран.

Марксистско-ленинские партии капиталистических стран не отгорожены

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 62.

стенной от окружающей среды. В их ряды неизбежно проникают отдельные неустойчивые элементы с тяжелым грузом мелкобуржуазных предрассудков. При встрече с трудностями в борьбе против империализма — а эти трудности, неудачи и временные поражения всегда сопутствуют становлению нового революционного порядка — эти неустойчивые элементы впадают в панику, начинают колебаться и сомневаться во всем. Выражающие эти настроения теоретики берутся в спешном порядке пересмотреть проверенные практикой положения, в истинности которых вчера они еще не сомневались. Они желают переосмыслить действительность, избавиться от фундаментальных, подтвержденных жизнью положений марксизма-ленинизма, третируя их как «догмы», как «истины вчерашнего дня». Но «творчески» развивая марксизм, они неизменно преподносят как теоретические новшества немало старых и подновленных догм буржуазной и мелкобуржуазной реформистской идеологии. В писаниях Роже Гароди мы будем иметь возможность видеть это странное «обновление» марксизма.

Еще одно предварительное замечание. Гароди с большой охотой берется писать по любому поводу. Он заполнил книжный рынок сочинениями о всех составных частях марксизма, о его истории, о его кардинальных и некардинальных проблемах. Без долгих размышлений он берется сказать свое слово по вопросам теории познания и логики, по теории и практике социализма, по вопросам этики, эстетики, религии и т. п.

Объем нашей работы не позволяет нам следовать за Гароди, оценивать его мысли и домыслы по всему этому обширному кругу вопросов.

Будучи вынуждены сделать выбор, мы считаем целесообразным остановиться на тех проблемах, которые, по нашему мнению, представляют наибольшее значение и которые больше всего извращены в работах Роже Гароди. Мы имеем в виду вопросы философии и в особенности теории познания марксизма-ленинизма, проблему исторического закона и революционной инициативы масс, вопрос о единстве и многообразии становления социалистического общества и, наконец, вопрос о религии.

ИЗВРАЩЕНИЕ СУЩНОСТИ И РОЛИ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛИЗМА

В своих книгах последних лет Роже Гароди проявляет большую заботу об «оздоровлении и обогащении» марксистской философии, о ее модернизации и приспособлении к задачам последней трети XX века. В целях придания большего веса и смысла своим начинаниям Гароди рисует достаточно безотрадную картину марксистской философии после смерти Ленина, чрезмерно раздувая действительные или мнимые ошибки, допущенные в области теории в период строительства социализма.

Однако вопреки клеветническим утверждениям Гароди ни в один период истории ни одному другому народу не приходилось в столь короткие сроки решать столь великие революционные задачи на практике и в теории. Годы, которые Гароди без всякого чувства стыда и ответственности называет «склеротическими» и «догматическими» в истории марксистской философии и марксизма в целом, были в действительности годами беспримерного духовного подвига, годами смелой постановки и решения поистине всемирно-исторических задач. Советский Союз, многие годы находившийся в плотном вражеском окружении, оставался центром мирового революционного движения, его могучим оплотом, родиной Коминтерна, огромной лабораторией революционной мысли. Все коренные проблемы мирового революционного процесса обсуждались совместными усилиями как советских политических деятелей и теоретиков, так и усилиями революционных вождей такого масштаба, как Димитров, Торез, Тольятти, Тельман и другие. Марксизм-ленинизм, диалектический метод познания действительности, позволил проанализировать противоречия империализма между двумя мировыми войнами, потрясший до основания буржуазный мир экономический кризис конца 30-х и начала 40-х годов, коренные вопросы международного рабочего и коммунистического движения, отличительные особенности, движущие силы и формы национально-освободительного антиимпериалистического движения и много других вопросов, ответы на которые невозможно было найти в готовом виде, без дальнейшего

творческого развития ленинизма. В числе многих этих вопросов следует отметить также проблему фашизма. Без глубокого анализа сущности фашизма, его истинной классовой основы, подлинных целей невозможно было правильно ориентировать сотни миллионов людей, поднять их на борьбу против гитлеризма. Можно смело сказать, что до позорного своего поражения на полях второй мировой войны фашизм был идейно разгромлен усилиями марксистских теоретиков. Блестящие по глубине и прозорливости оценки фашизма, предсказания необходимости его краха, освещение путей победы над ним являются исторической заслугой марксистской теории, свидетельством неисчерпаемых ее творческих возможностей и поразительной действительности.

Внушительные успехи марксизма сделали его знаменем борьбы на всех континентах, проверенным оружием борьбы против империализма, колониализма и неоколониализма, научной теорией строительства социалистического общества. Разве оскотеневшая, остановившаяся в своем развитии, повернутая в прошлое научная теория может стать властителем дум передового человечества? Разве такая «ветхая», «омертвевшая» теория способна породить столь злобные чувства защитников старого мира? Кто берется так усердно опровергать теорию, которая «опровергнута» самой жизнью? Почему написаны и пишутся сотни томов против философии, которая, «подобно спящей красавице», спокойно дремлет, не вмешивается в мирские дела?

Ни на один из этих вопросов Гароди не может ответить, не вступая в кричащее противоречие с правдой жизни.

Отвергая клевету на марксизм, взятую Гароди из буржуазного идеологического арсенала, никто из марксистов не склонен, конечно, забывать о трудностях развития марксистской мысли, об ошибках, допущенных отдельными ее представителями, о нерешенных вопросах и т. д.

Но противников марксизма интересует, конечно, не творческое развитие марксизма. Борясь против марксистского «догматизма», буржуазные, реформистские и ревизионистские теоретики обходят или прямо отрицают объективную истину, ратуют за релятивистский взгляд на развитие знаний, носятся с идеей плюральности истины и т. п. Эта субъективизация процесса познания под видом борьбы против «догматизма» прочно освоена Гароди. Субъективизация познания позволяет ему и его единомышленникам из среды правого ревизионизма извращать теорию научного коммунизма, отстаивать антимарксистскую концепцию множественности «моделей социализма» и даже различных «моделей марксизма». Субъективизация процесса познания дает возможность ревизионизму вкривь и вкось толковать условия и социальные последствия научно-технической революции, вытеснять ссылки на современный технический прогресс идею социальной революции, отвергать ведущую роль рабочего класса, его марксистско-ленинских партий в современном мировом революционном процессе, выдавать за новое слово марксизма технократический вариант обветшалого реформизма.

ВЕРСИЯ О «САМОИЗОЛЯЦИИ МАРКСИЗМА»

Пытаясь дать объяснение «заклочениям» марксистской философии, Гароди избрал тезис о «самоизоляции марксизма» от других культурно-философских потоков, от других учений, хранящих и развивающих другие ценности, другие гипотезы и истины. Во избежание недоразумений отметим, что Гароди имеет в виду в первую очередь ценности, гипотезы и истины идеалистических направлений философии. Что же Гароди собирается перенять из идеалистических учений прошлого и настоящего для «обогащения» марксизма? Если речь идет о научном знании, раздобытом в идеалистических учениях, то в такой постановке нет ничего нового, ибо марксизм никогда не отрицал и ныне не отрицает такую возможность. Известно, что при своем возникновении марксизм в переработанном виде взял немало идей, которые содержались в идеалистических учениях, однако не могли быть там разработаны научно. Достаточно отметить отношение основоположников марксизма к диалектике Гегеля, к идее активности мышления, особо отчетливо (но в искаженном виде) выраженное в философии Канта и Фихте, к учению о качественном многообразии мира, его гетерогенно-

сти, содержащемуся в идеалистической монадологии Лейбница, и т. д. Наличие научных идей в идеалистических учениях — одно из реальных жизненных противоречий. Идеалистическая система с непреодолимой необходимостью искажает, извращает противоположные ее существу элементы научного знания, в тенденции как бы отбрасывает, вытесняет эти научные констатации. Не случайно, что эти идеи и констатации как бы ищут и находят адекватную им систему философского обобщения, получают свое плодотворное развитие в научно-материалистических учениях. Судьбы идеалистической немецкой диалектики XIX века подтверждают сказанное. Лишь материалистически освоенная диалектика могла стать подлинным оружием познания и действия.

И ныне марксистская философия из-за идеалистических предрассудков и заблуждений того или иного ученого не ставит под сомнение подлинные его достижения в физике, математике, химии, биологии, геологии, экономике, истории, этнографии и т. д.

Было бы неверно, например, из-за религиозных убеждений Тейяр де Шардена поставить под сомнение его достижения в области геологии, палеонтологии, теории эволюции и т. д. Не придет в голову также мысль отмежеваться от того, что относится к области научного знания у Фрейда, только потому, что существует фрейдистская мистификация явлений человеческой психики. Марксисты хорошо помнят высказывания Ленина о необходимости строго различать Маха — физика и Маха — субъективного идеалиста.

Гароди и другие упрекают «догматический марксизм» в том, что он не сумел по достоинству оценить общую теорию относительности Эйнштейна, генетику и кибернетику. Гароди не может не знать, что это были ошибки не марксизма, а отдельных марксистов, которые не сумели идеалистические и мистические спекуляции вокруг проблем генетики, кибернетики, теории относительности, теории резонанса и т. д. отличить от существа новых научных открытий.

Что касается самой марксистской теории, то она независимо от религиозных и идеалистических убеждений самих создателей многих научных концепций высоко оценивает эти концепции, обогащается ими и с их помощью уточняет свои обобщения и выводы.

Таким образом, версия о «самоизоляции марксизма» от науки, прогрессивных идей — фальшивая версия. Марксизм, как говорил Ленин, возник не вдали от столбовой дороги мировой цивилизации. Марксизм — закономерный результат общественного развития. Он витал и витывает в себя в критически осмысленном виде все достижения прогрессивной мысли.

«Самоизоляция марксизма» могла бы иметь один лишь смысл: принципиальное размежевание марксизма, марксистской философии со всем тем, что не является научным, не говоря уже об открыто антинаучных концепциях. Однако термин «самоизоляция» очень неточно выражает идеологическую несовместимость марксизма с идеализмом, религией, иррационализмом, с концепциями, которые открыто или замаскированно защищают капитализм и его идеологию в целом. Мы говорим о неточности термина, ибо марксизм не «изолируется» от чуждых и враждебных ему идей — это пассивная позиция, — а активно воюет против них.

«Самоизоляция марксизма» от немарксистских идей — это обвинение против «современного марксизма», которое фигурирует в писаниях ревизионистов, и имеет оно иной смысл. Гароди и его единомышленники домогаются установления отношений взаимодополнения между марксистской философией и идеалистическими учениями, между научным атеизмом и религией, между марксистской эстетикой и всевозможными нереалистическими и антиреалистическими направлениями в эстетике, между марксистской этикой и идеалистическими, кантианскими и фихтеанскими учениями о морали, наконец, между научным социализмом и разновидностями современного мелкобуржуазного утопического социализма.

Ликвидация «самоизолированности» марксизма, превращение его в «открытое» учение, способное, дескать, «по достоинству» оценить «инокультурные» ценности и обогащаться за их счет, означает для Гароди и других ревизионистов замену борьбы против чуждых идеологических течений мирным сосуществованием и взаимообогащением.

нием. Гароди, таким образом, размывает принципиальные, непроходимые грани между материализмом и идеализмом, атеизмом и религией и пытается внушить читателю мысль, что развитие материализма достигалось не только на путях его конфронтации с идеализмом, но и по мере впитывания в себя материализмом ценностей самого идеалистического мышления.

Знакомясь с лихорадочными поисками Гароди связей с Кантом, Фихте, с современным экзистенциализмом для обоснования принципа субъективности, активности, инициативы и т. п., нельзя не задаться вопросом: почему Гароди не избирает более короткий и верный путь, путь, ведущий к Марксу, Энгельсу, Ленину? Ведь нельзя же придавать сколько-нибудь серьезное значение злостным и невежественным утверждениям о фаталистической природе марксизма, который, отстаивая идею о «железных» исторических законах, предопределяющих в деталях весь ход исторического развития, не оставляет места для свободы человека, для осознанного исторического творчества людей.

Гароди согласен, что это ложное изображение марксизма. Но нужно ли в таком случае апеллировать к Канту, Фихте, если известно, что марксизм в критически переработанном виде унаследовал рациональные диалектические идеи Канта и Фихте по интересующему нас вопросу и впервые научно обосновал активную роль сознания, воли, инициативы народных масс, политических партий, личности в общественном развитии? Еще более смешными являются апелляции к Сартру и даже к религии, чтобы вооружиться аргументами в защиту принципа субъективности, активности, свободы выбора, самовыражения, самоутверждения личности и т. п.

По всей вероятности, вопреки многим своим заявлениям Гароди полагает, что марксизму не удалось полностью обосновать принцип субъективности, деятельности. Вероятно, поэтому он, Гароди, берется завершить «недоделанное» с помощью прошлых и настоящих идеалистических учений.

Гароди пытается перенять у Фихте не только прогрессивные идеи, но и то, что не могло быть унаследовано марксизмом у немецкого мыслителя.

Известно, что марксизм высоко оценил стремление Фихте обосновать активность субъекта, творческую роль его мышления. Фихте действительно уделил большое внимание нравственному сознанию и в особенности проблеме свободы. Так, Фихте определил степень достижения свободы не только уровнем интеллектуального развития человека, но и исторически сложившимися условиями его существования. Эти и многие рациональные диалектические идеи Фихте в переработанном виде были освоены в процессе формирования философии марксизма.

Идеализация философии Фихте со стороны Гароди вынуждает нас напомнить ряд известных истин. Начнем с констатации, что защита идеи субъективности осуществлялась Фихте ценой откровенного субъективизма, а прославление волевого начала было неотделимо от крайнего волюнтаризма. Фихте попытался преодолеть дуализм Канта с позиций субъективного идеализма, вытеснить полностью материалистическую струю в кантовской философии — признание объективно существующего мира ноуменов, «вещей в себе». В субъективно-идеалистической системе Фихте «я» творит «не-я», то есть «объективный» мир, но оба они в конечном счете являются порождением высшего, сверхъестественного начала, которое все предопределило с фатальной необходимостью.

Этой неумолимой фатальной предопределенности подчинен также фихтеанский субъект, который, однако, всем своим существом стремится обрести свободу. Обоснование возможности этой свободы Фихте рассматривал как одну из решающих задач своей философии. Он наделил «я» сверхактивной природой, представил его волевым, творческим началом, не признающим никаких преград в осуществлении своих целей. Этой всепреодолевающей воле субъекта Фихте подчинил даже его сознание и выступил как один из представителей законченного волюнтаризма.

Возникает вопрос: как могло фихтеанское «я» обрести свободу действия в мире, где, по определению самого философа, господствует роковая необходимость? Следует отметить, что Фихте не мог преодолеть этого противоречия, как не преодолел его Кант. В конце концов сверхъестественный субъект философии: Фихте был вынужден огра-

ничить свою деятельность лишь осмыслением необходимости, которая держала его в неустранимых цепях.

Фихте был вынужден звать к умеренности, к самоограничению, к пассивному созерцанию. В духе этого смирения перед неизбежным он писал: «Все существует (так, как оно существует) не потому, что бог произвольно хочет именно такого существования, но потому, что иначе, чем так, он не может проявляться. Познать это, в смирении примириться с этим и быть блаженным в сознании этой нашей тождественности с божественной силой — доступно всем людям»³.

Легко заметить, насколько противоречив Фихте в понимании свободы, как смешиваются в фихтеанстве взаимоисключающие принципы волюнтаризма и фатализма. Элементы диалектической мысли Фихте не просто сосуществуют с идеализмом, а искажены идеализмом, и не так уже просто взять диалектические проблески мысли немецкого философа, механически отбросив его идеализм.

Игнорируя эти факты, упрощая проблему до крайности, идеализируя фихтеанство, Гароди зовет марксистов учиться у Фихте не только диалектике, но чуть ли не историческому материализму. Так, если верить Гароди, Фихте нам показывает образцовую модель усилия, направленного на сведение воедино двух концов цепи — морали и общества. «Фихте, — пишет Гароди, — может нам помочь ухватить два конца цепи. Именно на почве философии Фихте диалог о морали может быть наиболее плодотворным, если марксисты вновь научатся вбирать в себя теорию субъективности экзистенциалистской мысли Фихте и если нынешние экзистенциалисты не искалечат экзистенциализм Фихте, лишив его двух основных измерений — рационального и социального измерения»⁴.

Никто не может отрицать наличие в так называемой практической философии и в особенности в этике Фихте интересных для своего времени мыслей о детерминированности человеческих поступков, о свободе и необходимости. Все это так, но какой смысл марксистам последней трети XX века учиться у идеалиста Фихте пониманию истинных взаимоотношений между обществом и общественным сознанием? Разве научное решение этих вопросов не составило выдающуюся заслугу марксистской теории, марксистской философии? Но все дело в том, что чрезмерно увлеченный непомерно абсолютизируемым принципом субъективности, активитета, Гароди, естественно, проявляет повышенный интерес к фихтеанскому прославлению сверхтворческого «я». Ему кажется, что возрождение некоторых идей Фихте может облегчить контакты с современными идеалистическими направлениями, в частности с философией Сартра, которую несколько лет назад, до появления «Марксизма XX века», Гароди отвергал как «соединение теории финалистского идеализма в познании человека и позитивистского агностицизма в естественных науках»⁵. Теперь же Гароди при посредничестве Фихте желает обогатить марксистскую философию философией Сартра. Гароди пишет: «Не можем ли мы, марксисты, вдохновляясь усилиями Фихте по соединению двух концов цепи (общества и морали. — Х. М.), подключить и впитать требование Сартра, превратив его в момент нашей собственной мысли?»⁶. Под требованием Сартра подразумевается признание субъективно-деятельной природы человеческой личности, ее призвание конструировать себя, сделать себя мерой всех вещей.

Мы можем подвести первые итоги сказанному. В «Марксизме XX века», в книге «За французскую модель социализма» и в других Гароди достаточно откровенно обходит противоположность материализма и идеализма и занят «обогащением» марксистской философии идеями идеалистического толка.

Любопытно заметить, что, взявшись за освещение марксизма XX века, Гароди отвлекается от острейших проблем идеологической борьбы современности. Можно подумать, что уже прошлому принадлежит борьба между антагонистическими классами и политическими партиями, можно подумать, прекратились озлобленные атаки империалистической буржуазии, ее философов, социологов, экономистов, политиков

³ Фихте. Основные черты современной эпохи. СПб. 1906, стр. 128.

⁴ R. Garaudy. *Marxisme du 20e siècle*, p. 91.

⁵ Р. Гароди. Ответ Жан-Полю Сартру. М. 1962, стр. 26.

⁶ R. Garaudy. *Marxisme du 20e siècle*, p. 91.

против коммунизма и философии коммунизма. При чтении книги Гароди «Марксизм XX века» может сложиться впечатление, что идеализм и мистика утратили свое реальное существование и скромно уместились на страницах книг по истории философии и религии.

Если кто-нибудь захотел бы составить представление о марксизме XX века по книге «Марксизм XX века», он мог бы подумать, что боевой, бескомпромиссный революционный марксизм уступил место какому-то скоплению аморфных идей, ищущих компромисса с реакционными концепциями ущербного общества, желающих как-то и в чем-то породниться с ними.

Если в ранних, по определению самого Гароди, работах «догматического периода» он достаточно активно боролся против неотомизма, экзистенциализма и других идеалистических течений, против А. Лефевра и его сторонников, которые пошли по пути ревизии марксистской философии, то ныне, став «творческим» марксистом, Гароди охвачен главным образом желанием вступить в «деловые» контакты с идеализмом, вести мирные диалоги с живыми и мертвыми представителями идеалистического и спиритуалистического мышления. Он желает обогатить марксистскую философию за счет чахлая и художочной современной идеалистической мысли. Смешивая воедино неравноценные фигуры, Гароди пишет: «...Даже в эпоху разложения империализма появились важные произведения, у которых нам есть чему поучиться; наш марксизм был бы обеднен, если предположить, например, что не существовали Гуссерль, Хайдеггер, Фрейд, Башляр или Леви-Строс»⁷. Не вызывает сомнения, что нужно не отбрасывать, а критически изучать, например, Гуссерля, чтобы основательнее познать ход буржуазной философской мысли эпохи империализма, ее задачи, ее аргументы, выставленные против диалектического материализма. Знание гуссерлианства, несомненно, позволит понять генезис и развитие немецкого экзистенциализма. Все это так, но почему без Гуссерля, его «чистого сознания», «чистых сущностей», без многих его идей, взятых у имманента Шуппе, марксизм обеднел бы? Гароди не говорит нам — ибо это невозможно сказать, — какие научные, прогрессивные, перспективные идеи таятся в гуссерлианстве? К чему же в таком случае этот неуместный флирт с «чистым идеализмом»?

Проявляя предельную «чуткость», весьма бережное отношение к эпигонам буржуазной философской мысли, к христианской теологии, Гароди становится человеком желчным, вступая в войну с теми, кто не желает заниматься «примиренческим шарлатанством», а отстаивает и развивает принципы марксистско-ленинской философии, с теми, кто взял на себя нелегкое бремя борьбы против реакционной буржуазной идеологии, ее опасных и коварных замыслов.

Что касается самого Гароди, он ищет и находит беспринципные компромиссы с буржуазной философией, уступая ей одну позицию за другой. Это не мешает ему многократно заверять своего читателя, что он за материализм, за атеизм, возражает против эклектики, отстаивает диалектическое единство многообразия и т. п. Но эти слова находятся в полном разладе с линией поведения Гароди. Он не только за примирение противоположных мировоззренческих течений, но пытается возвести в принцип такое поведение, теоретически оправдать его.

В книге «Большой поворот социализма» Гароди отстаивает принцип гносеологического плюрализма и расценивает его как «принцип взаимного обогащения»⁸. Совместно с другими ревизионистами Гароди ратует за толерантный марксизм, способный якобы проявить широкий взгляд на вещи и свободный от «узкоклассовой» и «узкопартийной» позиции, марксизм, способный впитать в себя все истины, добытые иными, немарксистскими учениями.

Много фальши и лицемерия в этих рассуждениях. Можно подумать, что марксизм будто бы ратует за уозсть, односторонность, сектантский дух, за закрытую систему знаний и т. п. Мы уже имели возможность отметить ту простую и неопровержимую истину, что марксизм развивался и развивается, обогащаясь всеми фун-

⁷ Ibid., p. 208.

⁸ R. Garaudy. Le grand tournant du socialisme. 1969. p. 54.

даментальными истинами, открытыми человеческим интеллектом и проверенными на практике. Всеми истинами, исключая те, которые не являются истиной, а лишь выдаются за истину. Вот для этих квазиистин, не говоря уж об открытой лжи, марксизм на все замки запирает свои двери. Можно ли жаловаться на такую «закрытость»?

Идея множественности истины, плюрализма, которая ныне взята на вооружение Гароди и объявлена им «необходимым результатом нового понимания реальности», тоже заимствована им из буржуазного идеологического арсенала.

Это новое понимание реальности исключает монистическое мировоззрение, расшатывает диалектическое единство многообразия явлений, допускает сосуществование и взаимообогащение несовместимых принципиальных положений. Этот плюрализм рассматривает мир как сумму равнозначных, изолированных сущностей, чаще всего духовных субстанций, несводимых к единому началу. Оставляя в тени вопрос об онтологическом плюрализме, Гароди больше тяготеет к гносеологическому плюрализму, к множественности гипотез, множественности гипотетических истин с одинаковым правом на существование до тех пор, пока противостояние гипотез не кончается поглощением победившей гипотезой всех своих менее удачливых конкурентов. Последние не исчезают, а становятся частными моментами гипотезы, которая взяла верх. Обращает на себя внимание тот факт, что нигде Гароди не уточняет свое понимание гипотезы, не формулирует критерий, который дал бы возможность отличить научную гипотезу от ненаучной, а то и просто от антинаучной. Мы особо подчеркиваем это обстоятельство, ибо Гароди отстаивает мысль, согласно которой столкновение гипотез относительно тех или иных явлений неизменно завершается тем, что победившая гипотеза включает в себя не оправдавшие себя гипотезы. Чтобы невольно не исказить мысль автора, приведем его собственные суждения по интересующему нас вопросу. Диалектика, пишет Гароди, «...предполагая необходимость критического усвоения, впитывания в себя всех частичных истин, открытых благодаря плюрализму гипотез, призывает преодолеть их, причем в конечном итоге самой верной гипотезой будет та, которая окажется способной вобрать в себя все другие»⁹.

История науки знает немало случаев, когда подтвержденная научная гипотеза действительно, употребляя выражение Гароди, вбирала в себя частные истины, сохранившиеся в отвергнутых гипотезах. Но вряд ли правильность той или иной гипотезы можно измерять ее способностью вбирать в себя все другие противоположные ей гипотезы. Чаще всего победа той или иной гипотезы связана с раскрытием ненаучности или антинаучности всех или многих других гипотез. Само понятие «коперниканского переворота» в науке связано с резким отрицанием предыдущего объяснения или объяснений одного и того же феномена. Такое отрицание обязательно не связано с сохранением в снятом виде содержания отвергнутого объяснения. Учение о вращении Земли вокруг Солнца ни в какой форме не вобрало в себя, не сохранило даже в снятом виде ложную идею вращения Солнца вокруг Земли. Материалистическое понимание истории точно так же поступило с идеалистической теорией общественного развития.

Отвергая концепцию Гароди, согласно которой победившая концепция включает в себя в качестве составных частей противоположные ей побежденные концепции, мы, конечно, далеки от мысли вместе с этим эклектичным плюрализмом, примирением принципиально враждебных и несовместимых идей, отвергать идею диалектического отрицания, идею освоения (в критически переработанном виде) предыдущих прогрессивных мыслей, если они даже в искаженном виде содержались в идеалистических концепциях прошлого.

Идея примирения противоположностей не марксистская, а гегелевская идея. Что касается «теории вбирания», теории своеобразного синтеза победившей идеи с идеями побежденными, то она ничего общего не имеет с марксистской диалектикой. Если она, эта «теория вбирания», и обладает каким-нибудь смыслом, то этот смысл, очевидно, сводится к сближению материализма и идеализма, науки и религии, реализма и антиреализма, чем усердно в последние годы занимается Гароди под шумок борьбы

⁹ R. Garaudy. *Marxisme du 20e siècle*. p. 52.

против «догматизма» и «сталинизма». Нетрудно догадаться, что «теория вбирания», «теория синтеза» противоположных гипотез служит также конвергенционным идеям, идеям синтеза элементов социализма и капитализма.

Гносеологический плюрализм давно уже используется в целях обоснования «идеологического нейтралитета», рассматривается средством возвышения (на словах, конечно) над материализмом и идеализмом. В действительности он заострен против материалистического монизма и служит защите идеалистического и религиозного мировоззрения. В годы своего «догматического мышления» Гароди это хорошо понимал. Теперь же, когда он охвачен желанием помирить мировоззренчески чуждые, взаимоисключающие направления, Гароди со многими оговорками тактического порядка потянулся к лицемерному плюрализму.

Идею сближения материализма и идеализма, отказ от принципа партийности философии наиболее откровенно Гароди выразил в книге «Большой поворот социализма». Он писал: «Если партия хочет стать центром всех сил, которые стремятся построить социализм во Франции, а не сектой доктринеров, она не может иметь «официальной философии», она не может в принципе быть ни идеалистической, ни материалистической, ни клерикальной, ни атеистической»¹⁰.

Не приходится удивляться тому, что Гароди подвергся острой критике со стороны многих марксистов, и в первую очередь со стороны французских марксистов, за попытку деидеологизировать коммунистическую партию, навязать ей нейтральное отношение как к материализму и идеализму, так и к религии и атеизму.

Поняв, как далеко он зашел в своей откровенности, как неосторожно вскрыл истинные свои желания лишить философию партийности, а партию — философии, Гароди начал шумно отбиваться и оправдываться, обвинять своих критиков в недобросовестности. Он писал: «Вырвали из контекста фразу на стр. 284 моей книги «Большой поворот социализма» о том, что для того, чтобы не превратиться в секту доктринеров, а быть бродилом всех сил Франции, которые хотят построить социализм, наша партия не может иметь «официальной философии»¹¹.

Вслед за этим Гароди, желая выйти из положения, ссылается на определение слова «официальный», даваемое в словаре Ларусса: «Так говорится о всем том, что объявляется, декларируется, предписывается признанной властью; о том, что исходит от правительства, администрации»¹².

Гароди может показаться, что с помощью толкового словаря ему удалось отбиться от критики и ославить «догматиков». Но он забывает, что в злосчастном тексте слова «официальная философия», которой, по убеждению Гароди, не должна вооружаться коммунистическая партия, объяснены настолько ясно, что нет необходимости заглядывать в Ларусс. «Партия,— пишет Гароди,— не может в принципе быть ни идеалистической, ни материалистической, ни клерикальной, ни атеистической». Иными словами, философия есть частное дело для коммунистической партии. Она безразлична к тому, какое философское учение лежит в основе программы, стратегии и тактики партии, каких философских убеждений придерживаются члены Коммунистической партии Франции, руководители ее прессы, издательств, исследовательских центров и т. п.

«Опровержение» Гароди имело бы какой-нибудь смысл, если бы он, осудив «официальную, казенную философию», отчетливо сказал, какую же философию должна иметь партия. Этого он не говорит. А не говорит потому, что прикрывается явно оппортунистическим аргументом: наличие у партии материалистической и атеистической философии может якобы помешать ей идти вместе с социальными слоями и партиями, которые отрицают и материализм и идеализм. Но тогда стоит ли партии говорить о своей цели, о программе-максимум, о коммунистическом преобразовании общества, учитывая, что такая программа на современном этапе также может быть не понята или не полностью понята непролетарскими слоями?

¹⁰ R. Garaudy. Le grand tournant du socialisme. p. 284.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Якобы для того, чтобы сделать программу коммунистической партии более приемлемой для возможно широкого круга непролетарских элементов, Гароди готов, как видим, вычеркнуть из программы партии, из ее идеологической концепции все то, что может показаться «непривлекательным» для мелкой буржуазии, для «средних классов», для монополистической буржуазии.

Политика отказа от принципов будто бы во имя завоевания широких и разнообразных масс избирателей на сторону социализма была уже в истории применена оппортунистическими руководителями II Интернационала. Результаты этого «эксперимента» известны. Известно также, что «мировоззренческий нейтралитет», этот фальшивый лозунг, находится на вооружении правых руководителей современных реформистских партий, входящих в Социалистический Интернационал.

Писания Гароди последних лет проникнуты стремлением избавиться от твердых оценок и суждений, которые могли бы показаться «односторонними», очень уж партийными, недостаточно гибкими и т. п. Гароди занят «цивилизацией» социализма и марксистской философии, их переосмыслением, приданием им такого содержания и внешнего облика, чтобы очаровать «утонченные души», учесть их неприязнь к «партиальности», односторонности, к «утомляющему монизму», к чересчур категорическим утверждениям, к установившимся истинам.

Идя навстречу этим настроениям, Гароди делает значительный шаг к пересмотру диалектики объективной, относительной и абсолютной истины. Ему нужно такое толкование истины, которое оправдало бы «плюрализм гипотез», примиренческие позиции в философии, теоретическое обоснование необходимости отказа от принципа партийности в философии.

РЕЛЯТИВИЗМ, ЗАОСТРЕННЫЙ ПРОТИВ АДЕКВАТНОГО ЗНАНИЯ

В книге «Марксизм XX века» Гароди не раз возвращается к догматическим ошибкам, допущенным в области теории, отмечает, что чаще всего они были связаны с искажением диалектики абсолютной и относительной истины. Можно с уверенностью сказать, что собственные ошибки самого Гароди также обусловлены извращением этой же диалектики, правда иным способом: абсолютизацией относительного и вытеснением из процесса познания устоявшихся, подтвержденных практикой истин.

Чтобы бороться с реальными или вымышленными догматическими утверждениями, Гароди часто стирает грани между диалектикой и релятивизмом. Он представляет дело таким образом, что будто бы все научные истины со временем отбрасываются и заменяются новыми научными истинами, которые, в свою очередь, уступают место новым истинам, и так до бесконечности. «...Диалектический материализм,— пишет Гароди,— признает, что действительность неисчерпаема, что она гораздо шире наших знаний о ней и что всякая научная концепция всегда является временным построением, существующим до появления более богатых, более эффективных, более верных построений»¹³. Эта правильная мысль, взятая, однако, без ограничений и уточнений, превращается в бессмысленность. Разве научные открытия прошлых веков или десятилетий обязательно утрачивают свою научность, вытесняются из комплекса научных знаний? Разве из истин они превращаются в ложь? Настаивать на этом положении равноценно изображению процесса познания как смены одной кажущейся истины другой столь же кажущейся истиной или иначе: смены одного заблуждения другим заблуждением, правда менее грубым. При таком взгляде на вещи относительные истины, по сути дела, превращаются в относительные заблуждения. Согласно этой дурной диалектике, каждая новая истина рождается на путях полного отрицания того, что считалось истиной. Каждая новая истина, в свою очередь, разделяет трагическую участь своей предшественницы, а в результате (Гароди обходит этот вопрос) нет никакого кумулятивного процесса в сфере знания.

В реальном научно-познавательном процессе картина выглядит иначе. Ряд положений, которые воспринимались как истинные, со временем отбрасываются как лож-

¹³ R. Garaudy. *Marxisme du 20e siècle*, p. 45—46.

ные; напротив, идеи, которые считались ложными, обнаруживают свою истинность; одни относительные истины уступают место другим, более глубоким, знаменующим более серьезное продвижение к познанию абсолютной истины; ряд научных допущений, гипотезы превращаются в доказанные истины или, напротив, опровергаются и отбрасываются.

Это многообразное движение к истине заменяется у Гароди надуманной схемой смены в лучшем случае одной относительной истины другой относительной истиной без наращивания частиц истины абсолютной.

Нельзя не обратить внимание на то, что научные обобщения Гароди расценивает лишь как гипотезы. «Научный вывод,— пишет он,— является не догмой, а рабочей гипотезой»¹⁴. В действительности же гипотеза есть допущение, которое имеет некоторые научные основы, и лишь подтвержденная опытом, практикой, становится научным положением. Низведение научных положений до гипотез вполне соответствует стремлениям Гароди избежать всякого стабильного знания и подчеркнуть резко выраженную релятивность, текучесть, зыбкость знаний людей о мире и о себе. Гароди многократно повторяет мысль, что будто бы всякая научная концепция всегда является временным построением. Само собой разумеется, наше замечание касается не диалектического изменения, развития, обогащения научных знаний, очень часто полной смены устаревших научных представлений новыми. Возражение вызывает другое: утверждение временности всякой истины. Разве все научные истины со временем перестают быть истинами? Как может перестать быть истиной закон всемирного тяготения? Ведь сам же Гароди отмечает, что учение о первичности материи и вторичности сознания не может превратиться в свою противоположность. Любопытно, что, порою забывая о своих категорических суждениях, согласно которым возникновение нового знания перечеркивает предыдущее знание, что рост истины «происходит не путем механического прибавления, а путем органического развития, предполагающего полный пересмотр понятий на каждом этапе»¹⁵, Гароди через страницу-другую высказывает мысли иного порядка. Мы достаточно неожиданно узнаем, что новая истина включает, вбирает в себя превзойденную истину как частный случай.

В писаниях Гароди достаточно эклектически сосуществуют в понимании судеб превзойденных истин две концепции: концепция их «полного пересмотра» и концепция «вбирания, поглощения» старой истины новой. Такое плюральное толкование проблемы обеспечивает Гароди большую «гибкость» в оценке тех или иных учений прошлого и настоящего. Так, всячески третируемый старый материализм Спинозы, Дидро, Гольбаха, Фейербаха относится к тем учениям, которые подпадают под нож «полного пересмотра». Иная участь уготовлена для немецкого идеализма. «Марксизм,— пишет Гароди,— подобрал в себя наследие великого буржуазного гуманизма, и в частности классической философии великих немецких идеалистов Канта, Гегеля...»¹⁶.

И тем не менее концепция «полного пересмотра» старых истин явно преобладает над концепцией «вбирания в себя» старых истин новыми. Это и понятно. В противном случае как мог бы Гароди избавиться от многих истин марксизма под видом борьбы против догматизма, сталинизма и т. п.?

Чрезмерно расширяя права крайнего релятивизма, Гароди очень своеобразно толкует диалектику относительной и абсолютной истины. Взамен общепринятого марксистского определения, согласно которому всякая относительная истина содержит в себе частицу абсолютной истины, то есть такого знания, которое не может быть изменено или отброшено при дальнейшем расширении и углублении научной информации, Гароди предлагает другую формулу: «Для марксиста всякая истина является одновременно относительной и абсолютной истиной»¹⁷. Можно было бы и не обращать внимания на эту неточность, которая способна чрезмерно сблизить, отождествить относительную и абсолютную истину, если бы не одно важное обстоятельство. Дело в

¹⁴ Ibid., p. 66.

¹⁵ Ibid., p. 48.

¹⁶ R. Garaudy. Pour un modèle français... p. 85.

¹⁷ Ibid.

том, что при характеристике понятия «абсолютная истина» Гароди наряду с общепринятыми марксистскими определениями предлагает и такие формулировки, которые, на наш взгляд, лишают абсолютную истину ее абсолютности, превращают ее в вариант относительной истины. Вот в каких выражениях Гароди определяет абсолютную истину: «Полагать, что можно раз и навсегда овладеть понятием, овладеть основополагающими, незабываемыми и законченными принципами и после этого идти вперед от понятия к понятию, означало бы поставить себя вне действительного развития естественных наук.

Существует завоеванное наукой ядро абсолютной истины, которое не может быть поставлено под вопрос, но это ядро абсолютной истины (то есть совокупность реальных возможностей, которыми мы располагаем, и вытекающее отсюда сходство между действительностью и построенными нами научными моделями), во-первых, никогда не является законченным, во-вторых, является составной частью постоянно пересматриваемых, всегда относительных понятий, теорий, моделей»¹⁸.

Нетрудно заметить, что если в первом абзаце приведенной цитаты, утрируя идею твердых, основополагающих принципов, Гароди опять занят расширением сферы крайнего релятивизма, то во втором он, признавая абсолютную истину, дает ей просто несуразную характеристику. На самом деле, какое же это ядро абсолютной истины, если оно сведено к совокупности «реальных возможностей, которыми мы располагаем», и вытекающему отсюда сходству между действительностью и построенными нами научными моделями?

Но дело здесь не только в несуразности формулировки. Уже основное определение ядра абсолютной истины лишает ее всякой абсолютности и сводит к относительной истине. На самом деле, какое это ядро абсолютной истины, если оно «никогда не является законченным», а его рост предполагает «полный пересмотр понятий на каждом этапе»?

Можно с уверенностью сказать, что отдельные правильные формулировки, вкрапленные Гароди в толкование диалектики абсолютной и относительной истины, никого не должны ввести в заблуждение. Нет никакого резона в абсолютизации относительных истин, так же как нет и правды в попытках превратить абсолютные истины в относительные. Если превращение относительных истин в окаменевшие догмы убивает науку, превращает ее в нечто родственное поповщине, религии, лишает возможности правильно познать и преобразовать действительность, то многим ли лучше бездумный релятивизм? Какая наука может быть построена на его основе, если нет ничего стабильного, постоянного, достоверного в наших знаниях о мире? Не ясно ли, что релятивизм неотделим от субъективизма в познании? «...Положить релятивизм в основу теории познания, — писал Ленин, — значит неизбежно осудить себя либо на абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику, либо на субъективизм»¹⁹.

В последних своих работах Гароди рекомендует себя сторонником аутентичного диалектического материализма, больше того — человеком, желающим творчески развить, обогатить марксистскую философию, избавить ее от догматического окостенения. Но разве отказ от принципа партийности, заигрывание с идеализмом, принципиальные уступки ему, освоение релятивистского жаргона совместимы с диалектическим материализмом? На этих путях открываются другие перспективы, другие возможности, а именно постепенное сползание на позиции идеализма, субъективизма, которые, в свою очередь, могут послужить методологической основой пересмотра экономических, социально-политических концепций марксизма-ленинизма. Мы будем иметь возможность видеть, что ревизионизм в философии явился для Гароди и других его единомышленников введением к ревизии основополагающих идей научного социализма. А теперь проследим дальше другие формы пересмотра философии марксизма в работах Гароди по вопросам теории познания.

¹⁸ R. G a r a u d u. *Marxisme du 20e siècle*, p. 47—48. (Подчеркнуто нами. — Х. М.)

¹⁹ В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 139.

ТЕОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ГАРОДИ

Мы до сих пор преимущественно обращали внимание на отступления Гароди от марксистской диалектики к эклектике и релятивизму. Но само собой разумеется, что невозможно пересматривать философский метод марксизма, не покушаясь одновременно на важные принципы материалистической теории. История ревизии марксистской философии, начиная с Бернштейна, полностью подтверждает сказанное.

Гароди воздерживается от открытых, прямолинейных атак на марксистский материализм. Напротив, он уверяет, что видит свою задачу в освобождении марксистского материализма от упрощений, от огрублений, от пережитков метафизического и механистического материализма. Но все дело в том, что под видом борьбы против старого материализма он атакует такие идеи, без которых нет и не может быть материалистической философии ни старой, ни новой. При таком подходе к делу нападки на старый материализм неизменно оборачиваются также против основ марксистского материализма. Попытаемся подтвердить сказанное на примере толкования Гароди принципа отражения, который составляет ядро теории познания диалектического материализма.

Верный себе, Гароди и в этом вопросе наряду с некоторыми правильными положениями высказывает идеи, несовместимые с материалистической философией вообще и диалектическим материализмом в особенности.

Гароди воспроизводит некоторые марксистские положения об активности человеческого мышления, о том, что отражение не является пассивным, зеркальным отражением, не сводится к одноактному фотографическому воспроизведению действительности. Нельзя сказать, что Гароди прямо отбрасывает понятие отражения, но он вкладывает в это понятие иное, чем марксизм, содержание.

Констатируя, что наши мысли отражают объективную действительность, марксизм подчеркивает две тесно связанные идеи: во-первых, идею первичности объекта и вторичности его образа в сознании человека; во-вторых, идею о том, что образ, понятие вещи, явления более или менее точно воспроизводит эту вещь, явление, их сущность. Если первая часть определения заострена против идеалистического извращения вопроса, то вторая ее часть исключает агностический разрыв между объектом и возможностью адекватного знания о нем. На самом деле, если наши представления и понятия не в состоянии точно воссоздать объект в мыслях, воспроизвести в процессе познания его реальный облик, его характерные особенности, его сущность, то внешний мир остается лишь непознаваемой «вещью в себе», а человечество, само его существование, его прогресс следовало бы объяснить чудом. Ведь ясно же: если человечество не в состоянии составить более или менее верное представление о внешнем мире, о его свойствах и качествах, если оно в процессе своей трудовой деятельности не раскрывает необходимые связи и отношения, законы, господствующие в объективном мире, то оно не может ни приспособиться к нему, ни преобразовать его, ни просто выжить.

Анализируя понятие отражения, Гароди исходит из того, что отражение есть воспроизведение в сознании реальных вещей и отношений, но не склонен признать, что отражение есть более или менее точное, более или менее глубокое воспроизведение объекта таким, каким он существует в реальности. В самом признании соответствия между объектом и его отражением в сознании Гароди видит нечто метафизическое, антидиалектическое.

Вот одно из принципиальных высказываний Гароди по рассматриваемому вопросу. «Познание,— пишет он,— по своей природе является «отражением» в том смысле, что оно является познанием действительности, не является нашим творением, и вместе с тем по своему методу оно представляет собой конструкцию»²⁰.

Итак, познание, по Гароди, является познанием объективной действительности. Что же касается отражательного характера познания, то Гароди, как видим, само понятие отражения берет в «предупредительные» кавычки, чтобы его не зачислили

²⁰ R. Garaudy. *Marxisme du 20e siècle*, p. 49.

в число сторонников формулы «познание есть отражение». Познание в его понимании есть конструкция.

Обратим особое внимание на то, что в приведенном отрывке из книги Гароди последний ни в какой форме не желает касаться вопросов соответствия, адекватности и отражения объекта самому объекту. Гароди упрямо полагает, что такая постановка вопроса возвращает нас к теории познания метафизического материализма. Он не желает задуматься над тем фактом, что без этого соответствия и адекватности отражения объекта самому объекту нет также и понятия истины. Ведь в конечном счете вопрос об истине и заблуждении есть вопрос об адекватности или неадекватности отражения объекта самому объекту, которая подтверждается или отвергается общественной практикой.

Марксистская философия, утверждая сходство между объектом и его отражением в сознании человека, рассматривает достижение этого сходства как процесс. Формирование образа, сходного с объектом, не есть одновременный акт²¹. Способность воссоздавать образ вещи, соответствующий самой вещи, есть результат многовековой практики человечества. Сама эта способность, как подтверждает наука, формировалась в процессе многовековой борьбы человека за свое существование, в процессе его трудовой деятельности.

Согласно же предлагаемой Гароди упрощенной схеме, на одной стороне материальный мир, на другой человеческое сознание-зеркало. Это сознание-зеркало способно пассивно отразить лишь то, что противопоставит его поверхности. И поскольку в зеркале отражается внешний облик вещей, постольку и зеркало-сознание может отразить лишь явления. Оно навсегда лишено возможности постигнуть сферу сущностных отношений, внутренних противоречий, закона существования и развития вещей. Такой процесс отражения воспроизводит лишь наличное бытие вещей, без всякой претензии видеть их в развитии, без всякой возможности, отталкиваясь от реального бытия, выдвигать новые проекты, новые мысленные конструкции, способные активно проникать в сущность вещей, научно предвидеть будущее, предсказать то, что должно возникнуть. Но такого рода концепция ничего общего с марксистской теорией познания не имеет.

Как известно каждому образованному марксисту, в книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин вслед за Энгельсом весьма обоснованно отверг попытку представить наши представления и ощущения условными символами. Лениным дана здесь последовательная и глубокая критика идеалистического и агностического толкования взаимоотношений между объектом и субъектом, пытающимся воздвигнуть непроходимую стену между объективным миром и миром идей, которые отражают этот мир. Одновременно в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин отвергает и наивно-реалистические представления о взаимоотношении между объектом и его отражением в сознании человека. Известная формула Ленина, согласно которой ощущение является субъективным образом объективного мира, подчеркивает не только объективные основания ощущения, но и ту мысль, что ощущение не может полностью совпадать со своим объектом, будучи субъективным его образом.

Отстаивая объективность так называемых вторичных качеств, Ленин не оставлял в тени субъективную сторону вопроса. Вне и независимо от сознания и ощущений человека существуют световые лучи различной длины и частоты, которые, воздействуя на сетчатку нормально организованного человеческого глаза, вызывают различные цветовые ощущения. Это значит, что в самой объективной действительности нет и не может быть «красности», «желтости», «зелености» и т. п. Без сетчатки не возникают цветовые ощущения, что ничуть не опровергает объективность цветов, если под этим понимать световые лучи определенной длины и частоты.

Ленин в полной мере учитывает своеобразие отражения, своеобразие сходства между объектом и его отражением на различных ступенях познания: на ступени ощущений, представлений, понятий, суждений, умозаключений, научных теорий.

²¹ По проблеме теории отражения см.: «Ленинская теория отражения и современность» София, 1969; М. Н. Руткевич. Актуальные проблемы ленинской теории отражения. Свердловск, 1970; А. М. Коршунов. Теория отражения и современная наука. М. 1968.

Гароди не желает даже задумываться над тем, как мог Ленин употреблять слова «фотографирование», «снятие слепка» сознанием, имея в виду высшие формы познания. Разве можно фотографировать сущности процессов, законы? Не ясно ли, что в данном случае слова «фотографирование», «снятие слепка» имеют переносный смысл, они подчеркивают верность, точность понятий их объективному прообразу.

Постижение истины характеризуется Лениным как сложный, противоречивый процесс, построение и проверка опытом гипотез, поиски мыслью новых подходов к объекту с целью его познания, раскрытия его свойств и качеств, его сущности, целой иерархии сущностей от менее глубоких к более фундаментальным. Постигание истины воспроизводится Лениным как переход от одной относительной истины к другой, содержащей большую долю абсолютной истины. Этот процесс бесконечен, как бесконечен и неисчерпаем сам объективный мир.

Сражаясь преимущественно против махистской разновидности субъективного идеализма, Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» уделяет сравнительно больше внимания защите материалистических основ теории отражения, чем диалектике отражения. Но, с другой стороны, в «Философских тетрадах» он еще больше углубляет диалектико-материалистическое объяснение процесса познания.

При чтении Гароди временами может создаться впечатление, что он воюет против метафизической трактовки теории отражения. Но это не так. Гароди многими своими определениями и оценками ставит под сомнение научную, марксистскую теорию отражения, считая ее пройденной формой теории познания. При этом свои собственные изобретения, а вернее, заимствования из идеалистических источников он пытается приписать Марксу. Эту нелегкую задачу Гароди выполняет средствами, несовместимыми с наукой. Игнорируя самые определенные и принципиальные высказывания Маркса о природе и сущности человеческого познания, Гароди пытается доказать, что основоположники диалектического материализма не считали сознание отражением реально существующего, а лишь предвосхищением того, чего еще нет в действительности. Для точности процитируем самого Гароди. Он пишет: «У Маркса сознание является не отражением чего-то данного, а предвосхищением какой-то возможности»²². Трудно не заметить всю несуразность постановки вопроса со стороны Гароди. Спрашивается, как может сознание предвосхитить возможное, если оно не отталкивается от действительного, не воспроизводит, не исследует реально существующее, его внутренние противоречия, его сущность и закон развития? Как мог Маркс обосновать реальную возможность социализма, не анализируя со всей возможной тщательностью и глубиной капиталистическую действительность, ее антагонизмы, ее реальное движение? Общеизвестны слова Маркса о том, что «сознание [das Bewußtsein] никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием [das bewußte Sein], а бытие людей есть реальный процесс их жизни»²³.

Основоположники марксизма указывали, что кажущаяся независимость сознания людей от материального бытия может ошибочно привести к тому, что «сознание может действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем осознание существующей практики»²⁴.

Предвидя, очевидно, принципиальные возражения против ошибочного утверждения, согласно которому сознание не есть отражение реального бытия, а предвосхищение чего-то существующего лишь в возможности, Гароди вынужден смягчить свою формулировку. «Сознание, которое отражало бы лишь непосредственно данное,— пишет он,— не смогло бы повести нас дальше этого данного. Сознание может играть активную роль в становлении только тогда, когда — как это полагает Маркс в отношении труда — оно является предвосхищением возможности, знанием внутреннего движения»²⁵.

Можно было бы считать, что эти и некоторые другие высказывания Гароди отрицают, нейтрализуют ошибочный тезис о том, что познание не есть отражение существующего, а лишь предвосхищение того, чего еще нет в реальной действитель-

²² R. G a r a u d y. Pour un modèle français. . . , p. 196.

²³ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 3, стр. 25.

²⁴ Там же, стр. 30.

²⁵ R. G a r a u d y. Pour un modèle français. . . , p. 197.

ности. На самом же деле эти более осторожные формулировки Гароди не означают отказа от попыток представить сознание фактором, имеющим дело если не исключительно, то преимущественно с возможным, с будущим. Гароди очень своеобразно понял известную мысль Маркса о том, что в своей трудовой деятельности человек, прежде чем создать ту или иную вещь, создает предварительно ее идеальный образ. Эту бесспорную истину Гароди желает перетолковать в том смысле, что сознание ориентировано преимущественно на несуществующее, на возможное. Отсюда уже Гароди выводит ошибочную мысль о том, что сущность сознания не в отражении реального, а в стремлении постичь возможное. Нетрудно заметить, что Гароди исходит из противопоставления действительного и возможного, обходит детерминированность возможного действительным и соответственно принижает отражение сущего. Оторванное от реального бытия сознание утрачивает возможность не только раскрыть сущность непосредственно данного, но и быть инструментом познания и создания будущего. Это индетерминированное бытие-сознание обретает неограниченную свободу предсказывать и «обосновать» все мыслимое и немыслимое, стать источником социально-политического мифотворчества.

Нет никакого сомнения, что отстаиваемая Гароди суперактивность мышления не может уложиться в материалистическое понимание мышления. И пусть Гароди не успокаивает себя мыслью, что его толкование активности мышления не укладывается лишь в рамки механистического, метафизического материализма. Априорность, внеопытность мысленных моделей и конструкций, их первичность по отношению к объекту, принижение, вытеснение принципа отражения, о чем дополнительно будет идти речь впереди, плохо согласуются со всяким материализмом.

При всех случаях мысль отталкивается от реальности, воспроизводит объективную действительность и лишь с этой «стартовой площадки» может опережать бытие, не только отражать, но и творить мир, переделывать, обогащать его, создавать бесчисленное множество вещей, предметов, явлений, не данных человеку в готовом виде природой и стихийным ходом общественного развития.

Чтобы продемонстрировать свой решительный разрыв с метафизическим толкованием проблемы, Гароди присовокупляет к принципу отражения принцип конструкции, принцип проекта. Он не отбрасывает отражение, но как бы понижает его в ранге по сравнению с проектом, ибо в понимании Гароди отражение символизирует статическое состояние знания, в то время как проект, дескать, воплощает принцип изменения, принцип достижения нового знания, принцип прерывности в познании. Гароди, таким образом, пускается в спекулятивные рассуждения, которые не могут обернуться против материализма, против научного толкования сенситивного и рационального в познании, против диалектики эмпирического и теоретического мышления.

ОТ ПРИНЦИПА «КОНСТРУКЦИИ» К «НЕГАТИВНОЙ ДИАЛЕКТИКЕ»

Автор «Марксизма XX века» утверждает далее, что достоверное накопленное знание не может быть исходным в познании. Мы уже касались этого вопроса. **Остаиваясь** на некоторых дополнительных его аспектах.

«Отражение,— пишет Гароди,— то есть более или менее правильное представление или воспроизведение того, что действительно происходит в природе, это не исходный пункт (как полагали английские эмпирики или французские материалисты XVIII века), а плод длительного труда по построению целого ряда «проектов», «моделей», гипотез, с помощью которых мы активно вопрошаем вещи, соглашаясь с тем, что они опровергают, и, изменяя отправную гипотезу, целиком перестраиваем наши знания (как это сделал Ньютон, отказавшись от представлений Птолемея, или Эйнштейн, отбросив физическую систему Ньютона и даже геометрию Евклида)»²⁶.

Верно, что поиски новой или более глубокой истины связаны с отказом от старых понятий и представлений, которые вступают в противоречие с практикой. Верно также, что поиски новой истины связаны с активной, творческой деятельностью ра-

²⁶ R. Garaudy. Marxisme du 20^e siècle. p. 58.

зума, построением новых моделей, выдвижением различных гипотез и т. д. Но глубоко ошибочным является принижение роли отражения, игнорирование накопленного знания, его роли в познавательном процессе. История как естественных, так и общественных наук есть доказательство неразрывных преемственных связей между новыми открытиями и обобщениями и прежними знаниями с содержащимися в них относительными истинами. На голом месте, без опоры на накопленное знание, в силу какой-то мистической интуиции, наития новые знания никогда не возникали. Ни метод «негативной диалектики», перенятый Гароди у Адорно и других представителей франкфуртской школы, ни категория «проекта», заимствованного у Сартра, не в состоянии разорвать связи между настоящим и будущим, между старым и новым. Диалектически понятый детерминизм и здесь сохраняет всю свою силу. Всякий новый шаг в науке прямо или косвенно опирается на предыдущее накопленное знание. Самые великие открытия были сделаны путем отталкивания от существующего знания. Само слово отталкиваться выражает в данном случае диалектическое отрицание, которое всегда сохраняет рациональное зерно в старом знании, если это зерно в нем содержится.

Из приведенного выше высказывания Гароди мы узнали, что не является исходным пунктом познания, но не могли достаточно ясно узнать, что же является таковым.

Многократно возвращаясь к вопросу об исходной основе познания, Гароди делает следующий обобщающий вывод: «Отправной точкой мышления... никогда не бывает голая констатация непреложных данных. Отправной точкой является акт «создания» модели или глобальной гипотезы, содержащий тем самым часть мифа.

Этим отрывом от данного, этим отходом от непосредственного мифическим образом начинается движение познания»²⁷.

Теперь как будто бы стало несколько яснее. Исходным для познания являются «не более или менее правильные представления» о мире, не констатация непреложных данных, а акт создания модели; движение познания мифическим образом начинается отрывом от непосредственного.

Но откуда тем не менее берутся эти модели и глобальные гипотезы, раз они независимы от отражения сознанием реального бытия? Являются ли они результатом мгновенного озарения, результатом непосредственного созерцания, несводимого к чувственному опыту и дискурсивному, логическому мышлению?

Гароди не дает ясных ответов на эти вопросы, но не вызывает сомнения то, что автор «Марксизма XX века» вместо научной, диалектико-материалистической гносеологии предлагает нам теоретико-познавательные взгляды, пронизанные релятивизмом, субъективистскими суждениями.

Исходя из правильной мысли о противоречивости развития человеческого знания, Гароди воспроизводит фантастический путь развития познания, где размыт принцип детерминизма, закономерности, больше того — простой последовательности в поступательном восхождении от незнания к знанию, от менее глубокого знания к знанию, которое более глубоко, адекватно воспроизводит истину. Движение человеческого познания, изображаемое Гароди, чем-то напоминает теорию катастроф Кювье. Развитие познания, согласно Гароди, совершается не путем накопления и скачкообразного перехода к новым концепциям. В этом движении познания запоминаются лишь скачки без накопления знаний, без соблюдения диалектического единства дискретного и индискретного. «Разум,— пишет Гароди,— имеет свою историю. Эта история не является историей ответов, последовательно дававшихся на один и тот же вопрос, а историей потрясений, вносимых в саму постановку вопроса»²⁸. Эту страсть к возможно более полному вытеснению последовательности в развитии, в постановке и решении новых проблем Гароди, вероятно, принимает за некую сверхдиалектику. В действительности же здесь нет никакой диалектики. Она заменена субъективистским произволом в воспроизведении истории познания. И когда в той же книге «Марксизм XX века» автор пишет, что «новая гипотеза является наследницей той,

²⁷ Ibid., p. 59.

²⁸ Ibid., p. 62.

которую она заменяет и разрушает²⁹, то это не снимает нашу критику, ибо Гароди, охотно подчеркивая замену и разрушение старой концепции, нигде не говорит о ее диалектическом снятии.

Очень может быть, что, абсолютизируя создание моделей, проектов и соответственно игнорируя реально накопленное знание, Гароди полагает, что он воюет против метафизики и догматизма. В действительности же явное третирование теории отражения неминуемо сопровождается отступлением Гароди от материализма. Опять он желает вывести знание не из процесса отражения сознанием «непреложных данных», или, говоря яснее, реальной действительности, а из мифологического мышления. На каком-то этапе, пишет Гароди, научное мышление порывает с мифическим мышлением, но мышление вначале было мифическим и ритуальным. Между мифом и наукой, утверждает Гароди, существует функциональная преемственность, миф — это прошлое науки.

Никому, конечно, не придет в голову отрицать познавательное содержание мифов. В них были своеобразно обобщены и объяснены природные и социальные явления на заре человеческой цивилизации, неоспорима также эстетическая ценность многих мифов. Все это не должно вызвать сомнения. Но не должно вызвать сомнения и то, что мифологическое и научное сознание — разнопорядковые, противоположные феномены. Там, где начинается реалистическое мышление — пусть самое первоначальное, — там постепенно отступает мифологическое мышление. «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, вместе с наступлением действительного господства над этими силами природы»³⁰.

Гароди же стремится установить, как мы видели, функциональную преемственность между мифологией и наукой, забывая или не желая подчеркнуть противоположность научного и фантастического, мифологического отражения действительности. Больше того, он желает выделить должное место мифологическому моменту в современном научном познании. Можно было бы думать, что в этом последнем случае Гароди, говоря об элементе мифа, имеет в виду элемент фантазии, мечты в познавательном процессе. Но все дело в том, что он не расшифровывает в этом плане свою мысль. Эта недоговоренность тем более значительна, если учесть попытки Гароди найти принципиальные контакты между материализмом и идеализмом, между марксизмом и христианством. Мы вправе поэтому сказать, что Гароди принижает реалистическое отражение действительности, с тем чтобы отдать должное одной из форм фантастического отражения мира.

ЕЩЕ ОДИН ВОЗВРАТ К КАНТИАНСТВУ

Для полноты характеристики уступок, которые делаются Гароди идеалистической философии, нужно проследить дальше субъективизацию им процесса познания, превращение понятий, гипотез, познавательных конструкций в априорные начала.

Известно, что кантианский субъект познания наделен способностью обладать априорными формами чувственного созерцания, априорными понятиями рассудка и т. д., с помощью которых он упорядочивает мир явлений, охватывает их внеопытными категориями и законами.

Гароди не дошел до подобных откровенно идеалистических положений, но стремление отснить теорию отражения приводит его к субъективистским характеристикам, родственным с кантианскими идеями.

Остановимся в этой связи на толковании Гароди природы научных законов. «Научные законы, — пишет он, — не являются копией чего-то, это конструкция нашего сознания, все приблизительные и временные, позволяющие нам подчинить себе действительность, нами не созданную, и где только практика, методическое экспериментирование гарантирует нам, что наши модели в какой-то мере соответствуют ее струк-

²⁹ R. Garaudy. *Marxisme du 20^e siècle*, p. 65.

³⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. *Сочинения*, т. 12, стр. 737.

туре, являются с некоторой точки зрения по крайней мере «изоморфными» (сходными по форме)³¹.

В этом абзаце смешались правильные и неправильные мысли. Подчеркнув объективную природу действительности, допустив «с некоторой точки зрения» и «по крайней мере» изоморфность между нашими моделями и структурой реальной действительности, Гароди тем не менее увлечен другой идеей. Мы вновь встречаемся с попыткой априорной конструкции законов познания, которые затем проходят проверку практикой. Гароди, нужно отдать ему должное, упорно обходит вопрос о том, как строятся эти мыслительные конструкции, откуда они берутся — из головы или из объективной действительности. Второй ответ привел бы Гароди к «традиционной» материалистической теории отражения, четко объясняющей источник наших мыслей и характер их соответствия со своими материальными прообразами. Но если Гароди придерживается первого ответа, то ему, естественно, не избежать обвинения в субъективизме и априоризме кантианского толка. Это обвинение заслужено Гароди.

Ставя под сомнение эмпирические источники происхождения человеческих идей, принижая роль и значение отражательной способности человеческого сознания, Гароди с теми или иными оговорками навязывает все те же кантианские мысли об охвате действительности невесть откуда взявшимися понятиями, моделями, гипотезами и т. п.

«В познании,— пишет Гароди,— мы идем навстречу действительности с нашими гипотезами»³². Все в том же кантианском жаргоне Гароди формулирует задачу: «Постигнуть реальное и придать ему смысл»³³.

Гароди объявляет догматизмом стремление проникнуть в суть вещей. Он призывает быть верным критическим традициям в философии и воздержаться от подобных стремлений. Приведем эти удивительные рассуждения человека, который считает себя марксистом. «Марксизм,— пишет Гароди,— не является доктритической, догматической философией. Исторический догматизм в философии является противоположностью критики в том смысле, какой Кант впервые придал этому слову, хотя он и сделал это во внеисторической перспективе. Проще говоря, критическая точка зрения в философии — это осознание того факта, что все, что мы говорим о действительности, носит субъективный характер. Догматизм же, напротив,— это иллюзия проникновения внутрь вещей или претензия на такое проникновение и на высказывание о них абсолютной и окончательной истины»³⁴.

Первое, что бросается в глаза, это попытка сблизить марксистскую философию и кантианство как сходные критические философские учения. Гароди не может не знать, что критицизм Канта и критичность философии Маркса — явления не совпадающие. Вспомним, что, прибегая к термину «критицизм», Кант преследовал задачу свести философию к критике познавательной способности человека и убедиться, что человеческому разуму не дано проникнуть в «вещи в себе», познать их. Критицизм Канта, по существу, срачивался, сливался с агностицизмом. Нужно ли долго останавливаться на вопросе, что критический характер марксистской философии полнее всего обнаруживается в принципе диалектического отрицания и ничего общего с целями и задачами кантовского критицизма не имеет и иметь не может?

Точно так же понятие субъективности имеет принципиально различный смысл в марксистской философии и в идеалистических учениях, в частности в кантианстве. Если под субъективностью марксизм понимает активность субъекта во взаимоотношении с объектом при непрременном признании первичности объекта, его независимости от познающего субъекта, то совершенно иначе обстоит дело в идеализме. Субъективность, активность субъекта гипертрофируется, объект становится творением субъекта, исчезает как независимое, первичное начало.

Гароди охвачен желанием стереть непроходимые грани, существующие между марксистским и кантовским пониманием субъективности.

Утверждение Гароди о том, что наши знания о действительности носят субъективный характер, можно было считать лишь неудачным, двусмысленным выражением.

³¹ R. G a r a u d y. *Marxisme du 20^e siècle*, p. 67—68.

³² *Ibid.*, p. 107.

³³ *Ibid.*, p. 74.

³⁴ *Ibid.*, p. 43—44.

Но зная, с каким усердием ныне Гароди осваивает фиктеанство и кантианство для «спасения» марксизма, как он теряет грани между субъективностью и субъективизмом, как расценивает гипотезы, модели, другие мысленные конструкции в качестве априорных начал, предназначенных для того, чтобы «охватить», «постичь» реальное, мы имеем основание прочесть фразу Гароди так, как он ее написал: наше познание носит субъективный характер, то есть не является отражением объективной реальности.

Остается сказать еще о странном определении догматизма, в которое включены на равных правах разные понятия: а) возможность проникновения в сущность вещей; б) высказывание о них окончательной истины. Второе определение действительно имеет отношение к догматизму. Но почему признание возможности постижения сути явлений есть догматизм, понять невозможно, если не учесть кантианские увлечения Гароди. Действительно, с точки зрения кантовского критицизма, допущение возможности познания мира «вещей в себе» есть догматизм худшего вида. Но это с точки зрения кантианства, а не марксистской философии. Все дело в том, что с некоторых пор Гароди не всегда и не во всем отличает материализм от идеализма.

Пересматривая марксистское учение об адекватности отражения действительности в человеческом познании, омертвляя, по существу, принцип отражения, увлеченный противопоставлением «отражения» и «проекта», Гароди, естественно, стремится обойти положение об объективной истине. Он избегает ясно и отчетливо подчеркнуть, что содержание той или иной истины объективно, что оно не зависит от познающего субъекта.

Не вызывает сомнения, что истина как познавательный «образ» субъективна по форме, но одновременно она объективна по своему содержанию. Проверенные практикой истины отражают, обобщают, адекватно воспроизводят определенные связи и необходимые отношения, существующие независимо от человеческого сознания. Только признание и отчетливое подчеркивание этих констатаций позволяет говорить, что без субъекта нет истины, нет в том смысле, что отражательный образ немислим без сознания.

Что касается Гароди, то все его сомнительные и неверные рассуждения об относительной и абсолютной истине ведутся в отрыве от проблемы объективной истины. Бесконечное и утомительное повторение со стороны Гароди принципа субъективности познания, представление истины как плода мысленных конструкций, моделей, проектов и т. п. сопровождается ступеньеванием, смазыванием другой стороны вопроса -- вопроса об объективном характере содержания истины, вопроса о том, что все модели и гипотезы служат средством постижения объективной истины.

«НОВОЕ ПОНИМАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ» — НОВАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ПЕРЕД АГНОСТИЦИЗМОМ

Чтобы завершить критическое рассмотрение некоторых теоретико-познавательных проблем в книгах Гароди, следует остановиться на содержании нового понимания реальности, которое занимает много места в рассуждениях автора «Марксизма XX века».

Известно, что Гароди торжественно отрекся от своих работ начала 50-х годов по вопросам гносеологии, и в частности от своей докторской диссертации, где проблема теории отражения занимала очень большое место. Конечно, в этих работах Гароди имело место некоторое огрубление проблемы, недостаточно полный и всесторонний учет активности мышления, несколько упрощенное толкование вопроса о сходстве между объектом и его мысленным отражением и т. п.

Гароди отрекается от этих своих работ начала 50-х годов, чтобы, как он заявляет, вернуться к Марксу, к «Философским тетрадам» Ленина. Но скажем прямо — это очень странное возвращение, ибо оно совершается на костылях фиктеанского и кантианского субъективизма и априоризма.

Гароди провозглашает новое понимание реальности. Мы будем иметь возможность видеть, что в этом новом понимании реальности чересчур уж «диалектичная»

диалектика подвешена на весьма тонкой и непрочной материалистической нити. Не удивительно поэтому, что эта нить то и дело рвется.

Новая реальность, о которой много пишет Гароди, характеризуется тем, что она во многом является порождением самого человека, его созидательного труда, его творческого интеллекта.

В этой констатации, бесспорно, есть большая доля истины, и она, эта истина, была высказана и обоснована во многих марксистских работах.

Современная нам эпоха характеризуется огромным ростом роли духовных начал в общественном развитии. Растет и крепнет роль сознания, воли и организованности в борьбе за утверждение новой общественно-экономической формации. В эпоху, когда созрели объективные условия для повсеместного падения капиталистической системы, революционное сознание и инициатива превращаются в решающий фактор в восхождении общества к новым формам человеческого общежития.

Размышляя над проблемой объекта и субъекта в истории, невозможно в полной мере не учитывать философское значение такого факта, как превращение науки в непосредственную производительную силу, превращение ее в один из существенных факторов материального фундамента общества. Человек, решающий элемент материальных производительных сил, отныне участвует в производственном процессе, имея на своем вооружении величайшие достижения научно-технической революции XX века. В этом факте особо отчетливо обнаруживается тесное переплетение объекта и субъекта, возросшая роль последнего в становлении исторического процесса. То, что мы называем объективным и первичным началом в общественной жизни, все больше включает в себя материализованные духовные явления, результаты умственного труда. Это объективное начало при всех условиях сохраняет свою первичность, но нельзя не заметить, как значительно изменяется его структура, как растет его мощь благодаря прямому или косвенному влиянию духовных, научных, культурных приобретений современности³⁵.

Если рассуждения Гароди оставались бы в этих границах, не пришлось бы брать под сомнение подлинную сущность понятия «новая реальность». Но все дело в том, что многие его определения явно не укладываются в границы диалектико-материалистической философии. Абсолютизация активности сознания в его трактовке способна представить сознание больше в кантианском и фихтеанском плане, чем в марксистском толковании.

Так, в рассуждениях о разуме и «вещи в себе» Гароди прибегает к весьма рискованным определениям. Он пишет, что будто бы диалектический разум «понимает «вещь в себе» как горизонт моих устремлений и моих конструкций»³⁶. Странное дело: «вещь в себе», которая даже у Канта выступает как существующая вне нас и воздействующая на наши органы чувств (хотя и принципиально непознаваемая по своей сущности), из объективной реальности превращается лишь в горизонт человеческих устремлений и мысленных конструкций. Напомним, что Гароди здесь просто повторяет неокантианцев, которые, желая освободить философию своего учителя от всяких материалистических примесей, объявили «вещь в себе» лишь границей человеческого познания.

Эти и сходные рассуждения о мышлении и бытии не могут не породить у марксиста самое критическое отношение к тому пониманию новой реальности, которая отстает со стороны Гароди.

В работах Гароди имеются иные формы и аспекты сближения марксистской философии с кантианскими и фихтеанскими идеалистическими положениями. Так, общее между философией марксизма и философскими учениями Канта и Фихте Гароди видит в том, что и первая и последние были не философией бытия, а философией действия. Гароди констатирует: «Лишь начиная с Канта и Фихте философия действия становится соперницей философии бытия»³⁷. Очень высоко оценивая тот факт, что Кант и Фихте отбросили философию бытия во имя философии действия, Гароди об-

³⁵ См. по этому вопросу «Актуальные вопросы исторического материализма». М. 1966.

³⁶ R. G a r a u d y. *Marxisme du 20^e siècle*, p. 68.

³⁷ *Ibid.*, p. 71.

ходит молчанием природу этой «философии действия», ее крайне робкую и половинчатую политическую сущность, ее полный отказ от революционного действия на практике. Общеизвестно, что она была такой «философией действия», которая, выражая умонастроения слабой и трусливой немецкой буржуазии, предпочитала перенести идеалистически искаженное деятельное начало лишь в сферу спекулятивного мышления.

У нас нет и тени желания умалить диалектическую мысль Канта и Фихте, но невозможно согласиться с Гароди, когда он делает безнадежную попытку сблизить по деятельной своей сущности марксистскую философию с немецким идеализмом, обходя вопрос о том, что философия марксизма возникла на основе диалектического отрицания классической немецкой философии XIX века. Гароди назойливо возвращает нас к давно решенным вопросам, полагая, очевидно, что этим он делает шаг к философскому осмыслению современности.

Без существенных, серьезных оговорок Гароди пишет о «вобрании» марксизмом деятельной сущности немецкого идеализма, его критической, антидогматической сущности. «Марксизм,— пишет Гароди,— не забывающий ни Канта, ни Фихте, то есть марксизм, не забывающий также ни Маркса, ни Ленина,— это критическая и недогматическая философия прежде всего в том смысле, что он сделал практику источником и критерием любой истины и любой ценности»³⁸.

В этой странно построенной фразе марксизм, как видим, желающий остаться марксизмом, должен в первую очередь помнить о Канте и Фихте, но также о Марксе и Ленине. Получается, что Кант и Фихте, отвергая «философию бытия» и отстаивая «философию действия», в каких-то существенных отношениях стоят на сходных с марксизмом позициях, ибо марксизм также «не является философией бытия», а лишь «философией действия»³⁹.

Теперь несколько слов о бытии и действии, которыми оперирует Гароди, обходя молчанием ту истину, что марксизм понимает под бытием существование объективного мира. В этом понимании бытие не может быть противопоставлено действию. Не может быть научной философии, которая не была бы в одно и то же время и философией бытия, и философией активного, преобразующего бытие действия. Только идеализм может позволить перечеркнуть научно понятое бытие и оперировать понятием «действие», которое, как правило, совпадает с абстрактной мыслительной деятельностью, и не более.

Чтобы оправдать свое пренебрежительное отношение к бытию и к «философии бытия», Гароди пускается в длинные рассуждения о том, что давно миновало время парменидского понимания бытия, метафизического его толкования старым материализмом. Бытие как пассивное состояние, пишет Гароди, вытесняется действием, понятием структуры, взаимодействия и т. п. Можно подумать, что будто бы изменение человеческих представлений о бытии, углубление и обогащение этих представлений может поставить под сомнение реальность бытия и его значение. Гароди повторяет ошибку тех, кто смешивал философское и естественнонаучное понимание материи и в связи с падением старых представлений о материи приходил к выводу — «материя исчезла». Исчезновение исторически ограниченных, метафизических представлений о бытии ничуть не является основанием, чтобы отбросить «философию бытия» и искать спасение в «философии действия».

Марксистская философия ни в коей форме не может отделять и противопоставлять друг другу понятия бытия и действия. Все материальное, все существующее существует в действии, в изменении, в преобразовании. Деятельное начало есть форма существования бытия. Произвольное же толкование понятия бытия ничего, кроме идеалистической путаницы, не в состоянии породить.

В «Марксизме XX века» Гароди ставил перед собой задачу развить критическую философию, которая не была бы идеалистической, развить марксистскую теорию субъективности, которая не была бы субъективистской⁴⁰.

³⁸ R. Garaudy *Marxisme du 20^e siècle*, p. 91—92.

³⁹ *Ibid.*, p. 92.

⁴⁰ *См. ibid.*, p. 87.

Мы имели возможность убедиться, что своих обещаний Гароди не выполнил. Его «критицизм» принял явные формы капитуляции перед кантовским априоризмом и привел к принципиальным уступкам агностицизму. Пренебрежительное отношение к теории отражения не могло не обернуться против материализма и не могло не открыть путь к идеалистической философии.

Точно так же чрезмерное выпячивание так называемой «теории субъективности» при почти полном замалчивании объективных процессов, объективных закономерностей прокладывает прямой путь субъективизму, невзирая на заклинания и обещания Гароди.

* * *

Гароди не ограничивается нападками на марксистский материализм, существенными извращениями его. Он, как мы видели, весьма вольно обращается и с диалектикой. Гароди хочет иметь движение без относительного покоя, относительные истины — без прочно установившихся истин, дискретное — без индискретного, действие — без бытия. Диалектическое отрицание рассматривается Гароди весьма двусмысленно и противоречиво. В одном случае диалектическое отрицание сохраняет в снятом виде все побежденные идеи, превращая их в частный случай победившей концепции. Такая диалектика призывается к оправданию ложных, реакционных идей, рассматриваемых как частные случаи научных теорий и концепций. В действительности же диалектическое снятие не исключает полное отрицание и отбрасывание ошибочных, несостоятельных идей.

Мы имели возможность видеть, что наряду с этой «консервативной диалектикой» у Гароди имеется и такая «диалектика», которая принижает накопленное знание, наличное бытие и делает ставку на то, чего еще нет в реальной действительности. Согласно этой «диалектике», во многом перенятой Гароди у представителей так называемой «франкфуртской школы» и, в частности, у теоретика «негативной диалектики» Адорно, ценностью обладает не настоящее, а будущее. Это извращенная диалектика. Она разрывает связь времен и исключает дифференцированное отношение к существующей действительности во имя крикливого, бездумного современного нон-конформизма пророков типа Маркузе.

Извращения материализма и диалектики в писаниях Гароди были им распространены также на материалистическое понимание истории. Гароди не желает связать себя сколько-нибудь стабильными законами и категориями и в сфере понимания общественной жизни. Он стремится целиком свести материалистическую теорию общественного развития к методу, точнее — к сумме субъективистски толкуемых диалектических принципов. Игнорирование объективных законов и категорий исторического материализма под видом борьбы против «институционального марксизма», отказ от диалектики относительной и абсолютной истины, отрицание устоявшихся, проверенных практикой истин, прославление релятивизма и плюрализма используются Гароди и его компаньонами для коренного извращения теории и практики революционной борьбы против капитализма, теории и практики строительства социализма, коммунизма.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

США

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ФЛАГ

Harrison E. Salisbury.
The Many Americas Shall
Be One. New York. 1971.
204 pp.

(Гаррисон Солсбери.
Из многих Америк будет
одна. Нью-Йорк. 1971.
204 стр.)

★

Свою двенадцатую по счету книгу известный американский журналист Гаррисон Солсбери одел в суперобложку, выкрашенную в три цвета. Символика цветов — синего, розового и белого — достаточно прозрачна для читателя. Те же, кто углубится в чтение книги, очень скоро найдут подтверждение своей догадки: да, это три цвета американского флага. Ему автор посвящает специальную главу, да и в других главах он будет не раз возвращаться к теме патриотизма, к «американской мечте» (или, если расшифровать этот термин, вере в особое призвание Соединенных Штатов), к оценке тех грустных и неприятных для Г. Солсбери событий и явлений, которые набросили тень на звездно-полосатое знамя и подорвали изрядно доверие к нему со стороны народов мира.

Куда идут Соединенные Штаты Америки? Каковы причины и истоки происходящего там сегодня острейшего социально-политического кризиса? Каково будущее этой нации? Влиятельный журналист-международник, снискавший ранее лавры крупного «знатока СССР», на этот раз изменил своей обычной теме, чтобы попытаться дать ответ на самые мучительные для Америки вопросы, вызывающие столько противоречивых суждений.

Что же, однако, случилось с трехцветным флагом? Почему столько внимания в книге именно ему? Все дело в том, что для многих американцев сегодня отношение к флагу стало той лакмусовой бумажкой, по которой проверяются политическое лицо, идеалы и пристрастия.

В звездно-полосатую куртку одел своего героя кинорежиссер Денис Хоппер, автор нашумевшего фильма «Беспечный ездок». Герой этот ездит по дорогам на мотоцикле «в поисках Америки», то есть в поисках страны, где можно и хочется жить, к которой стоит испытывать привязанность. Несколько странный костюм ездока на мотоцикле в этом отношении насквозь символичен. Но где же она, Америка? Кончается фильм тем, что проезжий фермер, вполне заурядная личность, каких много, расстреливает в упор из движущейся автомашины двух мотоциклистов. Просто так — вероятно, потому, что они ему непонятны и не внушают симпатии. Чужаки! Да еще этот флаг, ставший удобной мишенью... Для Хоппера это эмблема страны, которой нет, знак утраченной веры, печать его желчной иронии.

А для тех, кто размахивает на демонстрациях перевернутым флагом (это сигнал тревоги, бедствия, принятый на всех морях и океанах), три его цвета ассоциируются с разбоем и насилием, вмешательством в чужие дела, страхом и ненавистью, и его опущенные вниз звезды кричат: спасите Америку! Когда ветераны войны во Вьетнаме, члены антивоенной организации, захватили статую Свободы, чтобы привлечь внимание общественности к своим требованиям, они просигнализировали с высоты перевернутым флагом: спасите Америку! Домохозяка с Лонг-Айленда, которой надоело ждать от властей выполнения их обещаний покончить с войной, подняла над крышей своего домика в Нью-Йорке все тот же перевернутый флаг...

«Я слышу ликующий вопль миллионов, я слышу Свободу в воззваниях людей», —

писал когда-то Уолт Уитмен о «рассветном знамени» своей страны, о чувствах и мыслях, рождаемых им. Ирония исторической судьбы: сегодня его благоговейно любят барчисты и кукуклуксклановцы, а люди, не утратившие совести и ощущения долга перед человечеством, стыдливо от него отворачиваются.

Солсбери страстно убеждает читателей не терять веру ни в цвета знамени, ни в «американскую мечту»:

«Если флаг этот станет в Америке символом той тирании, борьба против которой породила республику, станет символом тех, кто не верит в принципы американской революции или забыл о них... кто отвергает мечту, в течение столетия или более делавшую статую Свободы маяком надежды мира,— тогда это и в самом деле будет означать, что мы, американцы, потеряли свою волю и веру в то, ради чего существует Америка».

А Солсбери твердо убежден, что Америка существует не «просто так», что на нее возложена особая миссия. Он, впрочем, не оригинален: уж сколько поколений публицистов, философов, политических деятелей проповедуют новую разновидность мессианства, называемую «американской мечтой». И уж сколько лет из одного сочинения в другое кочует бесхитростный довод: господь бог никогда не потратил бы столько усилий на разработку бесспорно совершеннейших политических институтов в Соединенных Штатах, если бы он не предназначал их в качестве образца всему человечеству. Взирая на остальной мир с высоты статуи Свободы и испытывая при этом снисхождение к заблудшим, отставшим и незрелым народам, проповедники богоизбранности американской нации не прочь «облегчить» другим народам возможность занять место в своем кильватере. Сомнения в том, что далеко не всем такой путь по нутру, не посещают их, как не возникает и желания распространить на этот счет «малых сих», вовсе не ждущих благ от заокеанских радетелей. Пресловутый идеализм «тихих американцев» причина бездну страданий не одному народу...

Впрочем, Гаррисон Солсбери все это отлично понимает. Его идеализм другого плана. Вот если бы Америка вернулась к своему прошлому, к заветам «отцов-основателей», заложивших первые кирпичи в фундамент американского государства, к тем временам, когда ее репутацию не омрачали деяния нашего жестокого века, вот тогда бы... Тогда снова бы воссиял факел на статуе Свободы, «маяке надежды мира»! Увы, пройденные пути невозвратимы...

Да, признает Г. Солсбери, «американская мечта» сегодня «слишком многим кажется скверной шуткой». Он весьма проникательно судит о причинах этой метаморфозы, и стоит только вчитаться в его горькие слова, чтобы оценить степень их критичности: «Во имя мира мы ведем войну, для того, чтобы защитить, мы убиваем, уничтожая город, мы убеждаем, что только так можно его спасти, взывая к разуму, мы говорим языком умалишенных»; Америка стала «кладбищем загубленных надежд»; «каждая из целей, содержащихся в каталоге американского образа жизни, опустилась до нулевой отметки»; в стране происходит «систематический кризис», наблюдается «упадок социальной традиции»; сама американская «социально-политическая система под угрозой, и уже не кажется невероятным, что наш образ жизни, структура нашего общества могут быть трансформированы или сметены» — и так далее и тому подобное. Это не только признание, но и предупреждение: империи разваливались и прежде, пишет автор, как бы нынешняя американская «не пошла по тому же пути», испытав революционные потрясения.

Об отношении автора к революции мы поговорим ниже, сейчас же отметим, что весь пафос книги он посвятил тому, чтобы ее, эту революцию, не допустить.

Но что же все-таки породил нынешний кризис, в чем корень зла? Виной всему Солсбери считает отнюдь не пороки социально-политической системы: он не устает ее превозносить. Все дело, оказывается, в руководителях. Его гнев обрушивается на головы вашингтонских и прочих политиков, на «всеведущих и всезнающих экспертов, на военных советников и специалистов по разведке, которые проморгали все, что можно было проморгать, не оценили явно, включая мощь СССР и его способность победить гитлеризм в годы второй мировой войны, а после войны, к

изумлению «верховных жрецов», новоявленных оракулов,— создать ядерное оружие, межконтинентальную ракету, первый в истории искусственный спутник Земли. Они бесконечное число раз ошибались в своих расчетах и в более близком к нам прошлом, особенно в связи с войной во Вьетнаме: «Чтобы перечислить предсказания, оценки, наметки, прогнозы в отношении войны во Вьетнаме, понадобились бы тысячи строк,— пишет автор.— Но ни один из этих прогнозов не оправдался». Хотя именно эти грубейшие просчеты и ошибки, как считает он, довели страну до нынешнего кризиса. Люди, осуществляющие руководство страной и ее вооруженными силами, малокомпетентны, они не умеют ни воевать (уж коль скоро США ввязались в эту войну), ни найти из нее приемлемый выход. Они погрязли в мелком соперничестве, бессмысленно растрачивают потенциал нации.

Ярый приверженец и проповедник «классической» американской демократии, Гаррисон Солсбери с ужасом взирает на ее нынешнюю модификацию. Как далеко ушла она от принципов, завещанных «отцами-основателями»! Политика стала делом профессионалов, рядовые граждане напрочь отстранены от принятия каких бы то ни было политических решений, любая попытка общественности сказать свое слово встречается в штыки.

Американская система, констатирует автор, «давно уже перестала работать для вас и для меня... Она бесчувственна к индивидуумам... Она смыкает свои ряды против них... Политики правы, когда чувствуют угрозу пробуждения общественности, потому что граждане и в самом деле угрожают этой уютной, комфортабельной, прибыльной, недемократической системе», состоящей из «конгресса, Белого дома, министров и связанных с ними лобби». Отсюда «устаревшие и несправляющиеся, извращенные политические институты и практикуемые ими методы», правосудие, которое «не работает», выборы, ставшие «фарсом»... Даже бизнес и тот «подавляется», утверждает автор, то есть нет ему нормального житья, государство посягает на его свободу в полном противоречии с самыми что ни на есть святыми принципами буржуазной демократии. Если продолжить рассуждения журналиста, то вопрос стоит так: не приведет ли нынешнее расстройство политических институтов и неспособность политиков к тому, что будет выпущена из рук власть? Ведь уже сейчас образовался глубочайший разрыв между властью и народом, между тем, что говорится и пишется «наверху», и тем, что думают и делают «внизу». Это явление получило название «кризиса доверия», ему в книге посвящена специальная глава.

Катализатором, подтолкнувшим развитие «кризиса доверия», послужила война во Вьетнаме. Гаррисон Солсбери и сам кое-что сделал, чтобы раскрыть американцам глаза на подлинный характер этой войны. В декабре 1966 года в качестве корреспондента «Нью-Йорк таймс» (он, кстати, один из ее нынешних редакторов) Солсбери побывал в ДРВ и в серии статей из Ханоя впервые поставил открыто в «большой прессе» вопрос о том, что правительство и органы информации лгут, отрицая бомбежки мирного населения Вьетнама. Хотя прогрессивная печать говорила об этом давно, рядовой читатель был потрясен цинизмом и размерами обмана, престиж тогдашней администрации упал низко — и цепная реакция началась, чтобы вылиться, в конце концов, в полную утрату веры в слова, исходящие от официальной Америки.

Но беда даже и не в этом, считает автор. Дело хуже: люди «взяли под сомнение основополагающие элементы американской системы... потеряли веру в самих себя... в нашу страну и ее традиционную систему». И Солсбери приходит к выводу: нужно как можно скорее «прекратить войну во Вьетнаме». Иначе будет хуже...

Автор не грозит революцией, отнюдь нет. Он поступает более тонко: он увещевает. Если верить ему, он вовсе и не против революции. Пусть молодежь увлекается самыми странными модами, прическами, нарядами и кумирами, пусть ломают привычные устои брака, семейной жизни, религии и морали, пусть даже наркотики,— стоит ли их преследовать: из «сухого закона» ничего не вышло, запретный плод сладок, пусть тешатся. Молодежь требует революции? Пожалуйста! Только речь-то автор ведет не о подлинной революции, а о чем-то ином.

Он убеждает: страна «может претерпеть общественно-культурную революцию без одновременной политико-экономической революции», в последней он видит, разу-

меется, одно лишь «разрушение» без творческого созидания. Его кредо в четырех словах: «Перемена? Да. Разрушение? Нет». Подновить капитализм? Пожалуйста. Разрушить? Ни в коем случае!

Но два совета, которые он дает в своей книге, не могут не вызвать интереса. Предложение урегулировать военный конфликт в Индокитае уже упоминалось выше. Другое предложение: наладить деловое сотрудничество с Советским Союзом. Ибо сотрудничество этих двух стран может оздоровить международную обстановку, «навести порядок» в контроле за распространением ядерного оружия, решить другие острые проблемы. Потому что, замечает журналист, «если сказать по правде, то никакого иного пути, кроме сотрудничества, у нас нет. Можно спорить о деталях, но не о принципе». Высвободившиеся огромные средства, которые сегодня расходуется на гонку вооружений, можно было бы, считает автор, употребить на лечение социальных болезней Америки. Эта программа не нова, однако не лишена здравого смысла. Именно в сторону сотрудничества развиваются события, свидетельством чему подписанные в Москве советско-американские соглашения.

Но не изменяет ли автору здравый смысл там, где он предлагает объединиться всем американцам на платформе всеобщей любви и преданности звездно-полосатому флагу? Мечта его о том, как «из многих Америк родится одна», как из враждующих между собой общественных сил возникнет нечто единое и умиротворенное, отдает совсем уж маниловщиной. «Голуби» да возлюбят «ястребов», бастующие рабочие — ненасытных до денег промышленников, студенты Кента, в которых стреляют национальные гвардейцы, — своих убийц, черные юноши в гетто больших городов — извечных своих врагов, полицейских, узники Аттики да обнимутся со своими тюремщиками, а критически мыслящие интеллектуалы — с презираемыми ими тупыми профашистскими мракобесами?

Но замыслы автора по примирению всех и вся не ограничиваются границами Соединенных Штатов! Они простираются шире. В глобальном масштабе! Ему видится мир, в котором исчезли конфликты и противоречия, осталась лишь тишь да гладь да божья благодать. Хватит идеологической вражды между капитализмом и социализмом, звучит в подтексте книги, пусть эти две системы сойдутся друг с другом, исправят свои нынешние «недостатки», а там и ссориться не придется, поскольку все везде будет одинаково. «Американская мечта», как видим, приняла у автора в конце концов знакомую форму. Ту форму, которая уже получила достаточно точное определение как теория конвергенции и цель которой «растворение» коммунизма и «присоединение» его к некоему «улучшенному» варианту капитализма. Разумеется, под сенью звездно-полосатого знамени.

Что же в итоге? Гаррисон Солсбери, автор одиннадцати книг по «проблемам коммунизма», свою двенадцатую книгу посвятил проблемам, нуждам и бедам собственной страны. Интересна в его работе критическая струя, и многие проницательные замечания, вообще свойственные либеральному направлению в современной публицистике США, читателю запомнятся. Но вряд ли послушает его (и тем более согласится с ним) та домохозяйка с Лонг-Айленда, что вывесила флаг своей страны вниз головой. Как бы ни был разгневан ее недостаточно патриотичным поведением автор, сомнительно, чтобы ей захотелось «примириться» с теми, кто посылал американских парней сеять смерть и самим погибать во Вьетнаме, кто обрекает их на жалкое существование по возвращении домой. И уж совсем не стоило бы Г. Солсбери рассчитывать на то, что другие народы и государства сумеют поверить в развешанную «американскую мечту», дабы в благоговейном молчании склониться пред звездами и полосами трехцветного стяга. Слишком уж много зла совершено под его прикрытием.

В. ВОЙНОВ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. ГРОМОВ

★

ДИАЛЕКТИКА ЕДИНСТВА

1

В центр внимания современной науки встали проблемы практики и теории советской многонациональной художественной культуры. Образующие ее национальные культуры переживают ныне, в условиях развернутого построения коммунистического общества в нашей стране, период плодотворного развития, бурно идет процесс сближения и всестороннего взаимообогащения наций и художественных культур. В этих условиях особое значение имеет исследование диалектики национального и интернационального в нашем искусстве, диалектики, составляющей его жизненный нерв, идейно-эстетический пафос.

Всестороннее сотрудничество и сближение художественных культур народов СССР — закономерность социалистической культуры. Закономерность, порожденная новыми социально-политическими условиями и новой, истинно гуманистической идеологией. Она по-разному реализуется на разных этапах истории нашего общества.

В переходный период от докапиталистических отношений, от капитализма к социализму главным в процессе взаимодействия национальных культур было выравнивание уровней отдельных художественных культур, всесторонняя помощь более развитых народов сравнительно отставшим. Такое выравнивание не означало поглощения одной культуры другой. Оно предполагало, напротив, максимальное выявление с помощью дружеских наций внутренних художественных потенций каждого народа.

В условиях современных — построения

коммунизма — задача выравнивания уровней художественного развития народов не снимается полностью с повестки дня. Но она уже не является главной. За кратчайший исторический срок социалистические нации произвели у себя культурную революцию, создали развитое социалистическое искусство.

Взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение зрелых, развитых, близких по своему эстетическому уровню художественных культур стало теперь определяющим фактором современного развития социалистического искусства народов СССР. Такая однотипность обусловливается во многом тем, что в каждой национальной культуре утвердился социалистический реализм как единый творческий метод всего нашего искусства. Будучи интернационалистичным по самой своей природе, этот метод, однако, по-разному складывался и развивался и, подчеркнем, развивается поныне в искусстве русском, украинском, армянском, казахском, латышском и т. п.

Что же конкретно означает «по-разному»? Каковы внутренние закономерности взаимодействия общего и единичного в художественной практике? В чем и как выражается диалектика интернационального и национального в отдельных видах искусства? Коснемся этих кардинальных проблем на материале литературы и кино, отчасти на материале того сложного и исключительно любопытного для исследователя «синтетического» современного жанра, который родился на почве многочисленных экранизаций произведений литературы.

На наших глазах изменилось понятие «советский многонациональный кинемато-

граф». По сравнению даже с недавним прошлым оно стало шире, значительнее. Теперь его составляют развитые кинематографии всех советских республик. В каждой из них сложились или складываются свои собственные национальные школы — игрового фильма, документального, мультипликационного, научно-популярного. Все это — проявление и симптомы глубоких общественных процессов, происходящих в нашей жизни. Их сущность раскрывается в постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик»: «Выравнивание и подъем уровней экономического, социально-политического и культурного развития явились важным фактором быстрого и всестороннего прогресса всех республик СССР. В братском единении с необычайной полнотой раскрылись созидательная энергия, творческие способности, таланты всех наций и народностей Советского государства».

В этих условиях бурно развивается процесс идейно-эстетической интеграции художественных культур наций и народов СССР. Процесс, который не исключает, а предполагает стремление глубже осознать в искусстве жизнь своего народа и рассказать о ней всей стране, всему миру. И сделать это во весь голос, свободно обращаясь к арсеналу художественных средств, выработанных как своим собственным, так и мировым искусством.

Режиссеры, сценаристы, операторы, актеры стали ныне образованнее, эрудированнее, они много ездят и много смотрят. Главное в ином. Все благоприятнее социально-психологический «климат». Мало сказать, что наши художники ныне представляют в искусстве нацию, обладающую многовековой историей, — они художники нации развитой. И объективно и субъективно казахский, узбекский, туркменский режиссер 70-х годов чувствует себя не просто учеником великих мастеров, неопитом в неизведанной земле кино; нет, он полон обоснованной уверенности в своем праве и способности самостоятельно мыслить в искусстве. Так появляются фильмы «Ты не сирота», «Выстрел на перевале Караш», «Невестка», «Поклонись огню», «Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухраб», — фильмы, о которых говорят как о вполне зрелых, творчески самобытных художественных произведениях. В них явственно ощущается желание авторов рассмотреть

на национальном материале — современном или историческом — большие, нравственно-философские проблемы нашего времени. Это углубление в национальную специфику означает — в лучших фильмах — и дальнейшую интернационализацию киноискусства. Интернациональное обогащается национальным, национальное ведет к интернациональному. На пересечении этих двух потоков рождается новое качество, новая идейно-эстетическая общность, восходящая к категориям «советский народ», «советский характер». Как же складывается эта общность в живой практике киноискусства?

2

Любое художественное произведение, если оно явление настоящего искусства, несет в себе национальные черты и особенности. Да и как же иначе. Каждый художник — сын своего народа, нации, особенности психического склада, культуры, традиции которой он выражает в своем творении.

Это не значит, что русский писатель создает лишь русские, армянский — армянские произведения. Бывает, что талант принимает иноязычную культуру как свою собственную. Поляк становится национальным поэтом Франции, француз утверждает себя как мастер в России. Переход из одной национальной среды в другую, как и их интеграция в новое целое, вполне возможен.

Такие переходы особенно часто наблюдаются в молодом искусстве кино, его становление связано с той отмененной В. И. Лениным исторической тенденцией в национальном вопросе, которая характеризуется развитием и учащением всяких сношений между нациями, ломкой национальных перегородок, созданием интернационального единства экономической жизни вообще, политики, науки и т. д. Кинематографу всегда присущ динамичный обмен кадрами, тесные межнациональные связи, что, разумеется, отнюдь не исключает в буржуазном кинематографе конкурентную борьбу, подавление развитыми кинематографиями кинематографий формирующихся.

Для социалистического кинематографа характерен новый тип межнациональных связей, в основе которого лежит принцип взаимопомощи и искренней дружбы. Известно, какую огромную роль сыграли русские кинематографисты в становлении республи-

канских студий. Иные из них создали фильмы, ставшие гордостью национальных кинематографий, всего нашего искусства. Живейший пример тому — «Первый учитель» А. Михалкова-Кончаловского, на которого Чингиз Айтматов оказал могучее и плодотворное влияние.

С другой стороны, кинематографисты из республик работали и работают в Москве, Ленинграде, на студиях других республик. Армянин С. Параджанов сделал глубоко украинский фильм «Тени забытых предков».

Все это говорит об органическом взаимодействии национального и интернационального в социалистическом кинематографе. Такого рода взаимодействие характеризует не только кинематограф в целом, но и каждый отдельный фильм. Необходимо выяснить, какие элементы эстетической структуры игрового фильма являются реальными и возможными носителями национального и интернационального, понимая под последним то, «что является общим для социалистических наций и отвечает их революционной сущности»¹.

В работах Н. Шахназаровой, Г. Ломидзе, Ю. Суровцева аргументированно показано, что диалектика национального и интернационального пронизывает весь эстетический строй художественного произведения, а не отдельно его форму или содержание. С этой точки зрения следует говорить не столько о национальной форме искусства, сколько о его национальном своеобразии.

Данное терминологическое уточнение совершенно необходимо для теории и практики киноискусства. Если в искусствах, обладающих многовековой историей, можно еще выделить некоторые устойчивые, специфично национальные элементы формы («тон» в татарском музыкальном фольклоре, дума в украинском, рубаи в поэзии стран Востока), то кинематограф таких элементов не знает. Точнее говоря, они могут быть им восприняты лишь косвенно, поскольку экранный образ строится с помощью литературы, музыки, живописи. Собственно кинематографические средства художественной выразительности не несут в себе четко определенной национальной специфики.

¹ Д. Писаревский, С. Раппопорт. Проблемы национального развития при социализме и эстетическая наука. «Вопросы эстетики». Вып. 7. М. «Искусство». 1965, стр. 189.

Крупный план, открытый Гриффитом, отнюдь не является исключительным признаком американского кино 20-х годов. Монтаж, разработанный Кулешовым, Эйзенштейном и Пудовкиным, может быть назван русским лишь условно, как дань уважения к первопроходцам. А. Довженко был абсолютно прав, сказав: «Кино является действительно самым интернациональным из всех искусств»².

При этом фильм несет в себе приметы той или иной национальной культуры, что выражается, с одной стороны, в своеобразном сочетании различных приемов и средств художественной выразительности и, с другой стороны, в образах героев, картинах бытия, рисуемых экраном.

Несомненно, что «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна есть явление русского советского кино. В нем воспроизведены эпизоды русского революционного движения, в облике матросов и персонажей одесской толпы переданы различные градации «славянского» типажа, сцена похорон Вакулинчука выдержана в традициях, близких к фольклорно-русской. В статье «Двенадцать апостолов» Эйзенштейн с полным моральным правом воздает должное «анонимному-творцу» — великому русскому народу.

И все-таки в фильме «Броненосец «Потемкин» основной акцент делается на анализ социальной общности революционного коллектива, борющегося за свержение деспотии. Ни субъективно, ни объективно в ленте не ставится задача выразить национальное своеобразие этой общности, она решается здесь попутно.

Можно с полным правом утверждать, что в кинематографе 20-х годов обобщенно-интернационалистская тенденция преобладает над конкретно-национальной. И это говорится не в порядке упрека людям, создавшим великое социалистическое искусство. Отнюдь! Таково было время, и такова была историческая необходимость.

Это не означает, что литература и искусство развивались в некоем безнациональном вакууме. Таких вакуумов в природе не существует. Глубоко национальным поэтом был не только Сергей Есенин, ощущавший себя «последним поэтом деревни», но и Владимир Маяковский, лидер поэзии 20-х годов, которому было свойственно револю-

² А. Довженко. Собрание сочинений в четырех томах. М. «Искусство». 1966, т. 1, стр. 259.

ционно-космическое мироощущение. Речь идет, однако, о мере остроты интересов художника к собственно национальной тематике, об осознании ее создателями искусства.

В отличие от Эйзенштейна или, скажем, Л. Кулешова Александр Довженко программно национален. И в то же время, как и эти мастера, он глобален, он ставит в своих произведениях глубочайшие общечеловеческие проблемы. Довженко был одним из первых, если не самый первый среди наших крупных режиссеров, который отчетливо осознал необходимость показывать в кинематографе не только общее в революционной борьбе народов СССР, но и особенное, акцентируя внимание на своеобразии исторического пути разных народов к социализму. Этим во многом обуславливается эстетическая оригинальность его фильмов.

В своей известной статье «Рождение мастера» Эйзенштейн ярко описывает, как он сам воспринял фильм «Звенигора»:

«Мама родная! Что тут только не происходит!

Вот из каких-то двойных экспозиций выплывают острогрудые лады.

Вот кистью в белую краску вымазывают зад вороному жеребцу.

Вот какого-то страшного монаха с фонарем не то откапывают из земли, не то закапывают обратно.

Присутствующие любопытствуют. Перешептываются...

Однако картина все больше и больше начинает звучать неотразимой прелестью. Прелестью своеобразной манеры мыслить. Удивительным сплетением реального с глубоко национальным поэтическим вымыслом. Остросовременного и вместе с тем мифологического. Юмористического и патетического. Чего-то гоголевского»³.

Сплетение реального, остросовременного видения с глубоко национальным поэтическим вымыслом... Эйзенштейн с присущей ему пронизательностью проник в самую сердцевину доженковской поэтики.

И по теме, и по способу сюжетосложения, и по идейно-эмоциональной тональности главные произведения Довженко глубоко национальны. Но национальное рассматривается им не в отвлеченных катего-

риях добра и зла, жизни и смерти, а в социально определенных, с отчетливым пониманием сущности классовой борьбы, антагонизма социализма и капитализма. В этом отношении Довженко не только следует интернационалистской тенденции в развитии советского кинематографа, но и обогащает ее. Обогащает прежде всего национальным опытом, из которого непосредственно исходит в творческом поиске. Его лучшие произведения — своеобразный сплав конкретно-национальной и обобщенно-интернационалистской тенденций, когда последняя как бы выступает из первой.

Объяснение художественной самобытности Довженко нужно искать и в его творческой биографии, в особенностях его развития как человека и художника. Образы детских лет постоянно претворяются им в образы художественные.

«Дед в фильме «Земля», — читаем мы в автобиографии Довженко, — это мой покойный добрейший дед Семен Тарасович, бывший чумака, честный и незлобивый. От него у меня в картинах неизменно любовно написанные образы дедов. Это — теплота детства. Деды мои — это что-то вроде призмы времени. И поэтому именно мне образ Боженька было легче создавать, чем образ Щорса.

Второе, что в моем детстве было решающим для характера моего творчества, это любовь к природе, правильное чувство красоты природы. У нас был изумительный сенокос на Десне. До самого конца жизни он останется в моей памяти как самое красивое место на всей земле... Он живет уже в творчестве»⁴.

В автобиографических записках Довженко особенно характерны два момента. Один прямо бросается в глаза: детские образы стимулируют национальные чувства Довженко, их обостряют. Второй — менее явный, но не менее важный: впечатления детства обобщаются Довженко до уровня всеобщих проблем. Расставание героев — это не просто прощание одного человека с другим, это и поиск новой жизни, неведомой, лучшей. Воспоминания о матери, как и воспоминания о похоронах деда, о телеграмме, извещавшей о смерти брата⁵, возводятся к философским вопросам жизни и смерти.

³ С. Эйзенштейн. Избранные сочинения в шести томах. М. «Искусство». 1968, т. 5, стр. 439—440.

⁴ А. Довженко. Собрание сочинений в четырех томах, т. 1, стр. 34.

⁵ См. там же, стр. 33.

Разумеется, не только непосредственные детские и юношеские впечатления, но и художественные традиции, опыт, фольклорные предания украинского народа обусловили творческие интересы Довженко. Отсюда особенное пристрастие художника к украинской героической думе, к ее образному строю, что явственно сказалось в метафорической, условно-гиперболической поэтике его фильмов.

Однако Довженко, будучи украинцем и по крови, и духу, и образу мышления, обращался своими картинами ко всем советским народам, к трудящимся всего мира. Я уже приводил высказывание Довженко о том, что кино является самым интернациональным из всех искусств. Сразу же за этими словами следуют и другие, не менее характерные: «Мне хотелось сделать на нашем украинском материале, на нашем социальном развороте событий такой фильм (речь идет о «Земле». — Е. Г.), который бы перерос границы нашей современности далеко, если не на весь мир, то на родную нам часть мира»⁶.

«Украинский материал» понимался им не в узкоэтнографическом, а в широком национальном и классовом содержании этого понятия. Ленинское учение о двух культурах в каждой национальной культуре было для Довженко естественной нормой мироощущения.

Главным для Довженко всегда был показ социальных сдвигов в сознании украинского крестьянина и рабочего. Такая творческая ориентация привела к тому, что фильмы Довженко стали своего рода энциклопедией народных характеров, сохраняющие историческую конкретность и самобытность. Трудно назвать более украинский фильм, нежели «Земля». Что стоит один лишь образ Опанаса Трубенко с его «украинской» медлительностью, немногоречивостью. В сценарии этот образ очерчен полнее, чем в фильме.

Нечистый нашептывает Опанасу: не ходи в артель. Жена Одарка, которой он немного побаивается, согласна вступить в колхоз лишь на том условии, чтоб при ней остались «волик и корова». В самом Опанасе сильна исконно крестьянская привязанность к своему клочку земли, к своему хозяйству. И все-таки он понимает, что жизнь

переменилась, что выгоднее работать сообща, в артели, а не в одиночку.

В самом фильме черты нового с особой рельефностью выявлены в образах Василя Трубенко, Ивана Хакала, комсорга Чуприны. Актер Семен Свашенко подчеркивает в Василе его целеустремленность, оптимизм, чувство собственного достоинства — типичные черты комсомольцев 20-х годов. И вместе с тем Василь и его друзья — подлинные украинские парубки. Героя убивают на пустынном шляхе, когда, переполненный ощущением счастья и любви, он танцует в ночной тиши гопака.

Враги Василя, кулацкие выкормыши, как и бедняцкая молодежь, одеты в вышитые рубашки с национальным орнаментом. Они тоже украинцы. Но прежде всего они классовые враги.

Ощущение острой классовой борьбы пронизывает весь фильм. Довженко активен и последователен в социальном анализе украинского села, что не мешает ему быть и философичным и лиричным. Он постоянно обращается к вечным вопросам жизни и смерти, показывает величие и трагизм ухода человека из жизни. Довженко ценит и прославляет духовное, идеальное в человеке, и он же поет гимн прекрасной человеческой плоти. И все его размышления, эмоции существуют не вне, не отдельно от изображаемых им в фильме конкретных событий, ситуаций, а словно внутри них. Мысль Довженко обзревает весь мир, а сам он в это время продолжает оставаться в родной хате, селе. Пластический образ этого села, с удивительной лиричностью рисуемый оператором Д. Демущим, воспринимается как своего рода символ Украины. Многие пейзажные зарисовки фильма заставляют вспомнить о Гоголе, влияние которого на творчество Довженко отмечают все исследователи.

Не менее, чем творчество Гоголя, на Довженко воздействует публицистически заостренная поэзия Маяковского, эстетика плаката, революционная патетика. Довженко оказывается неожиданно близким и Эйзенштейну, и Маяковскому, и Горькому в органическом отвержении от себя всех националистических и шовинистических взглядов. Однако, разумеется, главным учителем Довженко были не его великие предшественники или современники, а сама жизнь, практика социалистического строительства, на основе которой и формировалось его мировоззрение.

⁶ А. Довженко. Собрание сочинений в четырех томах, т. 1, стр. 259—260.

А. Довженко был абсолютно убежден в высшей целесообразности революционного преобразования мира. По его мнению, тот, кто не понимает этой целесообразности, исторически не прав, обречен на смерть. И как бы ни любовался Довженко светлой чистотой белых хат, тихой украинской ночью, величавым разливом Днепра, он не идеализирует традиционный быт и уклад. Довженко присуща прямо-таки дейнековская влюбленность в машинерию, в технику, которую он снимает не менее любовно, чем степь и мазанки. И объективно трактор в «Земле» есть не просто деталь нового быта, а символ нового в жизни его народа.

3

Но тут возникает соблазнительная идея. Представить вывод, сделанный на основе анализа довженковских фильмов, как обобщающую эстетическую норму: если художник хочет быть подлинно самобытным, то он должен быть непременно и подчеркнуто национальным. Дальше можно предпринять еще одну логическую операцию. Рядом с эпитетом «национальный» поставить эпитет «народный» и их незаметно отождествить. Тогда данная норма окажется на первый взгляд неуязвимой. Ясно, что сила любого художника — в его народности.

Однако понятия «народ» и «нация», при всей своей этимологической близости (латыни *patio* — народ), не тождественны друг другу.

Народ — категория вечная. Это трудящиеся массы, создающие своим трудом материальные и духовные ценности. Из понятия «народ» выключаются, когда речь заходит об антагонистических формациях, господствующие эксплуататорские группы, ведущие антинародную реакционную политику.

Нация — понятие исторически преходящее. Она конституируется в условиях капиталистического способа производства. Она совокупность людей, для которых, в относительной независимости от их социального положения, характерна известная общность языка, территории, экономической жизни, культуры и некоторых особенностей психического склада, характера.

В условиях социализма «народное» и «национальное» тесно переплетаются, но не сливаются друг с другом. Это видно уже

из того, что понятие «народное» мы обычно интерпретируем как «всенародное», имея в виду все народы СССР, в данном случае оно адекватно интернациональному. «Национальное» же характеризует устойчивые этнографические и психические особенности отдельных наций и национальностей нашей страны.

Это терминологическое уточнение необходимо для обоснования следующего тезиса. Каждое творение большого искусства характеризуется глубокой и ярко выраженной народностью, в социалистическом искусстве — народностью и коммунистической партийностью. Но не каждому произведению присуще яркое проявление национальной специфики — русской или украинской, азербайджанской или литовской...

Смотря картину «Арсен Джорджиашили» режиссера И. Перестиани, мы сразу с полной уверенностью скажем, что это грузинский фильм, хотя его автор и не грузин по национальности. Тема, колорит, манера игры, герои — типично национальные, и это не умаляет, а подчеркивает интернационалистическую направленность произведения.

Но вот вслед за тем И. Перестиани ставит фильм «Красные дьяволята» по одноименной повести П. Бляхина.

В 1940 году А. Бек-Назаров в статье «Национальное кино в СССР» назовет фильм в числе тех картин, «которые ни по своей тематике, ни по материалу не имели ничего общего с культурой данного народа и республики»⁷. Правда, А. Бек-Назаров добавит, что работа И. Перестиани наиболее удачна среди названных.

В четырехтомной «Истории советского кино» «Красные дьяволята» рассматриваются в главе «Грузинское кино». Фильм поставлен на Тбилисской студии, режиссер по праву считается одним из основоположников грузинской кинематографии.

Но что в этом фильме, собственно, грузинского? И по режиссуре и по операторскому решению он явно тяготеет к жанру «вестерна». Другое дело, что значение фильма «Красные дьяволята» не исчерпывается авантурным сюжетом, головокружительными трюками, выстрелами, погонями; здесь форма приключенческого фильма выражает новое, идущее от романтического восприятия революции социалистическое содержание.

⁷ Сб «Двадцать лет советской кинематографии». М. Госкиноиздат. 1940, стр. 75.

Национальное же своеобразие определеннее всего проявилось в том темпераменте, с каким режиссер разворачивает действие. Фактор, трудноуловимый в теоретическом анализе. Но других, подлинно грузинских, примет лично я не вижу.

«Красные дьяволята» трудно отнести и к украинскому кинематографу, хотя и в повести и в самом фильме много украинизмов, особенно в сценах, рисующих вражеский стан. Перестиани хотел высмеять и развенчать националистические претензии «народной армии» батьки Махно.

Вместе с тем очевидно, что режиссер не стремился передать в фильме своеобразие революционной борьбы на Украине. Впоследствии критика упрекала Перестиани в этнографической неточности: вопреки повести Бляхина натура снималась в Крыму, а не в Приднестровье. Это не играло принципиальной роли для Перестиани. Главным для него было стремление передать общенародное, а не специфически национальное в стихии гражданской войны, ее героизм и романтику.

Как известно, «Красные дьяволята» не свободны от недостатков. Но они объясняются вовсе не тем, что режиссер недооценил, недопонял значимость национального фактора в искусстве. Этому фактору придается существенная роль и в «Арсене Джорджишвили», и во многих других лентах Перестиани, что, кстати, также не освободило их от тех или иных просчетов. Сама по себе ориентация на национальное не определяет качество фильма. Главное — общий замысел автора, его талант, мастерство и мировоззрение. Эти категории выступают в качестве главных критериев эстетической оценки произведений социалистического искусства.

В частности, И. Перестиани в «Красных дьяволятах» не хватило мастерства в психологической характеристике главных героев, что вылилось не только в индивидуальные просчеты режиссера, но и отражало общий уровень развития кинематографии 20-х годов. То же обстоятельство, что в его фильме нет ярко выраженной национальной доминанты, не воспринимается как авторская ошибка.

Ведь такая доминанта отсутствует и в ряде других фильмов. Отсюда возникают немалые трудности в научной классификации национальной принадлежности нашего кинематографа. Каковы ее критерии? Месторасположение студии (этот критерий при-

нят как основной в новой четырехтомной «Истории советского кино»? Язык, на котором говорят актеры (в звуковом кино)? Личность художника? Каждый из этих критериев по-своему верен и по-своему условен.

К какому национальному отряду можно причислить такие фильмы Ивана Пырьева, как, например, «Богатая невеста» и «Трактористы»? А. Бек-Назаров в упомянутой выше статье уверенно относил оба фильма к украинскому кинематографу. Сейчас их рассматривают как явления русского кинематографа. «Богатая невеста» поставлена на Киевской студии, «Трактористы» — на московской. Тот и другой фильмы сделаны на украинском материале, но на русском языке, обильно уснащенном украинизмами.

Личность автора фильма, режиссера, как она объективно выражена в эстетическом построении киноленты, — наиболее надежный критерий оценки национальной принадлежности фильма. Однако применять этот критерий к конкретной кинематографической практике бывает подчас весьма не просто: кино — коллективное искусство, оно делается многими людьми, каждый из которых приносит на экран свой опыт и мироощущение.

Вот «Первый учитель». Совместная постановка «Киргизфильма» и «Мосфильма». Режиссер — А. Михалков-Кончаловский. Он же участвовал в написании сценария, авторами которого являются Чингиз Айтматов и Б. Добродеев. Оператор — Г. Рерберг. Художник — М. Ромадин. Композитор — В. Овчинников. Исполнители главных ролей — Б. Бейшеналиев, Н. Аринбасарова, Д. Куюкова, И. Ногайбаев.

Вероятно, стоит рассматривать этот фильм как явление национального киргизского кинематографа. Думается, что здесь режиссер не только «подчинился» стилистике и духу повести Айтматова, но и сумел органично — с помощью актеров — передать национальный характер киргизского народа.

Не так давно вышли фильмы «Бег иноходца» С. Урусевского и «Джамиля» И. Поплавской. Оба — мосфильмовские постановки по повестям Чингиза Айтматова. Урусевский, судя по всему, не ставил своей целью глубоко вникать в психологию героев, раскрывать национальное своеобразие их психологии. Фильм представляет своего рода операторски-режиссерский эксперимент в цвете. Поплавская же явно стремилась максимально бережно воспроизвести на

экране литературный первоисточник. Критик К. Щербаков в своей рецензии подчеркивал: «Да, авторы ленты верны времени, национальной специфике, их киргизский аил не спутаешь ни с каким другим»⁸. Актеры Н. Аринбасарова, С. Чокморов, Н. Дубашев создают впечатляющие образы людей советской Киргизии со свойственными им повадками, нравами, строем чувств. Оператор К. Кадыралиев влюблен в киргизскую степь, в ее ярко-красные маки.

Вместе с тем деформированные образы огненных коней, несущихся по экрану, — видение Сеита, в котором просыпается художник, — ассоциируются не столько с традициями и преданиями национального киргизского фольклора, сколько с романтическими образами раннего Довженко и, пожалуй, Параджанова («Тени забытых предков»). Стремительный по своему ритмическому построению, по динамике развертывания действия, фильм Поплавской объективно ориентирован на такую систему эстетического восприятия, которая характерна больше для европейского, нежели для среднеазиатского, восточного зрителя. Это говорится не в порядке упрека авторам экранизации повести «Джамиля». Речь идет о другом. О том, что фильм Поплавской трудно отнести к киргизскому кинематографу в полном смысле данного понятия.

А может быть, и нет особой надобности всегда и во всех случаях распределять художественные произведения по строго национальным полочкам? Главное, чтобы фильм был народным, идейно и художественно совершенным. И, во всяком случае, нельзя требовать от каждой ленты, чтобы в ней обязательно содержалась ярко выраженная национальная доминанта. Как не надо требовать, чтобы национальное и интернациональное находилось всегда и непременно в равных пропорциях — так сказать, «фифти-фифти». Кстати, это существенное требование — кажущаяся гарантия от национализма и космополитизма, однако на самом деле оно ставит преграду в исследовании художественных процессов современности.

Например, в статье Л. Арутюнова «Проблемы исследования художественных форм национального сознания» мы читаем: «В вопросах национального и интернационального важно это всегдашнее ощущение их

диалектической связи и развития. Преувеличение одного из контрагентов соотношения неизбежно ведет к нарушению «диалектического равновесия». Ослабление интернационального момента приводит к национализму. Пренебрежение к национальному — к космополитизму»⁹.

Все верно насчет ослабления и пренебрежения. Гносеологические корни тех отрицательных явлений, о которых с резонным беспокойством пишет Л. Арутюнов, — это уродливое раздувание, возведение в абсолют либо национального, либо интернационального в художественной культуре. Но автор, видимо, не случайно берет в кавычки «диалектическое равновесие». Он где-то чувствует уязвимость своей позиции. Диалектическое единство противоположностей не означает равновеликости, количественной и качественной, составляющих его компонентов. Мера пропорции и характер связи этих компонентов могут и должны быть самыми разными — динамичными, подвижными. Отсюда следует, что опасно не всякое преувеличение, преобладание национального или, тем более, интернационального в художественном произведении, а лишь такое, которое разрывает их единство, ведет к противопоставлению одного другому.

Мы явно сталкиваемся с преобладанием интернационального начала, когда затрудняемся сказать, чей фильм — русский или украинский, грузинский или армянский. Кстати, прецеденты такого рода знакомы и исследователям классического искусства — корни интеграции художественных культур уходят в глубь веков. Но не будем забираться столь далеко. Подчеркнем безусловное. В XX веке в условиях нашей страны, когда, говоря словами постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик», «за годы строительства социализма и коммунизма в СССР возникла новая историческая общность людей — советский народ», культурная интеграция социалистических наций и национальностей приобрела и приобретает с каждым годом все более тесный и глубокий характер. Повсеместно — и не только в кино, но и в музыке, архитектуре, живописи, скульптуре, поэзии, прозе, — сталкиваемся мы с явлением, о котором писал еще В. И. Ленин и

⁸ К. Щербаков. Рождение чуда. «Советский экран», 1969, № 19, стр. 6.

⁹ Сб. «Национальное и интернациональное в советской литературе». М. «Наука». 1971, стр. 159.

которое анализируется в решениях XXIV съезда КПСС,— со слиянием национальных культур на базе интернационалистской социалистической идеологии, или, точнее, с тенденцией к такому слиянию, сближению.

Эта тенденция отнюдь не противоречит другой — стремлению к национальному самоопределению в искусстве. Объективным условием дальнейшей интернационализации нашей художественной культуры является полное и всестороннее развитие каждой национальной культуры, их фактическое равноправие. Если бы такого равноправия не существовало, происходило не слияние, а ассимиляция культур, подавление и вытеснение одной из них другой...

Таким образом, право на существование имеют как те произведения искусства, в которых отдельные национальные потоки сливаются в нечто единое, целостное, так и те, в которых рельефно и полно выявляется с интернационалистических позиций монолитно-национальное начало. Искусство социалистического реализма многообразно, оно отражает динамику нашей жизни.

4

Теперь попытаемся рассмотреть вопрос, которого частично уже касались ранее: в чем выражается и может выражаться «высшая мера» полноты национального в киноискусстве?

Похоже, ни в одной известной нам энциклопедии, словаре, справочнике нет логически и методически верной, развернутой дефиниции понятия «национальный характер». В русской философской литературе об этой категории много писали славянофилы, однако ясно, что на основе славянофильской идеалистической методологии не возможно решить проблему национального характера.

Что требуется для ее решения? Во-первых, научно описать основные черты и особенности русского, украинского, туркменского, литовского — словом, каждого народа. Во-вторых, логически определить категорию, выявить ее взаимосвязи с такими категориями, как индивидуальный характер, социальный, типический. Исследование этих двух аспектов одной проблемы — задача не только теории литературы и искусства, но и философии, эстетики, социальной психологии. Задача бесконечно трудная, решение которой выходит за рамки нашей статьи. Отметим лишь отдельные аспекты этой большой проблемы.

При всем том, что для понятия «национальный характер» сегодня мы не имеем более или менее точной дефиниции, этот термин не сходит со страниц как общей прессы, так и научной. И все мы, по справедливому замечанию Чингиза Айтматова, интуитивно понимаем, что «национальный характер героя и народа — реальность, с которой нельзя не считаться»¹⁰.

Правда, некоторые исследователи сомневаются в правомерности самого этого понятия. Литературовед В. Оскоцкий предлагает, «отнюдь не отказываясь от метафорического словоупотребления «национальный характер»... в интересах большей терминологической точности говорить — во всяком случае применительно к области эстетической — не столько о «национальном характере», сколько о национальном в характере, имея при этом в виду реальную диалектику общего и особенного, специфичности проявления общего в особенном и через особенное»¹¹.

Представляется, что такого рода точность ничего не уточняет. В любом случае речь идет о совокупности устойчивых черт и признаков, характеризующих именно этот, а не другой народ. Назовем ли такую совокупность национальным характером или национальным в характере — существо дела не изменится. Важно одно. Описать эти черты в строгих научных терминах чрезвычайно трудно, на этом сходятся все ученые, изучающие категорию национального характера или национальное в характере.

Но вернемся к мысли Айтматова. Национальный характер — реальность. «Нельзя, конечно, забывать,— пишет Айтматов,— что есть еще индивидуальный характер у каждой конкретной особи. Он-то и является главным оселком в руках художника, и здесь возможны всякие отклонения от, условно говоря, национальных норм. И все же существуют какие-то общие закономерности, взаимообусловленности характера индивидуального и характера общенародного»¹².

Для иллюстрации своих суждений Айтматов ссылается на рассказ казахского пи-

¹⁰ Чингиз Айтматов. Национальное и интернациональное. «Вопросы киноискусства». Вып. 11. М. «Наука». 1968, стр. 49.

¹¹ В. Оскоцкий. Единство пути, многообразии поиска. М. «Знание». 1969, стр. 12.

¹² Чингиз Айтматов. Национальное и интернациональное. «Вопросы киноискусства», вып. 11, стр. 48.

сателя Кекилбаева «Самый счастливый день», в котором описывается возвращение домой из армии молодого казаха. Жена с радостным нетерпением ждет мужа, а он страстно желает свидеться с нею. Но когда он приехал, жена «не глядя протягивает ему руку, и он, почти не глядя, пожимает ее ладонь»¹³. Далее в рассказе рисуются очень своеобразные, непривычные для европейца нравы и формы, в которых выражается чувство казахской женщины.

Любопытно, что, желая доказательно обосновать свои рассуждения о реальности национального характера, Чингиз Айтматов обращается не к теоретическим статьям, а к художественной литературе. И дело тут не только в том, что писателю Айтматову ближе сфера искусства, нежели науки. Скорее дело в том, что, как уже отмечалось выше, современная наука — литературоведение, философия, социальная психология, эстетика — пока не в состоянии глубоко и точно раскрыть понятие национального характера. Некоторые критики считают даже, что это вообще не под силу науке.

«Я рискну, — пишет Ю. Барабаш, — высказать предположение, даже больше — уверенность, что «научного описания» — в нормативном понимании этого термина — каждого национального характера, эдакого каталога неповторимых его черт, мы не составим никогда. И слава богу! Иначе мы слишком далеко ушли бы от того, что называется искусством»¹⁴.

Хотя мы склонны не столь пессимистически оценивать возможности науки, но факт есть факт: трудности здесь огромные. Сегодня мы можем говорить не о решении проблемы национального характера в теории искусства, а о разработке методологических подходов к этому решению.

Мы убеждены в правомочности самого понятия «национальный характер». Для нас он тождествен национальному в характере как индивидуального лица, так и социальной группы, класса. Говоря философским языком, национальное суть особенное, в котором проявляется общее — классовое и общечеловеческое. Общее же не существует отдельно, вне особенного. Национальный характер есть совокупность устойчивых черт и признаков, свойственных психике данного народа. Причем в этом характере

нет и не может быть монополюльно-уникальных черт. Однако некоторые общие всем людям свойства выражаются в мироощущении и образе жизни отдельных наций с большей или меньшей интенсивностью и определенностью.

Реальность национального героя, «с которой нельзя не считаться», для нас, если говорить о русском кинематографе, это образ Андрея Соколова («Судьба человека») и Алеши Скворцова («Баллада о солдате»), Василия Губанова («Коммунист») и Егора Трубникова («Председатель»), Паши Колокольникова («Живет такой парень») и Дмитрия Гусева («Девять дней одного года»), Лены Барминой («У озера») и Паши Строгановой («Начало»)...

Разные герои и фильмы передают с разной степенью художественной полноты те или иные грани образа советского русского человека. Советское и русское неотделимо друг от друга. Бескорыстие и доброта Паши Колокольникова, равно как и мужество сердца и сила духа Паши Строгановой, есть черты и национальные, выраженные в присутствующей именно русскому человеку манере поведения и образе мышления, и интернациональные, восходящие к новой общности — советский народ.

Теоретически пока еще трудно раскрыть все связи и опосредования между категориями советского характера и национального. Но общая тенденция их взаимоотношений проступает уже с убедительной реальностью. Лучшее в национальном характере становится чертой и особенностью советского характера, который, в свою очередь, влияет на формирование нового строя чувств и мыслей, на мироощущение народов и народностей нашей страны. Размышляя об этой диалектике, мы всегда должны держать в памяти слово партии, столь своевременно и впечатляюще прозвучавшее в наши дни в постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии».

Здесь говорится: «Киноискусство призвано активно способствовать формированию у широчайших масс марксистско-ленинского мировоззрения, воспитанию людей в духе беззаветной преданности нашей многонациональной социалистической Родине, советского патриотизма и социалистического интернационализма, утверждению коммунистических нравственных принципов, непримиримого отношения к буржуазной идеологии и морали, мелкобуржуазным пережиткам,

¹³ «Вопросы киноискусства», вып. 11, стр. 48.

¹⁴ Ю. Барабаш. Довженко. М. «Художественная литература». 1968, стр. 184.

ко всему, что мешает нашему продвижению вперед».

И далее: «В советском художественном и документальном кино должны находить талантливое отображение процессы коммунистического созидания и воспитания нового человека, претворения в жизнь бессмертных ленинских идей, исторические успехи в социалистическом преобразовании мира. В произведениях кино следует глубоко запечатлеть героический путь, пройденный советским народом под руководством КПСС, свершения современного этапа коммунистического строительства, неуклонное упрочение морально-политического единства нашего общества; больше внимания уделять отображению труда и подвигов советского человека, его богатого внутреннего мира, утверждению идейных и нравственных ценностей нашего общества, советского образа жизни».

Черты нового человека по-разному проявляются в жизни и общественной психологии социалистических наций нашей страны. Но такое «по-разному» не может заслонить фундаментальную основу — морально-политическое единство советского народа.

Не удивительно, что оказываются где-то близкими (не тождественными!) герои нашего многонационального искусства, если они действуют в схожих исторических и социально-психологических ситуациях. Как бы ни был неповторим, уникален образ юного бойца Алеши Скворцова (Г. Чухрай) и отца солдата Махарашвили (фильм Р. Чхеидзе), но в их духовном складе общего не меньше, чем различного. Оба они бесстрашны в своей преданности советской родине, добры, щедры сердцем, отзывчивы на любую человеческую боль. При всей несхожести темперамента, привычек, манеры держаться есть глубокое внутреннее родство между физиками Дмитрием Гусевым (М. Ромм) и Артемом («Здравствуй, это я!» Ф. Довлатяна). А. Баталов и А. Джигарханян, каждый по-своему, выделяют в своих героях то общее, что присуще им как советским интеллигентам 60-х годов: аналитичность мышления, верность своему призванию, высокая культура чувств, демократизм вкусов и поведения.

Сопоставления и параллели легко умножить. Но дело не в их количестве. Мы вправе сделать вывод, что в лучших советских фильмах выражение национальной специфики неукоснительно требует от художника соотнесения единичного с об-

щим — с ведущими закономерностями общественного и духовного развития современности. Это, разумеется, не устраняет другой необходимости — погрузиться в глубины народной жизни, творчески освоить отечественную историю, национальные, в частности фольклорные, традиции.

В современном русском кинематографе такая «погруженность» свойственна, например, Василию Шукшину. В его фильме «Ваш сын и брат» национальное начало выражено ярко и проникновенно. Это не только отлично отснятые оператором В. Гинцбургом алтайские пейзажи, река Катунь, детали и подробности сельского быта, но и характеры людей, их мироощущение.

Особенно любопытен образ Степана Воеводина. Он носит для режиссера программный смысл. В интервью, данном Шукшиным корреспонденту «Советского экрана», подчеркивается:

«В безоглядной любви к людям должна быть красота и сила героев фильма (имеется в виду новый фильм «Странные люди». — Е. Г.). Им просто в голову не приходит, что можно словчить, схитрить, кого-то обмануть. Ложь им противопоказана. Душевная широта и красота были, по-моему, и в прошлых героях: Пашке Колокольникове, Степке. Правда, у них эта черта не приняла столь обнаженную форму. Но уже в поступке Степки, сбежавшего из тюрьмы за два месяца до конца срока из-за того, что «каждую ночь деревня снислась», иные люди видят нелепость, неразумность. А мне он дорог именно вот этой своей тягой к родной земле, к деревне...»¹⁵.

Легко упрекнуть Шукшина в том, что он «противник» города. Сам режиссер очень резко реагирует на этот упрек, всячески отрицает его правомерность. Конечно, критики ошибаются. Шукшин не «против города», он — за человека, за его душевную цельность, которая, например, присуща старику Воеводину. Но присуща, так сказать, на ограниченной основе — дом, семья, привычные условия существования (кстати, Шукшин никогда не утаивает отрицательных сторон сельской жизни). Душевную цельность утратил Игнат Воеводин, но не столько потому, что ушел в город, сколько потому, что омещанился, стал человеком без корней, без высшего нравственного закона.

Для Шукшина стержнем этого нравствен-

¹⁵ «Советский экран», 1968, № 24, стр. 2.

ного закона является чувство родины, России. И, в более узком, конкретном смысле, чувство своей кровной связи с родным краем, с людьми, которые тебе сызмальства близки и дороги. Вот это чувство и заставляет Степку бежать из тюрьмы. Герою в высшей степени присуще отчаянное — лучше раз, однажды почувствовать ощущение полноты жизни, а потом что бог даст... Шукшин вместе с Л. Куравлевым передал в образе Степки ту своеобразную удаль, бесшабашность, знаменующую собой некоторые черты русского национального характера. Другое дело, как к этим качествам относиться. Но они не свалились с неба, они родились в результате исторического развития. И значение такой отчаянности, бесшабашности в национальной нашей истории отнюдь не однозначно. Было всякое. Безумство храбрых и сильных духом — удаля храбрость Чапаева. Но рядом — дикая лихость бандитов, различного рода «атаманов». Отчаянность бывает разной — прекрасной и отвратительной, равнозначной варварству, анархии, разгулу.

Было бы, разумеется, ошибочным приписывать Степану Воеводину из фильма «Ваш сын и брат» анархизм. Тут речь идет о более простых, житейских делах. Но, как всегда в большом искусстве, за простым скрывается и сложное — определенная нравственная и социальная позиция.

Относясь с безоговорочным восхищением к поступку своего героя, Шукшин подчас встает на путь отвлеченно-ригористического толкования национального характера.

Говоря о национальном характере, прежде всего надо иметь в виду, что в самом феномене, называемом национальным характером, заключено острое диалектическое противоречие. С одной стороны, будучи итогом многовекового развития, выжимкой из сотен тысяч раз встречавшихся в истории народа психологических ситуаций, он есть обобщение высокой степени логической абстракции. С другой стороны, реальные формы его проявления сугубо конкретны, индивидуальны. Органично совместить конкретное и абстрактное в художественном образе современника бывает чрезвычайно трудно. Ведь первое — это наше сегодня, второе — историческое прошлое, которое мы хотим актуализовать. И здесь чрезвычайно важно ясное понимание внутренней противоречивости этого прошлого, чего порою и не хватает нашим художникам.

Если подходить к образу Степана Воеводина с точки зрения абстрактных представлений о вечных истоках национального характера, его поступок прекрасен. Но рассмотрим этот поступок в его конкретности. Тогда действия Степана должны быть оценены иначе. У него та удаль и простота, что хуже воровства.

Подумаешь, два года за побег накинута. Впереди целая жизнь. Эка важность — мать с горя заболела, отец захворал. Отойдут. Для Веры, ждавшей брата чуть ли не больше матери, его вторичный арест — целая трагедия. Переживет, она же русская женщина!

Не стоит восхищаться в Степане той отчаянностью, которая толкает его на преступление, глупость и зло. Есть простые этические нормы, которых не надо ни слишком усложнять, ни, тем более, отменять. Им нужно следовать. И тут встает проблема, которая уже выходит за рамки фильма Шукшина, имеет более общий эстетический и нравственный смысл. Это проблема права и морали, вне которой тоже нельзя рассматривать русский национальный характер.

Уважение к духу и букве закона не являлось в прошлом отличительной чертой этого характера. «Где закон, там и обид много», — говорится в Лаврентьевской летописи¹⁶. На русской почве прививались пословицы типа «закон что дышло, как повернешь, так и вышло», но не римское «*dura lex, sed lex*». Почему?

В крепостнической, феодальной стране было много законов дурных, несправедливых. Народ ненавидел их, всеми способами с ними боролся. Однако и относительно справедливые, добропорядочные юридические нормы сплошь и рядом не исполнялись. Воля, произвол, каприз самодержца — вот что было высшим законом. Беззаконие являлось своего рода реальной нормой общественной жизни в течение долгих веков, идея же буржуазного правопорядка не успела укорениться глубоко в психике людей — судебные реформы 60-х годов XIX века имели во многом формальное значение. Все социальные слои привыкли считаться не столько с законом, сколько с доброй либо злой волей отдельных его представителей: урядника, исправника, судьи, губернатора, министра, самого царя.

¹⁶ «Изборник». М. «Художественная литература», 1969, стр. 223.

Все это приводило к самым разным историческим последствиям. То, что русским было несвойственно, скажем немецкое раболепие перед Ordnung, интенсифицировало при прочих других условиях революционную активность. Их было легче поднять на борьбу с царским строем. Вместе с тем в какой-то мере затрудняло политическую организацию русского пролетариата, прогрессивной интеллигенции и особенно крестьянства в единое, монолитное целое.

Известно, какое огромное значение придавал В. И. Ленин вопросам дисциплины, утверждению идеи и чувства революционной законности в русском освободительном движении. Особенно резко встали эти проблемы после победы Октябрьской революции. Да и сейчас они чрезвычайно актуальны. Как подчеркивается в решениях XXIV съезда КПСС, предметом неустанных забот партии является и должно являться воспитание в широчайших массах народа чувства глубокого уважения к духу и букве советского закона, в котором обобщены и основные нормы социалистической морали.

Из всех вышеприведенных рассуждений видно, что национальный характер есть продукт длительного исторического развития, и развития не одной национальной культуры, а, точно по Ленину, двух культур, существующих в каждой национальной культуре, — прогрессивной и реакционной. Поэтому любой пласт национального характера имеет не только светлые, но и темные стороны. Выявление, выдвигание на первый план той или иной его стороны обусловлено социально-историческими условиями, временем, эпохой. Критерий времени — социально-классовый — есть тот оселок, на котором пробуются и испытывается национальный характер. Это соответствует известному тезису В. И. Ленина о том, что «ставя лозунг «интернациональной культуры демократизма и всемирного рабочего движения», мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и ее социалистические элементы, берем их только и безусловно в противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации»¹⁷.

Любовь к своей родине, народу, культуре не может быть слепой. Национальная гордость требует и национальной самокритики. Иначе — национализм. Иначе, если го-

ворить о сфере искусства, — идейная и художественная фальшь, от которой не спасет ни самый крупный талант, ни профессиональное мастерство.

Следует подчеркнуть особую роль национальной самокритики в воспитании и самовоспитании художника. Дело в том, что художнику в некоторых отношениях труднее, чем теоретику, осваивать национальную проблематику.

В научном анализе этой проблематики мы всегда следуем и должны следовать принципу прямого или опосредованного сравнения одной нации с другой.

Возьмем, к примеру, книгу Б. Бурсова «Национальное своеобразие русской литературы». Рассматривая свою тему, исследователь обращается к опыту французской, английской, немецкой литератур, сопоставляет Пушкина с Байроном, Достоевского и Толстого с Бальзаком и Стендалем... Уже сам факт сопоставления, если оно осуществляется с объективных позиций, в какой-то степени предохраняет теоретика от переоценки культуры своего народа.

В художественных произведениях также порою обращаются к прямому сопоставлению «детей разных народов». Но все-таки искусство рассматривает чаще всего национальные характеры в их однотипной среде, как бы самих по себе, что при прочих равных условиях позволяет полно воспроизвести подробности быта, уклад жизни, нравы и традиции, которые впитываются художником, как говорится, с молоком матери. Но это же мешает иногда объективно оценить реальную ценность тех или иных национальных традиций, нравов, особенностей психического склада.

Кроме того, здесь с особой силой проявляется момент эмоциональный. Художнику труднее, чем теоретику, критично относиться к своей деятельности, к тем образам, которые он создает. Они его детище — боль, мука, счастье. Когда же в образе сознательно, программно выражаются национальные чувства, глубинные, тонкие и легко ранимые чувства нашей психики, то тут быть критичным оказывается в сто крат труднее. Но надо — во имя любви к собственному народу, к искусству, к истине.

Истовое служение правде — характерная особенность русской классической литературы, один из важнейших истоков ее общечеловеческого значения. Эта правда была выражена в образах Рахметова, Пьера Безухова, Андрея Болконского, Алеши Кара-

¹⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 121.

мазова... А рядом с ними создавались образы Плюшкина, Обломова, Иудушки Головлева, Смердякова... Последние тоже национальные типы.

Иван Пырьев поступил совершенно правильно — и это сделало его фильм заметным явлением в нашем кинематографе, — когда в экранизации «Братьев Карамазовых» не стал срезать острых углов. Пусть он многое опустил в своей ленте. Пусть нет в ней легенды о Великом инквизиторе. Но она доносит ощущение национальной стихии, как ее понимал Ф. Достоевский. В фильме нет умиленности по поводу «расейской» экзотики, разве что авторы чуть увлеклись цыганщиной в эпизоде в трактире в Мокром. А ведь был предмет, чтобы растрогаться, — Русь церковная: монастырь, колокола, иконы. Оператор С. Вронский, художник С. Волков, И. Пырьев и его сопостановщики этой роскоши себе не разрешили. Они хотели, чтобы зритель взгляделся в смятенную душу Ивана Карамазова, понял борение духа Алеши, заглянул в низины сознания жалкого и несчастного Смердякова, проникся презрением к бездуховности Федора Павловича.

Концепционно в фильме крупно выдвинута проблема, связанная с анализом знаменитого «все дозволено». По Достоевскому, это идея не только «наполеоновская», идущая от утратившего веру в бога, бездуховного, погрязшего в пороках и запутавшегося в противоречиях буржуазного Запада. Она не только порождение неумной гордыни духа, диких страстей, бушующих в душе человека. Она — доведенный до логического конца и интерпретированный в этическом плане крепостнический принцип беззакония. Пырьев вместе с Кириллом Лавровым его развенчивает и в то же время раскрывает внутреннюю фальшь, бесчеловечность формальной буржуазной законности.

Если фильм «Братья Карамазовы» лишен умилительной интонации, то похожая интонация во многом определяет поэтику, скажем, такой ленты, как «Дворянское гнездо» А. Михалкова-Кончаловского. Из всех возможных интерпретаций романа постановщик выбирает, казалось бы, наиболее русскую. Утративший в парижском Вавилоне семейное счастье и душевный покой, Лаврецкий возвращается домой. Припадая к родной почве, он обретает уверенность, что поймет Россию и принесет ей пользу.

Но А. Михалков-Кончаловский лишает

Лаврецкого способности трезво и критично воспринимать русскую действительность. В романе герой говорит: «Пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело». И дальше уже следуют слова автора: «В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе как весенний снег, — и странное дело! — никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины»¹⁸.

В фильме выявлена мысль о том, что «никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины». И забыто, что там «жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам».

Болотных трав в фильме нет. Впрочем, если бы они там и были, то они бы выглядели, наверное, как ярко-зеленый бархат в солнечных бликах. В фильме царит пейзажная идиллия, пышность красок, что имеет мало общего с нашей скромной среднерусской природой, поэтом которой был Тургенев.

Спору нет, А. Михалков-Кончаловский делал не адекватную, а свободную экранизацию романа. Он не был обязан точно следовать Тургеневу. Тургеневу — не обязан. А правда?

Никто не ратует за то, чтобы обязательно показывать рядом с дворцами хижина. «Внешние решения» социальных проблем никого не могут удовлетворить. Да и роман — о «дворянских гнездах». Но забывать о том, что Россия была нищей, крепостнической страной, тоже не должно. Иначе искажается историческая перспектива, сам взгляд художника на национальные типы.

В сфере национального как, пожалуй, нигде необходим социальный историзм мышления, который нельзя подменять ни ригоризмом, ни апологетикой. Вместе с тем нельзя ставить в принципе под сомнение право художника на эстетическую идеализацию национального характера. Термин «идеализация» вызывает протест у некоторых советских искусствоведов из-за его близости к пресловутому «идеальному ге-

¹⁸ И. С. Тургенев в Собрание сочинений в двенадцати томах. М. 1954, т. 2, стр. 204.

рою». Но в данном случае речь идет не о конструировании абстрактных норм совершенства, а о возможности изображения лучшего в национальном в его чистом виде — Александр Невский в фильме С. Эйзенштейна, Тимош в «Арсенале» А. Довженко.

Идеализация — такой же закономерный способ художественного обобщения, как и типизация. Их взаимопроникновение, синтез характерны для искусства социалистического реализма. На подобной двуединой основе часто и создаются образы героев, несущих в себе наш общественный идеал. Однако, как известно, идеализация бывает разной. Фальшивой, не соответствующей объективной логике исторического процесса — и жизненно верной, глубокой.

Прошли годы, а не устаешь восхищаться Губановым — Урбанским в фильме «Коммунист». Образ огромного идейно-художественного потенциала. С одной стороны, он как бы растворен в атмосфере русской народной жизни, с документальной точностью и эмоциональной щедростью воссоздаваемой Ю. Райzmanом. В этой атмосфере Губанов — Урбанский чувствует себя свободно и непринужденно, он кровь от крови ее, плоть от плоти. С другой стороны, он выделяется из своей среды как человек особенной душевной чистоты и цельности, мужества и героизма. Причем все формы проявления его личности очень русские, национально неповторимые. Например, в ситуации рубки леса коммунист другой национальности вел бы себя иначе, наверное, не менее героично, самоотверженно, но иначе.

Главное же в Губанове то, что он коммунист, озаренный высоким гуманистическим идеалом. Благодаря этому идеалу и раскрывается лучшее, идеальное начало в Губанове как в русском человеке. Художественная правда образа, созданного Е. Урбанским, — это историческая правда эпохи, разбудив-

шей от векового сна миллионные массы нашего народа, призвавшей его к активной политической деятельности, к вдохновенному труду и подвигу.

Итак, подытожим сказанное.

В советском искусстве интернациональное и национальное находится и должно находиться в диалектическом единстве, которое носит сложный, многообразный характер. Интернациональное — в плане идейно-творческом — является компонентом, несомненно, главенствующим.

Такое единство — эстетического единства, которая, как и всякая закономерность, пробивает себе дорогу через массу случайностей и отклонений.

Эта закономерность верна и тогда, когда речь идет о художественном произведении, посвященном современности, и тогда, когда, скажем в киноискусстве, мы обращаемся к экранизации классики. Вне этой закономерности не может быть позитивно и новаторски решена проблема национального характера в литературе и искусстве.

Она верна и для произведения, в котором преобладает обобщенно-интернационалистская тенденция, и для произведения, в котором на первый план выдвигается конкретно-национальное. С точки зрения идейно-эстетической, Довженко в «Земле» не менее интернационалистичен, чем, скажем, Эйзенштейн в «Броненосце «Потемкин»». Каждый мастер интернационалистичен по своему. Ибо мера соотношения, модель сцепления интернационального и национального в художественных образах меняется от произведения к произведению, от автора к автору, от эпохи к эпохе. Главная же тенденция развития советского многонационального искусства — к идейно-эстетической интеграции, к сближению культур. Этой тенденции принадлежит будущее.



СЕРГЕЙ АНТОНОВ

★

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА...

(Рассказы о писателях, книгах и словах)

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

АЛЕКСАНДР ГРИН. РАССКАЗ «ВОЗВРАЩЕННЫЙ АД»

Выбрать для разбора сочинение, написанное от лица главного героя, не легко, и не потому, что таких сочинений множество, а главным образом потому, что они чрезвычайно разнообразны. Герой-повествователь может заполнить своей персональной весь текст (крайний случай — «поток сознания»), а может только представиться читателю («Итак, господа, я расскажу вам историю, происшедшую со мной в 18** году») — и в дальнейшем вести рассказ по правилам традиционной новеллы.

Я искал сочинение, расположенное где-то между указанными крайностями, и в конце концов остановился на рассказе А. Грина, который называется «Возвращенный ад». Герой рассказа повествует о своей болезни, связанной с мозговой травмой, о том, что он при этом испытал и каким способом вылечился. Понятно, что такой сюжет излагать от первого лица весьма удобно.

В 20-х годах в журнале «Огонек» из номера в номер печатался роман под названием «Большие пожары». Писали его двадцать пять писателей, каждый по одной главе. Среди авторов были Ал. Толстой, Л. Леонов, В. Каверин.

Но первая глава была поручена Александру Грину.

Я и теперь помню маленький портрет, напечатанный возле заголовка: упрямый, мужнический рот, худощавое, большое лицо, скромную моссельпромовскую кепочку.

Почему именно Грину было поручено на-

чинать коллективный роман? Вероятно, потому, что он был великолепный выдумщик. Его выдумки были неожиданны и красивы. Он был реалистический фантазер.

Для первой главы он придумал такое: в уездном городе внезапно появились бабочки удивительно красивой, пламенной расцветки. Особенность бабочек состояла в том, что как только они садились на что-нибудь деревянное, это деревянное загоралось.

Роман был экспериментальный. Предварительного плана и наметок сюжета, видимо, не существовало. И перед авторами последних глав встала сложная задача: что делать с многочисленными героями? И в конце романа Ефим Зозуля ввел еще одного героя, изобретателя Желатинова. Этот изобретатель придумал хитрую машину для ликвидации излишних персонажей. Поворот ручки — и персонаж исчезает так, будто его вовсе не было...

И бабочки Грина, и машинка для сокращения штатов одинаково фантастичны. Но в бабочек я поверил, а в изобретателя нет. Очевидно, и у фантазии есть свои границы и законы.

Герой «Возвращенного ада» — журналист Галиен Марк, с которым мы скоро встретимся, — рассказывал о лунном жителе: «Толстенский, на голове пух, два вершка ростом... и кашляет».

Изобретатель Желатинов не кашлял.

Рассказ «Возвращенный ад» начинается так:

«Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей, держали меня, журналиста Галиена Марка, последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувствовал или обсуждал, состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциаций».

Чтобы отвлечься от работы, от непрерывного напряжения мысли, Галиен Марк сел на пароход и отправился отдыхать в уютный южный городок Херам.

«Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым, придурковатым, таким смешливым субъектом, со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями».

На палубе к журналисту подошел человек, «одетый мешковато и грубо, но с претензией на щегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком». Это был лидер партии Гуктас, которого Марк изобличил в своей последней статье. Происходит ссора, назначается дуэль. Сопровождаемый случайными секундантами, Марк едет в пустынную рощу Херама.

«Мы подъехали к обширной лужайке и разошлись по местам, намеченным секундантами. Не без ехидства поднял я, в уровень с глазом, дорогой, тяжелый пистолет Гуктаса, предвидя, что его собственная пуля может попасть в лоб своему хозяину, и целился, не желая изображать барашка, наверняка. «Раз, два, три!» — крикнул мой секундант, вытянув шею. Я выстрелил, тотчас же в руке Гуктаса вспыхнул встречный дымок, на глаза мои упал козырек тьмы, и я надолго исчез. Впоследствии мне сказали, что Гуктас умер от раны в грудь, тогда как я целился ему в голову. Из этого я вижу, что чужое оружие всегда требует тщательной и всесторонней пристрелки. Итак, я временно лишился сознания».

Так заканчивается первая глава. Отрывок, скупо рассказывающий о дуэли, точно представляет главного героя — журналиста Галиена Марка.

Очнувшись ночью, Марк увидел свою подругу Визи. Измученная и усталая, она спала в кресле. По некоторым признакам, в частности по снегу за окнами, можно

было заключить, что забытые Марка длилось долго, не меньше месяца. Зато теперь: «Великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня».

Журналист добился того, о чем мечтал. Пуля, ударившая в голову, оказалась пилюлей, излечившей его от «пытки сознания». Ранение привело к тому, что он потерял способность ассоциативного мышления. Отдельное явление уже не воспринималось им в сложном единстве с миром, «подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей», сознание уже не мчалось «по рельсам ассоциаций».

Способность ощущения внутренней связи явлений была утеряна. Вместе с утерей способности «интегрисма» пропала и более высокая, творческая способность — выявление новых связей, поиски скрытых ассоциаций. Мышление застыло, остановилось. С утратой мысли исчезло и переживание действительности, эмоциональные движения души. Марк воспринимал факты «в безусловном, так сказать, арифметическом их значении. «Раз, два... четыре... одиннадцать,— случилось столько-то случаев таких-то, так и должно быть». И когда редактор местной газеты попросил знаменитого журналиста написать что-нибудь в «Маленький Херам», Марк, поглядывая в окно, сочинил такое:

С НЕГ

Статья Г. Марка

«За окном лежит белый снег. За ним тянутся желтые, серые и коричневые дома. По снегу прошла дама, молодая и красиво одетая, оставив на белизне снега маленькие, чистые следы, вытянутые по прямой линии. Несколько времени снег был пустой. Затем пробежала собака, обнюхивая следы, оставленные дамой, и оставляя сбоку первых следов — свои, очень маленькие собачьи следы. Собака скрылась. Затем показался крупно шагающий мужчина в меховой шапке; он шел по собачьим и дамским следам и спутал их в одну тропинку широкими галошами. Синяя тень треугольником лежит на снегу, пересекая тропинку».

Впрочем, болезнь журналиста была не вовсе безнадежна. Что бы там ни было, он оставался земным, живым существом

и не мог не ощущать связи с миром. Связи были примитивными, на уровне детского сознания, но они были. В такие минуты, а также тогда, когда до слуха Марка доносились звуки музыки, его охватывала гнетущая тоска — сигнал того, что болезнь излечима.

Любопытно, что Грин предугадал одну из характерных особенностей человеческого мозга, установленную учеными гораздо позже в связи с кибернетикой: человеческий мозг является саморегулируемой системой.

Что же случилось с Визи? Сначала она недоумевала, потом испугалась, наконец вызвала доктора. Все было бесполезно. Марк стал чужим. Он жил словно во сне. И Визи сбежала от него.

Посыльный нашел пьяного журналиста в трактире и вручил ему прощальное письмо. Марк бесчувственно читает, бесчувственно повторяет подпись «Визи» и, не определив никакой цели, едет домой. В пустой комнате он с равнодушным недоумением перечитывает свои статьи, старые статьи, которые вырезала и собирала Визи. Случайно ему попадается на глаза листок, на котором набросано начало очерка о рудниках Херама.

До него внезапно доходит, что очерк писала Визи. «Мучительное представление об ее тайной, тихой работе, об ее стараниях путем длительного и возвышенного подлога скрыть от других мое духовное омертвление было ярким до нестерпимости».

И все изменилось. Тот самый эмоциональный удар, которого отчаялась дожидаться его подруга, наконец произошел.

«Я встал, прислушиваясь к себе и размышляя, как прежде: отчетливо собирая вокруг каждой мысли толпу созвучных ей представлений».

Марк бросается в погоню за Визи. Он находит ее на пароходе. Визи с испугом смотрит на него. Она не верит в его выздоровление. И он начинает рассказывать все, что произошло с ним.

«Светало, когда я кончил рассказывать то, что написано здесь о странных месяцах моей, и в то же время непохожей на меня, жизни, и тогда Визи сделала какое-то, не схваченное мною, движение, и я почувствовал, что ее маленькая рука продвинулась в мой рукав. Эта немая ласка довела мое волнение до зенита, предела, едва выносимого сердцем, когда наплыв нерв-

ной силы, подобно свистящему в бешеных руках мечу, разрушает все оковы сознания. Последние тени сна оставили мозг, и я вернулся к старому аду — до конца дней».

На этом рассказ кончается.

При беглом чтении рассказ воспринимается как повествование о сиюминутных событиях. Однако впечатление «сиюминутности» обманчиво. Марк рассказывает о себе через месяцы, а может быть, и через годы после выздоровления. Он рассказал о пережитом, о прошедшем. Ему ясно, в каком состоянии он пребывал и как мучил любимую Визи.

Дистанция между временем рассказа и временем происшествия местами подчеркнута («Так я объясняю это теперь, но тогда, изумляясь тягостному своему состоянию, я, минуя всякие объяснения, спешил к вину и разгулу»). А иллюзия «сиюминутности» создается намеренно, чтобы читатель оказался в атмосфере переживаний рассказчика. Тем не менее только уловив дистанцию повествования, можно как следует, до конца, понять характер героя и его мироощущение.

Что же это за характер?

Приглядимся к больному Марку: «Мирное выражение глаз, добродушная складка в углах губ, ни полное, ни худое, ни белое, ни серое — лицо, как взбитая, приглаженная подушка» — так описывает он свое отражение в зеркале.

Правда, Марк оговаривается, что он видел не то, что есть. После месячного забвения лицо выглядело, вероятно, иначе, но он не желал видеть, как оно выглядело. И он изобразил не внешние черты, а нечто более важное — материализованный облик своей необыкновенной болезни, «условный знак» застывшей души. Контузия изменила характер Марка, и мы начинаем узнавать черты давно знакомого типа, для которого характерны потеря чувства социальной ответственности, склонность принимать желаемое за действительное (что хочешь видеть в зеркале, то и видишь), глубокое равнодушие к окружающим, к тому, что его непосредственно и прямо не касается: «Война, религия, критика, театр и так далее трогали меня не больше, чем снег, выпавший, примерно, в Австралии».

Потребности такого существателя не

выходят за пределы физиологических раздражений и примитивных развлечений вроде беседы «о трех мерах дров, проданных с барышом». Он страшится любого намека на неустроенность, беду, страдание, боится всяких посягательств на веру в окончательный порядок и законность мироустройства. «Чего там рассуждать? Живется — и живи себе на здоровье».

Очнувшись от длительного забвенья, Марк видит заснувшую в кресле усталую Визи. «Ясно, что Визи, разбуженная ночью звонком, должна была что-то для меня сделать, но это не настроило меня к благодарности, — наоборот, я поморщился от мысли, что Визи покушалась обеспокоить мою особу».

И словечко «особа» и весь иронически-лакейский оттенок фразы «покушалась обеспокоить» отлично передает меру отвращения, испытываемую Марком к существу, в которое он вынужден был на время превратиться. Не менее характерно и сказанное дальше: «Я лежал важно, настроенный снисходительно к опеке».

Больному Марку принадлежит самообличающая апология мещанского самодовольства:

«Великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня.

«Муж зарабатывает деньги, кормит жену, которая платит ему за это любовью и уходом во время болезни, а так как мужчина значительно вообще женщины, то все обстоит благополучно и правильно». Так я подумал и дал тут же следующую оценку себе: «Я — снисходительно-справедливый мужчина».

Александр Степанович Грин (Гриневский) начал писать во времена, к писательству не располагающие, — после поражения революции девятьсот пятого года.

Короткий по историческим меркам период 1907—1912 годов имел такое значение для нашей родины, что его иногда называют эпохой — эпохой реакции. Огромная империя оцепенела. Гробовая тишина ночных улиц нарушалась лишь выстрелами самоубийц и бомбами анархистов. Появились черносотенные журналы со зловещими названиями «Жгут», «Кнут». Контрреволюция праздновала победу.

Под давлением полицейского террора усилилось размежевание политических сил

на два лагеря. Опорой ленинской партии был рабочий класс. Реакционеры искали поддержки в среде обывателя-мещанина.

Обывателем номер один был император Николай II. Председателя Совета министров Столыпина называли образцом политического разврата. Занявшему вскоре этот пост Горемыкину вообще все было, как у нас говорят, «до лампочки», и его дразнили «манфишистом» (от французского *je m'en fiche*, что по-русски можно перевести малоупотребительным теперь словом «наплевизм»).

Официальная пропаганда поднимала мещанина на щит, прославляла мещанские добродетели. Любое свежее слово пресекалось. Юмористический журнал «Сатирикон» в 1910 году сетовал: «Дело в том, что мы можем писать обо всем, но — по-немногу. Из духовенства мы можем касаться только интендантов, из военных — вагоновожатых трамвая, а министров можем колоть и язвить только в том случае, когда они французы...»

При жизни Льва Толстого и Максима Горького самыми популярными писателями стали Пшибышевский, Сологуб, Мережковский, а книжный рынок наводнялся бульварщиной.

Издатели наживались на грошовых гадательных книгах, оракулах, сонниках, столеры сколачивали круглые спиритические столы без гвоздей. В салоне графини Игнатьевой крестообразно лопнула картина, после того как Распутин перекрестил изображенную на ней нагую куртизанку. С этого чуда, вспоминают мемуаристы, и началась головокружительная карьера святого старца. Вообще, фигура Распутина как в зеркале отражает две ведущих черты тогдашней обывательской идеологии: мистическое мракобесие и крайний аморализм.

Разночинная интеллигенция в массе своей боялась пролетариата. «Экссессы» революции ужаснули ее. Бывшие «борцы с депотизмом» со сказочной быстротой превращались в крайних индивидуалистов. Какая может быть мораль в хаотическом мире? Что могут значить добро и зло, если людьми играют таинственные, недоступные разуму силы?

Власти благоволели такому направлению дел. В рассуждениях по поводу «проблемы пола» разрешено было как угодно проявлять оригинальность. Герой романа Ар-

цыбашева «Санин» «любил пить и много знал женщин».

«В этой книге яркий протест против закаменевших моральных ценностей! И как таковой этот роман имеет общественное значение. Санин уважал женщин. Здесь больше сказано в защиту личности, чем во всей западноевропейской литературе». Так восхваляет «Санина» некий анархист Ян, персонаж другого сочинения, вышедшего в те годы,— романа «Ключи счастья» А. Вербицкой.

Этот защитник личности вразумляет свою наперсницу Маню: «Мы переживаем эпоху освобождения плоти». Только «инстинкты не лгут», «наши желания священны», «можно любить одну, а желать другую. В этом нет ни пошлости, ни грязи».

Семнадцатилетняя Маня усваивает постулаты анархиста и влюбляется в миллионера. Воззрения миллионера на любовь мало отличаются от воззрений анархиста. «Я люблю тело женщины. И ощущения, которые оно мне дает. Здесь масса оттенков»,— объясняет он Мане. Через некоторое время Маня пишет ему записку: «Если ваша любовь — гибель, то пусть я погибну. Приезжайте в беседку. Приезжайте! Если вы меня разлюбите — я пойду на баррикады. Цветы моей души — они ваши, Марк. Сорвите их. Упейтесь их ароматом».

Со следующим мужчиной, черносотенцем Нелидовым, самоотверженная Маня ведет себя совершенно так же.

Любопытно, что развеселые героини Вербицкой среди любовных утех употребляют фразы, с которыми молодой читатель связывал самые чистые, самые высокие помыслы. «Мне тошно, стыдно с тобой лизаться,— говорит героиня другого сочинения А. Вербицкой.— Да, стыдно! Люди с голоду мрут. Уезды вымирают кругом. А ему подайте любви...» «Я не уважаю экспроприаторов,— вторит персонаж из «Ключей счастья»,— они уронили дело революции».

Вербицкая обнаружила хорошо развитое чувство приспособления к книжному рынку. Она учитывала, что в дни революционных боев вместе с мужчинами сражались женщины — героини, для которых слова «баррикады», «экспроприация» имели далеко не беллетристическое значение, и бесстыдно кокетничала революционными словами.

О своем даровании писательница была весьма высокого мнения. Она была увере-

на, что ее читают «шибче Толстого», а о Чехове и Горьком отзывалась так: «Что дали Чехов и Горький не то чтобы ценного, а хотя бы свежего и оригинального в лучших своих произведениях?.. Они подарили нас только отжившими типами и жалкими героями. У них нет яркого идеала. Они не дали ни одного намека на классовую борьбу. Они проявили полное невежество в понимании женской души. Они принесли с собою целое море пошлости».

Этим курьезом можно завершить разговор о писательнице А. Вербицкой и о литературе, которую она представляла. На этом закончим и небольшую экскурсию в ту не столь отдаленную эпоху, когда такая литература не вызывала ни удивления, ни порицания.

Рассказ «Возвращенный ад» напечатан в 1915 году, в то время, когда тираж книг Вербицкой достиг грандиозной цифры — 500 тысяч экземпляров.

Хотя в центре рассказа — Галиен Марк, образ его подруги Визи получился не менее живым и интересным. Читатель видит умную, мягкую, непреклонную в решающие минуты молодую женщину «странной и прекрасной природы». Слово «любовь» для отношений, связывающих Визи и Марка, представляется журналисту «негодным и узким». Это не удивительно, если вспомнить, сколько раз оно мусолилось выдуманными Манями. Свое чувство к Визи Марк предпочитает определить как «радостное, жадное внимание». Поведение их, с точки зрения официальной морали, не безупречно. Они, видимо, не женаты. Они любят друг друга, но мысль оформить свои отношения браком не приходит ни одному из них на ум. Их соединяет, пользуясь словами Марка, свет, зажженный Визи.

Под этим живительным светом журналист счастлив до той крайней степени, когда счастье уже не ощущается как особое, отдельное чувство. Настоящее счастье не выносит скупого накапливания, оно требует, чтобы его расходовали, пускали в оборот. У Марка оно превращается в смелость, принципиальность, в творческую активность. Рядом с Визи Марк становится более ценным, более полезным общественно. В этом, пожалуй, и состоит социальное значение таких сугубо интимных отношений, как любовь мужчины и женщины, и хороший рассказ о высокой любви не ме-

нее нужен обществу, чем хороший рассказ о труде или подвиге.

Между Марком и Визи существует нерасторжимая основа настоящей длительной любви: полное духовное соответствие. Это духовное соответствие, духовный контакт и изобразил А. Грин. Он показал, как любящие души способны настраиваться на одну волну настолько точно, что понимают друг друга без слов. Марк вспоминает, как «в прошлом году, летом, подошел к Визи с невыразимо ярким приливом нежности, могущественно требовавшим выхода, но, подойдя, сел и не сказал ничего, ясно представив, что чувство, исхищенное словами, в неверности и условности нашего языка, оставит терпкое сознание недосказанности... Мы долго молчали, но я, глядя в улыбающиеся глаза Визи, вполне понимавшей меня, был очень бескрайне полон ею и своим с ж а т ы м волнением».

Здесь изображено таинственное силовое поле, которое излучает душа в минуты крайнего нервного подъема. Хотя рассказ «Возвращенный ад» принадлежит, строго говоря, к разряду фантастических, в приведенном отрывке ничего фантастического нет. Такие же эмоциональные силовые поля возникали между влюбленными Левиным и Кити в знаменитой сцене их объяснения.

Также нет ничего потустороннего в том, что любящая женщина предчувствовала несчастье еще до того, как Марк отправился на дуэль.

«Завтра утром мы будем в Хераме,— сказала перед сном Визи,— а я, не знаю почему, в тревоге; все кажется мне неверным и шатким.— Она рассмеялась.— Я иногда думаю, что для тебя хорошей подругой была бы жизнерадостная, простая девушка, хлопотливая и веселая, а не я».

Из приведенной фразы можно было бы негативно вывести некоторые черты характера Визи. Очевидно, она не жизнерадостна, не проста, не хлопотлива и не весела. Но мы не нуждаемся в таких приближенных подсказках.

Хотя Марк рассказывает о Визи скупно и хотя о наружности ее мы узнаем только то, что у нее длинные ресницы, к концу рассказа облик этой нежной, самоотверженной женщины возникает до того отчетливо, что портреты ее, нарисованные самими разными художниками, были бы схожи.

Облик Визи складывается из духовных контактов ее с Марком. Она вся словно соткана из надежного, непрерывного чувства любви. И вдруг контакт нарушается. Марк ранен в голову. Пуля, пробившая череп, сыграла жестокую шутку. Визи чувствует, что Марк изменился, что она больше не духовный друг его, а просто женщина, «приятная для зрения». Постепенно за привычным обликом любимого Визи начинает распознавать что-то чужое, отвратительное.

Вот, вернувшись в подпитии, Марк изрекает: «Чего там рассуждать? Живется — и живи себе на здоровье». И умная Визи, очевидно, не может не вспомнить роман, в котором циник Санин проповедовал: «Я знаю одно, я живу и хочу, чтобы жизнь не была для меня мучением. Для этого надо прежде всего удовлетворять свои естественные желания». Вот, благоклонно отдавая себя заботам Визи, Марк размышляет, что «мужчина значительнонее вообще женщины», и Визи не может не понимать, что мысль его вращается в кругу затхлых откровений такого, например, типа: «Духовная организация женщины ниже, чем таковая же у мужчин» (Бердяев).

И хотя события разворачиваются в неведомом городе Хераме, где-то рядом с неведомым озером Гош и рошей Заката, так и кажется, что подвыпивший Марк вернулся из какого-нибудь грязного Лгговского кабака после беседы с таким же, как он, опустившимся петербургским обывателем.

Что касается физиологических отравлений — еды, сна и прочего, — то после ранения Марк остается вполне благополучным мужчиной. Только случайность помешала ему установить с некой Полиной отношения, которые так выразительно живописала Вербицкая. Ранение привело к изменению психики Марка, к обывательскому, тупо-самодовольному отношению к миру. Такого героя для какой-нибудь Мани было бы достаточно. Но Визи ужаснулась.

Она попыталась лечить его единственным имевшимся в ее распоряжении лекарством — силой любви. Но ничто не помогало. Свет ее уже не проникал в его «сытую» душу. Отчаявшись, Визи пыталась скрыть его позор, ибо духовное омертвение Марка представлялось ей страшным позором, — пробовала сочинять от его имени статьи в газету...

Если бы Марк умер, Визи было бы проще. Беда состояла в том, что рядом с Визи существовало тупое, самоуверенно-равнодушное существо, напавшее на себя, словно скафандр, телесную оболочку Марка. И Визи не могла вытерпеть этой пытки. Решившись бежать, она пишет: «Прощай и не ищи меня. Мы больше не увидимся никогда» — и уезжает. С какой легкостью она собиралась умереть, если бы Марка не стало! Но пока на земле существует хоть что-то от прежнего Марка, она не может покинуть с собой, не имеет права...

Грин удивительно изображал цельные, чистые женские характеры. Визи, на мой взгляд, одно из лучших его достижений.

Галиен Марк ведет рассказ после того, как выздоровел. У него было время поразмыслить и осознать, какие муки он причинил Визи во время болезни. И весь рассказ, идущий от его лица, пронизан нотками виноватости и раскаяния. Галиен словно просит у Визи прощения, вспоминая о своем скотстве с насмешливой иронией: «Казалось, ничто было не в силах нарушить мое безграничное, счастливое равновесие. Слезы и тоска Визи лишь на мгновение коснулись его, и только затем, чтобы сделать более нерушимым силой контраста то непередаваемое довольство, в какое погруженный по уши сидел я за сверкающим белым столом перед ароматически дымящимися кушаньями».

Так же скорбно-иронически изображает он куриный кругозор оцепеневшего сознания: «Над левой бровью, несколько стянув кожу, пылал красный, формой в виде боба, шрам,— этот знак пули я рассмотрел тщательно, найдя его очень пикантным». С горечью отмечает он робость обывателя, увиливающего от сложных, беспокоящих мыслей. «Как-нибудь мы поговорим об этом в другой раз,— трусливо сказал я,— меня расстраивают эти разговоры».

Он беспощадно изобразил, во что вырождается чувство, называемое любовью, при той необыкновенной легкости в мыслях, которая им владела: «Спутница старика, в синем, с желтыми отворотами, платье и красной накидке, была самым ярким пятном трактирной толпы, и мне захотелось сидеть с ней».

В рассказах, написанных от лица героя, слова и фразы приобретают некоторый дополнительный смысл, если их корректиро-

вать состоянием, в котором рассказчик находится.

«Покойно, отойдя в сторону от всего, чувствовал я себя теперь, погружившись в тишину теплого, сытого вечера, как будто вечер, подобно живому существу, плотно поев чего-то, благодушно задремал».

На нейтральном фоне из этой фразы трудно вычитать что-нибудь, кроме ощущения покойного вечера. Но если вспомнить, что Галиен как бы исповедуется перед Визи, просит у нее прощения, каждое слово животного-гастрономического описания вечера, похожего на недавнее состояние самого Галиена, зазвучит грустно-насмешливо.

Рассказ Галиена, в котором одна за другой осмеиваются характерные черты трусливого существователя-пустоцвета, убедителен во всех психологических деталях. Убедительность эта объясняется еще и тем, что паразит, обличаемый Галиеном, до сих пор составляет немалую часть населения нашей планеты.

Из критического анализа рассказов и повестей А. Грина иногда делается вывод о минимальной восприимчивости писателя к прямому воздействию времени.

Должен признаться, что я не могу понять таких утверждений. Чем больше читаешь Грина, тем тверже убеждаешься в необычайной общественной чуткости писателя.

С самого начала своей деятельности Грин наметил главного врага — тупого, косного обывателя, и всю свою жизнь не покладая пера разоблачал его потребительское мировоззрение, двоедушную, лицемерную мораль, атрофию мысли, воображения, фантазии.

Многие строки его рассказов звучат как открытая злободневная полемика против модных в декадентской литературе утверждений о примате подсознательного, звериного в человеке (см., например, рассказ «Сто верст по реке»).

Многие отрицательные персонажи извлекались Грином из гущи современных ему событий политической жизни, из газетных столбцов, даже со страниц бульварных романов (где они представляли идеальных героев) и превращались в своеобразные, гриновские художественные образы — идеи.

Комментаторы «Возвращенного ада» заметили, например, что зловещая фигура Гуктаса вылеплена по образу и подобию лидера махровой партии «октябристов» Гучкова. Это предположение обосновывалось

некоторым созвучием фамилий и замечанием автора о том, что Гуктас был душой партии Осеннего Месяца, «ее скверным ароматом».

Догадку можно считать бесспорной, тем более что Гучков, так же как и Гуктас, стрелялся на дуэли и отсидел по этому поводу в тюрьме.

Но нельзя согласиться с выводом, который из всего этого делается: будто бы Грин «хочет, чтобы читатели знали, какой именно деятель партии Осеннего Месяца искал ссоры с журналистом».

Именно этого-то Грин и не хотел.

Своеобразие его зрелых вещей состоит в том, что, решая нравственные проблемы, он извлекал героев из конкретной социальной и бытовой обстановки, для того чтобы обнажить и показать в чистом виде каркас определенной психологической ситуации.

Гриновская поэтика рождалась в годы разгула реакции. Писатель хорошо чувствовал невысокий уровень сознания большинства своих читателей, вскормленных желтой прессой и бульварными романами. Такого читателя трудно выволочь из трясины прошлого, порнографии, трусливой полуправды прописных истин и покорного утешительного суеверия. Грин старался отвлечь читателя от привычной рутины, встряхнуть, заставить увидеть «облачные пейзажи». Задачей Грина было лишить читателя навязанных ему ориентиров, чугунных прописей мещанской морали, заставить читателя мыслить. Потому-то он и поселяет своих персонажей в особенную, не похожую на другие страны страну Гель-Гью, в незнакомый, не похожий ни на какие другие города город Зурбаган.

Была полоса, когда Грина бранили за то, что он дает своим героям иностранные имена. И бранили напрасно. Имена гриновских героев не иностранные. Они придуманы так, чтобы их созвучия возможно полной соответствовали внутренней сути образа. Помните светлые, яркие, похожие на названия звезд и созвездий женские имена — Ассоль, Гелли, Молли. И наша знакомая — Визи... Цель выдуманых, нездешних имен та же: лишить читателя привычных ориентиров. Привычные звучания — Мани, Лили и прочие, — словно магнитки притягивают затерянные в памяти случайные образы лиц, родственников, знакомых с их ненужными хлопотами, поступками, фразами и отбрасывают читателя снова из крылатого мира фантазии в серую бытовую колею.

А гриновские имена возбуждают воображение.

«Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя, — говорит девушке Ассоль собиратель легенд и сказок Эгль. — Хорошо, что оно так странно, так одноотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины; что бы я стал делать, называясь ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности?»

Иногда по ходу сюжета возникает необходимость вернуть читателя от «облачных пейзажей» на нашу грешную землю. В таких случаях Грин не пренебрегает и прозаическими именами. Бесцельно бродивший по улицам Херама журналист Марк заходит в трактир, выпивает несколько стаканов вина, видит улыбающуюся ему женщину. Он велит старику пригласить ее. И старик кричит радостно: «Полина! Переваливайтесь сюда к нам, да живо!»

В этом эпизоде автор не боится прозаических ассоциаций с привычным мещанским бытием.

Что такое художественная ассоциация?

Под действием внешних раздражителей в мозгу образуется сложнейшая мозаика временных условных связей. Чем богаче опыт человека, тем разнообразнее эти связи. Выработанные в течение жизни связи все более закрепляются и образуют определенный, трудноизменяемый рисунок, некий узор, названный И. Павловым «динамическим стереотипом».

И. Павлов подчеркнул две особенности динамического стереотипа — положительную и отрицательную. Положительная заключается в том, что динамический стереотип берегает затрату нервной и мыслительной энергии в стандартных, повторяющихся обстоятельствах. Отрицательная состоит в костиности динамического стереотипа, в том, что он противится вторжению новых идей и мыслей, противится изменению узора под действием новых обстоятельств.

Упрямство динамического стереотипа в крайней, патологической степени выражается мизонеизмом — упорным уклонением от всего нового. А творческий процесс есть замыкание свежих, необычных условных связей, установление новых, неожиданных ассоциаций. Поэтому-то в художественном творчестве первостепенную роль играют уподобление, сравнение — словом, все виды тропа.

Обратимся к примеру.

Французское слово «роге» в русском переводе значит «груша». Это слово имеет и другой смысл, который по-русски можно приблизительно определить понятием «простофиля».

Француз эпохи июльской монархии, лицедея Луи Филиппа, замечал не раз, что голова этого отпрыска Бурбона формой несколько напоминает грушу. Случайное сходство не задерживало его внимания. Но вот редактор «Карикатуры» Филипон, используя «двухвалентное» качество слова «роге», изобразил короля лавочников с головой, повторявшей форму груши настолько подчеркнута, что только в уме самого тупоумного француза при взгляде на карикатуру не могла возникнуть цепочка понятий: Луи Филипп — la roge (груша) — простофиля. А когда эту тему подхватил знаменитый О. Домье, новое понятие превратилось в социально-политический символ и стало частью динамического стереотипа рядового француза.

Грушу рисовали на вершине Вандомской колонны вместо Наполеона, изображали ее на гербе ордена Почетного Легиона; постепенно при одном виде груши возникала мысль о тупости монархической реставрации. Естественно, что насмешки не пришлись властям по душе. Журнал был оштрафован на шесть тысяч франков.

«Так как, несмотря на все остроумие этого приговора, он может не понравиться некоторым нашим читателям, то мы, чтобы сгладить его шероховатость и безвкусию, решили придать ему несколько иную внешнюю форму», — сообщили редакторы журнала и напечатали решение суда, но так, что края строчек обрисовывали контур груши...

Описанная модель образования новой связи при взаимодействии обеих сигнальных систем может помочь представить некоторые стороны литературно-творческого процесса.

Большую роль в этом процессе играет способность устанавливать новые, неожиданные ассоциации между весьма далекими, казалось бы, явлениями.

Ассоциация не есть простая сумма составляемых. Составляющие ее элементы как бы перерождаются, некоторые их свойства теряются, некоторые выпячиваются, и в результате в мире рождается новое, качественно иное, интегрированное понятие.

В описанном процессе большую роль играет память. По утверждению И. М. Сеченова, «через голову человека в течение всей его жизни не проходит ни единой мысли, которая не создалась бы из элементов, зарегистрированных в памяти».

В нашем примере Филипону надо было помнить, по крайней мере, три элемента: наружность Луи Филиппа, внешний вид груши и два значения слова «роге».

Искусство оперирует бесчисленным количеством элементарных понятий. Подсчитано, что в сочинениях Шекспира содержится более 20 тысяч различных слов. Для того чтобы уследить за мыслью серьезного писателя, философа, научного деятеля, нужно непрерывно обогащать свою память богатствами, которые выработало человечество на протяжении многих веков.

Ассоциация — первооснова и душа всех видов так называемого тропа.

Невозможно представить художественное повествование какого угодно типа, начисто лишенное тропов, к которым относятся сравнения, аллегии, метафоры, метонимии, синекдохи и пр. Часто бациллой тропа бывает заражен и эпитет. Сочинения, в которых автор принципиально старается избежать тропа («Кавказский пленник» Льва Толстого), только подтверждают насильственность такой манеры писания.

Ценность тропа состоит главным образом в его тенденциозности. Он возбуждает в голове читателя не простую ассоциацию, а ассоциацию особого рода, ассоциацию направленную.

Когда Галиен Марк задумался перед дуэлью о возможном исходе, мысль его уперлась в тривиальный символ, который не только не увеличил его тревоги, но даже погасил ее: «О благодетельная сила вековой аллегии — смерть явилась передо мной в картину нестрашном виде: скелетом, танцующим с длинной косой в руках и с такой старой, знакомой гримасой черепа, что я громко зевнул».

По контрасту с эмблематическим символом, рожденным реальным фактом или понятием, издавна существует и символ противоположного качества, символ-призрак. Возникновение его теряется, вероятно, в религиозно-мистических верованиях первобытных народов. Здесь в символические одежды рядится все смутное, неясное, страшное... Иррациональная фигура в сером являлась на сцену окутанная тайной, так

как она изображала неопределенное понятие «судьбы», «рока».

Оба вида символической ассоциации отличаются от ассоциации живой, творческой, кроме многого прочего, существенной особенностью. Они не образуют между сопоставляемыми понятиями то, что на современном языке можно назвать обратной связью.

Действительно, ассоциация «груша Филиппа» совершала круговой путь от Луи Филиппа к груше, а затем, обогатившись понятием «простофиля», возвращалась обратно к Луи Филиппу и прилепляла ему это понятие на лоб. Вместе с мыслью художника круговой цикл совершает и мысль воспринимающего. Таким образом, ассоциативный способ мышления вовлекает читателя в творчество, делает его участником творчества

Читатель с косной мыслью, с отсутствием силы воображения не способен совершить круговой цикл. При сопоставлении двух явлений он видит только две крайних точки, два сопоставляемых явления, но не умеет увидеть главного — связи между ними. Чтобы не обижать здравствующих, вспомним дядю поэта А. А. Дельвига.

Как-то этому дяде попались на глаза стихи племянника:

Так певал без принужденья,
Как на ветке соловей,
Я живые впечатленья
Первой юности моей.
Счастлив другом, милой девы
Все искал душою я,
И любви моей напевы
Долго кликали тебя.

По воспоминаниям А. И. Дельвига, «дядя рассказывал, что Дельвиг не живет дома, ходит в леса, скрывается там в ветвях деревьев, поет разные неприличные вещи и сам еще об этом пишет». Словом, как заметил Пушкин, посылая своему другу Антону Антоновичу череп, принадлежащий якобы предку Дельвига:

Сквозь эту кость не проходил
Луч животворный Аполлона.

В биологии существует большой набор средств, с помощью которых генетики воздействуют на растительный организм, чтобы вызвать нужные отклонения от исходного типа. Применяя эти средства, ученые как бы расшатывают наследственную основу организма, или, пользуясь выразительным

французским тропом «affoler», «сводят с ума» упрямую породу, изменяют ее в нужном направлении.

К набору сильно действующих средств, расшатывающих косный динамический стереотип, принадлежит троп. Чем он неожиданней, чем дальнобойней ассоциация, тем больше шансов на то, что мысль автора верно запечатлеется в голове читателя.

Герой «Возвращенного ада» рассказывает: когда Гуктас ехал на дуэль, «глаза его сверкали под белой шляпой, как выстрелы». А когда Галиен решил искать сбежавшую Визи: «Я представил себя прожившим миллионы столетий, механически обыскивающим земной шар в поисках Визи, уже зная на нем каждый вершок воды и материка, — механически, как рука шарит в пустом кармане потерянную монету, вспоминая скорее ее прикосновение, чем надеясь произвести чудо...» Неожиданный троп в повествовании Галиена Марка закономерен. Ведь Галиен Марк — журналист, и журналист талантливый.

С помощью тропа автор «расшатывает» динамический стереотип читателя. С помощью тропа он старается навязать свое отношение к миру, свое чувство действительности, свои оценки. Правда, ни одному, даже самому гениальному, писателю этой цели добиться не удавалось. Известны последователи Л. Толстого, американца Торо, упадочники-есенинцы, подражавшие поэту и в творчестве и, к сожалению, в жизни, но в целом все это не выходило за пределы недолговечного увлечения и поверхностной моды.

Тем не менее троп независимо от воли автора решал куда более значительную художественную задачу. Закончив читать роман, читатель с изумлением чувствовал, что самым близким, знакомым другом для него стал не герой, как бы ярко и блистательно он выписан ни был, а сам автор, о котором на всем протяжении книги не было сказано ни слова и который искренне желал остаться в тени.

Произошло это потому, что троп, впечатленный в ткань художественного повествования, незаметно обнажает динамический стереотип автора, его сокровенную сущность, его манеру мыслить и рассуждать.

Если взять даже сугубо научное сочинение, например «Органон», написанный две

тысячи лет тому назад, то и там мы найдем штрихи, дающие представление об авторе, Аристотеле, как психологическом типе. Рассуждая о предикатах, то есть о самых общих понятиях, он писал: «Сущностью является, коротко говоря, например, человек, лошадь. Количество — это, например, в два локтя, в три локтя... Обладание — например, обут, вооружен. Действие — например, режет, жжет. Страдание — например, его режут, жгут».

Здесь не только чувствуется участие Аристотеля в завоевательных походах Александра Македонского, но проскальзывает и плохо скрытое отвращение к жестокостям своего бывшего ученика.

Прочтем еще одну фразу из времен более близких. Эта украшенная тропом фраза написана летчиком, бомбившим безоружных жителей абиссинских деревень. Бомба, пишет он, взорвалась, «распустившись при этом, как роза». Автор этого сравнения фашист — сын Муссолини.

Троп может много рассказать и о мировоззрении писателя, и о его настроении, и о бытовых мелочах, связанных с его жизнью.

Всем известны парижские стихи Маяковского:

Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place de la Concorde.

В 1925 году, когда эти стихи были написаны, еще существовала в Москве Сухарева башня. Башню эту издавна называли «Сухаревой барышней», и Маяковский, конечно, знал народную прибаутку о том, что башню отдадут замуж за колокольню Ивана Великого.

Очевидно, даже самый оригинальный троп незримыми нитями связан с народным сознанием.

Грин не находит нужным сообщать что-либо о внешнем облике Марка. Опорных точек, определяющих его наружность, в рассказе не найти. Автор, очевидно, полагал, что для темы «Возвращенного ада» внешние черты героя несущественны.

В прощальном письме Визи называет Марка внимательным, осторожным, большим и чутким. О внимательной осторожности журналиста можно судить и по манере, с которой он ведет рассказ. Сложный характер

его угадывается в соединении душевной мягкости с решительностью и силой духа, проявленной при столкновении с Гуктасом.

Но вскоре нам становится ясней главная, определяющая черта натуры Марка. Это непрерывная, изнуряющая, изматывающая душу работа мозга, которую сам журналист называет «красным адом сознания». Исступленная умственная работа, отвечающая высоким общественным запросам, выражается в творческой деятельности. Может быть, это и подразумевала Визи в прощальном письме под словом «большой». Целомудренные законы любви не дают права называть любимого талантливым, гениальным, и она ограничилась скромным эпитетом.

Пожалуй, нет задачи неблагодарней, чем изображение работника, который называется творческим. Литература знает множество вымышленных и списанных с натуры ученых, писателей, художников. Чаще всего подчеркивается их бытовая заурядность, чуждаемость, брюзгливое отношение к моральным ценностям, и хотя Тригорину облако представляется похожим на рояль, в его писательское призвание приходится верить на слово.

С продукцией Марка, кроме статейки «Снег», написанной в состоянии помрачения ума, мы незнакомы. И тем не менее перед нами талантливый, оригинальный журналист.

Первая фраза рассказа — сравнение одельного факта с куском горного льна, состоящего из миллиона нитей, — останавливает внимание глубиной заключенной в ней мысли. Действительно, изолированность факта на самом деле кажущаяся; чем больше углубляешься в суть явления, тем отчетливей обнаруживаешь, что свойства его определяются бесчисленными связями с окружающим миром. Мысль не проста, но Марк сумел ее выразить оригинально, образно и точно.

Здесь еще раз стоит отметить плодотворность повествования от первого лица в рассказах такого типа, где важную роль играет экспозиция мысли героя.

Взлеты фантазии, точность и глубина сравнений, неожиданность дальнобойных ассоциаций, вдохновляющих воображение читателя, — все то богатство, которым пользовался Грин, рассказывая от себя, в «Возвращенном аде» передано герою, и теперь не Грин, а журналист Галиен Марк пред-

стает перед нами удивительным, оригинальным существом, одаренным неистощимой фантазией, смело прорывающимся дерзкой мыслью в неведомое.

Мы знакомимся с самой сердцевинной сущности Марка, с неистощимостью его интеллекта как бы между прочим, извлекаем из его рассказа свойственные именно этой личности сопоставления, связи, продолжаем их в собственном воображении... Образный язык журналиста дает представление не только об его творческом интеллекте, но и о других чертах его натуры.

Многое узнаешь, например, об отношениях между Визи и Марком из короткого упоминания о том, что свет любви Визи «в красном аду сознания блистал подобно алмазу, упавшему перед бушующей топкой котла».

Уподобление мозговой работы бушующей топке мало что добавляет к тому, что мы знаем, но алмаз, блестящий собственным благородным, спокойным блеском и вместе с тем послушно отвечающий едва заметным изменениям отблеска прихотливому огню, иносказательно прорисовывает отношения мудро-нежной Визи и нелегкого в быту журналиста.

В самом начале рассказа мы знакомимся также с щедростью и силой воображения Марка. Размышляя о скрытых причинах изменения самочувствия, Марк словно шутя приходит к предположению о передаче психической энергии на расстояние. Он не пугается внешней абсурдности пришедшей ему в голову мысли, не отмахивается от нее, как сделал бы поклонник куцевого здравого смысла, не заводит вас в загадочные дебри мистицизма. Его мысль отважно движется навстречу неизведанному, сопоставляет, вспоминает неизвестные факты. «Некто болен, о чем вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему».

Фантазии Марка не высосаны из пальца, а развиты живым опытом, подсказываются наблюдаемым материалом.

«Примеры эти я привожу потому, что они элементарно просты, известны почти каждому из личного опыта и поэтому достоверны, а достоверное убедительно».

И действительно, фантазии Марка довольно убедительны. В книге инженера Б. Кажинского «Биологическая радиосвязь» (1962) рассказан такой случай: проснувшись ночью, автор услышал явственный звук, на-

поминавший звон ложечки о стакан. Было два часа ночи. Инженер заснул снова, а утром пошел навестить своего больного приятеля, проживавшего на расстоянии одного километра от его дома. Но приятеля уже не было в живых. Он умер ровно в два часа ночи, в ту минуту, когда мать его зачерпнула лекарство чайной ложкой из стакана...

Инженер Б. Кажинский утверждает, что человеческая мысль имеет электромагнитную природу и, следовательно, может быть передана как угодно далеко. Он настолько уверен в своей правоте, что окрестил эту способность мозга третьей сигнальной системой. К идеям Б. Кажинского сочувственно относились В. Бехтерев, А. Леонтович. Писатель А. Беляев использовал идеи Кажинского в научно-фантастическом романе «Властелин мира» и, кстати, вывел там и самого инженера под фамилией Кажинского. Великий ученый-мечтатель К. Циолковский относился к идеям Б. Кажинского весьма сочувственно и был убежден, что в век космонавтики телепатические способности человека очень понадобятся.

Я вспоминаю все это не для того, чтобы защищать телепатию. Я хочу только показать, почему фантастические соображения Марка не кажутся нелепыми, а воспринимаются читателем почти всерьез.

Мы послушно следуем за размышлениями Марка; нам понятно, что его соображения — не пустые домыслы, не голая фантазия, что воображение его плодотворно и предположения приближаются к тем «безумным гипотезам», над которыми стоит задуматься.

И вот, едва мы познакомились с Марком, разражается катастрофа. Вместо остроумного, изобретательного журналиста Визи видят тупицу, хохочущего от восторга в предвкушении фрикаделек. Вместо трехмерного, а может быть, и четырехмерного мир представляется ему плоским, двухмерным. «Все, что видишь,— такое и есть»,— изрекает он невозмутимо. Его блестящая речь сменяется бесцветными фразами, изредка сдобренными взятым напрокат у Шехерезады окостеневшим сравнением типа «будильники — палачи счастья» или «разгул — истребитель меланхолии». Перед нами — мертвое сознание, отражающее предметы и явления без всякой духовной переработки, нечто вроде предприятия, выпускающего те же самые рога и копыта, которые в него поступают.

Статья «Снег», лишенная даже отдаленного подобия тропа, свидетельствует о пассивном контакте автора с действительностью, о бесчувственном восприятии, бесильно связать предметы, не способном ни к отбору, ни к моральной оценке.

Не следует думать, что в рассказе, идущем от главного героя, этот герой является полновластным хозяином повествования. За спиной его стоит автор. И присутствие автора иногда весьма заметно. В «Возвращенном аде» именно автору — Грину — принадлежит основное сопоставление здорового Марка, автора боевых статей против Гуктаса, творца дерзких гипотез о всемогуществе мозгового аппарата, и Марка больного, «заснувшего», как засыпают черепахи на зиму.

Новиков, Грибоедов, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов, Горький производили социальный анализ обывателя на определенном общественном фоне, в конкретных бытовых условиях, и внутренняя суть обывателя познавалась через посредство его внешних проявлений.

Грин в «Возвращенном аде» поступает иначе. Он как бы вскрывает черепную коробку мещанина и дотошно исследует его мозговую структуру.

Любопытно, что и М. Горький не ограничивался изображением мещанина извне. В его статье «Разрушение личности» содержится прямой психологический анализ умственного уровня обывателя.

«Вероятно, это хроническая болезнь коры большого мозга, вызванная недостатком социального питания, — писал М. Горький и продолжал несколько дальше: —...он не способен к связному мышлению, с трудом ассоциирует идеи, мысль вспыхивает в нем искрами и, едва осветив призрачным, больным сиянием какой-либо ничтожный кусочек внешнего мира, бесследно угасает».

Статья М. Горького была написана в 1909 году. Видимо, Грин был знаком с ней и разделял отношение Горького к паразитирующему мещанству. Иначе трудно объяснить столь близкое совпадение симптомов болезни Марка с горьковским описанием.

Мне кажется, что любой большой писатель в течение всей своей жизни пишет одну заветную книгу.

Главная тема Льва Толстого — во всех его томах, от первого до последнего, — олицетворялась «зеленой палочкой» народного счастья. Центром творчества А. Чехова было

утверждение чувства человеческого достоинства. Большинство рассказов А. Грина — песня, прославляющая безграничную мощь творческого интеллекта, вырванного из мертвящих пут обывательщины. Так называемый «вымышленный мир» Грина находится совсем недалеко от нас, не дальше соседней комнаты.

В. Ковский определил манеру писателя следующим образом: Грин «создает какую-нибудь общечеловеческую ситуацию, возможную в любом основанном на социальном неравенстве обществе, и извлекает из столкновения добра и зла определенный этический смысл». Это верное определение слишком широко и годится для любой сказки. Произведения Грина в подавляющем их большинстве характерны столкновением добра не со злом вообще, а с косной, вредоносной инертностью мещанина.

Российское мещанство как социальная категория — понятие весьма расплывчатое. М. Горький замечал про мещанина: в городе он и не купец, и не дворянин, и не крестьянин. Исповедовали обывательскую идеологию не только разночинцы, не только мелкие буржуа, но и многие рабочие и интеллигенты...

Изменение общественного строя еще не гарантирует уничтожения вируса мещанства. Если бы он у нас исчез, М. Горькому не понадобилось бы в 1930 году писать «О солитере».

Счастливая особенность дарования А. Грина легко переносить своих героев в неведомые края и чувствовать себя там вместе с ними как дома позволяла этому романтику, отвлекаясь от бытовой накипи и натурального анекдота, изображать типический образ мещанина, выводить его нравственную формулу и рисовать вековую битву творческой идеи с косной мещанской рутиной.

Бросается в глаза противоречивость духовного облика мещанина: крайнее невежество, инстинктивная вражда к разуму соединялись с тягой к модным философским доктринам, с выдумыванием всяческих мистических агностицизм, мистических реализмов, мистических анархизмов; козлийный цинизм уживался со стремлением оживить веру в бога, хулиганские экстравагантности — с животной неподвижностью, сытым покоем, с автоматизмом мышления; поклонение искусству как высшей религии, поклонение гению как боговдохновенному

безумцу соединялось с окриками писателю, чтобы он не забывал свое главное «призвание» — «почесывать пятки».

Двуликость мешанина объяснялась просто. Больше всего на свете, больше чертей, автомобилей и футуристов, обыватель боялся растущей силы рабочего класса, растущей организованности его и — приближающейся революции.

Этот страх отразился в каждой строке книги А. Бурнакина «Трагические антитезы»:

«Как встарь, высока и непроницаема стена народной обособленности, и не пробить ее ни штыками, ни молебнами, ни букварями; да лучше особенно и не трогать: того и гляди народный гнев перельется через стену, и — беда тогда — размахнется он влево не меньше, чем вправо, достанет он самых верхних верхов». И чтобы этого не случилось, А. Бурнакин советует: «Нужно: не разрушать народную берлогу, а смиренно войти в нее; и освещать ее не светом лампадок и не Эвклидовым знанием, а Высшей правдой... триединая формула которой: Земля, Народ, Христос».

Последним прибежищем разношерстного обывателя — от венценосца до батрака — оставалось грубое суеверие религии. В предвоенные годы шепотком передавали завет Распутина: «А ты до покаяния-то грехи больше. Не погресишь — нечего и каяться».

Так и жил обыватель-паразит; по уши в земных грехах и в покаянии тому, кого он сам выдумал.

Несмотря на возбуждающие заголовки в газетах и журналах, мы разучились поражаться чудесам науки и техники. Для того чтобы чистосердечно, от души удивиться тому, что теперь совершается, необходима специальная научная подготовка. Новые основополагающие понятия физики, химии, астронавтики недоступны непосредственному опыту и пяти чувствам.

Ученые всячески стараются помочь нам: облако мезонов называют «мезонной шубой», потоки космических лучей в дождевой Англии именуют «ливнями», а в плодородной Франции — «снопами», однако это мало помогает, когда оперируешь скоростями, приближающимися к скорости света, температурами, приближающимися к температуре солнечной плазмы, и объемами хотя и равными нулю, но не позволяющими себя игнорировать... Сколько ни вникай в соотношения между массой и временем,

все-таки трудно уразуметь, почему официантка на трехсотметровой высоте Останкинской башни старится быстрее, чем ее сестренка-близнец, работающая в таком же ресторане на земле.

Первый сборник рассказов Грина появился в 1908 году. Технические достижения того времени были не менее поразительны, чем сейчас. Разница состояла только в том, что тогдашние технические новшества (электричество, самолет, кинематограф) наглядно и однозначно переходили из области чудес в область быта. В 1909 году Блериц перелетел через Ла-Манш. В том же году по радио впервые передали голос Карузо, а на заводах Форда выпускали уже по сорок автомобилей в день. А ведь всего около десятка лет до этого в Лондоне впереди любого механического экипажа должен был идти сигнарист с красным флажком.

В том же 1909 году сын миллионера Маринетти выпустил свой первый манифест. При изучении футуристских деклараций рассматриваются по преимуществу их «эстетические» цветочки. А ягодки состояли в том, что Маринетти и его приверженцы провозглашали тотальную механизацию личности. «Мы, — объявляя Маринетти, — уничтожим любовь, преодолеем «наваждение единственной женщины». Романтическая любовь заменяется «простым совокуплением для продолжения рода» «Мы, — продолжал Маринетти, — подготовляем создание механического человека с заменяемыми частями». Вскоре появились картины Кирико, изображающие нового человека — чудовище, склепанное из геометрических деталей, и со звездой на яйцевидном подобии безглазой головы.

Выходки Маринетти, в общем, не принимались всерьез: они считались «эпатацией буржуа», а то и просто шалостями. Однако за этими шалостями проглядывало вполне серьезное посягательство империализма на человеческую личность.

Россия не оставалась в стороне от капиталистического прогресса. В 1910 году в Петербурге состоялась первая авиационная неделя. Над Комендантским ипподромом под визг дам трещали монопланы и бипланы. Обыватель чуял: грядет на Русь что-то небывалое, бесжалостное, закованное в железные латы и все эти Форды, Бенцы, Цепелины грозят разрушением веками сложившегося уклада. Аркадий Аверченко на авиационную неделю откликнулся фельетоном, в котором летчики изображались по рецеп-

ту Маринетти — «живые, на диво сработанные механизмы, и правильно, без перебоев, стучали их моторы-сердца, а в жилах холодной размеренной струей переливался бензин».

Кислые насмешки над авиаторами выражали смутный страх обывателя перед неизвестным.

Авиационную неделю посетил и Грин.

Казалось бы, ценитель всего необыкновенного, творец фантастических городов и стран, украшающий героев звездами именами, при виде самолета должен бы замереть в восторге. Но Грин в восторге не замер. Он рассердился. Как только он не обзывал ни в чем не повинный аэроплан: и «безобразным сооружением, насквозь пропитанным потными испарениями мозга», и «материей, распятой в воздухе», и даже кухней, где с помощью бензина «готовится жаркое из пространства и неба».

Обывателя пугал грядущий механический человек. Грина раздражала односторонность развития цивилизации. Он понимал, что капиталистическая техника еще больше закабалит человека, засушит его личность, приглушит дарованные природой творческие способности.

Правда, и тогда находились румяные оптимисты, прямо и непосредственно связывавшие достижения науки и техники с ликвидацией главного бича народов — истребительной войны. Еще в 1891 году во французском журнале «Ревю де ревю» было написано: «Возможно ли избавиться от войны? Все согласны, что если она разразится в Европе, то последствия ее будут подобны великим нашествиям варваров. Дело при предстоящей войне будет идти уже о существовании целых народностей...»

Это-то соображение вместе с теми страшными орудиями истребления, которыми располагает новейшая наука, задерживает момент объявления войны»¹.

¹ Описав испытание водородной бомбы, У. Лоуренс замечает: «Можно создать еще большие водородные бомбы... Они на тысячи лет могут превратить Землю в пустыню. Однако, как это ни странно, благодаря созданию этого сверхоружия... имеется больше оснований для оптимизма, чем для пессимизма. Именно это разрушительное оружие является гарантией того, что ни одна страна, какой бы мощной она ни была, не осмелится развязать агрессивную войну... Водородная бомба сделала мир во всем мире неизбежным» («Люди и атомы». М. 1967). Человеческие заблуждения так же живучи, как и мещанство.

Не менее страшным злом, чем война, Грину представлялся мещанин. Это апатичное, хилое существо, как и всякий паразит, удивительно живуче. «Я убил его широким каталанским ножом,— пишет Грин.— Но он воскрес прежде, чем высохла кровь на лезвии, и высокомерно спросил:

— Чем могу служить?»

Измученный, я стал душить его, стискивая пальцами тугие воротнички, а он тихо и вежливо улыбался».

Нравственный уровень личности не поднимается вместе с уровнем развития техники. Наоборот, «победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости». Эти слова К. Маркса обыватель подтверждал всем своим поведением. Едва Эдисон изобрел фонограф, как появилась пластинка «Маргарита, бойся увлеченья». Только Люмьеры придумали кинематограф, а обыватель уже хохотал над тем, как у Глупышкина лопнули подтяжки.

Насколько точно Грин предугадывал ход капиталистической цивилизации, видно из рассказа «Искатель приключений» (1914). Герой его говорит: «Я чувствую отвращение к искусству. У меня душа — как это говорится — мещанина. В политике я стою за порядок, в любви — за постоянство, в обществе — за незаметный полезный труд. А вообще в личной жизни — за трудолюбие, честность, долг, спокойствие и умеренное самолюбие».

Между великими прозрениями науки и мещанскими добродетелями подобного «простого человека», его куриным мировоззрением образовалась зияющая пропасть. Познание внешнего мира, звезд, галактик угрожающе опережало познание психического механизма. Наука и техника словно одушевились и как одержимые влекли за собой народы, а ученые открывали то, что сами уже не могли объяснить. Между тем механизмы сознания человека, работа его мозга, взаимоотношения сознания и подсознания — все это оставалось тайной. «О природе и местонахождении памяти мы знаем не больше, чем древние греки, считавшие местонахождением разума диафрагму» (математик Джон фон Нейман).

Грин боялся механического человека. Он видел, что бесы капиталистической техники морально калечат живого человека, оскотачивают его волю, превращают его во что-то

вроде разряженной нервной батареи. Поэтому-то Визи не любила ничего механического, даже будильника.

Если бы Грину было известно, что с развитием техники растет и могильщик капитализма — пролетариат, его отношение к самолетам, может быть, было бы более терпимым. Но ему, как и многим другим, было еще неизвестно, как недолго осталось ждать выстрела «Авроры». Прозаическая истина о том, что исправление духовного облика человека надо начинать с изменения экономической основы общества, была чужда Грину. Он пытался лечить человека от мешанской летаргии изнутри. Он старался доказать, что человек слаб потому, что не знает своих возможностей. А возможности его беспредельны, неисчерпаемы, и для проявления их нет нужды в искусственных костылях науки и техники. Если мобилизовать волю, сконцентрировать нервную энергию, можно пробежать по поверхности океана и летать по воздуху.

А. Слонимский вспоминает, как Грин убеждал его, «что человек бесспорно некогда умел летать и летал».

И герой романа «Блестящий мир» умел летать без всяких механических ухищрений, без крыльев и пропеллеров — единственно усилием воли.

Но как же все-таки убедить полусонного обывателя, что он способен взлететь, хотя бы иносказательно?

Центральной силой души Грин считал воображение. Эту силу надо разбудить и привести в действие. Мы уже упоминали о манере Грина уводить читателя из привычной скверны окурковских переулков и понедельникного похмелья в воскресный светлый мир, в страну Цветущих Лучей.

А. Куприн полагал, что Грин выдумал свою «гринландию», чтобы ему было в тогдашних условиях «свободнее разговаривать».

А. Платонов упрекал Грина за то, что тот якобы увильивает от грудных тем в выдуманную страну. На самом же деле Грин делал это для того, чтобы не позволять читателю заползть в привычные ассоциации.

При чтении рассказов Грина маховик читательского воображения постепенно приходит в быстрое движение. Вращение его непрерывно стимулируется неожиданными сравнениями, широким и разнообразным набором тропов, заставляющих сознание непрерывно работать. Вот возглас прозвучал нелепо, «как апельсин в суп», — и нужно сопрягать летучее впечатление и конкретно-

бытовую картину; вот «слухи достигли такого размаха, приняли такие размеры и очертания, при каких исчезал уже самый смысл происшествия, подобно тому как гигантской, но бесформенной становится тень человека, вплотную подошедшего к фонарю», — и приходится учиться превращать отвлеченную мысль в подобие зримого символа².

Правомерен вопрос: так ли уж необходима игра воображения в эпоху точных наук и компьютеров, сознательной дисциплины, Госплана и механического прогнозирования? Не нарушит ли своевольное воображение согласного хода общественного развития?

Размышляя над этим вопросом, я вспомнил ныне малоизвестного русского философа Н. Ф. Федорова (1828—1903). Этот полунитицкий мыслитель, сын князя Гагарина и крепостной крестьянки, обладал безудержной фантазией. Он задумал, ни много ни мало, воскресить всех покойников, когда-либо живших на земле.

Среди статей и писем, определяющих контуры «философии общего дела» Н. Ф. Федорова, среди его проектов превращения земного шара в искусственный электромагнит для общения с иными мирами и изменения траектории планет по заданному плану можно найти и наброски, ставшие предметом серьезных поисков, например извлечение атмосферного электричества и регуляции метеорологических сил, чтобы «производить дождь и ведро по своему производству».

Как видно, самая сказочная фантазия, взлетающая к безумной цели, оставляет по пути следы плодотворных творческих идей. Развитое воображение — в наше время необходимое качество настоящего ученого, инженера, организатора производства.

Представим, что нам поручили запроектировать телевизионную башню высотой в полкилометра. У большинства в виде прототипа в первую очередь начнет маячить в уме Эйфелева башня или ее более совершенная копия в Токио.

² Некоторые рассказы Грина плохо редактировались автором, и блестящие ассоциации и сопоставления нередко перемежаются безвкусными, вычурными, надуманными сравнениями в духе маньеристов XVII века. Однако для писателей класса Грина такую критику следует выносить в примечания.

Так и было.

В качестве исходных вариантов обсуждались две громоздкие металлические конструкции. И вот внезапно было предложено иное решение: железобетонная конструкция с напряженной арматурой. Уже после того как это решение было одобрено и сооружена Останкинская башня, я узнал, что у автора предложения, инженера Н. В. Никитина, есть папка с надписью «Прожекты». Туда он складывал наброски идей, представлявших собой не более чем шалости технического воображения. Один из таких набросков и стал прообразом самого высокого сооружения в Москве и во всем мире. А тому, кто скептически относится к рассуждениям, начиненным словами «фантазия», «творчество», «воображение», напомним, что стоимость башни в результате предложения Н. Никитина была снижена почти вдвое.

Неверно полагать, что в воображении нуждаются только те, кто по роду своей работы обязан что-то «выдумывать». Всякий свободный труд есть труд творческий, принципиально новаторский, и слова В. Маяковского «ищи, выдумывай, пробуй» обращены ко всем. Все сказанное относится, если так можно выразиться, к материальному аспекту воображения.

Вернемся теперь к более важному — моральному аспекту.

Мы — свидетели рождения космической эры. Всем от мала до велика врезалась в память улыбка человека, который впервые от сотворения мира углубился в космос. За ним последовали другие герои, и среди них — ярославская девчонка, которую весь мир называет теперь Чайкой. Прошло несколько лет — и американские астронавты зашагали по Луне, а советский луноход по Луне поехал.

Еще не найдены достойные слова, способные дать хотя бы приблизительное представление о невероятной мобилизации воли и разума, потребных для выполнения космических программ, для выхода в черный, ледяной, бездонный космос, да и просто для того, чтобы дерзнуть лететь с сознанием, что глаза всего мира выжидающе устремлены на тебя: «А ну, поглядим, чего стоит советский человек».

А зимовки на Северном полюсе и испытания новых ракет-самолетов, гипотезы «кварков» и добровольные атомные ожоги, операции на сердце и поэмы о пирамидах и электростанциях и многое, многое другое было бы невозможно без способности чело-

века сосредоточить свои лучшие качества в один фокус.

Самые изощренные тренировки, самый авторитетный инструктаж, самые резкие угрозы бесплодны, когда человек в критических обстоятельствах теряет веру в свои творческие силы. Недаром Гёте любил библейскую притчу о Петре, который стал тонуть оттого, что поддался малодушию.

Знаменательно, что даже в те годы Гёте, кроме традиционной веры, упирал и на присутствие духа, как бы следуя мудрой половице: «На бога надейся, а сам не плошай». И глубоко религиозный Н. Федоров для исполнения своего безумного проекта уповал не на бога, а в первую очередь на совокупный гений человеческого общества.

Грин в своих сочинениях непрерывно пытается разбудить веру человека в себя, постоянно возбуждает симпатию к тем, кто в необычных ситуациях не полагается ни на бога, ни на черта, а надеется исключительно на свои человеческие ресурсы.

В «Бегущей по волнам» есть такой эпизод: увидев с борта корабля неприступный остров, Фрези непременно захотела побывать там. Офицер шутливо говорит девушке: «Вы так легки, что при желании могли бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног». Что же вы думаете? «Пусть будет по-вашему, сэр, — сказала она. — Я уже дала себе слово быть там и сдержу его или умру». И вот, прежде чем успели протянуть руку, вскочила она на поручни, задумалась, побледнела и всем махнула рукой. «Прощайте! — сказала Фрези. — Не знаю, что делается со мной, но отступить уже не могу». С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. Никто, даже ее отец, не мог сказать слова, так все были поражены. Она обернулась и, улыбнувшись, сказала: «Это не так трудно, как я думала».

Навязчивая вера в то, что человек обладает какой-то скрытой силой, которая способна преодолеть объективные законы, общеизвестна. В Индии в пещерах Эллора высечен барельеф «Полет». Он исполнен настолько искусно, что чувствуешь — изящно изогнутая фигурка человека действительно летит, и летит не вниз, а вверх, хотя она не снабжена ни крыльями, ни какими-либо другими летательными принадлежностями.

Много веков одна и та же мечта катится по одной и той же дороге.

Примерно через сорок лет после того, как Грин написал «Блещающий мир», поя-

вился рассказ Э. Ионеско «Воздушный пешеход», переделанный впоследствии в пьесу. В рассказе повторяется выдуманный Грином летающий человек. Удивительно повторяются там и мысли Грина.

«Может быть, нам лень помешала потеврять эту привычку, это ощущение полета,— рассуждает герой Э. Ионеско.— Если нам нужны специальные снаряды, чтобы летать, это неестественно. Обычно это называют прогрессом. Но разве прогресс — заставлять человека ходить на костылях? Вскоре, если мы будем неосторожны, мы забудем привычку ходить».

Оба произведения заканчиваются невесело.

Улетев за пределы нашего абсурдного мира и дальше, за пределы гипотетического антимира, герой Э. Ионеско обнаруживает только «пропасти, пропасти, пропасти...». И автор и герой отрицательно отвечают на предположение Камю о возможности морали «по ту сторону абсурда». Куда ни залети, не найдешь ничего, кроме бездонных пропастей.

Друд из «Блестящего мира», легкой птицей паривший над ночными городами, морями, скалами, в конце концов выбрасывается из окна и разбивается насмерть. Тупая, сплоченная взаимной ненавистью сила мещанства не терпит настоящего человека. Его затравили.

Но между рассказами Ионеско и Грина есть принципиальная разница.

Герой Ионеско — иллюстрация пессимистической мысли, и не больше. А Друд, и

Ассоль, и Фрези — символы духовного совершенства. И мы верим в них не только потому, что хотим, чтобы они были, но и потому, что наделенные их качествами люди существуют в действительности. Это великие мыслители, революционеры, писатели, скульпторы — словом, все те, описание жизни которых обозначается метафорой «горение».

Поэтому и трудно отнести А. Грина к ряду писателей-фантастов, несмотря на то, что количество невероятных выдумок в его сочинениях больше, чем у Эдгара По, Жюль Верна и Э. Гофмана, вместе взятых.

Грин верит, что творческое начало возьмет верх и убьет в любом человеке бациллы обывателя. Но он по опыту знал, что нести бремя совершенства — дело непростое, нелегкое. Придется распрощаться со спокойствием, безмятежным самодовольством. Совершенство требует постоянной мобилизации духовных сил, постоянного расходования нервной энергии. Это тот самый «ад сознания», от которого так измучился Галиен Марк, но к которому все-таки вернулся... Это состояние, которое дает право млекопитающему, стоящему на двух ногах, называться человеком.

В удивительные истории Грина веришь, потому что смутно чувствуешь скрытые запасы атомной энергии своей души.

«Я верю потому, что от этой истории хочется что-то сделать». Эти слова Дези из «Бегущей по волнам» годятся эпиграфом ко многим рассказам А. Грина.



ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Василий Шуншин. На одном дыхании.— **Л. Финк.** Беды и радости эксперимента.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Саушкин. Панорама страны.— **П. Чернасов.** За мир и безопасность в Европе.— **А. Калинин.** Два тома синонимов.

Литература и искусство

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

Андрей Скалон. Живые деньги. Повесть. «Наш современник», 1972, № 3.

Повесть ли это? Это скорее рассказ, и рассказ большой силы. Автор, когда закончил его, наверно, почувствовал эту силу, литую тяжесть и, подумав, написал — «повесть». Ну, повесть так повесть.

Еще потому «повесть», что этого, например, хватило бы на целый художественный фильм, но только если бы он был поставлен так же, как это произведение написано: на одном дыхании. Начни тут режиссер специально «выявлять характер» и «ставить акценты» — вещь умрет. То есть станет больше одной лентой про бяку браконьера — и только.

Впрочем, написать на одном дыхании ничего нельзя, тем более повесть. Надо возвращаться, переделывать, двигаться дальше — то легче, то труднее... Но вот повесть есть, и прочитывается залпом. И кажется, что она так и писалась — с разгона, а, наверное же, нет. То есть, думаю, что здесь мастерство, а не чудо.

Чем же «берет» повесть А. Скалона?

Она точно выстроена, хорошо написана и правдива. Автор начал «собирать» повесть словно бы по мелочам. Подробно-подробно рассказано, как покупаются со-

баки, какие это собаки, какого возраста, с каким характером... Попутно про собак вообще: «Кобельки против сук запаздывают на полгода-год в своем развитии». Я, грешным делом, подумал: «Опять про козу Ивановну!» Про собак, про волков, про коров, про коней... Соблазн большой, а умеет редко кто. Догадка насторожила, однако читать не расхотелось. Дальше — больше, включил на кухне малый свет, пролистал повесть до конца — сколько он тут наворочал, удастся ли соснуть до работы?

А повесть втянула в себя и уже не выпустила. И ведь не детектив, не страшная история... Мужик настроил соболей, а две собаки остались в тайге. И вот тут-то, когда все прочитано до конца, понимаешь, зачем автор так подробно описывал собачек на первых страницах. Он их, если можно так сказать, «очеловечивал».

Жили себе собаки среди людей, одна собиралась оцениться. Но вот хищная умелая рука человека вовлекла их в кровавую азартную охоту, пробудились древние инстинкты, откуда взялась сноровка, страсть, злость, сила. Сколько-то дней жизни, полной риска, трудов, отваги, самозабвения, — и конец: человек сделал свое

дело и предал их. Дальше им — смерть, которая достигнет их в образе такого же четвероногого, но чей род не переставал кормиться охотой и убийством. Вот где сказались пристрастие автора к подробности, к деталям — все это вдруг привело к большой горькой мысли: да за что же?! Да что уж такого драгоценного можно купить за эти проклятые деньги, которые он, человек, получит за соболей? А сколько жизней загублено! И как подло!

И тут невольно поворачиваешься к тому, кто «не самый худой человек на сибирских просторах, хоть, разумеется, далеко и не лучший», — к герою повести, к Арканю.

Появляется желание вдуматься в его судьбу и в назначение его в этой жизни. Арканя неглуп, опытен, выносив, идет на риск (такие удачливы!), и это должно вызывать к нему сочувствие и почти вызывает... но лишь до того момента, пока он не предал собак. Дальше — при всем своем опыте — он безобразен, мерзок.

Это очень строгий суд над человеком. И как точно автор ведет к тому, что за человеком встает черная тень его черного дела.

Можно легко увидеть — и это тоже заслуга автора, — как Арканя сидит в кабине вертолета, посматривает вниз и немножко жалеет собак. Сведены воедино, в один круг, разум человеческий, его необозримые возможности на земле (ружье, вертолет) и доверчивость собаки, ее привязанность к человеку... Круг распался — и вышла одна голая жестокость, немилосердность. Зачем же он тогда выдумывает и выдумывает все новые машины, зачем ему такие, почти неограниченные, возможности, если он всего-то-навсего — жесток! Нет, это не вообще о человеке и не последняя это заключительная мысль, но это тоже есть в человеке, и что же, это приветствовать, что ли? Этому и следует удивляться и ненавидеть. Не злой же увидел в другом злое, а добрый. Иначе бы и повести не было. Такой, по крайней мере.

Я думаю, если бы не возник в повести дед Аркани, такой же фартовый прохиндей, как и внук, и не наладилась бы, таким образом, этакая наследственность у Аркани, все было бы в повести не менее убедительным, а может быть, более. Дед, мне кажется, — от литературы, от заданности. Этот дед еще лишний раз, наверно, продиктовал слово «повесть». Все же это

рассказ, большой, умный, мастерски написанный. Он так сцеплен внутри себя, что всякое отступление в сторону «повести» вроде: «С деда началась охота» — не воспринимается как обязательное, хотя оно тоже интересно.

Еще два слова о построении повести. По закону «единого дыхания» она сделана или не по закону («жмет» меня в этом определении какая-то броскость, красивость), но что она строилась еще по закону совести, это так.

Не могу еще не порадоваться умелости автора в том, как он пишет. Вот Арканя проснулся после тяжелой выпивки, большой («с годами стал болеть на похмелье»). Пошел проведать купленную вчера собаку. «Собака оказалась сильно маленькой. Брюхо у нее было заметно отвисшее. Даже сильно отвисшее». Два раза «сильно» — раз за разом — это как-то качает короткие три фразы и бьет в одно место, как бьет колесо, смещенное с центра. Так тупо, толчками, болит похмельная голова, человека покачивает, а мысль возвращается и возвращается к чему-то случайному, нелепому. И этому же — ощущению похмелья — помогает такая вроде небрежность, несурзанность: «сильно маленькая». И уточнение: «...заметно отвисшее. Даже сильно отвисшее». Видно, как человек медленно ворочает головой, разглядывает собаку и медленно, с трудом соображает. А всего-то три короткие фразы!

А вот из народных запасов — подмечено, услышано, стало как вкопанное. Про деньги речь: «Не понесет же их такой солидный, самостоятельный мужик — с таким-то брюхом! — под зеркало! На месте расстреляет!»

А вот сравнение. О бесхозном богатстве тайги: «Любой бродяга — с договором, без договора — приходи, черпай до дна. Как Мамай». Здесь — и богатство и горькая мысль, что богатство это можно безнаказанно грабить. И грабят. Одно слово врвалось — и толкнуло чуждостью, вероломством. И как это слышно! Как понятно!

Это все живой язык. Такими неуловимыми подсказками, где работает интонация, отдаленный намек, автор освободил себя от прямого морализирования, этого «перевитка прошлого». И остался граждански ясным до конца.

Вольное повествование, живой, умный язык, некрикливая сама эта история — все обратилось цельностью.

Живет тайга, живет и действует — порою преступно действует — в ней человек. Композиция рассказа и есть сама эта жизнь, несколько дней, и только дед — от институтских учений, он ослабляет напряжение. Но все равно напряжение в повести большое. Она как пружина в руках:

держишь и чувствуешь ее скрученную энергию, отпусти — больно ударит. И бьет то в самое сердце, в самую нежную мякоть его.

С таким расчетом сделана.

Василий ШУКШИН.

★

БЕДЫ И РАДОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Михаил Колесников. Индустриальная баллада. Роман. «Знамя», 1972, №№ 4, 5.

О художественном исследовании характера и мировоззрения современного рабочего говорится много. Делается в этом отношении гораздо меньше. И предыдущую повесть М. Колесникова «Право выбора», посвященную именно этой задаче, критика встретила с понятной заинтересованностью. Попытка рассмотреть нравственные и психологические следствия научно-технической революции в условиях социализма, актуальность и новизна тематики в сочетании с глубиной авторского мышления придали этой повести некоторую даже событийность. М. Колесников, надо думать, имел все основания отправиться и дальше по им самим же проторенной дорожке. Сохранив верность материалу, а отчасти и стилиевой манере, он написал «Индустриальную балладу» — произведение, во многом продолжающее повесть «Право выбора», но в то же время совсем иное.

О новом романе М. Колесникова трудно писать, потому что прочесть его — дело нелегкое. Понимаешь, что писатель поставил перед собой задачу очень сложную и очень нужную, и это понимание, что называется, подстегивает тебя в чтении. Но в то же время чем дальше идешь в глубь романа, тем очевиднее становится, что на этот раз перед читателем только расчетливое решение поставленной задачи, а не свободное и естественное течение жизни...

В центре романа — Егор Тарабин, машинист шахтного подъемника. Егор во многом повторяет Владимира Прохорова из «Права выбора». Оба они рабочие по своему месту в производственном процессе и высокообразованные интеллигенты по масштабу и напряжению своей духовной жизни. В «Праве выбора» М. Колесников для объяснения такого сложного сплава нашел особую причину: Прохоров стал

рабочим, после того как три года проучился в университете на историческом факультете. Видимо, М. Колесникову впоследствии показалось, что подобная причинность носит чересчур личный, а в силу этого случайный характер (студент-историк, ставший сварщиком, и в самом деле фигура исключительная), Егор Тарабин такой «особенной биографии» лишен. Его высокие интеллектуальные запросы вырастают как бы непосредственно из рабочих будней, из производственных интересов: Егор увлечен эргономикой и психологией труда.

«Для Егора категории научно-технического прогресса давно перестали быть отвлеченными понятиями; он видел их осязаемыми и даже как бы осязал». Таков итог внутреннего развития героя. И это, естественно, не может не заинтересовать. Однако в романе ищешь не просто выводы, готовые результаты, важен путь к ним, важны не декларации, а поступки. Ждешь, что автор, справедливо отвергнув чисто случайные объяснения характера героя, раскроет в истории Егора Тарабина такую индивидуальную биографию, которая выразит сам типичный процесс формирования рабочего-интеллигента. Увы, М. Колесников в этом не преуспел, хотя, как явствует из романа, отлично понимает подобную необходимость.

Его герои умно и дельно рассуждают о многом, и особенно охотно об эстетике, об искусстве. Слушать их бывает интересно и даже поучительно. Так, например, Егор Тарабин увлекается не только эргономикой. Он еще пытается писать музыку, стремится «передать в звуках величие человеческого духа, грандиозность эпохи», «превратить социальную сущность в сущность музыки». А рьяная пропагандистка технической эстетики Римма Зимина, в которую Егор влюблен, мечтает о создании

«художественного образа, в котором отразилась бы творческая энергия и мощь нашего общества». И при этом справедливо судит о причинах, затрудняющих решение этой грандиозной задачи: «Почему человека труда иные художники чаще всего изображают в статике, преимущественно на отдыхе? Там, где исчезает движение, исчезают и сильные страсти. Там исчезает энергичный образ рабочего человека, его нравственное величие и духовное богатство».

Егор и Римма — единомышленники, с автором у них, видно по всему, разлада нет. Остается проверить, насколько сам М. Колесников следует своим столь определенно выраженным требованиям. К его чести, он не пытается искать легких путей. Да, производственная, трудовая жизнь — главная сфера его художественного исследования, пафос современного развития социалистической индустрии составляет основу помыслов и поступков его героев. В некоторых эпизодах романа есть такой накал «сильных страстей», такой подлинный эмоциональный заряд, что в самом деле «нравственное величие» рабочего человека проглядывает здесь и волнующе и убедительно.

Младший брат Тарабина Степан пошел на повышение — из бригадиров в горные мастера. Но передав бригаду своему ученику Лузгачеву, сердцем он остается в забое, продолжает жить интересами бригады, обдумывает новый способ ведения буровзрывных работ. И вот он вновь опускается в шахту, чтобы произвести эксперимент. Но вчерашний ученик и верный товарищ, «тот самый Димка Лузгачев, который не так давно на лету схватывал каждое его распоряжение, торопился выполнить раньше всех, теперь и выслушать не хочет»: «Ты меня, Степан Сергеевич, в это не втягивай. Не могу. Не имею права».

Так намечается одно из тех столкновений, которое с особой остротой помогает выявиться характерам. Интересен этот Лузгачев — он по-прежнему предан Степану и в ответ на его настойчивые притязания говорит сокрушенно: «Не томи... Ты мне душу на две половинки рвешь!» Но он умеет подавить свои личные симпатии во имя дела, ради разумного подхода к производственной задаче. И поэтому когда Степан кричит с горечью: «Эх ты, бюрократ... плохо я тебя воспитывал!» — случайный свидетель спора инженер Арефьев

спокойно констатирует: «Почему же? Хорошо воспитал...»

Так М. Колесникову порой удается увидеть борьбу характеров, вызванную именно производственными проблемами. В этих случаях его герои по-особому привлекают, ибо страстность в решении общественных дел — непрменная черта нашего нравственного идеала и во всяком проявлении энергии социального служения есть своя подлинная красота, есть поэзия. Это, видимо, и подсказало Колесникову название романа, это многообещающее «баллада».

Однако баллада — в современном понимании этого жанра — непременно требует серьезных событий, столкновений, поступков. И когда герои М. Колесникова отвечают этим жанровым требованиям, когда они герои в прямом, исходном значении слова, тогда повествование живет, развивается. Но, к сожалению, балладный строй слишком часто отступает перед очерком или даже беглой корреспондентской записью.

Кстати сказать, М. Колесников в конечном счете словно испугался ответственности за «балладу», словно уклонился от прямой ответственности за нее, — выясняется, что «Индустриальной балладой» назвала свою монументально-декоративную композицию скульптор Римма Зиминая. Она создала «своеобразную героическую легенду в картинах — от примитивного ручного труда шахтера с обнаженной спиной... до проходческих агрегатов... конвейерных штреков». Восторгаясь этим величественным произведением (автор все же не может не признать и определенную уязвимость чрезмерно обобщенного и поэтому неизбежно схематичного художественного мышления. «Все это устремлялось ввысь за некой экспонентой... Эскиз в целом воспринимался лишь как часть некоей временной бесконечности, как нечто вечно текущее». Не удивительно, что «Тарабин рассматривал рисунок с боязливой почтительностью». Такое искусство вряд ли в состоянии вызвать более естественные, более теплые движения души. Даже сама Римма испытывает неудовлетворенность холодновато-абстрактным характером своего творчества. По крайней мере, в ее собственные раздумья вторгается тревожный вопрос: «Вот перед тобой живой, конкретный человек, компрессорщик Самохин. Габочий, каких, наверное, в стране тысячи.

Чем он отличается от других, какова его индивидуальность, в чем его глубинная сущность? Присущи ли ему тонкие переживания, страдания или он всегда вот такой невозмутимый? Если бы взволновать его и наблюдать, наблюдать...»

Очевидно, монументалистка Зимина делает одно, а мечтает о другом. И хотя ей никак нельзя отказать ни в пронизательности, ни в самокритичности, разгадать Самохина ей все же не удалось, даже тогда, когда к художественному интересу прибавилась искренняя влюбленность. И думаешь: не разделяет ли в данном случае творческую судьбу Зиминной и откровенно сочувствующий ей автор романа?

М. Колесников пишет о людях смелой мысли, неутолимой жажды поиска. Инженер Арефьев ищет средства для усиления надежности машин, рабочий Егор Тарабин сочиняет планы технологического обновления всего рудника, его брат Степан предлагает новый способ взрывных работ, техник Зимина занята не только борьбой с силикозом, но и эстетическим усовершенствованием всей окружающей материальной среды. Короче говоря, все они выступают как пролагатели новых путей, все ищут, творят, экспериментируют. Бесспорно, М. Колесников рассказывает о важнейших переменах в жизни современного рабочего класса. Социологи убедительно показывают, что новые производственные задачи могут успешно решаться только людьми высокого образовательного уровня и активных умственных способностей. Внедрение автоматизации разрушает традиционный образ рабочего, отличный запечатленный когда-то в скульптурах Менье: крепкая спина, развитая мускулатура рук, могучие плечи и при этом тусклое, безразличное выражение лица. Теперь физический труд вовсе не единственное и даже не самое главное занятие рабочего человека. Процесс непрерывного технологического обновления предъявляет повышенные требования к его знаниям и мыслительным возможностям, вырабатывает умение схватывать общие связи, принципы и закономерности. Сегодняшний оператор или наладчик не может обойтись без развитого абстрактного мышления. Уходит в прошлое и такая особенность рабочего труда, как унылая повторяемость операций. Механическое однообразие уступает место творчеству, эксперименту. Все это Колесниковым отлично понято и неоднократно

но излагается в справедливых формулах и формулировках.

«...С автоматизацией производства творческая деятельность рабочего не сокращается, а, наоборот, в огромной степени возрастает... А если брать сугубо философскую сторону вопроса, то ведь творчество и составляет сущность человека — в общественно-историческом и в индивидуальном аспектах; любой человек индивидуализируется в силу творчества». Так рассуждает главный инженер Евгений Мангутов.

«...Творческое воображение — способ человеческого духа проникать в неизвестное. Специфическая сущность человека и состоит прежде всего в творчестве». «Научно-технический прогресс включает в себя только тех, кто в сегодняшней работе мыслит категориями завтрашнего дня». Эти размышления принадлежат инженеру Арефьеву.

«Мы должны творить новую жизнь — это и есть основное назначение рабочего класса». «...Со временем все профессии, требующие механистичности, стереотипности мышления, изживут себя. Останется человек-творец». Это цитаты из речей Егора Тарабина.

Нетрудно заметить, что во всех этих фразах есть не только единство мысли. Совпадает и публицистическая манера их изложения. Видишь, что за героями стоит сам автор, который старается сформулировать самую суть того нового жизненного явления, которое собрался подвергнуть художественному исследованию.

Путь в новые, неизведанные сферы жизни — всегда эксперимент, и в этом плане писатель оказывается в ряду своих героев, он тоже ищет и экспериментирует. Как показать новый тип рабочего человека? Как показать, что научно-технический прогресс в условиях социализма формирует совсем новую личность, которую отличает прежде всего высокоразвитый интеллект и душевное богатство? Инженер Арефьев утверждает: «Сейчас самое интересное — не факты жизни, а мысли, вызванные устремлениями прогресса». Чем внимательнее вчитываешься в роман, тем яснее понимаешь, что это творческая программа самого М. Колесникова. Он также, видимо, считает своей главной задачей воспроизведение мыслей, а не фактов жизни (хотя такое противопоставление слишком прямолинейно и вовсе не свойственно искусству).

И здесь необходимо оговорить одно обстоятельство. В философском романе XX столетия преобладает изображение духовных явлений. Познавая бытие человеческое (события, судьбы, характеры, бытовые реалии), философская романистика одновременно раскрывает и возникающие на почве этого бытия политические, философские и нравственные воззрения. Но при том — и это очень важно — в современном романе идеи не просто провозглашаются: они становятся страстью, пафосом существования героев романа, источником их необычайной жизненной энергии. И эти герои потрясают читателя тогда, когда убеждают в истинности или ложности идей своей судьбой.

К сожалению, в новом своем произведении М. Колесников не сумел «сплавить» мысли и факты, не сумел создать цельное, неразрывное художественное единство. Большинство страниц романа заполнено либо диалогами, либо внутренними монологами того рода, что превращают действующих лиц в резонеров (а как известно, это старинное театральное амплуа тем и примечательно, что даже его самые талантливые представители обычно оставляли равнодушным зрительный зал).

У героев-резонеров идея не становится чувством и потому, что разговаривают они каким-то удивительно книжным или, точнее, применительно к роману Колесникова, бюрократическим языком. В потоке отвлеченной лексики и сложных синтаксических конструкций редко услышишь разговорную интонацию, живое, безликое слово. Приведенные примеры — тому свидетельство. Все эти высказывания разных героев легко приписать одному лицу.

И тут от художественного несовершенства романа начинает взрываться его позитивное содержание.

М. Колесниковым заявлено, что научно-технический прогресс требует богатства личности, индивидуализации, развития неповторимых способностей каждого отдельного человека. А между тем герои «Индустриальной баллады» в своем большинстве неинтересны, малоотличимы друг от друга, не обладают ни емкостью характеров, ни содержательностью судеб.

Обиднее всего, что лишен и лица и поступков главный герой повествования Егор Тарабин. Попробуйте, например, «вживе» увидеть человека, о котором говорится так: «На крупном лице словно бы отра-

жался весь процесс управления сложнейшей и громоздкой подъемной установкой: оно то напрягалось до предела — и тогда на лбу вздувалась жила, а глаза суживались в полоску, то безвольно размягчалось, то кривилось в усмешке, то покрывалось потом, будто лаком». Невыразительность этого описания ничего не скажет даже читателю с самым богатым воображением. Не спасает дела и то, что М. Колесников иногда старается писать с какой-то неоправданной, взвинченной экспрессией. Так, услышав, что его брата Степана вместе с «начальником участка Трушиным решили призвать к порядку», «Егор, совершенно деморализованный, упал на стул».

Когда Егор голосует за то, чтобы лишить брата премии, он, кажется, совершает свой единственный в романе реальный поступок. Все остальное — страницы нескончаемых разговоров.

Особенно много и охотно герой беседует с Риммой Зиминной. Их отношения бесплотные, загадочно-бесцельные. «Егор и Римма никогда не заговаривали о любви, даже не делали попытки разобраться в том, почему их влечет друг к другу. Встречались — и все». И хотя они «встречались почти каждый день целых два месяца», по собственному определению Егора, они были заняты только тем, что «философствовали» и «говорили о возвышенном», так что у него «от этих высоких слов сладко кружилась голова».

В такое же нескончаемое словоговорение превращена и вся производственная жизнь Егора Тарабина. Он, по существу, не участвует ни в каких серьезных производственных событиях, те конфликтные линии, которые все-таки в романе намечены, в общем, проходят мимо него.

Неотчетливо и пунктирно написан образ главного инженера Мангутова. Здесь мы имеем дело опять же с попыткой создать характер без опоры на события, на конфликтные ситуации, на поступки. Правда, личные дела Мангутова выписаны более определенно. Немало страниц посвящено бывшей его жене Тамаре Толстых, расчетливой и лукавой карьеристке, пытающейся вновь подчинить Мангутова своему обаянию. Холодное спокойствие, с которым Мангутов встречает ее атаки, хорошо контрастирует с его юношеской влюбленностью в Римму Зиминну и свидетельствует о цель-

ности его натуры, о нравственном здоровье. Но, к сожалению, все эти качества не проверяются делами общественными и производственными. Точно так же и нравственная ущербность Тамары никак не сказывается на ее работе по внедрению промышленной кибернетики. Образ строится как бы на двух параллельных линиях. Впрочем, и такая структура имела бы смысл, если бы эти линии были одинаково отчетливо прочерчены. Однако здесь тушь в изображении женского коварства соседствует с бледным карандашным пунктиром, едва намечающим инженерные дела Тамары... И понимаешь: любовные перипетии мало помогают прояснению характеров в «Индустриальной балладе».

Знаменательно, что Павел Арефьев, наиболее значительный из всех героев романа, как раз оказался вовсе «не утепленным» никакими любовными треволнениями. Но зато именно в характере Арефьева мы можем увидеть то слияние преданности делу и личной страсти, которое составляет изначальное свойство нового человека. Он честолобив, стремится расширить масштабы своей работы, жаждет власти над большим делом, но именно потому, что рудник — это его любовь, его счастье, его жизнь. Павел Арефьев — человек высокого интеллекта, большого кругозора, подлинной увлеченности наукой. Естественно, что он тоже испытывает постоянное желание философствовать, рассуждать об отвлеченных проблемах жизни и искусства. Но у него во всем очевидная цель, и поэтому его «высокие слова» не сотрясают воздух, а работают.

Преданность Арефьева делу хорошо проверяется, когда по просьбе министерства он уговаривает молодого инженера Лебедева занять руководящее кресло главного инженера. Он еще не знает, куда суждено отправиться самому, он готов трудиться и рядовым, лишь бы не расставаться с рудником. «Его нравственный максимализм требовал от всех прежде всего уважения к делу, за которое взялся. Сам он всегда боялся потерять работу, какой бы она ни была. Твердо верил: самое дорогое у человека — его работа». Судьба Арефьева целиком подтверждает его веру, мысли и поступки оказываются едины, и благодаря этому у «Индустриальной баллады» обнаруживается свой подлинный герой.

Роман раскрывает сложные взаимоотношения Арефьева и его противника, министерского работника Белова. Люди разных склонностей, разных способностей, они противостоят друг другу, столкновения между ними естественны и даже необходимы, ибо строгая деловитость и насмешливый, даже едкий рационализм Белова слишком противоположны горячности, воодушевлению Арефьева. Со временем начинаешь сознавать, что за всем этим стоит все-таки единство цели, стремление прийти к одному результату. «Технократ» и «лидер», как они иронично именуют друг друга, оказываются союзниками, в их соперничестве выясняется главная мысль романа — неразрывная связь научно-технического и социального прогресса с многообразием путей развития личности.

Одни герои об этом только говорят, другие доказывают на деле. К сожалению, удельный вес «говорунов» чрезмерно велик, и это придает роману описательный и даже декларативный характер.

Работая над романом о людях творчества и эксперимента, М. Колесников и сам выступил в роли экспериментатора. Он захотел перевести в плоть образов представление о новых характерах, о новых чертах социалистической личности, формируемых активным участием в научно-техническом прогрессе. Думается, что писатель должен верно оценить итоги своего эксперимента: художественная незавершенность романа своей основной причиной имеет авторскую умозрительность. Слишком очевидно, что те пласты жизни, которые М. Колесников захотел изобразить, подвластны пока его разуму больше, чем страстям и эмоциям. Понимание намного опередило конкретно-чувственное восприятие нового в рабочей жизни. Говоря его собственными словами, писатель не овеществил предмет своей мысли, не всегда его видит, слышит, осязает.

М. Колесников, судя по всем его книгам, очень любит преданных делу, мужественных и настойчивых людей. В этом и хочется видеть залог того, что освоение важнейшей актуальной тематики он, несомненно, продолжит, учитывая и достижения повести «Право выбора», и просчеты «Индустриальной баллады».

Л. ФИНК.

Куйбышев.

Политика и наука

ПАНОРАМА СТРАНЫ

Советский Союз. Географическое описание в 22-х томах. М. «Мысль». 1967—1972.

В 1972 году, к пятидесятилетию образования Советского Союза, издательство «Мысль» завершило выпуск двадцатидвухтомной серии географического описания всех союзных республик нашей советской родины. Последним вышел том «Общий обзор», в котором дана суммарная характеристика природы, исторической географии, населения и экономической географии СССР.

К созданию этого многотомного труда привлечены были значительные научные силы (в том числе ученые из многих национальных республик, некоторые из них выступают и в качестве авторов или соавторов отдельных томов).

Хочется отметить и заслугу издательства: оно сумело не только «поднять», но и завершить за пятилетие с небольшим столь масштабное предприятие, не растягивая выход серии на долгие годы. Внушительным представляется и тираж издания — 80—90 тысяч экземпляров.

Коллектив советских географов, возглавляемый академиком С. В. Калесником, Э. М. Мурзаевым и Б. В. Юсовым, провел огромную работу большого научного, политического и культурного значения, показав и широкими мазками, и на отдельных характерных деталях новую географию всех союзных республик и экономических районов нашей великой страны. Сделано это в целом верно, добротнo, научно, достаточно просто и доступно для широкого круга читателей и с большой любовью к земле нашей, к нашему народу, своим трудом осваивающему и преобразующему эту землю.

Необходимость полного географического описания нашего отечества была осознана еще более семидесяти лет назад географами П. П. Семеновым-Тян-Шанским, его сыном В. П. Семеновым-Тян-Шанским и этнографом В. И. Ламанским. Они возглавили небольшой коллектив русских ученых и стали выпускать одну за другой книги единой серии под названием «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей». Издание это тоже было рассчитано на 22 тома. Кстати, предус-

матривался и том «Русские моря». В новой географической серии том «Моря Советского Союза», к сожалению, отсутствует.

Первый том «России» вышел в 1899 году. В нем описаны Московская промышленная область и Верхнее Поволжье. Мировая война 1914 года помешала завершению всего издания — вышла в свет только половина задуманных томов.

Не раз после Октябрьской революции возникала идея создания «советского Семенова-Тян-Шанского». Особенно энергично ставил вопрос об издании полного географического описания Советского Союза выдающийся наш экономико-географ Н. Н. Баранский, который вместе с природоведом А. А. Григорьевым, историком С. В. Бахрушиным и Н. П. Горбуновым начал в предвоенные годы работу по «Большой географии СССР». К сожалению, тогда эта попытка не удалась. Н. Баранский не отказался от своей идеи и после Великой Отечественной войны. В 1950 году он писал: «Со времени выхода 1 тома «России» Семеновых-Тян-Шанских прошло полвека... Несмотря на ряд неудачных попыток к изданию Большой географии СССР, я все же твердо убежден, что создавать заново «полное географическое описание нашего Отечества» нам все равно рано ли, поздно ли обязательно придется. Ибо не может такая великая страна, как наша, существовать без «полного географического описания».

Подобная же мысль занимала и некоторых советских писателей. К. Г. Паустовский в «Повести о лесах» напомнил о «России» Семеновых-Тян-Шанских, отметил, что это описание не потеряло своего значения, «хотя его трудолюбивые составители и отличались пристрастием к церковной старине, ярмаркам и помещичьим имениям», и подал мысль, что «пришло время выпустить такое же издание о Советском Союзе — ряд книг, где были бы описаны все области, края, все города, и старые и только что возникшие к жизни, все колхозы, села, новые железные дороги, плотины, электростанции, автострады, заводы, каналы, заповедники, огромные, созданные руками человека озера — каж-

дый уголок страны в его новом качестве, с новой историей, с новыми людьми, с новой, созданной после революции географией... Это не исключало бы, конечно, и описания старины, памятников искусства и всей прошлой истории этих мест... Для этой работы нужно было создать содружество писателей, художников и ученых».

И вот теперь идея наших замечательных географов и писателей материализована. 22 тома серии «Советский Союз» стоят на полках многих домашних библиотек, в том числе и библиотек учителей географии, инженеров, экономистов, журналистов, писателей, любителей путешествий.

Главная заслуга издания — что в нем удачно переплелись сведения о природе, истории, о жизни населения и данные экономической географии республик, краев, областей. В результате складывается достаточно целостное представление о всех их природных и экономических комплексах. Как правило, подробно охарактеризованы города, особенно большие. Отчетливо заметны становятся огромные достижения социалистического строительства. Новые промышленные районы и узлы, нефтепроводы, гигантские заводы, каналы, новые морские порты, железнодорожные магистрали, пересекающие тайгу, степи и пустыни — все это объединяет союзные республики, делает их богаче, поднимает в каждой из них уровень науки и культуры, способствует улучшению жизни народа. В томах «Советского Союза» достижения социалистического строительства по-

казаны обстоятельно, точно, на многих конкретных фактах, с помощью цифр, карт, схем, многочисленных фотографий.

Есть, однако, и несколько упреков авторам издания. Жаль, что не осуществилась мечта К. Г. Паустовского о привлечении к работе над полным географическим описанием нашей родины писателей и художников. Нет в авторском коллективе Н. Н. Михайлова и других литераторов, прекрасно знающих географию нашей страны или отдельных ее районов. И это сказалось в какой-то мере на качестве издания: многие разделы порою написаны скучно, невыразительно. Образный язык, столь важный для географических описаний, подчас уступает место штампам. Мало в издании и репродукций картин наших художников...

«Россия» Семеновых-Тянь-Шанских была и «дорожной книгой». Каждый из томов «Советского Союза» также призван в какой-то мере выполнять эту задачу, хотя книги новой серии, в общем, менее насыщены информацией пространственного характера, чем отдельные выпуски «России».

В целом, однако, наш читатель получил очень нужное издание к юбилейной дате образования СССР. Обширная географическая серия «Советский Союз» поможет каждому лучше узнать родную страну и многонациональную братскую семью советских народов, ее населяющих.

Ю. САУШКИН,

*профессор Московского университета,
доктор географических наук.*

★

ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЕВРОПЕ

Советская внешняя политика и европейская безопасность.
М. «Международные отношения». 1972. 254 стр.

Вторая половина 60-х — начало 70-х годов нашего столетия войдут в политическую историю Европы как время крутого поворота от длительного периода «холодной войны» к новой исторической фазе, особенность которой определил в одном из своих недавних выступлений Л. И. Брежнев, заметив, что «благодаря последовательной, активной внешней политике Советского Союза и всего социалистического содружества международный климат в Европе и в мире в целом значительно улучшился»¹.

Историки, несомненно, отдадут должное мирной инициативе нашей страны и других социалистических государств в этом благотворном повороте к общеевропейскому сотрудничеству. Примечательно в данной связи, что, по подсчетам западногерманского публициста Клауса Менерта, только за пять лет — с 1966 по 1970 год — страны Варшавского Договора вынесли на обсуждение других европейских правительств 19 конкретных предложений по обеспечению мира в Европе².

Долгие годы Запад отказывался серьезно

¹ «Правда», 6 июня 1972 года, стр. 1.

² «Osteuropa». 1970. № 10. s. 672.

подойти к предложениям Советского Союза по нормализации обстановки в Европе. Империалистические круги всеми способами пытались превратить стремление СССР к миру и сотрудничеству на этом континенте в бег с препятствиями. Однако искусственные преграды, создаваемые сторонниками международной напряженности, советская дипломатия сумела преодолеть. К началу 70-х годов империализм оказался перед дилеммой: либо обнаружить перед мировым общественным мнением свое нежелание оздоровить политический климат в Европе, или же начать общеевропейский диалог. Факты последних лет неопровержимо свидетельствуют: мирная инициатива социалистических стран, а также давление общественности привели к тому, что в политике ряда западноевропейских стран усиливается тенденция решать назревшие проблемы нашего континента путем переговоров.

Эта тенденция, по мнению авторов коллективного труда «Советская внешняя политика и европейская безопасность», имеет историческую перспективу, хотя и наталкивается на определенное противодействие реакционных кругов. Авторы книги указывают в этой связи на обновление самого политического облика Европы после второй мировой войны, что связано с ростом международного авторитета социалистических государств, повышением их роли в европейских делах.

Усиление позиций социализма на этом континенте показывает правящим кругам западноевропейских стран всю бесперспективность и опасность военной конфронтации с социалистическим содружеством. Политика «с позиций силы» теряет свое значение, а концепция коллективной безопасности в этом районе мира получает свое дальнейшее развитие, обретает реальные очертания.

Новый политический климат в Европе способствует делу взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Западом и Востоком, дальнейшему упрочению их торгово-экономических и научно-технических контактов. Оздоровление атмосферы на европейском континенте определенным образом соответствует и интересам деловых кругов капиталистических стран. Ведь это, несомненно, открывает перед западноевропейскими экспортерами выгодные рынки сбыта, а также облегчает им борьбу с заокеанскими конкурентами.

В условиях, когда многолетние дискуссии вокруг проблемы европейской безопасности приняли наконец деловой характер и ведутся на самом высоком уровне, появление книги, обобщающей богатый опыт борьбы СССР за обеспечение мира в Европе, очень своевременно.

Проблема европейской безопасности рассматривается авторами комплексно, во всех взаимосвязях — политических, экономических, научно-технических и культурных. Значительный интерес представляет глава о роли общественных сил в борьбе за мир и безопасность в Европе. Возрастающее значение их наглядно продемонстрировала брюссельская Ассамблея в июне 1972 года.

Стержневая тема исследования — борьба Советского Союза за безопасность в Европе на всех этапах его истории. Авторы справедливо указывают на то, что «с победой Октябрьской революции впервые на мировой арене появилось государство, которое противопоставило политике империалистических войн и колониальной эксплуатации политику демократического мира и защиты независимости народов. В системе международных отношений главной опорой мира стала Советская республика, вокруг которой начали объединяться все миролюбивые силы». Сжато, но скрупулезно в книге проанализированы все советские предложения по обеспечению мира в Европе, начиная с Генуэзской конференции 1922 года.

Однако главное внимание авторы сосредоточили на последнем этапе борьбы СССР за европейскую безопасность, начало которому положила Декларация об укреплении мира и безопасности в Европе, принятая государствами — членами Организации Варшавского Договора в июле 1966 года в Бухаресте.

Отличительная особенность нынешнего этапа борьбы за европейскую безопасность — расширение сотрудничества социалистических стран в деле разработки совместных конкретных предложений по обеспечению мира в Европе. Примером такого сотрудничества может служить Пражская декларация Политического консультативного комитета (январь 1972 года).

Принципы обеспечения мира в Европе, изложенные в ней, с полным основанием способны стать международно-правовой нормой европейской политической жизни. В самом деле, признание нерушимости гра-

ниц, отказ от применения силы для разрешения спорных проблем, внедрение в практику принципов мирного сосуществования между социалистическими и капиталистическими государствами, налаживание добрососедских отношений и сотрудничества, а также взаимовыгодных всесторонних связей, содействие решению проблемы разоружения и оказание поддержки ООН — это отвечает интересам всех европейских стран, способствуя вместе с тем упрочению мира на нашей планете.

Первым шагом на пути к превращению Европы в континент мира должно явиться общеевропейское совещание, предложенное социалистическими странами еще в 1966 году. Разве нормально, подчеркивается в книге, что за двадцать семь послевоенных лет представители европейских стран ни разу не собирались вместе, чтобы обсудить множество насущных проблем, накопившихся за эти годы?

В книге показана последовательная борьба СССР за скорейший созыв общеевропейского совещания и то, как менялось отношение некоторых капиталистических стран к этой идее.

В настоящий момент ни одна из заинтересованных стран не выступает против созыва совещания. Однако на Западе имеются силы, пытающиеся затормозить начало его работы, намеренно извращающие саму его идею. Основное возражение противников совещания сводится к провокационной в данном случае формуле «qui predest?», то есть «кому выгодно?». В самой идее такого совещания видят не что иное, как «угрозу Западу», как «бомбу», подложенную под фундамент «западной солидарности». Типичным примером подобного рода фальсификаций может служить заявление генерального секретаря Французской ассоциации друзей Атлантического сообщества генерала ж'Уссе. В одном из своих выступлений он заявил: «Складывается впечатление, что в действительности Советский Союз, добиваясь прежде всего признания статус-кво в Европе, старается главным образом усыпить бдительность западных стран, расколоть их, добиться роспуска НАТО и ухода американцев из Европы, чтобы в конечном итоге включить ее в «социалистическую» систему. Европейские государства, и в первую очередь Франция, — жертвы великолепно организованной мистификации...»³. По

этому заявлению нетрудно понять, что беспокоит «друзей Атлантического сообщества» — возможность ликвидации столь милой их сердцу блоковой структуры Европы, и прежде всего исчезновение НАТО. Между тем именно с ликвидацией блоков общественность европейских стран, многие правительства (кстати, и правительство Франции) связывают саму возможность установления прочного мира в Европе.

Провокационные разговоры об односторонних «выгодах», извлекаемых якобы Советским Союзом из общеевропейского совещания, направлены в конечном счете на срыв совещания, а также на дискредитацию политики тех кругов западных государств, которые отказались от старых догм «холодной войны», выступая за сотрудничество с социалистическими странами. Однако подобные попытки обречены на провал: создание прочного мира в Европе — объективно назревшая потребность. Необходимость ее осознают широкие слои европейской общественности и большинство правительств европейских стран.

В буржуазной печати можно нередко встретить заявления о том, что, дескать, нормализация положения в Европе после заключения договоров ФРГ с СССР и ПНР и урегулирования проблемы Западного Берлина уже произошла. Поэтому, мол, необходимость проведения общеевропейского совещания отпала. Как правило, за подобными разговорами скрывается все то же нежелание конституировать нормализацию, превратив ее в постоянный фактор, в норму политической жизни Европы. Более того, такого рода заявления прикрывают подчас затаенные надежды на изменчивость политического климата на нашем континенте, на возврат к «добрым» временам «холодной войны».

Совещание или серия совещаний поможет создать прочную, гарантированную систему коллективной безопасности в Европе. При этом, как справедливо подчеркивают авторы рецензируемой книги, систему европейской безопасности следует создавать «не путем каких-то искусственных комбинаций, а на основе действующих норм и положений современного международного права, закрепленных прежде всего в Уставе ООН и Потсдамском соглашении четырех великих держав — участниц антигитлеровской коалиции».

Нормализация положения в Европе идет

³ «Le Figaro», 6 mars 1972.

столь быстрыми темпами, что книга, выпущенная издательством менее чем за год с момента ее написания, успела в известной мере «устареть». Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева во Францию в октябре 1971 года и принятые в итоге его советско-французские документы, Пражская декларация Политического консультативного комитета стран — участниц Варшавского Договора (январь 1972 года), ратификация советско-западногерманского и польско-западногерманского договоров в бундестаге ФРГ (май 1972 года), окончательное урегулирование проблемы Западного Берлина (июнь 1972 года), брюссельская Ассамблея общественных сил за европейскую безопасность (июнь

1972 года) — таков далеко не полный перечень важнейших событий, происшедших за время подготовки книги к печати.

Но такова уж «судьба» политической литературы на наиболее животрепещущие темы. Ни одна книга не может претендовать на полный охват самых последних событий и фактов. Тем значительнее заслуга авторов рецензируемой работы. Они не поддались соблазну подождать, пока все утрясется, устоит и приобретет больше исторический интерес, но взяли на себя определенную смелость, подготовив в разгар острых политических дискуссий книгу, потребность в которой давно ощущалась.

П. ЧЕРКАСОВ,
кандидат исторических наук.

★

ДВА ТОМА СИНОНИМОВ

Словарь синонимов русского языка. В двух томах. Главный редактор — А. П. Евгеньева. Л. «Наука», 1970—1971.

Богатство языка — сложное, многогранное понятие.

Богатый язык — это язык с гибкой грамматикой, с разветвленной системой стилей, язык разнообразных возможностей интонации. Его лексика определяется не только общим количеством слов, но и многообразием синонимов — слов, имеющих одинаковое или очень близкое значение. Синонимы дают возможность передавать тонкие оттенки смысла, различные стилистические нюансы. В сущности, вся лексическая часть столь бурно развивающейся сейчас стилистики русского языка — это учение о синонимах. Вот почему в последние годы печатается так много статей, заметок, исследований, посвященных синонимам.

Традиция издания словарей синонимов в России восходит еще к XVIII веку. В 1783 году был напечатан «Опыт российского словownika» Д. И. Фонвизина, в 1818 году — небольшой словарь П. Ф. Калайдовича, в 1840 году — первая часть словаря под редакцией А. И. Галича. В течение XIX века публикуется ряд статей о синонимах, об отдельных синонимических группах (рядах). В 1900 году выходит «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. Абрамова.

Все эти словари давно стали библиографической редкостью, как и изданный дважды, в 1930 и 1931 годах, «Учебный словарь синонимов русского литературного языка» В. Д.

Павлова-Шишкина и П. А. Стефановского.

Велика тяга читателей к словарям синонимов. Словарь Н. Абрамова за пятнадцать лет выдержал четыре издания. Давно нет в продаже «Краткого словаря синонимов русского языка» В. Н. Ключевой (первое издание — 1956 года, второе, значительно расширенное и дополненное, — 1961 года). Тремя стереотипными изданиями в 1968—1971 годах вышел последний по времени перед рецензируемым «Словарь синонимов русского языка» З. Е. Александровой. Пожалуй, ни один тип лингвистического справочника не расходуется так быстро, не спрашивается в книжных магазинах так активно.

«Словарь синонимов русского языка», составленный коллективом авторов под общим руководством доктора филологических наук А. П. Евгеньевой, содержит более четырех тысяч словарных статей, каждая из которых посвящена отдельному синонимическому ряду, то есть группе слов с общим или очень близким лексическим значением. По полноте охвата лексики с рецензируемым словарем может соперничать только словарь З. Александровой, в котором около девяти тысяч рядов. Но словарь З. Александровой — это словарь-перечень. Он дает только перечисление слов и их минимальную стилистическую характеристику (разг. — разговорное, прост. — просторечное, уст. — устаревшее и т. п.). Смысловые различия между словами не объясняются, при-

меров употребления синонимов в тексте «Словарь синонимов русского языка» З. Александровой не приводит.

Словарь под редакцией А. Евгеньевой — наиболее универсальный из всех русских синонимических словарей. Кроме кратких стилистических помет, словарная статья содержит объяснение смысловых отличий каждого слова, особенностей сочетаемости с другими словами, иногда частоты употребления. Далее идут разнообразные примеры употребления слов-синонимов, взятые из классической и современной русской литературы.

Самого горячего одобрения заслуживает именно эта особенность словаря: наличие в большинстве словарных статей многочисленных примеров, литературных цитат, иллюстрирующих смысловые, стилистические и иные различия между синонимами ряда. Нельзя сказать, что включение в словарную статью иллюстраций — нечто принципиально новое в практике русских синонимических словарей. Но ни один из предшествующих словарей не был так богат и убедителен в этом отношении. Так, словарь В. Ключевой иллюстрирует примерами каждое слово синонимического ряда. Однако иллюстраций немного и они далеко не всегда раскрывают различия между словами группы.

Большинство примеров в «Словаре синонимов русского языка» под редакцией А. Евгеньевой вполне соответствует своей функции, убедительно показывая как близость, сходство (то есть синонимичность в строгом смысле этого слова), так и то, чем отличаются друг от друга слова одного ряда.

Как лексиколог, я хорошо представляю, насколько трудно выразительно иллюстрировать словарные статьи, сколь нелегко (даже при наличии богатейшей картотеки Института русского языка АН СССР, использованной составителями словаря) находить и группировать нужные примеры.

Особенно важно было подыскать цитаты, в которых на протяжении короткого «куска» одного текста синонимы «сталкиваются», сопоставляются автором. При этом наиболее четко выявляются различия (смысловые, стилистические и иные) между словами одной группы. «Отец, которого в те годы я, конечно, называл папой, пьет, играет в карты» (Ю. Олеша). «Генерал давно уже мирно почила в аа, спали и все его домашние» (А. Степанов). «А я другую ночь почти не сплю и людям не даю

спать: неравно придет, а мы все дрыхнем — хорошо будет!» (И. Гончаров). «Она поздоровалась с Алешей злорадно-вызывающе: — Привет! — Здравствуй,— ответил он просто» (В. Панова).

Удачно подобранные примеры зачастую лучше объясняют все богатство смысловых оттенков в группе синонимов, чем самые подробные толкования. Цитаты, взятые из разных периодов истории русского литературного языка, дают возможность увидеть жизнь синонимического ряда на протяжении полутора столетий — от Пушкина до наших дней. Возникают новые нюансы различий между синонимами, в ряд включаются новые слова, и все это можно проследить в пределах одной словарной статьи.

Как всегда, когда долго ждешь чего-то и это что-то наконец сбывается, приходит, испытываешь радость, но и некоторое разочарование. Большой, удовлетворяющий вкусам и потребностям самых разных читателей, «Словарь синонимов русского языка» не свободен от недостатков, многие из которых, очевидно, объясняются трудностями, вряд ли преодолимыми даже при многолетней работе большого коллектива.

Хотелось бы видеть словник словаря более полным. Авторы как будто пренебрегают «бедными», небольшими рядами. В словаре нет статей, посвященных рядам: телевизор — телек — голубой экран; официант — половой — «человек» (сюда же, может быть, гарсон — кельнер); провинция — периферия; помидоры — томаты и др.

Видимо, современным словарям не обойтись без привлечения газетных примеров. Между тем из всех послевоенных словарей только словарь-справочник «Новые слова и значения» активно вовлекает газетную лексику. Рецензируемый словарь этого не делает, что, в частности, не дает возможности отразить многие перифразы: реки — голубые артерии, вода — белый уголь, хлопок — белое золото, лен — северный шелк и др. Газетные тексты помогли бы создать новые ряды: матч — игра — состязание — поединок — встреча, черты — грани и др. Материалы прессы позволили бы точнее характеризовать некоторые слова: вояж по словарю — шутовское, ироническое, но в современной газетной речи чаще всего резко осуждающее слово: «Свой вояж в Москву он пытается преподнести суду как безобидное путешествие» («Комсомольская правда», 27 августа 1971 года).

Словарь синонимов повторяет некоторые ошибки толковых словарей. Так, в статье «Ровесник — сверстник — одноклассник — однолеток» утверждается, что ровесник и сверстник — синонимы, что оба эти слова имеют значение «человек одинакового с кем-л. возраста». Но для современного русского языка это не так. У И. Бунина в его автобиографических заметках: «Я рос без сверстников, в юности их тоже не имел, да и не мог иметь: прохождения обычных путей юности — гимназии, университета — мне было не дано». Газетный пример: «Думаю, в том-то и суть, что, ничем особенно не выделяясь из круга сверстников, он, как и его боевые друзья, впитал все лучшие приметы своего поколения» («Правда», 14 апреля 1972 года). Не ясно ли, что сверстники — это не ровесники (вернее, необязательно ровесники), а люди одного поколения, одной среды, вместе проводящие время и т. п.? Да и один из примеров в словаре говорит об этом: «Климку казалось, что она считает себя старше сверстников своих лет на десять» (М. Горький).

Нередки в словаре случаи, когда разница между синонимами не объясняется. Тем самым как бы признается, что слова эти — абсолютные синонимы, что между ними нет никаких различий — ни смысловых, ни стилистических и т. п. Так, не указана разница между словами совестно и стыдно; доминировать и превалять; стеречь, сторожить и караулить и многое другое. Различия между синонимами правда и истина составители видят лишь в том, что второе слово употребляется реже, хотя дело здесь, конечно, не только в этом.

Василий Нарезный в романе «Два Ивана» (1825), вводя одним из первых в литературную речь слово базар, поясняет его более употребительным в то время словом рынок. В словаре эти слова ошибочно рассматриваются как абсолютные синонимы.

Некоторые примеры, отсутствующие в словаре, прямо просятся в словарные статьи. Как уместно было бы в статье «Лошадь — конь» замечание Маяковского: «Поэт Фет сорок шесть раз упомянул в своих стихах слово «конь» и ни разу не заметил, что вокруг него бегают и лошади.

Конь — изысканно, лошадь — буднично». (Любопытно, что в словаре приведены строчки Фета, в которых едва ли не единоразды во всем его творчестве встречается слово «лошадь».) Убедительна была бы цитата из книги В. Шкловского «Лев Толстой» в статье «Богатый — состоятельный — обеспеченный...»: «Это была молодая, темноволосая соседка по имени, сирота, жившая в Судакове, состоятельная, но не богатая». По-новому «заиграли» бы синонимы: отец — родитель, освещенные интересным примером из «Шерамура» Лескова: «У меня отца не было — только родитель. — Какая же тут разница? — Отец жалеет, а родитель — родит и бросит».

Одно замечание по поводу терминологии. Во «Введении» подчеркивается, что для словаря отбиралась литературная лексика, лексика русского литературного языка. Следовало бы в таком случае как-то оговорить широкое включение в словарь слов просторечных (в том числе и грубопросторечных). В словаре есть и рожь, и морда, и рыло, и шляться, и шлендаль, и звездануть, и обалдуй, и окачуриться, и сзолочь, и спереть, и сыграть в ящик. Дело не в том, что подобные слова неуместны в таком словаре, но если авторы считают их литературными только потому, что они встречаются в литературе, почему бы не допустить в словарь и жаргонную лексику?

Возможны, видимо, и другие типы синонимических словарей. Люди пишущие и редактирующие нуждаются, в частности, в словаре-справочнике, который являлся бы надежным подспорьем в их работе, помогая им быстро подбирать и классифицировать синонимы. Такие словари должны быть, вероятно, чем-то вроде «синонимического Ожегова». Они представляются мне более компактными, с более простой композицией словарных статей-справок и т. д.

Выход в свет двухтомного «Словаря синонимов» принесет несомненную пользу многим читателям. Однако и тот вид словаря-справочника, о котором только что шла речь, тем не менее нужен. И хочется надеяться, что такой словарь появится.

А. КАЛИНИН,

кандидат филологических наук.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

С. СМОЛЯНИЦКИЙ. Торопись с ответом. Повести и рассказы. «Советская Россия». М. 1971. 112 стр.

Не читайте тоненьких книжек, если писатель имеет что сказать, он пишет толстые книги... Я вспомнил этот совет, высказанный кем-то, кажется, еще в прошлом веке, вспомнил, взявши в руки тоненькую книжечку С. Смоляницкого «Торопись с ответом». А прочитав, подумал: сколько времени протекло с тех пор, сколько советов, правил и даже законов ниспровергнуто в новом веке. Ниспровергнуто и этот довольно-таки неумный совет. Он и всегда был неверен, а тем более нынче, когда некоторые читатели с опаскою стали поглядывать на толстые, пухлые книги. И они, эти читатели, не всегда не правы. Нам, людям, нынче некогда, мы торопимся. Говори покояче, я пойму тебя с полуслова. Ближе к делу, ближе к сути. А проблемы-то человеческие по-прежнему сохраняют всю свою остроту и, возможно, даже обострились с уплотнением времени. И поэтому — торопись с ответом! С ответом на те вопросы, которые ставит перед тобой жизнь.

Рассказы и короткие повести С. Смоляницкого остры и современны. Современен их материал, современна их проблематика, их повествовательный стиль — экономный и энергичный, эмоционально-напряженный. Автор стремится говорить с читателем по существу, без полунамеков, полутонов, недосказанностей, без объективистской позы: вот-де жизнь, а ты, читатель, сам разберишься что к чему. Нет, он останавливает внимание на острых жизненных ситуациях и заставляет читателя задумываться, недвусмысленно отвечать на поставленные вопросы.

Честный и справедливый человек Валентин со своим другом Севой, также замечательным парнем, находятся в геологической партии, у них срочное и трудное задание, а сестра Валентина и невеста Севы (свадьба должна состояться по возвращении Севы), также честная и справедливая девушка Майя, влюбляется в журналиста Юру и понимает, что ее судьба — Юра, а не Сева. Мать ошеломлена, вернувшийся Валентин считает поступок сестры предательством (тем более что Севина группа попала в рискованное положение). Севе трудно, ему

требуется помощь, но его ждет предательство любимой девушки. Все это понимает Майя, ей нелегко принять решение, трудно и читателю. Что должно победить? Голос сердца или голос разума? Требование долга или требование сердца (повесть «Дойти до горизонта»)? Простой, бесхитростный человек, работяга-шофер, завербовался на три года на Север. Честно отработал и взял расчет, хотя дело не завершено и начальник мехколонны был обижен: «Круто повернулся — аж скрипнул снег — и пошел от него...» Но ведь Николай сделал все как надо: отработал положенное и лишь тогда уехал. Его ждет семья — жена и сынишка. И в дороге и дома Николай все мается, перебирает подробности последнего разговора с начальником мехколонны, все оправдывается перед самим собой. Вроде все правильно, все по закону, а совесть не дает ему покоя. А тут еще домашние (сын уже подросток, понимать стал) показывают ему вырезку из газеты, где описан трудовой подвиг Николая. Это подливает масла в огонь. Мучается человек, хотя и не совершил никакого проступка (рассказ «Один день после приезда»).

Еще более сложный конфликт лежит в основе заглавной повести «Торопись с ответом» — о двух молодых ученых, о выборе ими пути в науке. Я не буду пересказывать содержание повести: пересказывая, из живого движения сюжета невольно выхватываешь факты и грубо упрощаешь ситуации. В книге же все это выступает в формах самой жизни, с житейскими подробностями, с точным описанием психологического состояния героев.

Острота в постановке моральных вопросов, отличающая рассказы и повести С. Смоляницкого, как бы подсказывает читателю: если случайно закралась в тебя душевная червоточина, если ты поставлен перед выбором между добром и злом, если жизнь требует от тебя ответа да или нет, не запускай болезнь, не растлевай себя малодушными колебаниями, не тяни время в надежде на то, что кто-то решит за тебя, а ты благополучно отсидишься в своем уютном уголке, — торопись с ответом!

Василий Росляков.

★

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПРОПАГАНДА. Составители В. Н. Колбановский и Ю. А. Шеркович. М. Политиздат. 1971. 182 стр.

Коллективный сборник «Проблемы социальной психологии и пропаганда» затрагивает широкий круг вопросов, связанных с воздействием различных средств массовой информации на население. Одна из наиболее интересных и актуальных проблем, поставленных в нем,— проблема стереотипов.

О стереотипах много писали у нас и за рубежом. После появления в 1922 году книги американца Уолтера Липпмана «Общественное мнение», в которой рассматривалась теория стереотипизации, западные специалисты по вопросам пропаганды стали уделять ей значительное внимание в своих исследованиях. У нас эта теория подверглась резкой и справедливой критике.

Путано толковали проблему и некоторые наши авторы. Признавая существование общепсихологической стереотипизации, описание которой можно найти в любом учебнике психологии, они тем не менее отрицали объективность существования социальной аналогии этого процесса, ошибочно рассматривая ее лишь как «изобретенный» империалистической пропагандой метод навязывания человеческого сознанию стандартизованных, примитивных и обязательно ложных образов, а не как реально существующий в общественной психологии процесс.

Немецкий марксист Ганс Бэйер справедливо отмечал, что буржуазная пропаганда опирается «как на ненаучную по своей сути империалистическую массовую психологию, так и на научные выводы и данные психологии». Ошибка некоторых наших психосоциологов вызвана недооценкой двойственного характера этого явления.

В последнее время такой ненаучный подход к проблеме был подвергнут справедливой критике некоторыми советскими исследователями, в том числе и В. Артемовым в его статье «Объективная природа стереотипов и их использование империалистической пропагандой», опубликованной в настоящем сборнике. «Стереотипы не выдумка классового врага, а реальный атрибут человеческой психологии»,— как бы подводит итог дискуссии автор. Любой человек мыслит обобщенными (то есть стереотипными) образами, которые постепенно, кир-

пичик за кирпичиком, конструируются в нашем сознании на основе жизненного опыта.

Стереотипы в данном случае — не языковые штампы, трафареты, с которыми воюют литераторы. Когда, например, мы думаем о тигре, у нас сразу же возникает эмоциональный образ хищного, свирепого зверя. Даже если мы никогда в жизни его не видели, а знаем о нем лишь по книгам и кинофильмам. Это стереотип, однако не социальный, а общепсихологический.

«Западный образ жизни», «народный капитализм», «общество изобилия» — вот лишь некоторые примеры социально-психологических стереотипов, которые формируются буржуазной пропагандой в сознании масс. Стереотипы, считает В. Артемов, — это объективно существующие в сознании людей устойчивые, эмоционально окрашенные образы каких-либо явлений общественной жизни, своего рода «аккумулированные сгустки предшествующего опыта», которые определяют наше отношение к тем или иным событиям. «Не обладая, в частности, даром обобщения, стереотипизации», — пишет он, — человек не мог бы ориентироваться в непрерывно нарастающем стремительном потоке все больше усложняющейся и все глубже дифференцирующейся информации».

Указывая, что теория У. Липпмана, несмотря на реакционность ее выводов, базируется на определенных объективных закономерностях человеческого мышления, В. Артемов, в частности, отмечает: «все дело в том, в чьих интересах эти закономерности истолковываются и используются».

Спор о природе стереотипов отнюдь не схоластичен. Без выяснения той роли, которую они играют в пропаганде, невозможно раскрыть сложный механизм манипулирования массами в буржуазном обществе.

Знание социально-психологических принципов воздействия средств массовой информации дает в руки советским пропагандистам могучее оружие. Задача психосоциологов — раскрыть их, так как использование объективных законов стереотипизации способствует эффективности пропаганды в условиях социализма. Этой цели служит и впервые вышедший в нашей стране сборник, посвященный взаимосвязи социальной психологии и пропаганды.

М. Кранс.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

А. Гусаров и В. Радаев. Беседы по научно-технической революции. 224 стр. Цена 34 к.

Е. Кригер. Свидание с юностью. 144 стр. Цена 23 к.

Критика буржуазной историографии советского общества. 412 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Лихолат и Д. Чугаев. Великое единение. 136 стр. Цена 18 к.

А. Миноян. Советскому Союзу пятьдесят лет. 72 стр. Цена 9 к.

Фридрих Энгельс. Биография. Перевод с немецкого. 576 стр. Цена 1 р. 71 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Бабель. Воспоминания современников. 375 стр. Цена 80 к.

Е. Евтушенко. Поющая дамба. Стихи и поэма. 176 стр. Цена 80 к.

В. Каверин. Перед зеркалом. Роман в письмах. 350 стр. Цена 65 к.

В. Пансо. Удивительный человек. Книга путешествий. Перевод с эстонского. 270 стр. Цена 51 к.

В. Полторацкий. Знакомые родники. Рассказы и повести. 510 стр. Цена 90 к.

И. Сельвинский. Избранные произведения. Составление И. Михайловой. Вступительная статья З. Кедринной. («Библиотека поэта») 958 стр. Цена 4 р. 14 к.

Л. Серпилин. Березовый гомон. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 288 стр. Цена 60 к.

Л. Темин. Дом. Книга стихов. 96 стр. Цена 26 к.

С. Тока. Слово арата. Роман. В 3-х книгах. Перевод с тувинского. 480 стр. Цена 87 к.

В. Хомченко. Красные волны. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. 262 стр. Цена 53 к.

А. Чивилихин. Земля в пути. Избранные стихи. Предисловие В. Шефнера. 158 стр. Цена 60 к.

Ю. Шовкопляс. Инженеры. Роман. Перевод с украинского. 432 стр. Цена 80 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Гильен. Третья молодость. Стихи. Перевод с испанского. 222 стр. Цена 1 р.

С. Малашкин. Девушки. Роман, повесть, рассказы. 544 стр. Цена 1 р. 16 к.

И. Мележ. Люди на болоте. Дыхание грозы. Романы из полесской хроники. Перевод с белорусского. 671 стр. Цена 1 р. 66 к.

Поэты пушкинской поры. Антология. Составление и вступительная статья Н. Л. Степанова. 573 стр. Цена 1 р. 13 к.

А. Прокофьев. Избранное. В 2-х томах. Вступительная статья В. Соловьева. Т. I. 170 стр. Цена 1 р. 82 к. Т. II. 566 стр. Цена 1 р. 94 к.

Русская поэзия XVIII века. Вступительная статья и составление Г. Макогоненко. («Библиотека всемирной литературы») 734 стр. Цена 2 р. 1 к.

Саади. Избранное. Перевод с фарси. Составитель И. Брагинский. 159 стр. Цена 1 р.

Д. Самойлов. Равноденствие. Стихотворения и поэмы. 287 стр. Цена 74 к.

В. Смирнов. Открытие мира. Роман. В 3-х книгах. Кн. 1 и 2. 695 стр. Цена 1 р. 40 к. Кн. 3. 488 стр. Цена 1 р. 3 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Молодые поэты Венгрии. Перевод с венгерского. Составитель И. Комош. 151 стр. Цена 59 к.

Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». Т. 8. 367 стр. Цена 1 р. 28 к.

А. Сахнин. Вот что произошло. Очерки и рассказы. Предисловие Р. Рождественского. 303 стр. Цена 68 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Е. Баратынский. Стихотворения. Избранная лирика. Предисловие С. Бонди. 207 стр. Цена 30 к.

А. Барто. Младший брат. Стихи. 24 стр. Цена 24 к.

С. Баруздин. Тринадцать лет. Повести и рассказы. 270 стр. Цена 75 к.

И. Горький. Пьесы. Вступительная статья и послесловие Б. Бялика. 320 стр. Цена 76 к.

М. Ефетов. Граната в ушанке. Последний снаряд. Повести. 287 стр. Цена 59 к.

С. Михалков. Разговор с сыном. Были для детей. 63 стр. Цена 84 к.

М. Прилежаева. Юность Маши Строговой. Повесть. 238 стр. Цена 55 к.

В. Стороженко. Главная задача. Новая пятилетка. Что принесет она людям («Рассказы о девятой пятилетке»). 40 стр. Цена 24 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Д. Голубнов. Белый свет. Рассказы. 88 стр. Цена 17 к.

И. Григорьев. Отзовись, Веснянка. Лирика и поэма. 141 стр. Цена 36 к.

И. Кашпуров. Певучие травы. Стихи и поэмы. 110 стр. Цена 36 к.

В. Кожевников. Годы огневые. Сборник. 541 стр. Цена 1 р. 7 к.

З. Мансур. Лейсан—весенний дождь. Стихи. Перевод с татарского А. Никифорова. 77 стр. Цена 21 к.

С. Самсонов. Люблю тебя. Повесть. Перевод с удмуртского. 87 стр. Цена 16 к.

М. Федотовских. Сиянье. Стихи. Предисловие Н. Тихонова. 95 стр. Цена 22 к.

В. Цыбин. Сергей Васильев. 125 стр. Цена 16 к.

«СОВРЕМЕННОК»

А. Толстой. Хождение по мукам. Трилогия. Сестры.— Восемнадцатый год. 624 стр. Цена 1 р. 45 к. Хмурое утро. 398 стр. Цена 1 р. 8 к.

Ю. Шесталов. Когда качало меня солнце. Повесть. Перевод с манси. 238 стр. Цена 43 к.

ВОЕНИЗДАТ

Н. Калущий. Заветные зори. Воспоминания. 157 стр. Цена 23 к.

В. Самойленко. Дружба народов — источник могущества Советских Вооруженных Сил. 176 стр. Цена 42 к.

«ИСКУССТВО»

К. Буачидзе. Только комедии. Перевод с грузинского автора. Предисловие Ю. Грачевского. 472 стр. Цена 1 р. 34 к.

П. Гоген. Письма Ноа Ноа. — Из книги «Прежде и потом». Перевод с французского Составление, вступительная статья А. Кантор-Гуковской. 255 стр. Цена 2 р. 63 к.

В. Лазарев. Старые итальянские мастера. 651 стр. Цена 8 р. 89 к.

Н. Лордипанидзе. Донатас Баннионис. («Мастера советского кино»). 160 стр. Цена 69 к.

Е. Полякова. Станиславский-актер. 430 стр. Цена 2 р. 34 к.

Б. Полюровский. Рассказы о том, как становятся кукольниками. 56 стр. Цена 24 к.

«ПРОГРЕСС»

Э. Базен. Супружеская жизнь. Роман. Перевод с французского. 348 стр. Цена 99 к.

В. Кубацкий. Грустная Венеция. Повесть. Перевод с польского. 176 стр. Цена 46 к.

Э. Лабарна. Вторжение в Чили. Репортаж об иностранном вмешательстве. Перевод с испанского. 328 стр. Цена 94 к.

Д. Манлэйн. Внешняя политика Англии после Суэца. Перевод с английского. 459 стр. Цена 1 р. 98 к.

Г. Мюрдаль. Современные проблемы «третьего мира». Сокращенный перевод с английского. 768 стр. Цена 4 р. 5 к.

«МЫСЛЬ»

И. Волнов. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы. Колхозы СССР в 1946—1950 гг. 293 стр. Цена 1 р. 32 к.

Г. В. Ф. Гегель. Наука логики. В 3-х томах. Том 3. 371 стр. Цена 1 р. 53 к.

Н. Лебедев. Пестель — идеолог и руководитель декабристов. 343 стр. Цена 1 р. 42 к.

Проблемы коммунистического движения. 415 стр. Цена 1 р. 51 к.

США: преступность и политика. 388 стр. Цена 1 р. 51 к.

А. Янушина. Ленин и зарубежная организация РСДРП. 1905—1917. 399 стр. Цена 1 р. 19 к.

«НАУКА»

Аварские народные сказки. Составление и перевод с аварского Д. Атаева. 176 стр. Цена 50 к.

И. Брагинский. Из истории персидской и таджикской литератур. Избранные работы. 524 стр. Цена 2 р. 64 к.

М. Варненца. Вамбук шумит ночью. Путевой дневник писателя. Перевод с польского. 256 стр. Цена 72 к.

Гуру Нанак. К 500-летию со дня рождения поэта и гуманиста Индии. Сборник статей. 199 стр. Цена 1 р. 8 к.

А. Крымов. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае. 1900—1917 гг. 367 стр. Цена 2 р. 57 к.

Ранние романтические веяния. Из истории международных связей русской литературы. Сборник статей. 295 стр. Цена 1 р. 55 к.

Рукописное наследие Древней Руси. По материалам Пушкинского Дома. 423 стр. Цена 2 р. 22 к.

Сыма Цянь. Исторические записки «Ши цзи». Перевод с китайского. Т. 1. 439 стр. Цена 1 р. 74 к.

Формирование марксистской литературной критики в зарубежных славянских странах. Сборник статей. 352 стр. Цена 1 р. 66 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Л. Галенская. Международная борьба с преступностью. 168 стр. Цена 57 к.

А. Ефремов. Европа и ядерное оружие. 320 стр. Цена 1 р. 51 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Гальперин. Взаимодействие государственных органов и общественности в борьбе с преступностью. 184 стр. Цена 59 к.

Законодательство и законодательная деятельность в СССР. 328 стр. Цена 1 р. 22 к.

А. Процевский. Метод правового регулирования трудовых отношений. 288 стр. Цена 93 к.

Роль и задачи советской адвокатуры. 220 стр. Цена 89 к.

Советская прокуратура. Сборник важнейших документов. 408 стр. Цена 1 р. 19 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Л. Жданова. Стихи. Предисловие П. Антокольского. Рига. «Лиезма». 117 стр. Цена 36 к.

Э. Кафарова. Содружество литератур. Азербайджанская советская поэзия в русской критике. Баку. «Гянджлик». 161 стр. Цена 34 к.

А. Тагаев. Аскад Мухтар. Литературный портрет. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 144 стр. Цена 28 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 7/IX 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 25/X 1972 г.
A 09077. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
Тираж 157.000 экз. Зак. 2891.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636